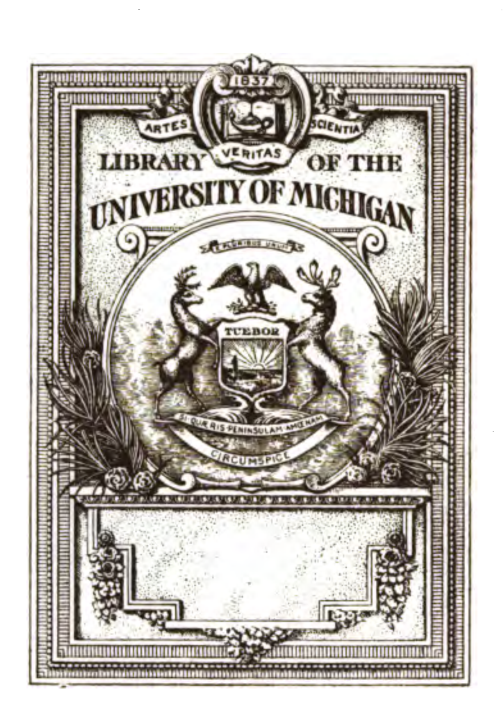
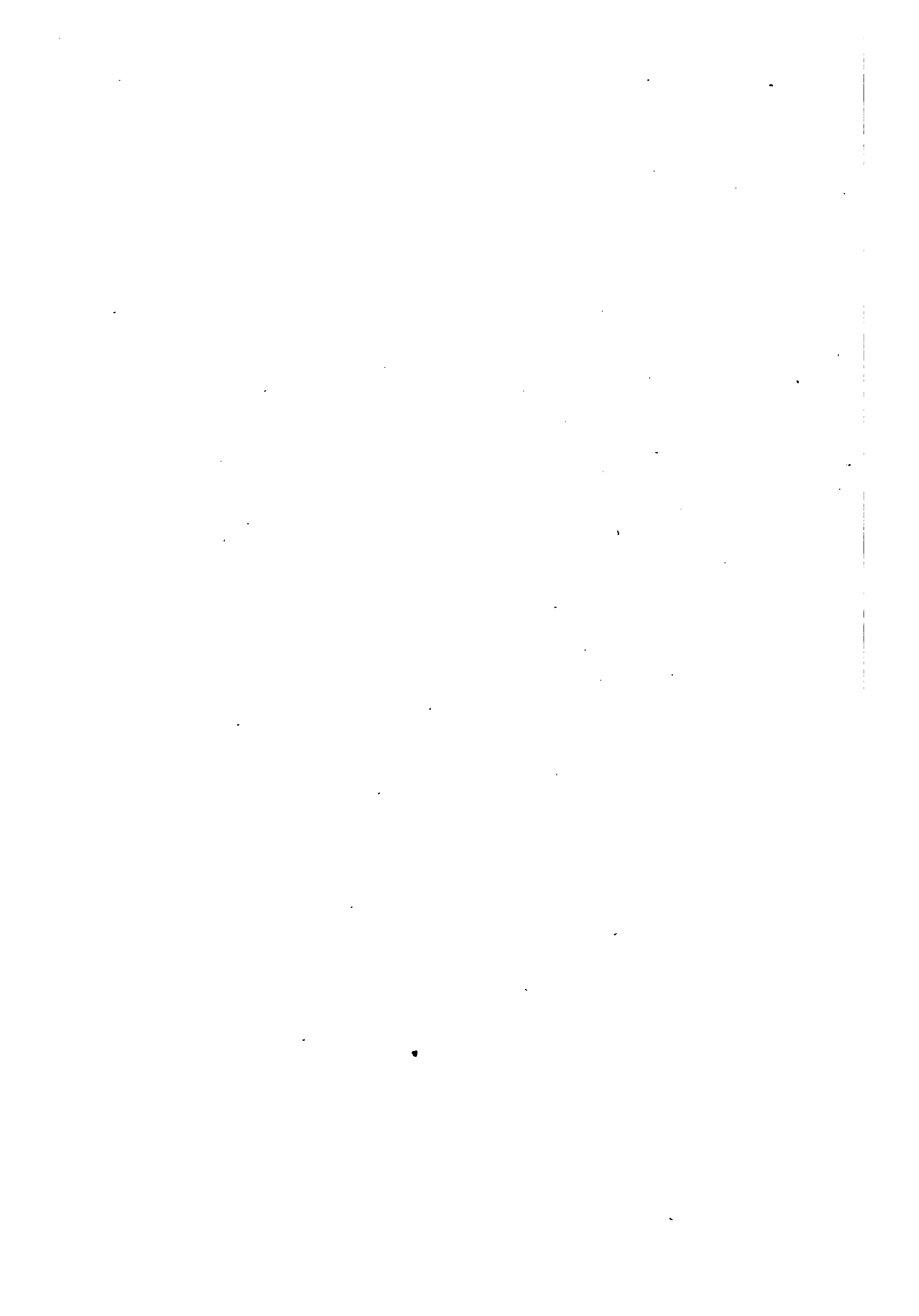




1837
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
E PLURIBUS UNUM
TUEBOR
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE





Изданіе товарищества „ЗНАНІЕ“ (СПБ., Невскій, 92).

М. Горькій.

ТОМЪ ВТОРОЙ.

РАЗСКАЗЫ.

ПЯТОЕ изданіе товарищества „ЗНАНІЕ“.

Сорокъ третья тысяча.

Цѣна 1 рубль.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1903.

Типографія Спб. Т-ва Печат. и Издат. дѣла „**Трудъ**“. Фонтанка. 86.

Изданіе товарищества „ЗНАНІЕ“ (Спб., Невскій, 92).

М. Горькій.

ТОМЪ ВТОРОЙ.

РАЗСКАЗЫ.

СОДЕРЖАНІЕ:

ПЯТОЕ изданіе товарищества „ЗНАНІЕ“.

Сорокъ третья тысяча.

Цѣна 1 рубль.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1903.

Изданія товарищества „ЗНАНІЕ“ (Спб., Невскій, 92).

Списокъ отъ 20 декабря 1902 г.	Цѣна	
М. Горькій. Разсказы. Томъ I.	1 р.	— к.
М. Горькій. Разсказы. Томъ II.	1 »	— »
М. Горькій. Разсказы. Томъ III.	1 »	— »
М. Горькій. Разсказы. Томъ IV.	1 »	— »
М. Горькій. Разсказы. Томъ V.	1 »	— »
М. Горькій. Мѣщане. Драм. эскизъ въ 4 актахъ.	— »	60 »
М. Горькій. На днѣ. Картины. 4 акта.	— »	60 »
Л. Андреевъ. Разсказы. Томъ I.	1 »	— »
Скиталецъ. Разсказы. Томъ I.	1 »	— »
Е. Чириковъ. Разсказы. Томъ I.	1 »	— »
Е. Чириковъ. Разсказы. Томъ II.	1 »	— »
Е. Чириковъ. Разсказы. Томъ III.	1 »	— »
Е. Чириковъ. Пьесы	— »	60 »
Ив. Бунинъ. Томъ I. Разсказы.	1 »	— »
Ив. Бунинъ. Томъ II. Стихотворенія	1 »	— »
Н. Телешовъ. Разсказы Томъ I.	1 »	— »
А. Серафимовичъ. Разсказы. Том I.	1 »	— »
А. Купринъ. Разсказы. Томъ I.	1 »	— »
С. Юшкевичъ. Разсказы. Томъ I.	1 »	— »
Гусевъ-Оренбургскій. Разсказы. Томъ I. *Печатается*	— »	— »
Эсхилъ. Скованный Прометей	— »	30 »
Софоклъ. Эдипъ-царь.	— »	40 »
Софоклъ. Эдипъ въ Колонѣ	— »	40 »
Софоклъ. Антигона	— »	40 »
Эврипидъ. Медея	— »	40 »
Эврипидъ. Ипполитъ	— »	40 »
Эсхилъ, Софоклъ и Эврипидъ. Трагедіи. Роскошно-иллюстр. изд. *Выйдетъ въ январѣ 1903 г.*	— »	— »
Платонъ. Пиръ. *Съ иллюстраціями*	— »	60 »
Байронъ. Манфредъ. *Печатается.*	— »	— »
Байронъ. Каинъ. *Печатается.*	— »	— »
Леопарди. Разговоры. *Печатается.*	— »	— »
Леопарди. Мысли. *Печатается.*	— »	— »
Шелли. Полное собраніе сочиненій въ 3 томахъ. Томъ I	2 »	— »
Лонгфелло. Пѣснь о Гайаватѣ. Роскошно-илл. изд.	2 »	— »
Э. Золя. Углекопы. Изд. *второе*	1 »	— »
Эркманъ-Шатріанъ. Гаспаръ Фиксъ.	— »	65 »
П. Милюковъ. Изъ исторіи русской интеллигенціи.	1 »	50 »
Н. Рубакинъ. Этюды о русской читающей публикѣ. Изд. *2-е печатается*	— »	— »
Никольскій. Лѣтнія поѣздки натуралиста	2 »	— »
Клейнъ. Астрономическіе вечера. Изд. *третье*	2 »	— »
Клейнъ. Прошлое, настоящее и будущее вселенной. Изд. *второе*	1 »	50 »
Юнгъ. Солнце. Изд. *второе*	1 »	50 »
Тиндаль. Звукъ. Изд. *второе.*	1 »	50 »
Григорьевъ. Краткій курсъ химіи. Изд. *второе*	— »	80 »
Клейнъ. Чудеса земного шара. *Печатается*	— »	— »
Боммели. Исторія земли. *Печатается*	— »	— »
Гетчинсонъ. Вымершія чудовища	1 »	20 »
Гетчинсонъ. Животныя прошлыхъ геологич. эпохъ. *Печатается.*	— »	— »
Джэмсъ. Психологія. Изд. *четвертое.*	1 »	50 »
Штёрингъ. Психопатологія въ примѣненіи къ психологіи. *Печатается*	— »	— »
Вундтъ. Введеніе въ философію. *Печатается*	— »	— »
Куно Фишеръ. Исторія новой философіи. Томъ IV: Кантъ	4 »	— »

Маріи Сергѣевнѣ Позернъ

М. Горькій.

КОНОВАЛОВЪ.

(1896)

Разсѣянно пробѣгая глазами газетный листъ, я встрѣтилъ фамилію — Коноваловъ и, заинтересованный ею, прочиталъ слѣдующее:

„Вчера ночью, въ 3-й камерѣ мѣстнаго тюремнаго замка, повѣсился на отдушинѣ печи мѣщанинъ города Мурома Александръ Ивановичъ Коноваловъ, 40 лѣтъ. Самоубійца былъ арестованъ въ Псковѣ за бродяжничество и пересылался этапнымъ порядкомъ на родину. По отзыву тюремнаго начальства, это былъ человѣкъ всегда тихій, молчаливый и задумчивый. Причиной, побудившей Коновалова къ самоубійству, какъ заключилъ тюремный докторъ, слѣдуетъ считать меланхолію".

Я прочиталъ эту краткую замѣтку и подумалъ, что мнѣ, можетъ быть, удастся нѣсколько яснѣе освѣтить причину, побудившую этого задумчиваго человѣка уйти изъ жизни, потому что я зналъ его, когда-то жилъ съ нимъ. Пожалуй, я даже и не въ правѣ промолчать о немъ:—это былъ славный малый, а ихъ не часто встрѣчаешь на жизненномъ пути.

...Мнѣ было восемнадцать лѣтъ, когда я встрѣтилъ Коновалова въ первый разъ. Въ то время я работалъ въ хлѣбопекарнѣ, какъ „подручный" пекаря. Пекарь былъ солдатъ изъ „музыкальной команды", онъ страшно пилъ водку, часто портилъ тѣсто и, пьяный, любилъ

наигрывать на губахъ и выбивать пальцами на чемъ попало различныя пьесы. Когда хозяинъ пекарни дѣлалъ ему внушенія за испорченный или опоздавшій къ утру товаръ, онъ бѣсился и ругалъ хозяина, ругалъ безпощадно и при этомъ всегда указывалъ ему на свой музыкальный талантъ.

— Передержалъ тѣсто! — кричалъ онъ, оттопыривая свои рыжіе, длинные усы и шлепая губами, толстыми и всегда почему-то мокрыми. — Корка сгорѣла! Хлѣбъ сырой! Ахъ ты, чортъ тебя возьми, косоглазая кикимора! Да развѣ я для этой работы родился на свѣтъ? Будь ты анаѳема съ твоей работой — я музыкантъ! Понялъ? Я—бывало, альтъ запьетъ—на альтѣ играю: гобой подъ арестомъ — въ гобой дую; корнетъ-а-пистонъ хвораетъ—кто его можетъ замѣнить? Сучковъ? Я! Радъ стараться, ваше благородіе. Тим-тар-рам-да-дди! А ты—м-мужикъ, кацапъ! Давай расчетъ.

А хозяинъ, сырой и пухлый человѣкъ, съ косыми, заплывшими жиромъ глазками и женоподобнымъ лицомъ, колыхая громаднымъ животомъ, топалъ по полу короткими, толстыми ногами и визгливымъ голосомъ вопилъ:

— Губитель! Разоритель! Христопродавецъ Іуда! Господи, за что ты меня наказалъ такимъ человѣкомъ!— Растопыривъ короткіе пальцы, онъ воздѣвалъ руки къ небу и вдругъ громко, голосомъ, рѣзавшимъ уши, возглашалъ:—А ежели я тебя за твой бунтъ въ полицію?

— Слугу царя и отечества въ полицію?—ревѣлъ солдатъ и уже лѣзъ на хозяина съ кулаками. Тотъ ретировался, отплевываясь, взволнованно сопя и ругаясь. Это все, что онъ могъ сдѣлать—было лѣто, время, когда въ приволжскомъ городѣ очень трудно найти хорошаго пекаря.

Такія сцены разыгрывались почти ежедневно. Солдатъ пилъ, портилъ тѣсто и игралъ разные марши и вальсы или „нумера“, какъ онъ говорилъ; хозяинъ скре-

жеталъ зубами, а мнѣ, въ силу этого, приходилось работать за двоихъ.

И я былъ весьма обрадованъ, когда однажды между хозяиномъ и солдатомъ разыгралась такая сцена.

— Ну, солдатъ,—сказалъ хозяинъ, появляясь въ пекарнѣ съ лицомъ, сіяющимъ и довольнымъ, и съ глазками, сверкавшими ехидной улыбкой,—ну, солдатъ, оттопыривай губы и играй походный маршъ!

— Чего еще?! — мрачно сказалъ солдатъ, лежавшій на ларѣ съ тѣстомъ и, по обыкновенію, полупьяный.

— Въ походъ собирайся, капралъ!—ликовалъ хозяинъ.

— Куда?—спросилъ солдатъ, спуская съ ларя ноги и чувствуя что-то недоброе.

— Куда хочешь...

— Это какъ понимать? — запальчиво крикнулъ солдатъ.

— А такъ и понимай, что больше я тебя держать не стану. Иди наверхъ, получи расчетъ и на всѣ четыре стороны—маршъ!

Солдатъ привыкъ чувствовать свою силу и безвыходность положенія хозяина и заявленіе послѣдняго нѣсколько отрезвило его: онъ понималъ, какъ трудно ему съ его плохимъ знаніемъ ремесла найти себѣ мѣсто.

— Ну, это ты врешь!.. — съ тревогой сказалъ онъ, вставая на ноги.

— Иди-ка, иди...

— Идти?

— Проваливай.

— Наработался, значитъ...—съ горечью мотнулъ головой солдатъ. — Пососалъ ты изъ меня крови, высосалъ и вонъ меня. Ловко! Ахъ ты... паукъ!

— Я паукъ?—вскипѣлъ хозяинъ.

— Ты! кровососецъ паукъ—вотъ какъ!—убѣдительно сказалъ солдатъ и, пошатываясь, пошелъ къ двери.

Хозяинъ ехидно смѣялся вслѣдъ ему, и его глазки радостно сверкали.

— Поди-ка вотъ теперь поступи на мѣсто къ кому-нибудь! Н-да. Я тебя, голубчика, вездѣ такъ разрисовалъ, что хоть ты даромъ просись—не возьмутъ! Нигдѣ не возьмутъ... Я позаботился о тебѣ, чертоломина ты гнилоголовая!

— Новаго-то пекаря уже наняли?—спросилъ я.

— Новаго? Новый-то — онъ старый. Моимъ подручнымъ былъ. Ахъ, какой пекарь! Золото! Но тоже пьяница и-ихъ! Только онъ запоемъ тянетъ... Вотъ онъ придетъ, возьмется за работу и мѣсяца три—четыре учнетъ ломить, какъ медвѣдь! Сна, покоя не знаетъ, за цѣной не стоитъ—сколько дашь. Работаетъ и поетъ! Такъ онъ, братецъ ты мой, поетъ, что даже слушать невозможно—тягостно дѣлается на сердцѣ. Поетъ, поетъ, потомъ учнетъ снова пить!

Хозяинъ вздохнулъ и безнадежно махнулъ рукой.

— И когда онъ запьетъ — нѣтъ ему тутъ никакого удержу. Пьетъ до тѣхъ поръ, пока не захвораетъ или не пропьется догола... Тогда стыдно ему бываетъ, что ли, онъ и пропадаетъ куда-то, какъ нечистый духъ отъ ладана. А вотъ и онъ... Совсѣмъ пришелъ, Леса?

— Совсѣмъ,—отвѣчалъ съ порога глубокій грудной голосъ.

Тамъ, прислонясь плечомъ къ косяку двери, стоялъ высокій, плечистый мужчина лѣтъ тридцати. По костюму это былъ типичный босякъ, по фигурѣ и лицу—настоящій славянинъ. На немъ была надѣта красная кумачевая рубаха, невѣроятно грязная и рваная, холщевыя широкія шаровары, а на ногахъ—на одной остатки резиноваго ботика, на другой—кожаный опорокъ. Свѣтлорусые волосы на головѣ были спутаны, и въ нихъ торчали щёпочки, соломинки, какія-то бумажки; все это было и въ его роскошной русой же бородѣ, точно вѣеромъ закрывавшей ему грудь. Продолговатое, блѣдное и изнурённое лицо освѣщалось голубыми глазами, большими, задумчивыми и смотрѣвшими на меня съ лас-

ковой улыбкой. И губы у него красивыя, но немного блѣдныя, тоже улыбались подъ русыми усами. Улыбка была такая, точно онъ хотѣлъ сказать ею:

— Вотъ я какой... Не обезсудьте ужъ...

— Проходи, Сашокъ, вотъ тебѣ подручный,—говорилъ хозяинъ, потирая руки и любовно оглядывая могучую фигуру новаго пекаря. Тотъ молча шагнулъ впередъ, протянулъ мнѣ длинную руку съ богатырски-широкой кистью; мы поздоровались; онъ сѣлъ на скамью, вытянулъ впередъ ноги, посмотрѣлъ на нихъ и сказалъ хозяину:

— Ты мнѣ, Никола Никитичъ, купи двѣ смѣны рубахъ, да опорки... Холста еще на колпакъ.

— Все будетъ, не бойсь! Колпаки у меня есть; рубахи и порты вечеромъ будутъ. Знай работай, пока что; я тебя знаю, кто ты есть. Не обижу... Коновалова никто не обидитъ, потому онъ самъ никого не обижаетъ. Развѣ хозяинъ звѣрь? Я самъ тоже работалъ, знаю, какъ рѣдька слезы выжимаетъ... Ну, оставайтесь, значитъ, ребятушки, а я пойду...

Мы остались одни.

Коноваловъ сидѣлъ на скамьѣ и молча, улыбаясь, осматривался вокругъ. Пекарня помѣщалась въ подвалѣ со сводчатымъ потолкомъ, и ея три окна были ниже уровня земли. Свѣта было мало, мало было и воздуха, но зато много было сырости, грязи и мучной пыли. У стѣнъ стояли длинные лари: одинъ съ тѣстомъ, другой еще только съ опарой, третій пустой. На каждый ларь ложилась изъ окна тусклая полоса свѣта. Громадная печь занимала почти треть пекарни; около нея на грязномъ полу лежали мѣшки муки. Въ печи жарко горѣли длинныя плахи дровъ, и отраженное на сѣрой стѣнѣ пекарни пламя ихъ колебалось и дрожало, точно безъ звуковъ расказывало о чемъ-то. Запахъ квашенаго тѣста и сырости наполнялъ промозглый воздухъ.

Сводчатый, закопченый потолокъ давилъ своей тя-

жестью, и отъ соединенія дневного свѣта съ огнемъ въ печи образовалось какое-то неопредѣленное и утомлявшее глаза освѣщеніе. Въ окна съ улицы лился глухой шумъ и летѣла пыль. Коноваловъ осмотрѣлъ все это, вздохнулъ и, вполоборота повернувшись ко мнѣ, спросилъ скучнымъ голосомъ:

— Давно здѣсь работаешь?

Я сказалъ. Помолчали, исподлобья осматривая другъ друга.

— Экая тюрьма! — вздохнулъ онъ. — Пойдемъ на улицу къ воротамъ, посидимъ?..

Мы вышли къ воротамъ и сѣли на лавку.

— Здѣсь хотя дышать можно. Я къ пропасти этой сразу и не привыкну... не могу. Самъ посуди, отъ моря я пришелъ... въ Каспіѣ на ватагахъ работалъ... и вдругъ сразу съ широты такой—бухъ въ яму!

Онъ съ печальной улыбкой посмотрѣлъ на меня и замолчалъ, пристально вглядываясь въ прохожихъ и въ проѣзжихъ. Въ его голубыхъ, ясныхъ глазахъ свѣтилось много печали о чемъ-то... Вечеръ наступалъ; на улицѣ было душно, шумно, пыльно, и отъ домовъ на дорогу ложились тѣни. Коноваловъ сидѣлъ, прислонившись спиной къ стѣнѣ, сложивъ руки на груди и перебирая пальцами шелковистые волосы своей бороды. Я съ боку смотрѣлъ на его овальное, блѣдное лицо и думалъ: что это за человѣкъ? Но я не рѣшался заговорить съ нимъ, потому что онъ былъ моимъ начальникомъ, и потому еще, что онъ внушалъ мнѣ какое-то странное уваженіе къ себѣ.

Лобъ у него былъ разрѣзанъ тремя тонкими морщинками, но по временамъ онѣ разглаживались и исчезали, и мнѣ очень хотѣлось знать, о чемъ думаетъ этотъ человѣкъ...

— Пойдемъ-ка; пора, чай, ставить третью квашню. Ты мѣси вторую, а я тѣмъ временемъ поставлю, да потомъ будемъ и короваи валять.

Когда мы съ нимъ развѣсили и разложили одну гору тѣста въ чашки, замѣсили другую и поставили опару для третьей—мы сѣли пить чай, и въ это время Коноваловъ, сунувъ руку куда-то за пазуху, спросилъ меня:

— Ты читать умѣешь? На-ко вотъ, почитай,—и подалъ мнѣ смятый и запачканный листикъ бумаги.

„Дорогой Саша!—читалъ я.—Кланяюсь и цѣлую тебя „заочно. Плохо мнѣ и очень скучно живется, не могу „дождаться того дня, когда я уѣду съ тобой или буду „жить вмѣстѣ съ тобой; надоѣла мнѣ эта жизнь проклятая невозможно, хотя вначалѣ и нравилась. Ты самъ „это хорошо понимаешь, я тоже стала понимать, какъ „познакомилась съ тобой. Напиши мнѣ, пожалуйста, по„скорѣе; очень мнѣ хочется получить отъ тебя письмецо. „А пока до свиданья, а не прощай, мой милый, борода„тый другъ моей души. Упрековъ я тебѣ никакихъ не „пишу, хоша я тобой и разогорчена, потому что ты „свинья—уѣхалъ, со мной не простился. Но все же ни„чего я отъ тебя, кромѣ хорошаго, не видѣла: ты былъ „одинъ еще первый такой, и я про это не забуду. Нельзя „ли постараться, Саша, о моей выключкѣ. Тебѣ дѣвицы „говорили, что я убѣгу отъ тебя, если буду выключена; „но это все вздоръ и чистая неправда. Если бы ты только „сжалился надо мной, то я послѣ выключки стала бы „съ тобой, какъ собака твоя. Тебѣ вѣдь легко это сдѣ„лать, а мнѣ очень трудно. Когда ты былъ у меня, я „плакала, что принуждена такъ жить, хотя я тебѣ этого „не сказала. До свиданья. Твоя Капитолина“.

Коноваловъ взялъ у меня письмо и задумчиво сталъ вертѣть его между пальцами одной руки, другой покручивая бороду.

— И писать ты умѣешь?

— Могу...

— А чернила у тебя есть?

— Есть.

— Напиши ты ей, Христа ради, письмо, а? Она, чай поди, мерзавцемъ меня считаетъ, думаетъ—я про нее забылъ... Напиши!

— Изволь. Хоть сейчасъ... Она кто?..

— Проститутка... Чай, видишь самъ—о выключкѣ пишетъ. Это, значитъ, чтобы я полиціи далъ обѣщаніе, что женюсь на ней, тогда ей возвратятъ ея паспортъ, а книжку у нея отберутъ, и будетъ она съ той поры свободная! Вникъ?

Черезъ полчаса готово было трогательное посланіе къ ней.

— Ну-ка почитай, какъ оно вышло?—съ нетерпѣніемъ спросилъ Коноваловъ.

Вышло вотъ какъ:

„Капа! Не думай про меня, что я подлецъ и забылъ „уже о тебѣ. Нѣтъ, я не забылъ, а просто запилъ и весь „пропился. Теперь снова поступилъ на мѣсто и завтра „возьму у хозяина денегъ впередъ, вышлю ихъ на Филиппа, и онъ тебя выключитъ. Денегъ тебѣ на дорогу „хватитъ. А пока—до свиданья. Твой Александръ“.

— Гмъ...—сказалъ Коноваловъ, почесавъ голову,—а пишешь ты не важно. Жалости нѣтъ въ письмѣ у тебя, слезы нѣтъ. И опять же—я просилъ тебя ругать меня разными словами, а ты этого не написалъ...

— Да зачѣмъ это?

— А чтобы она видѣла, что мнѣ передъ ней стыдно и что я понимаю, какъ я передъ ней виноватъ. А такъ что! Точно горохъ просыпалъ—написалъ! А ты слезу подпусти!

Пришлось подпустить въ письмо слезу, что я съ успѣхомъ и выполнилъ. Коноваловъ удовлетворился и, положивъ мнѣ руку на плечо, задушевно проговорилъ:

— Вотъ, теперь славно! Спасибо! Ты парень, видно, хорошій... значитъ, мы съ тобой уживемся.

Я не сомнѣвался въ этомъ и попросилъ его разсказать мнѣ о Капитолинѣ.

— Капитолина? Дѣвочка она... совсѣмъ дитя. Вятская купеческая дочь была... Да, вотъ, свихнулась. Дальше—больше, и пошла въ такой домъ... знаешь? Я пришелъ—смотрю, ребенокъ еще совсѣмъ! Господи, думаю, развѣ такъ можно? Ну и познакомился съ ней. Она — плакать. Я говорю: ничего, потерпи! Я те отсюда вытащу—погоди! И все у меня было готово, т.-е. деньги и все... И вдругъ я запилъ и очутился въ Астрахани. Потомъ вотъ сюда попалъ. Извѣстилъ ее обо мнѣ одинъ человѣкъ, и она написала мнѣ письмо въ Астрахань...

— Что же ты,—спросилъ я его,—жениться хочешь на ней?

— Жениться, гдѣ мнѣ! Ежели у меня запой—какой же я женихъ? Нѣтъ, такъ я это. Выключу ее—и потомъ иди на всѣ четыре стороны. Мѣсто себѣ найдетъ... можетъ, человѣкомъ будетъ.

— Вонъ она съ тобой хочетъ жить...

— Да вѣдь это она такъ, блажитъ только. Онѣ всѣ такія... бабы-то... Я ихъ очень хорошо знаю. У меня много было разныхъ. Даже купчиха одна... богатая! Конюхомъ я былъ въ циркѣ, она меня и выглядѣла. Иди,—говоритъ,—въ кучера̀. Мнѣ циркъ въ ту пору надоѣлъ, я и согласился, пошелъ. Ну и того... Стала она ко мнѣ ластиться. Домъ это у нихъ, лошади, прислуга — какъ дворяне жили. Мужъ у нея былъ низенькій и толстый, на манеръ нашего хозяина, а сама она такая худая, гибкая, какъ кошка, горячая. Бывало, какъ обниметъ да поцѣлуетъ въ губы — какъ углей каленыхъ въ сердце всыплетъ. Такъ ты весь и задрожишь, даже страшно станетъ. Цѣлуетъ, бывало, а сама все плачетъ: плечи у нея даже ходуномъ ходятъ. Спрошу ее: чего ты, Вѣрунька? А она: ребенокъ,—говоритъ,—ты, Саша; не понимаешь ты ничего. Славная была... А это она вѣрно, что я не понимаю-то ничего — очень я дурковатъ, самъ знаю. Что дѣлаю —не понимаю. Какъ живу— не думаю!

И замолчавъ, онъ посмотрѣлъ на меня широко раскрытыми глазами; въ нихъ свѣтился не то испугъ, не то вопросъ, что-то тревожно-вдумчивое, отъ чего красивое лицо его стало еще печальнѣе и еще краше...

— Ну, и какъ же ты съ купчихой-то кончилъ?— спросилъ я.

— А на меня, видишь ты, тоска находитъ. Такая скажу я тебѣ, братецъ мой, тоска, что невозможно мнѣ въ ту пору жить, совсѣмъ нельзя. Какъ будто я одинъ человѣкъ на всемъ свѣтѣ и, кромѣ меня, нигдѣ ничего живого нѣтъ. И все мнѣ въ ту пору противѣетъ — все какъ есть; и самъ я себѣ становлюсь въ тягость, и всѣ люди; хоть помирай они—не охну! Болѣзнь это у меня, должно быть. Съ нея я и пить началъ... раньше не пилъ. Такъ вотъ нашла на меня тоска, я и говорю ей, купчихѣ-то: Вѣра Михайловна! отпусти меня, больше я не могу! Что,—говоритъ,—надоѣла я тебѣ?—И смѣется, знаешь, да таково не хорошо смѣется. Нѣтъ, молъ, не ты мнѣ надоѣла, а самъ я себѣ не подъ силу сталъ. Сначала она не понимала меня, даже кричать стала, ругаться... Потомъ поняла. Опустила голову и говоритъ: что же, иди!.. — заплакала. Глаза у нея черные и вся она смуглая. Волосы тоже черные и кудрявые. Она не купеческаго роду была, а изъ чиновныхъ... Н-да... Жалко мнѣ ея было, и противенъ я былъ самъ себѣ тогда. Зачѣмъ поддался бабѣ? — неизвѣстно... Ей, конечно, скучно было съ этакимъ-то мужемъ. Онъ совсѣмъ какъ мѣшокъ муки... Плакала она долго—привыкла ко мнѣ... Я ее очень нѣжилъ: возьму, бывало, на руки и укачаю. Она спитъ, а я сижу и смотрю на нее. Во снѣ человѣкъ очень хорошъ бываетъ, такой простой; дышитъ да улыбается, и больше ничего. А то—на дачѣ когда жили,— бывало, поѣдемъ съ ней кататься,—во весь духъ она любила. Пріѣдемъ, куда ни то въ уголокъ въ лѣсу лошадь привяжемъ, а сами въ холодокъ на траву. Она велитъ мнѣ лечь, положитъ мою голову себѣ на колѣ-

ни и читаетъ мнѣ какую-нибудь книжку. Я слушаю, слушаю, да и засну. Хорошія исторій читала, очень хорошія. Никогда я не забуду одной—о нѣмомъ Герасимѣ и его любимой собакѣ. Онъ, нѣмой-то, гонимый человѣкъ былъ, и никто его, кромѣ собаки, не любилъ. Смѣются надъ нимъ и все такое, онъ сейчасъ къ собакѣ идетъ... Очень это жалостная исторія... да! А дѣло то было въ крѣпостное время... Барыня и говоритъ ему: нѣмой, иди утопи свою собаку, а то она воетъ. — Ну, нѣмой и пошелъ... Взялъ лодку, посадилъ въ нее собаку и поѣхалъ... Я, бывало, въ этомъ мѣстѣ дрожью дрожу. Господи! У живого человѣка единственную въ свѣтѣ радость его убиваютъ! Какіе это порядки? Ахъ... удивительная исторія! И вѣрно—вотъ что хорошо! Бываютъ такіе люди, что для нихъ весь свѣтъ въ одномъ въ чемъ-нибудь—въ собакѣ, къ примѣру. А почему въ собакѣ? Потому больше никого нѣтъ, кто бы любилъ такого человѣка, а собака его любитъ. Безъ любви какой-нибудь жить человѣку невозможно:—затѣмъ ему и душа дана, чтобы онъ могъ любить... Много она мнѣ разныхъ исторій читала. Славная была женщина, и по сейчасъ жалко мнѣ ея... Кабы не моя планета—не ушелъ бы я отъ нея, пока она сама того не захотѣла бы или мужъ не узналъ про наши съ ней дѣла. Ласковая она была—вотъ что первое, т.-е. не тѣмъ ласковая, что подарки дарила, а такъ... по сердцу своему ласковая. Цѣлуется она со мной и все такое—женщина, какъ женщина... а вотъ иногда найдетъ, бывало, на нее этакій тихій стихъ... удивительно даже, до чего она тогда хорошій человѣкъ была. Смотритъ, бывало, прямо въ душу и разсказываетъ, какъ нянька или мать. Я въ такія времена, бывало, прямо какъ пятилѣтній ребенокъ передъ ней. Но все-таки ушелъ отъ нея — потому тоска! Тянетъ меня куда-то... Прощай, говорю, Вѣра Михайловна, прости меня. Прощай, говоритъ, Саша. И—чудная—обнажила мнѣ руку по локоть, да какъ вцѣпится

зубами въ мясо! Я чуть не заоралъ! Такъ цѣлый кусокъ и выхватила почти... недѣли три болѣла рука. Вотъ и сейчасъ знакъ цѣлъ.

Обнаживъ богатырскую, мускулистую руку, бѣлую и красивую, онъ показалъ мнѣ ее, улыбаясь добродушно-печальной улыбкой. На кожѣ руки около локтевого сгиба былъ ясно виденъ шрамъ—два полукруга, почти соединявшіеся концами. Коноваловъ смотрѣлъ на нихъ и, улыбаясь, качалъ головой.

— Чудачка! — повторилъ онъ; — это она мнѣ на память куснула.

Я слышалъ и раньше исторіи въ этомъ духѣ. Почти у каждаго босяка есть въ прошломъ „купчиха" или „одна барыня изъ благородныхъ", и у всѣхъ босяковъ эта купчиха и барыня отъ безчисленныхъ варіацій въ разсказахъ о ней является фигурой совершенно фантастической, странно соединяя въ себѣ самыя противоположныя физическія и психическія черты. Если она сегодня голубоглазая, злая и веселая, то можно ожидать, что чрезъ недѣлю вы услышите о ней, какъ о черноокой, доброй и слезливой. И обыкновенно босякъ разсказываетъ о ней въ скептическомъ тонѣ, съ массой подробностей, которыя унижаютъ ее.

Но въ исторіи, разсказанной Коноваловымъ, звучало что-то правдивое, въ ней были незнакомыя мнѣ черты—чтенія книжекъ, эпитетъ ребенка въ приложеніи къ мощной фигурѣ Коновалова...

Я представилъ себѣ гибкую женщину, спящую у него на рукахъ, прильнувъ головой къ широкой груди—это было красиво и еще болѣе убѣдило меня въ правдѣ его разсказа. Наконецъ, его печальный и мягкій тонъ при воспоминаніи о „купчихѣ" — тонъ исключительный. Истинный босякъ никогда не говоритъ такимъ тономъ ни о женщинахъ, ни о чемъ другомъ—онъ любитъ показать, что для него на землѣ нѣтъ такой вещи, которую онъ не посмѣлъ бы обругать.

— Ты чего молчишь, думаешь, я навралъ? — спросилъ Коноваловъ, и почему-то въ голосѣ его звучала тревога. Онъ раскинулся на мѣшкахъ съ мукой, держа въ одной рукѣ стаканъ чаю, а другой медленно поглаживая бороду. Его голубые глаза смотрѣли на меня пытливо и вопросительно, и морщинки на лбу легли рѣзко...

— Нѣтъ, ужъ ты повѣрь... Чего мнѣ врать? Оно, положимъ, нашъ братъ, бродяга, сказки разсказывать мастеръ... Нельзя, другъ: — если у человѣка въ жизни не было ничего хорошаго, онъ вѣдь никому не повредитъ, коли самъ для себя выдумаетъ какую ни то сказку, да и станетъ разсказывать ее за быль. Разсказываетъ и самъ себѣ вѣритъ, будто такъ оно и было — вѣритъ, ну, ему и пріятно. Многіе живутъ этимъ. Ничего не подѣлаешь... Но я тебѣ разсказалъ правду, такъ оно и было, какъ разсказывалъ. Развѣ тутъ что особенное есть? Женщина живетъ, и ей скучно, а народъ все замухрышка... Положимъ, я кучеръ, но женщинѣ это все равно, потому что и кучеръ, и баринъ, и офицеръ—всѣ мужчины... И всѣ передъ ней свиньи, всѣ одного и того же ищутъ, и каждый норовитъ, чтобы побольше взять, да поменьше заплатить. Простой-то человѣкъ даже еще лучше, совѣстливѣе. А я очень простой... Женщины это хорошо во мнѣ понимаютъ... видятъ, что не обижу, т.-е. не... тово... не насмѣюсь надъ ней. Женщина—она согрѣшитъ и ничего такъ не боится, какъ смѣха, издѣвки надъ ней. Онѣ стыдливѣе противъ насъ. Мы свое возьмемъ и хоть на базаръ пойдемъ разсказывать, хвастаться станемъ—вотъ, молъ, какъ мы одну дуру провели!... А женщинѣ некуда идти, ей грѣха въ удаль никто не ставитъ. Онѣ, братъ, даже самыя потерянныя, и тѣ стыда больше насъ имѣютъ.

Я слушалъ его и думалъ: неужели этотъ человѣкъ вѣренъ самъ себѣ, говоря всѣ эти неподобающія ему рѣчи?

А онъ, задумчиво уставивъ на меня свои по-дѣтски

ясные глаза, все говорилъ и все болѣе удивлялъ меня своими рѣчами.

Дрова въ печи сгорѣли, и яркая груда углей отбросила отъ себя на стѣну пекарни розоватое пятно... оно дрожало...

Въ окно смотрѣлъ кусочекъ голубого неба съ двумя звѣздами на немъ. Одна изъ нихъ—большая—блестѣла изумрудомъ, другая, неподалеку отъ нея, была едва видна.

Прошла недѣля, и мы съ Коноваловымъ были друзьями.

— Ты тоже простой парень! Хорошо это!—говорилъ онъ мнѣ, широко улыбаясь и хлопая меня своей ручищей по плечу.

Работалъ онъ артистически. Нужно было видѣть, какъ онъ управлялся съ семипудовымъ кускомъ тѣста, раскатывая его въ чашки, или какъ онъ, наклонившись надъ ларемъ, мѣсилъ, по локоть погружая свои могучія руки въ упругую массу, пищавшую въ его стальныхъ пальцахъ.

Сначала, видя, какъ онъ быстро мечетъ въ печь сырые хлѣбы, которые я еле успѣвалъ подкидывать изъ чашекъ на его лопату,—я боялся, что онъ насадитъ ихъ другъ на друга; но когда онъ выпекъ три печи и ни у одного изъ ста двадцати короваевъ—пышныхъ, румяныхъ и высокихъ—не оказалось „притиска", я понялъ, что имѣю дѣло съ артистомъ въ своемъ родѣ. Онъ любилъ работать, увлекался дѣломъ, унывалъ, когда печь пекла плохо или тѣсто медленно всходило, сердился и ругалъ хозяина, если онъ покупалъ сырую муку, и былъ по-дѣтски веселъ и доволенъ, если хлѣбы изъ печи выходили правильно круглые, высокіе, „подъемистые", вмѣру румяные, съ тонкой, хрустящей коркой. Бывало, онъ бралъ съ лопаты въ руки самый удачный

коровай и, перекидывая его съ ладони на ладонь, обжигаясь, весело смѣялся, говоря мнѣ:

— Эхъ, какого красавца мы съ тобой сработали...

И мнѣ было пріятно смотрѣть на этого гигантскаго ребенка, влагавшаго всю душу въ работу свою, какъ это и слѣдуетъ дѣлать каждому человѣку во всякой работѣ...

Однажды я спросилъ его:

— Саша, говорятъ, ты поешь хорошо?

— Пою... Только это у меня разами бываетъ... полосой. Начну я тосковать, ну, тогда и пою... И ежели пѣть начну—затоскую. Ты ужъ помалкивай объ этомъ... не дразни. Ты самъ-то не поешь? Ахъ ты... штука какая! Ты... лучше потерпи до меня... а пока свисти. Потомъ ужъ оба запоемъ, вмѣстѣ. Идетъ?

Я, конечно, согласился и свисталъ, когда хотѣлось пѣть. Но иногда прорывался и начиналъ мурлыкать себѣ подъ носъ, мѣся тѣсто и катая хлѣбы. Коноваловъ слушалъ меня, шевелилъ губами и чрезъ нѣкоторое время напоминалъ мнѣ о моемъ обѣщаніи. А иногда грубо кричалъ на меня:

— Брось! Не стони!

Какъ-то разъ я вынулъ изъ моего сундука книжку и, примостившись къ окну, сталъ читать.

Коноваловъ дремалъ, растянувшись на ларѣ съ тѣстомъ, но шелестъ перевертываемыхъ мною надъ его ухомъ страницъ заставилъ его открыть глаза.

— Про что книжка?

Это были „Подлиповцы“.

— Почитай вслухъ, а?..—попросилъ онъ.

И вотъ, я сталъ читать, сидя на подоконникѣ, а онъ усѣлся на ларѣ и, прислонивъ свою голову къ моимъ колѣнямъ, слушалъ... Иногда я черезъ книгу заглядывалъ въ его лицо и встрѣчался съ его глазами — у меня до сей поры они въ памяти — широко открытые, напряженные, полные глубокаго вниманія... И ротъ его тоже былъ полуоткрытъ, обнажая два ряда

ровныхъ, бѣлыхъ зубовъ. Поднятыя кверху брови, изогнутыя морщинки на высокомъ лбу, руки, которыми онъ охватилъ колѣни, вся его неподвижная, внимательная поза подогрѣвала меня, и я старался какъ можно внятнѣе и образнѣе разсказать ему грустную исторію Сысойки и Пилы.

Наконецъ, я усталъ и закрылъ книгу.

— Все ужъ? — шопотомъ спросилъ меня Коноваловъ.

— Меньше половины...

— Всю вслухъ прочитаешь?

— Изволь.

— Эхъ! — Онъ схватилъ себя за голову и закачался, сидя на ларѣ. Ему что-то хотѣлось сказать, онъ открывалъ и закрывалъ ротъ, вздыхая, какъ мѣхи, и для чего-то защурилъ глаза. Я не ожидалъ такого эффекта и не понималъ его значенія.

— Какъ ты это читаешь! — шопотомъ заговорилъ онъ. — На разные голоса... Какъ живые всѣ они... Апроська! Пишшитъ! Пила... дураки какіе! Смѣшно мнѣ было слушать... но удержался... А дальше что? Куда они поѣдутъ? Господи Боже! Вѣдь это все правда. Вѣдь это какъ есть настоящіе люди... всамдѣлишные мужики... И совсѣмъ какъ живые и голоса, и рожи... Слушай, Максимъ! Посадимъ печь—читай дальше!

Мы посадили печь, приготовили другую, и снова часъ и сорокъ минутъ я читалъ книгу. Потомъ опять пауза—печь испекла, вынули хлѣбы, посадили другіе, замѣсили еще тѣсто, поставили еще опару... — все это дѣлалось съ лихорадочной быстротой и почти молча.

Коноваловъ, нахмуривъ брови, изрѣдка кротко бросалъ мнѣ односложныя приказанія и торопился, торопился...

Къ утру мы кончили книгу, и я чувствовалъ, что языкъ у меня одеревенѣлъ.

Сидя верхомъ на мѣшкѣ муки, Коноваловъ смотрѣлъ

мнѣ въ лицо странными глазами и молчалъ, упершись руками въ колѣни...

— Хорошо?—спросилъ я.

Онъ замоталъ головой, жмуря глаза, и опять-таки почему-то шопотомъ заговорилъ:

— Кто же это сочинилъ? — Въ глазахъ его свѣтилось неизъяснимое словами изумленіе, и лицо вдругъ вспыхнуло горячимъ чувствомъ.

Я разсказалъ, кто написалъ книгу.

— Ну — человѣкъ онъ! Какъ хватилъ! А? Даже ужасно. За сердце беретъ, т.-е. щиплетъ душу — вотъ до чего живо. Что же онъ, этотъ сочинитель, что ему за это было?

— Т.-е. какъ?

— Ну, напримѣръ, дали ему награду или что тамъ?

— А за что ему нужно дать награду?—спросилъ я.

— Какъ за что? Книга... вродѣ какъ бы актъ полицейскій. Сейчасъ ее читаютъ... судятъ: Пила, Сысойка... какіе же это люди? Жалко ихъ станетъ всѣмъ... Народъ темный, невинный... Какая у нихъ жизнь? Ну, и...

— И?..

Коноваловъ смущенно посмотрѣлъ на меня и робко заявилъ:

— Какое-нибудь распоряженіе должно выйти. Люди вѣдь они, и нужно ихъ поддержать.

Въ отвѣтъ на это, я прочиталъ ему цѣлую лекцію... Но, увы! она не произвела того впечатлѣнія, на которое я разсчитывалъ.

Коноваловъ задумался, поникъ головой, закачался всѣмъ корпусомъ и сталъ вздыхать, ни словомъ не мѣшая мнѣ говорить. Я усталъ, наконецъ, и замолчалъ.

Коноваловъ поднялъ голову и грустно посмотрѣлъ на меня.

— Такъ ему, значитъ, ничего и не дали?—спросилъ онъ.

— Кому?—освѣдомился я, позабывъ о Рѣшетниковѣ.

— Сочинителю-то?

Мнѣ стало досадно. Я не отвѣтилъ ему, чувствуя, что эта досада родитъ во мнѣ раздраженіе противъ моего слушателя, очевидно, не считавшаго себя въ силахъ рѣшать міровые вопросы.

Коноваловъ, не дожидаясь моего отвѣта, взялъ книгу въ свои руки, осторожно повертѣлъ ее, открылъ, закрылъ и, положивъ на мѣсто, глубоко вздохнулъ.

— Какъ все это премудро, Господи!—вполголоса заговорилъ онъ.—Написалъ человѣкъ книгу... бумага и на ней точечки разныя — вотъ и вся. Написалъ и... умеръ онъ?

— Умеръ...—сказалъ я.

— Умеръ, а книга осталась, и ее читаютъ. Смотритъ въ нее человѣкъ глазами и говоритъ разныя слова. А ты слушаешь и понимаешь: жили на свѣтѣ люди — Пила и Сысойка и Апроська... И жалко тебѣ людей, хоть ты ихъ никогда не видалъ и они тебѣ совсѣмъ ничего! По улицѣ они такіе, можетъ, десятками живые ходятъ, и ты ихъ видишь, но не знаешь про нихъ ничего... и тебѣ нѣтъ до нихъ дѣла... идутъ они и идутъ... А въ книгѣ ихъ нѣтъ... однако, тебѣ ихъ жалко до того, что даже сердце щемитъ... Какъ это понимать?... А сочинитель такъ безъ награды и умеръ? Ничего ему не было?

Я разозлился и разсказалъ ему о наградахъ сочинителямъ...

Коноваловъ слушалъ меня, испуганно таращa глаза, и соболѣзнующе чмокалъ губами.

— Порядки — вздохнулъ онъ всей грудью, и закусивъ лѣвый усъ, грустно поникъ головой.

Тогда я началъ говорить о роковой роли кабака въ жизни русскаго литератора, о тѣхъ крупныхъ и искреннихъ талантахъ, что погибли отъ водки — единственной утѣхи ихъ многотрудной жизни.

— Да развѣ такіе люди пьютъ?—шопотомъ спросилъ

меня Коноваловъ. Въ его широко открытыхъ глазахъ сверкало и недовѣріе ко мнѣ, и испугъ, и жалость къ тѣмъ людямъ.—Пьютъ! Что же они... послѣ того, какъ напишутъ книги, запиваютъ?

Это, по-моему, былъ неумѣстный вопросъ, и я на него не отвѣтилъ.

— Конечно, послѣ...—рѣшилъ Коноваловъ.—Живутъ люди и смотрятъ въ жизнь, и вбираютъ въ себя чужое горе жизни. Глаза у нихъ, должно быть, особенные... И сердце тоже... Насмотрятся на жизнь и затоскуютъ... И вольютъ тоску свою въ книги... Но это уже не помогаетъ, потому — сердце тронуто и изъ него тоски огнемъ не выжжешь... Остается водкой ее заливать. Ну, и пьютъ... Такъ я говорю?

Я согласился съ нимъ, и это какъ бы придало ему бодрости.

— Ну, и по всей правдѣ, — продолжалъ онъ развивать психологію сочинителей, — слѣдуетъ ихъ за это отличить. Вѣрно вѣдь? Потому что они понимаютъ больше другихъ и указываютъ другимъ разные непорядки. Вотъ теперь я, напримѣръ, что такое? Босякъ, галахъ... пьяница и тронутый человѣкъ. Жизнь у меня безъ всякаго оправданія. Зачѣмъ я живу на землѣ и кому я на ней нуженъ, ежели посмотрѣть? Ни угла своего, ни жены, ни дѣтей... и ни до чего этого даже и охоты нѣтъ. Живу и тоскую... Зачѣмъ? Неизвѣстно. Внутренняго пути у меня нѣтъ... понимаешь? Какъ бы это сказать? Этакой искорки въ душѣ нѣтъ... силы, что ли? Ну, нѣтъ во мнѣ одной штуки — и все тутъ! Понялъ? Вотъ я живу и эту штуку ищу и тоскую по ней, а что она такое есть—это мнѣ неизвѣстно...

— Это ты къ чему?—спросилъ я.

Онъ, держась рукой за голову, посмотрѣлъ на меня, и на лицѣ его отразилось сильное напряженіе—работа мысли, ищущей для себя формы.

— Къ чему? А... къ безпорядку жизни. Т.-е... вотъ

я живу, молъ, и дѣться мнѣ некуда... ни къ чему я не могу присунуться... и это есть безпорядокъ такая жизнь.

— Ну, и что же дальше? — допытывался я у него непонятной мнѣ связи между нимъ и сочинителями.

— Дальше?... Не могу я тебѣ этого разсказать... Но думаю такъ, что ежели бы какой-нибудь сочинитель присмотрѣлся ко мнѣ, то... могъ бы онъ объяснить мнѣ мою жизнь... а? Ты какъ на этотъ счетъ думаешь?

Я думалъ, что и самъ въ состояніи объяснить ему его жизнь, и сразу же принялся за это, на мой взглядъ, легкое и ясное дѣло. Я началъ говорить объ условіяхъ и средѣ, о неравенствѣ, о людяхъ—жертвахъ жизни, и о людяхъ—владыкахъ ея.

Коноваловъ слушалъ внимательно. Онъ сидѣлъ противъ меня, подперши щеку рукой, и его большіе голубые глаза, широко раскрытые, задумчивые и умные, постепенно заволакивались какъ бы легкимъ туманомъ, на лбу все рѣзче ложились складки, и онъ, кажется, удерживалъ дыханіе, весь поглощенный желаніемъ понять мои рѣчи.

Мнѣ льстило все это. Я съ жаромъ расписывалъ ему его жизнь и доказывалъ, что онъ не виноватъ въ томъ, что онъ таковъ. Онъ—печальная жертва условій, существо, по природѣ своей, со всѣми равноправное и длиннымъ рядомъ историческихъ несправедливостей сведенное на степень соціальнаго нуля. Я заключилъ рѣчь тѣмъ, что сказалъ еще разъ:

— Тебѣ не въ чемъ винить себя... Тебя обидѣли...

Онъ молчалъ, не сводя съ меня глазъ; я видѣлъ, какъ въ нихъ зарождается хорошая, свѣтлая улыбка, и съ нетерпѣніемъ ждалъ, чѣмъ онъ откликнется на мои слова.

Улыбка заиграла у него на губахъ. Вотъ онъ ласково засмѣялся и, мягкимъ, женскимъ движеніемъ потинувшись ко мнѣ, положилъ мнѣ руку на плечо.

— Какъ ты, братъ, легко разсказываешь насчетъ всего этого! Откуда только тебѣ всѣ эти дѣла извѣстны? Все изъ книгъ? А и много же ты читалъ ихъ, видно... книгъ-то! Эхъ, ежели бы мнѣ тоже почитать съ эстоль!.. Но главная причина—очень ты жалостливо говоришь... Впервые мнѣ такая рѣчь. Удивительно! Всѣ люди другъ друга винятъ въ своихъ незадачахъ, а ты—всю жизнь, всѣ порядки. Выходитъ по-твоему, что человѣкъ-то самъ по себѣ и не виноватъ ни въ чемъ, а написано ему на роду быть босякомъ—ну, и потому онъ босякъ. И тоже вотъ насчетъ арестантовъ очень чудно: воруютъ потому, что работы нѣтъ, а ѣсть надо... Какъ все это жалостливо у тебя! Слабый ты, видно, на сердцѣ-то!..

— Погоди — сказалъ я, — ты согласенъ со мною? Вѣрно я говорилъ?

— Тебѣ лучше знать, вѣрно или нѣтъ—ты грамотный... Оно, пожалуй, ежели взять другихъ, такъ вѣрно... А вотъ ежели я...

— То что?

— Ну, я особливая статья... Кто виноватъ, что я пью? Павелка, братъ мой, не пьетъ—въ Перми у него своя пекарня. А я вотъ работаю не хуже его—однако, бродяга и пьяница, и больше нѣтъ мнѣ ни званія, ни доли... А вѣдь мы одной матери дѣти. Онъ еще моложе меня. Выходитъ, что во мнѣ самомъ что-то неладно... Не такъ я, значитъ, родился, какъ человѣку это слѣдуетъ. Самъ же ты говоришь, что всѣ люди одинаковые:—родился, пожилъ, сколько назначено, и помри! А я на особой стезѣ... И не одинъ я—много насъ этакихъ. Особливые мы будемъ люди... и ни въ какой порядокъ не включаемся. Особый намъ счетъ нуженъ... и законы особые... очень строгіе законы—чтобы насъ искоренять изъ жизни! Потому пользы отъ насъ нѣтъ, а мѣсто мы въ ней занимаемъ и у другихъ на тропѣ стоимъ... Кто передъ нами виноватъ? Сами мы предъ

собой и жизнью виноваты... Потому у насъ охоты къ жизни нѣтъ и къ себѣ самимъ мы чувствъ не имѣемъ...

Онъ—этотъ большой человѣкъ съ ясными глазами ребенка—съ такимъ легкимъ духомъ выдѣлялъ себя изъ жизни въ разрядъ людей, для нея ненужныхъ и потому подлежащихъ искорененію, съ такой смѣющейся грустью, что я былъ положительно ошеломленъ этимъ самоуничиженіемъ, до той поры еще невиданнымъ мною у босяка, въ массѣ своей существа отъ всего оторваннаго, всему враждебнаго и надо всѣмъ готоваго испробовать силу своего озлобленнаго скептицизма... Я встрѣчалъ только людей, которые всегда все винили и на все жаловались, упорно отодвигая самихъ себя въ сторону отъ ряда очевидностей, опровергавшихъ ихъ настойчивыя доказательства личной непогрѣшимости, и всегда сваливавшихъ свои неудачи на безмолвную судьбу, на злыхъ людей... Коноваловъ судьбу не винилъ и о людяхъ не говорилъ ни слова. Во всей неурядицѣ своей личной жизни былъ виноватъ только онъ самъ, и чѣмъ упорнѣе я старался доказать ему, что онъ „жертва среды и условій", тѣмъ настойчивѣе онъ убѣждалъ меня въ своей виновности предъ самимъ собою и жизнью за свою печальную долю... Это было оригинально, но это бѣсило меня. А онъ испытывалъ удовольствіе, бичуя себя; именно удовольствіемъ блестѣли его глаза, когда онъ звучнымъ баритономъ кричалъ мнѣ:

— Каждый человѣкъ самъ себѣ хозяинъ, и никто въ томъ не повиненъ, ежели я подлецъ есть!

Въ устахъ культурнаго человѣка такія рѣчи не удивили бы меня, ибо еще нѣтъ такой болячки, которую нельзя было бы найти въ сложномъ и спутанномъ психическомъ организмѣ, именуемомъ „интеллигентъ". Но въ устахъ босяка, хотя онъ и интеллигентъ среди обиженныхъ судьбой, голыхъ, голодныхъ и злыхъ полулюдей, полузвѣрей, наполняющихъ грязныя трущобы городовъ,—изъ устъ босяка странно было слышать эти

рѣчи. Приходилось заключить, что Коноваловъ дѣйствительно –особая статья, но я не хотѣлъ этого.

Съ внѣшней стороны Коноваловъ до мелочей являлся типичнѣйшимъ золоторотцемъ; но чѣмъ больше я присматривался къ нему, тѣмъ больше убѣждался, что имѣю дѣло съ разновидностью, нарушавшей мое представленіе о людяхъ, которыхъ давно пора считать за классъ и которые вполнѣ достойны вниманія, какъ сильно алчущіе и жаждущіе, очень злые и далеко не глупые...

Мы съ нимъ спорили все жарче.

— Да погоди,—кричалъ я,—какъ можетъ человѣкъ устоять на ногахъ, коли на него со всѣхъ сторонъ разная темная сила претъ?

— Упрись крѣпче!—возглашалъ мой оппонентъ, горячась и сверкая глазами.

— Да во что упереться?

— Найди свою точку и упрись!

— А ты чего же не упирался?

— Вотъ я те и говорю, чудакъ человѣкъ, что я самъ виноватъ въ моей долѣ!.. Не нашелъ я точки моей!. Ищу, тоскую—не нахожу!

Однако, надо было позаботиться о хлѣбѣ, и мы принялись за работу, продолжая доказывать другъ другу правильность своихъ воззрѣній. Конечно, ничего не доказали и оба, взволнованные, кончивъ работу, легли спать.

Коноваловъ растянулся на полу пекарни и скоро заснулъ. Я лежалъ на мѣшкахъ съ мукой и сверху внизъ смотрѣлъ на его могучую бородатую фигуру, богатырски раскинувшуюся на рогожѣ, брошенной около ларя. Пахло горячимъ хлѣбомъ, кислымъ тѣстомъ, углекислотой... Свѣтало, и въ стёкла оконъ, покрытыя плёнкой мучной пыли, смотрѣло сѣрое небо. Грохотала телѣга, и пастухъ игралъ, собирая стадо.

Коноваловъ храпѣлъ. Я смотрѣлъ, какъ вздымалась

его широкая грудь, и обдумывалъ разные способы наискорѣйшаго обращенія его въ мою вѣру, но ничего не выдумалъ и заснулъ.

Поутру мы съ нимъ встали, поставили опару, умылись и сѣли на ларѣ пить чай.

— Что, у тебя есть книжка?—спросилъ Коноваловъ.

— Есть...

— Почитаешь мнѣ?

— Ладно...

— Вотъ хорошо! Знаешь что? Проживу я мѣсяцъ, возьму у хозяина деньги и половину—тебѣ!

— На что?

— Купи книжекъ... Себѣ купи, которыя по вкусу тамъ, и мнѣ купи... хоть двѣ. Мнѣ, которыя про мужиковъ. Вотъ вродѣ Пилы и Сысойки... И чтобы, знаешь, съ жалостью было написано, а не смѣха ради... Есть иныя—чепуха совсѣмъ! Панфилка и Филатка—даже съ картинкой на первомъ мѣстѣ — дурость. Пошехонцы... сказки разныя. Не люблю я это все. Я не зналъ, что есть этакія, вотъ какъ у тебя.

— Хочешь про Стеньку Разина?

— Про Стеньку? Хорошо?

— Очень хорошо...

— Тащи!

И вскорѣ я уже читалъ ему Н. Костомарова: „Бунтъ Стеньки Разина“. Сначала эта талантливая монографія, почти эпическая поэма, не понравилась моему бородатому слушателю.

— А почему тутъ разговоровъ нѣтъ? — спросилъ онъ, заглядывая въ книгу. И когда я объяснилъ — почему, онъ даже зѣвнулъ и хотѣлъ скрыть зѣвокъ, но это ему не удалось, и онъ сконфуженно и виновато заявилъ мнѣ:

— Читай... ничего. Это я такъ...

Но по мѣрѣ того, какъ историкъ рисовалъ своей художественной кистью фигуру Степана Тимоѳеевича

и „князь волжской вольницы“ выросталъ со страницъ книги, Коноваловъ перерождался. Ранѣе скучный и равнодушный, съ глазами, затуманенными лѣнивой дремотой,—онъ, постепенно и незамѣтно для меня, предсталъ предо мной въ поразительно новомъ видѣ. Сидя на ларѣ противъ меня и обнявъ свои колѣни руками, онъ положилъ на нихъ подбородокъ такъ, что его борода закрыла ему ноги, и смотрѣлъ на меня жадными, странно горѣвшими глазами изъ-подъ сурово нахмуренныхъ бровей. Въ немъ не было ни одной черточки той дѣтской наивности, которой онъ всегда удивлялъ меня, и все то простое и женственно-мягкое, что такъ шло къ его голубымъ, добрымъ глазамъ, теперь потемнѣвшимъ и суженнымъ, — исчезло куда-то. Нѣчто львиное, огневое было въ его сжатой въ комъ мускуловъ фигурѣ. Я замолчалъ, взглянувъ на него.

— Читай,— тихо, но внушительно сказалъ онъ.

— Ты что?

— Читай! — повторилъ онъ, и въ тонѣ его вмѣстѣ съ просьбой звучало раздраженіе.

Я продолжалъ, изрѣдка поглядывая на него и видя, что онъ все болѣе разгорается. Отъ него исходило что-то возбуждавшее и опьянявшее меня—какой-то горячій туманъ. И вотъ, я дошелъ до того, какъ поймали Стеньку.

— Поймали!—рявкнулъ Коноваловъ.

Боль, обида, гнѣвъ, готовность выручить Степана звучали въ его сильномъ возгласѣ.

У него выступилъ потъ на лбу и глаза странно расширились. Онъ соскочилъ съ ларя, высокій и возбужденный, остановился противъ меня, положилъ мнѣ руку на плечо и громко, торопливо заговорилъ:

— Погоди! Не читай... Скажи, что теперь будетъ? Нѣтъ, стой, не говори! Казнятъ его? А? Читай скорѣй, Максимъ!

Можно было думать, что именно Коноваловъ, а не Фролка—родной братъ Разину. Казалось, что какія-то

узы крови, неразрывныя и не остывшія за три столѣтія, до сей поры связываютъ этого босяка со Стенькой, и босякъ со всей силой живого, крѣпкаго тѣла, со всей страстью тоскующаго безъ „точки“ духа, чувствуетъ боль и гнѣвъ пойманнаго триста лѣтъ тому назадъ вольнаго сокола.

— Да читай, Христа ради!

Я читалъ, возбужденный и взволнованный, чувствуя, какъ бьется мое сердце и вмѣстѣ съ Коноваловымъ переживая Стенькину тоску. И вотъ мы дошли до пытокъ.

Коноваловъ скрипѣлъ зубами, и его голубые глаза сверкали, какъ угли. Онъ навалился на меня сзади и тоже не отрывалъ глазъ отъ книги. Его дыханіе шумѣло надъ моимъ ухомъ и сдувало мнѣ волосы съ головы на глаза. Я встряхивалъ головой для того, чтобы отбросить ихъ. Коноваловъ увидалъ это и положилъ мнѣ на голову свою тяжелую ладонь.

„Тутъ Разинъ такъ скрипнулъ зубами, что вмѣстѣ съ кровью выплюнулъ ихъ на полъ...“

— Будетъ!... Къ чорту!—крикнулъ Коноваловъ и, вырвавъ у меня изъ рукъ книгу, изо всей силы шлепнулъ ее объ полъ и самъ опустился за ней.

Онъ плакалъ, и такъ какъ ему было стыдно слезъ, онъ какъ-то рычалъ, чтобы не рыдать. Онъ спряталъ голову въ колѣни и плакалъ, вытирая глаза о свои грязныя тиковыя штаны.

Я сидѣлъ передъ нимъ на ларѣ и не зналъ, что сказать ему въ утѣшеніе.

— Максимъ!—говорилъ Коноваловъ, сидя на полу.— Страшно! Пила... Сысойка. А потомъ Стенька... а? Какая судьба!.. Зубы-то какъ онъ выплюнулъ!.. а?

И онъ весь вздрагивалъ въ своемъ волненіи.

Его особенно поразили эти выплюнутые Стенькой зубы, и онъ то и дѣло, болѣзненно передергивая плечами, говорилъ о нихъ.

Мы оба съ нимъ были какъ пьяные подъ вліяніемъ

вставшей предъ нами мучительной и жестокой картины пытокъ.

— Ты мнѣ ее еще разъ прочитай, слышишь?—уговаривалъ меня Коноваловъ, поднявъ съ полу книгу и подавая ее мнѣ.—А ну-ка, покажи, гдѣ тутъ написано насчетъ зубовъ?

Я показалъ ему, и онъ впился глазами въ эти строки.

— Такъ и написано: „зубы свои выплюнулъ съ кровью“? А буквы тѣ же самыя, какъ и всѣ другія... Господи! Какъ ему больно-то было, а? Зубы даже... а въ концѣ тамъ что еще будетъ? Казнь? Ага! Слава Те, Господи, все-таки казнятъ человѣка!

Онъ выразилъ эту радость предъ казнью съ такой страстью, съ такимъ удовлетвореніемъ въ глазахъ, что я вздрогнулъ отъ этого состраданія, такъ сильно желавшаго смерти измученному Стенькѣ.

Весь этотъ день прошелъ у насъ въ странномъ туманѣ: мы все говорили о Стенькѣ, вспоминая его жизнь, пѣсни, сложенныя о немъ, его пытки. Раза два Коноваловъ запѣлъ звучнымъ баритономъ пѣсни и обрывалъ ихъ.

Мы съ нимъ стали еще ближе другъ къ другу съ этого дня.

Я еще нѣсколько разъ читалъ ему „Бунтъ Стеньки Разина“, „Тараса Бульбу“ и „Бѣдныхъ людей“. Тарасъ тоже очень понравился моему слушателю, но онъ не могъ затемнить яркаго впечатлѣнія отъ книги Костомарова. Макара Дѣвушкина и Варю Коноваловъ не понималъ. Ему казался только смѣшнымъ языкъ писемъ Макара, а къ Варѣ онъ относился скептически.

— Ишь ты, ластится къ старику! Хитрая!.. А онъ... экое чучело! Однако, брось ты, Максимъ, эту канитель! Чего тутъ? Онъ къ ней, она къ нему... Портили бумагу...

ну ихъ къ свиньямъ на хуторъ! Не жалостно и не смѣшно: для чего писано?

Я напоминалъ ему подлиповцевъ, но онъ не соглашался со мной.

— Пила и Сысойка—это другая модель! Они люди живые, живутъ и бьются... а эти чего? Пишутъ письма... скучно! Это даже и не люди, а такъ себѣ... одна выдумка. Вотъ Тарасъ со Стенькой, ежели бы ихъ рядомъ... Батюшки! Какихъ они дѣловъ натворили бы. Тогда и Пила съ Сысойкой... взбодрились бы, чай?

Онъ плохо понималъ время, и въ его представленіи всѣ излюбленные имъ герои существовали вмѣстѣ, только двое изъ нихъ жили въ Усольѣ, одинъ въ „хохлахъ", одинъ на Волгѣ... Мнѣ съ трудомъ удалось убѣдить его, что если бы Сысойка и Пила „съѣхали" внизъ по Камѣ, они со Стенькой не встрѣтились бы, и если бы Стенька „дернулъ черезъ донскіе казаки въ хохлы", онъ не нашелъ бы тамъ Бульбу.

Это огорчило Коновалова, когда онъ понялъ, въ чемъ дѣло. Я попробовалъ угостить его пугачевскимъ бунтомъ, желая посмотрѣть, какъ онъ отнесется къ Емелькѣ. Коноваловъ забраковалъ Пугачева.

— Ахъ, шельма клейменая,—ишь ты! Царскимъ именемъ прикрылся и мутитъ... Сколько людей погубилъ, пёсъ!.. Стенька?—это, братъ, другое дѣло. А Пугачъ—гнида, и больше ничего. Важное кушанье! Вотъ вродѣ Стеньки нѣтъ ли книжекъ? Поищи... А этого телячьяго Макара брось—не занимательно. Ужъ лучше ты еще разъ прочти, какъ казнили Степана...

Въ праздники мы съ Коноваловымъ уходили за рѣку, въ луга. Мы брали съ собой немного водки, хлѣба, книгу и съ утра отправлялись „на вольный воздухъ", какъ называлъ Коноваловъ эти экскурсіи.

Намъ особенно нравилось бывать въ „стеклянномъ заводѣ". Такъ почему-то называлось зданіе, стоявшее недалеко отъ города въ полѣ. Это былъ трехъэтажный,

каменный домъ съ провалившейся крышей, съ изломанными рамами въ окнахъ, съ подвалами, все лѣто полными жидкой пахучей грязи. Зеленовато-сѣрый, полуразрушенный, какъ бы опустившійся, онъ смотрѣлъ съ поля на городъ темными впадинами своихъ изуродованныхъ оконъ и казался инвалидомъ-калѣкой, обиженнымъ судьбой, изринутымъ изъ предѣловъ города, жалкимъ и умирающимъ. Въ половодье этотъ домъ изъ года въ годъ подмывала вода, но онъ, весь отъ крыши до основанія покрытый зеленой коркой плѣсени, несокрушимо стоялъ, огражденный лужами отъ частыхъ визитовъ полиціи,—стоялъ и, хотя у него не было крыши, давалъ кровъ разнымъ темнымъ и безпріютнымъ людямъ.

Ихъ всегда было много въ немъ; оборванные, полуголодные, боящіеся солнечнаго свѣта, они жили въ этой развалинѣ, какъ совы, и мы съ Коноваловымъ всегда были среди нихъ желанными гостями, потому что и онъ, и я, уходя изъ пекарни, брали по короваю бѣлаго хлѣба, дорогой покупали четверть водки и цѣлый лотокъ „горячаго"—печенки, легкаго, сердца, рубца. На два-три рубля мы устраивали очень сытное угощеніе „стекляннымъ людямъ", какъ ихъ называлъ Коноваловъ.

Они платили намъ за эти угощенія разсказами, въ которыхъ ужасная, душу потрясающая правда фантастически перепутывалась съ самой наивной ложью. Каждый разсказъ являлся предъ нами кружевомъ, въ которомъ преобладали черныя нити—это было правда, и встрѣчались нити яркихъ цвѣтовъ—ложь. Такое кружево падало на мозгъ и сердце и больно давило и то, и другое, сжимая его своимъ жесткимъ, мучительно разнообразнымъ рисункомъ. „Стеклянные люди" по-своему любили насъ—я часто читалъ имъ разныя книги и почти всегда эти люди внимательно и вдумчиво слушали мое чтеніе.

Знаніе жизни у нихъ, вышвырнутыхъ за бортъ ея, поражало меня своей глубиной, и я жадно слушалъ

ихъ разсказы, а Коноваловъ слушалъ ихъ для того, чтобы возражать противъ философіи разсказчика и втянуть меня въ споръ.

Выслушавъ исторію жизни и паденія, разсказанную какимъ-нибудь фантастически-разодѣтымъ субъектомъ, съ физіономіей человѣка, которому никакъ уже нельзя положить пальца въ ротъ,—выслушавъ такую исторію, всегда носящую характеръ оправдательно-защитительной реляціи, Коноваловъ задумчиво улыбался и отрицательно покачивалъ головой. Это замѣчали потому, что это дѣлалось открыто.

— Не вѣришь, Леса?—восклицалъ разсказчикъ.

— Нѣтъ, вѣрю... Какъ можно не вѣрить человѣку! Даже и если видишь—вретъ онъ, вѣрь ему, т.-е. слушай и старайся понять, почему онъ вретъ? Иной разъ вранье-то лучше правды объясняетъ человѣка... Да и какую мы всѣ про себя правду можемъ сказать? Самую пакостную... А соврать можно хорошо... Вѣрно?

— Вѣрно...—соглашается разсказчикъ. — А все-таки ты это къ чему головой-то качалъ?

— Къ чему? А къ тому, что ты неправильно разсуждаешь... Разсказываешь ты такъ, что приходится понимать, будто всю твою жизнь не ты самъ, а шабры дѣлали и разные прохожіе люди. А гдѣ же ты въ это время былъ? И почему ты противъ своей судьбы никакой силы не выставилъ? И какъ это такъ выходитъ, что всѣ мы жалуемся на людей, а сами тоже люди, и, значитъ, на насъ тоже можно жаловаться? Намъ жить мѣшаютъ,—значитъ, и мы тоже кому-нибудь мѣшали, вѣрно? Ну, такъ какъ вотъ это объяснить?

— Нужно такую жизнь строить, чтобъ въ ней всѣмъ было просторно и никто никому не мѣшалъ—сентенціозно ставятъ Коновалову тезисъ.

— А кто долженъ строить жизнь?—побѣдоносно вопрошаетъ онъ и, боясь, что у него предвосхитятъ отвѣтъ на его вопросъ, тотчасъ же отвѣчаетъ:—Мы! Сами мы

А какъ же мы будемъ строить жизнь, если мы этого не умѣемъ и наша жизнь не удалась? И выходитъ, братцы мои, что вся опора—это мы! Ну, а извѣстно, что такое есть мы...

Ему возражали, оправдывая себя, но онъ настойчиво твердилъ свое; никто ни въ чемъ не виноватъ предъ ними, но каждый изъ насъ во всемъ виноватъ самъ предъ собою.

Крайне трудно было сбить его съ почвы этого положенія и крайне трудно было усвоить его взглядъ на людей. Съ одной стороны, они въ его представленіи являлись вполнѣ правоспособными къ устройству свободной жизни, съ другой — они являлись какими-то слабыми, хлипкими и неспособными рѣшительно ни на что, кромѣ жалобъ другъ на друга.

Весьма часто такіе споры, начатые въ полдень, кончались около полуночи, и мы съ Коноваловымъ возвращались отъ „стеклянныхъ людей“ во тьмѣ и по ко лѣно въ грязи.

Однажды мы едва не утонули въ какой-то трясинѣ, другой разъ мы попали въ облаву и ночевали въ части вмѣстѣ съ двумя десятками разныхъ пріятелей изъ „стекляннаго завода“, съ точки зрѣнія полиціи оказавшихся подозрительными личностями. Иногда намъ не хотѣлось философствовать, и мы шли далеко въ луга, за рѣку, гдѣ были маленькія озера, изобиловавшія мелкой рыбой, зашедшей въ нихъ во время половодья. Въ кустахъ, на берегу одного изъ такихъ озеръ, мы зажигали костеръ, который былъ намъ нуженъ лишь потому, что увеличивалъ красоту обстановки, и читали книгу или бесѣдовали о жизни. А иногда Коноваловъ задумчиво предлагалъ:

— Максимъ! давай въ небо смотрѣть!

Мы ложились на спины и смотрѣли въ голубую бездонную бездну надъ нами. Сначала мы слышали и шелестъ листвы вокругъ насъ, и всплески воды въ озерѣ,

чувствовали подъ собой землю и вокругъ себя все то, что въ ту пору было тутъ... Потомъ постепенно голубое небо, какъ бы притягивавшее насъ къ себѣ, облекало наше сознаніе въ туманъ, мы утрачивали чувство бытія и, какъ бы отрываясь отъ земли, точно плавали въ пустынѣ небесъ, находясь въ полудремотномъ, созерцательномъ состояніи и стараясь не разрушать его ни словомъ, ни движеніемъ.

Такъ лежали мы по нѣскольку часовъ кряду и возвращались домой къ работѣ, духовно и тѣлесно обновленные и освѣженные единеніемъ съ природой.

Коноваловъ любилъ ее глубокой, безсловесной любовью, выражавшейся только мягкимъ блескомъ его глазъ, и всегда, когда онъ былъ въ полѣ или на рѣкѣ, онъ весь проникался какимъ-то миролюбиво-ласковымъ настроеніемъ, еще болѣе увеличивавшимъ его сходство съ ребенкомъ. Иногда онъ съ глубокимъ вздохомъ говорилъ, глядя въ небо:

— Эхъ!.. Хорошо!

И въ этомъ восклицаніи всегда было болѣе смысла и чувства, чѣмъ въ риторическихъ фигурахъ многихъ поэтовъ, восхищающихся скорѣе ради поддержанія своей репутаціи людей съ тонкимъ чутьемъ прекраснаго, чѣмъ изъ дѣйствительнаго преклоненія предъ невыразимо ласковой красой природы...

Какъ все,—и поэзія теряетъ свою святую простоту и непосредственность, когда изъ поэзіи дѣлаютъ профессію.

День за днемъ прошли два мѣсяца, въ теченіе которыхъ я съ Коноваловымъ о многомъ переговорилъ и много прочиталъ. „Бунтъ Стеньки“ я читалъ ему такъ часто, что онъ уже свободно разсказывалъ книгу своими словами, страницу за страницей, съ начала до конца.

Эта книга стала для него тѣмъ, чѣмъ становится

иногда волшебная сказка для впечатлительнаго ребенка. Онъ называлъ предметы, съ которыми имѣлъ дѣло, именами ея героевъ, и когда однажды съ полки упала и разбилась хлѣбная чашка, онъ огорченно и зло воскликнулъ:

— Ахъ ты, воевода Прозоровскій!

Неудавшійся хлѣбъ онъ величалъ Фролкой, дрожди именовались „Стенькины думки"; самъ же Стенька былъ синонимомъ всего исключительнаго, крупнаго, несчастнаго, неудавшагося.

О Капитолинѣ, письмо которой я читалъ и сочинялъ отвѣтъ на него въ первый день знакомства съ Коноваловымъ, за все время почти не упоминалось.

Я зналъ, что Коноваловъ посылалъ ей деньги на имя нѣкоего Филиппа съ просьбой къ нему поручиться въ полиціи за дѣвушку, но ни отъ Филиппа, ни отъ дѣвушки никакого отвѣта не послѣдовало.

И вдругъ однажды вечеромъ, когда мы съ Коноваловымъ готовились сажать хлѣбы, дверь въ пекарню отворилась и изъ темноты сырыхъ сѣней низкій женскій голосъ, одновременно робкій и задорный, произнесъ:

— Извините...

— Кого нужно?—спросилъ я, въ то время, какъ Коноваловъ, опустивъ къ ногамъ лопату, смущенно дергалъ себя за бороду.

— Булочникъ Коноваловъ здѣсь работаетъ?

Теперь она стояла на порогѣ, и свѣтъ висячей лампы падалъ ей прямо на голову — въ бѣломъ шерстяномъ платкѣ. Изъ-подъ платка смотрѣло круглое, миловидное, курносое личико съ пухлыми щеками и ямочками на нихъ отъ улыбки пухлыхъ, красныхъ губъ.

— Здѣсь!—отвѣтилъ я ей.

— Здѣсь, здѣсь! — вдругъ и какъ-то очень шумно обрадовался Коноваловъ, бросивъ лопату и широкими шагами направляясь къ гостьѣ.

— Сашенька!—глубоко вздохнула она ему навстрѣчу.

Они обнялись, для чего Коноваловъ низко наклонился къ ней.

— Ну, что? Какъ? Давно? А? Вотъ такъ ты! Свободна? Хорошо! Вотъ видишь? Я говорилъ... теперь у тебя опять есть дорога! Ходи смѣло!—торопливо изъяснился предъ ней Коноваловъ, все еще стоя у порога и не разводя своихъ рукъ, обнявшихъ ея шею и талію.

— Максимъ... ты, братъ, воюй одинъ сегодня, а я займусь вотъ по дамской части... Гдѣ же ты, Капа, остановилась?

— А я прямо сюда, къ тебѣ...

— Сю-юда? Сюда невозможно... здѣсь хлѣбъ пекутъ и... никакъ нельзя! Хозяинъ у насъ строжайшій человѣкъ. Нужно будетъ пристроиться на ночь въ иномъ мѣстѣ... въ номерѣ, скажемъ. Айда!

И они ушли. Я остался воевать съ хлѣбами и никакъ не ожидалъ Коновалова ранѣе утра, но, къ немалому моему изумленію, часа черезъ три онъ явился. Мое изумленіе еще больше увеличилось, когда, взглянувъ на него въ чаяніи видѣть на его лицѣ сіяніе радости, я увидѣлъ, что оно только кисло, скучно и утомлено.

— Что ты? — спросилъ я, сильно заинтересованный этимъ неподобающимъ событію настроеніемъ моего друга.

— Ничего...—уныло отвѣтилъ онъ и, помолчавъ, довольно свирѣпо сплюнулъ.

— Нѣтъ, все-таки?..—настаивалъ я.

— Да что тебѣ?—устало отозвался онъ, во весь ростъ растягиваясь на ларѣ.—Все-таки... все-таки... Все-таки—баба! Вотъ те и все.

Мнѣ стоило большого труда добиться отъ него объясненія, и, наконецъ, онъ далъ мнѣ его такими приблизительно словами:

— Говорю — баба! И когда бы я не былъ дуракомъ, такъ ничего бы этого не было. Понялъ? Ну... Вотъ ты

говоришь: и баба человѣкъ! Извѣстно, ходитъ она на однѣхъ заднихъ лапахъ, травы не ѣстъ, слова говоритъ, смѣется... значитъ, не скотъ. А все-таки нашему брату не компанія... Н-да! Почему? А... не знаю! Чувствую, не подходитъ, но понимать не могу — почему... Вонъ она, Капитолина, какую линію гнетъ—хочу, говоритъ, съ тобой, это значитъ—со мной, жить вродѣ жены. Желаю, говоритъ, быть твоей дворняжкой... Совсѣмъ несообразно! Ну, милая ты дѣвочка, говорю, дуреха ты; ну, разсуди, какъ со мной жить? Первое дѣло у меня — запой, во-вторыхъ, нѣтъ у меня никакого дому, въ-третьихъ, я есть бродяга и не могу на одномъ мѣстѣ жить... и прочее такое, очень многое... А она—запой наплевать. Всѣ, говоритъ, мастеровые мужчины горькіе пьяницы, однако, жены у нихъ есть; домъ, говоритъ, будетъ, коли будетъ жена, и никуда, говоритъ, ты тогда не побѣжишь... Я говорю: Капа, никакъ я не могу къ этому склониться, потому что я знаю—жизнью такой жить не умѣю я и не научусь. А она — а я, говоритъ, въ рѣчку прыгну! А я ей: ду-урра! А она ругаться, да вѣдь ка-акъ! Ахъ ты, говоритъ, смутьянъ, безстыжая рожа, обманщикъ, длинный чортъ!.. И почала, и почала... просто такъ-то ли разъярилась на меня, что я чуть не сбѣжалъ. Потомъ начала плакать. Плачетъ и пеняетъ мнѣ: зачѣмъ ты, говоритъ, меня изъ того мѣста вынулъ, коли я тебѣ не нужна? Зачѣмъ ты, говоритъ, меня оттуда сманилъ, и куда, говоритъ, я теперь дѣнусь? Рыжій ты, говоритъ, дуракъ... Ф-фу! Ну что теперь съ ней дѣлать?

— Да ты ее, въ самомъ дѣлѣ, почему оттуда вытащилъ?—спросилъ я.

— Почему? Вотъ чудакъ! Чай, жалко! Вѣдь угрязаетъ человѣкъ... и всякому мимоидущему его жалко. Но чтобы обзаводиться... и прочее такое, ни-ни! На это я согласиться не могу. Какой я семьянинъ? Да кабы я могъ держаться на этой точкѣ, такъ я бы ужъ давно рѣшился. Какіе резоны были! Могъ бы съ приданымъ

и... все такое. Но ежели это не въ моей силѣ, какъ я могу творить такое дѣло? Плачетъ она... это, конечно... тово, нехорошо... Но вѣдь какъ же? Я не могу!

Онъ даже головой замоталъ въ подтвержденіе своего тоскливаго „не могу“, всталъ съ ларя и, обѣими руками ероша бороду и волосы на головѣ, началъ, низко опустивъ голову и отплевываясь, шагать по пекарнѣ.

— Максимъ!—просительно и сконфуженно заговорилъ онъ,—пошелъ бы ты къ ней и какъ-нибудь этакъ сказалъ ей, почему и отчего..., а? Пойди братъ!

— Что же я ей скажу?

— Всю правду говори!.. Не можетъ, молъ, онъ. Неподходящее это ему... А то скажи вотъ что... у него, молъ, дурная болѣзнь!

— Да вѣдь это неправда?—засмѣялся я.

— Н-да... неправда... А причина хо-рошая, а? Ахъ ты, чортъ те возьми! Вотъ такъ каша—жена! А? Да я про это и не думалъ ни разика! Ну куда мнѣ жена?

Онъ съ такимъ недоумѣніемъ и испугомъ развелъ руками при этихъ словахъ, что было ясно—ему совсѣмъ некуда дѣвать жену! И, несмотря на комизмъ его изложенія всей этой исторіи, ея драматическая сторона заставила меня крѣпко задуматься надъ положеніемъ товарища и этой дѣвушки. А онъ все ходилъ по пекарнѣ и говорилъ какъ бы уже самъ съ собою:

— И не понравилась теперь она мнѣ, ну, просто страхъ какъ! Такъ это и засасываетъ меня она, такъ и втягиваетъ куда-то, точно трясина бездонная. Ишь ты, облюбовала себѣ мужа! Не больно умна, а хитрая дѣвочка.

Это въ немъ начиналъ говорить инстинктъ бродяги, возбужденное чувство вѣчнаго стремленія къ свободѣ, на которую было сдѣлано покушеніе.

— Нѣтъ, меня на такого червя не поймаешь, я есть рыба крупная!—хвастливо воскликнулъ онъ.—Я вотъ какъ возьму, да... а что въ самомъ дѣлѣ?—И, остано-

вясь среди пекарни, онъ, улыбаясь, задумался. Я слѣдилъ за игрой его возбужденной физіономіи и старался предугадать, на чемъ онъ рѣшилъ.

— Максимъ! Айда на Кубань?!

Этого я не ожидалъ. У меня по отношенію къ нему имѣлись нѣкоторыя литературно-педагогическія намѣренія:—я питалъ надежду выучить его грамотѣ и передать ему все то, что самъ зналъ въ ту пору. Было бы любопытно посмотрѣть, что изъ этого выйдетъ... Онъ далъ мнѣ слово все лѣто не двигаться съ мѣста; это облегчало мнѣ мою задачу, и вдругъ...

— Ну это ужъ ты ерундишь!—нѣсколько смущенно сказалъ я ему.

— Да что жъ мнѣ дѣлать?—воскликнулъ онъ.

Я началъ говорить ему, что, пожалуй, посягательство Капитолины на него совсѣмъ ужъ не такъ рѣшительно-серьезно, какъ онъ его себѣ представляетъ, и что надо посмотрѣть и подождать.

И даже, какъ оказалось, ждать-то было не долго.

Мы бесѣдовали, сидя на полу передъ печью спинами къ окнамъ. Время было близко къ полночи, и съ той поры, какъ Коноваловъ пришелъ, прошло часа полтора—два. Вдругъ сзади насъ раздался дребезгъ стеколъ, и на полъ шумно грохнулся довольно увѣсистый булыжникъ. Мы оба въ испугѣ вскочили и бросились къ окну.

— Не попала!—визгливо кричали въ него.—Плохо мѣтила! А ужъ бы...

— П'дё-емъ!—рычалъ звѣрскій басъ.—П'дё-емъ, а я его послѣ... уважу.

Отчаянный, истерическій и пьяный хохотъ, визгливый, рвавшій нервы, летѣлъ съ улицы въ разбитое окно.

— Это она!—тоскливо сказалъ Коноваловъ.

Я видѣлъ пока только двѣ ноги, свѣшенныя съ панели въ углубленіе предъ окномъ. Онѣ висѣли и стран-

но болтались, ударяя пятками по кирпичной стѣнкѣ ямы, какъ бы ища себѣ опоры.

— Да п'дё-емъ!—лопоталъ басъ.

— Пусти! Не тяни меня, дай отвести душу. Прощай Сашка! Прощай... — слѣдовала довольно нецензурная брань.

Подойдя ближе къ окну, я увидалъ Капитолину. Наклонившись внизъ, упираясь руками въ панель, она старалась заглянуть внутрь пекарни, и ея растрепанные волосы разсыпались по плечамъ и груди. Бѣленькій платокъ былъ сбитъ въ сторону, грудь лифа разорвана. Капитолина была страшно пьяна и качалась изъ стороны въ сторону, икая, ругаясь, истерично взвизгивая, вся дрожащая, вся растрепанная, съ краснымъ, пьянымъ, облитымъ слезами лицомъ...

Надъ ней согнулась высокая фигура мужчины, и онъ, упираясь одной рукой ей въ плечо, а другой въ стѣну дома, все рычалъ:

— П'дё-емъ!..

— Сашка! Погубилъ ты меня... помни! Будь проклятъ, рыжій чортъ! Не видать бы тебѣ ни часу свѣта Божьяго. Надѣялась я... поправиться... насмѣялся ты, злодѣй, надо мной... ладно! Сочтемся! А... Спрятался! Стыдно, харя поганая... Саша... голубчикъ.

— Я не спрятался...—подойдя къ окну и взлѣзая на ларь, сказалъ глухо и густо Коноваловъ.—Я не прячусь... а ты напрасно... Я добра вѣдь тебѣ хотѣлъ; добро будетъ—думалъ, а ты понесла совсѣмъ несообразное...

— Сашка! Можешь ты меня убить?

— Зачѣмъ ты напилась? Развѣ ты знаешь, что было бы... завтра...

— Сашка! Саша! Утопи меня!

— Бу-удетъ! П'дё-емъ!

— Мер-рзавецъ! Зачѣмъ ты притворился хорошимъ человѣкомъ?

— Что за шумъ, а? Кто такіе?

Свистокъ ночного сторожа вмѣшался въ этотъ діалогъ, заглушилъ его и замеръ.

— Зачѣмъ я въ тебя, чортъ, повѣрила...—рыдала дѣвушка подъ окномъ.

Потомъ ея ноги вдругъ дрогнули, быстро мелькнули вверхъ и пропали во тьмѣ. Раздался глухой говоръ, возня...

— Не хочу въ полицію! Са-аша!—тоскливо вопила дѣвушка.

По мостовой тяжело затопали ноги.

Свистки, глухое рычаніе, вопли...

— Са-аша! Ми-илый!

Казалось, кого-то немилосердно истязуютъ... Все это удалялось отъ насъ, становилось глуше, тише и пропало, какъ кошмаръ.

Ошеломленные, подавленные этой сценой, разыгравшейся поразительно быстро, мы съ Коноваловымъ смотрѣли на улицу во тьму и не могли опомниться отъ этого плача, рева, ругательствъ, начальническихъ окриковъ, болѣзненныхъ стоновъ. Я вспоминалъ отдѣльные звуки и съ трудомъ вѣрилъ, что все это было наяву. Страшно быстро кончилась эта маленькая, но тяжелая драма.

— Все...—какъ-то особенно кротко и просто сказалъ Коноваловъ, прислушавшись еще разъ къ тишинѣ темной ночи, безмолвно и строго смотрѣвшей на него въ окно.

— Какъ она меня!..—съ изумленіемъ продолжалъ онъ черезъ нѣсколько секундъ, оставаясь въ старой позѣ, на ларѣ, стоя на колѣняхъ и упираясь руками въ пологій подоконникъ.—Въ полицію попала... пьяная... съ какимъ-то чортомъ. Скоро какъ порѣшила!—Онъ глубоко вздохнулъ, слѣзъ съ ларя, сѣлъ на мѣшокъ, обнялъ голову руками, покачался и спросилъ меня вполголоса:

— Разскажи ты мнѣ, Максимъ, что же это такое

тутъ теперь вышло?... Т.-е. какое мое теперь во всемъ этомъ дѣло?

Я разсказалъ. Прежде всего нужно понимать то, что хочешь дѣлать, и въ началѣ дѣла нужно уже представлять себѣ его возможный конецъ. Онъ все это не понималъ, не зналъ и—кругомъ во всемъ виноватъ. Я былъ обозленъ имъ—стоны и крики Капитолины, пьяное „п'дё-емъ!..“—все это еще стояло у меня въ ушахъ, и я не щадилъ товарища.

Онъ слушалъ меня съ наклоненной головой, а когда я кончилъ, поднялъ ее, и на лицѣ его я прочиталъ испугъ и изумленіе.

— Вотъ такъ разъ!—восклицалъ онъ.—Ловко! Ну, и... что же теперь? А? Какъ же? Что мнѣ съ ней дѣлать?

Въ тонѣ его словъ было такъ много чисто-дѣтскаго по искренности сознанія своей вины предъ этой дѣвушкой и такъ много безпомощнаго недоумѣнія, что мнѣ тутъ же стало жаль товарища, и я подумалъ, что, пожалуй, ужъ очень рѣзко говорилъ съ нимъ.

— И зачѣмъ я ее тронулъ съ того мѣста!—каялся Коноваловъ.—Эхма! вѣдь какъ она теперь на меня... я вотъ что... Я пойду туда, въ полицію, и похлопочу... Увижу ее... и прочее такое. Скажу ей... что-нибудь. Идти?

Я замѣтилъ, что едва ли будетъ какой-либо толкъ отъ его свиданія. Что онъ ей скажетъ? Къ тому же, она пьяная и, навѣрное, спитъ уже.

Но онъ укрѣпился въ своей мысли.

— Пойду, погоди. Все таки я ей добра желаю... какъ хошь. А тамъ что за люди для нея? Пойду. Ты тутъ тово... я скоро.

И надѣвъ на голову картузъ, онъ даже безъ опорокъ, въ которыхъ обыкновенно щеголялъ, быстро вышелъ изъ пекарни.

Я отработался и легъ спать, а когда поутру, про-

снувшись, по привычкѣ взглянулъ на мѣсто, гдѣ спалъ Коноваловъ, его еще не было.

Онъ явился только къ вечеру—хмурый, взъерошенный, съ рѣзкими складками на лбу и съ какимъ-то туманомъ въ голубыхъ глазахъ. Не глядя на меня, подошелъ къ ларямъ, посмотрѣлъ, что мной сдѣлано, и молча легъ на полъ.

— Что же, ты видѣлъ ее?—спросилъ я.

— Зачѣмъ и ходилъ.

— Ну такъ что же?

— Ничего.

Было ясно—онъ не хотѣлъ говорить. Полагая, что такое настроеніе не продлится у него долго, я не сталъ надоѣдать ему вопросами. И онъ весь этотъ день молчалъ, только по необходимости бросая мнѣ краткія фразы, относящіяся къ работѣ, расхаживая по пекарнѣ съ понуренной головой и все съ тѣми же туманными глазами, съ какими пришелъ. Въ немъ точно погасло что-то; онъ работалъ медленно и вяло, какъ связанный своими думами. Ночью, когда мы уже посадили послѣдніе хлѣбы въ печь и, изъ боязни передержать ихъ, не ложились спать, онъ попросилъ меня:

— Ну-ка, почитай про Стеньку что-нибудь.

Такъ какъ описаніе пытокъ и казни всего болѣе возбуждало его—я сталъ ему читать именно это мѣсто. Онъ слушалъ, неподвижно растянувшись на полу кверху грудью, и не мигая глазами, смотрѣлъ въ закопченые своды потолка.

— Умеръ Стенька. Вотъ и порѣшили съ человѣкомъ,—медленно заговорилъ Коноваловъ. — А все-таки въ ту пору можно было жить. Свободно. Было куда податься, можно было душу отвести. Теперь вотъ тишина и смиренство... порядокъ... ежели такъ со стороны посмотрѣть, совсѣмъ даже смирная жизнь теперь стала. Книжки, грамота... А все таки человѣкъ безъ защиты живетъ и никакого призору за нимъ нѣтъ. Грѣшить

ему запрещено, но не грѣшить невозможно... Потому на улицахъ-то порядокъ, а въ душѣ—путаница. И никто никого не можетъ понимать.

— Саша! Ну такъ какъ же ты съ Капитолиной-то?— спросилъ я.

— А?—встрепенулся онъ. Съ Капкой? Шабашъ... — Онъ рѣшительно махнулъ рукой.

— Кончилъ, значитъ?

— Я? Нѣтъ... она сама кончила.

— Какъ?

— Очень просто. Стала на свою точку и больше никакихъ... Все по старому. Только раньше она не пила, а теперь пить стала... Ты вынь хлѣбъ, а я буду спать.

Въ пекарнѣ стало тихо. Коптила лампа, изрѣдка потрескивала заслонка печи, и корки испеченаго хлѣба на полкахъ тоже трещали, подсыхая. На улицѣ, противъ нашихъ оконъ, разговаривали ночные сторожа. И еще какой-то странный звукъ порой доходилъ до слуха съ улицы, не то гдѣ-то скрипѣла вывѣска, не то кто-то стоналъ.

Я вынулъ хлѣбы, легъ спать, но мнѣ не спалось, и я, прислушиваясь ко всѣмъ звукамъ ночи, лежалъ, полузакрывъ глаза. Вдругъ вижу, Коноваловъ безшумно поднимается съ полу, идетъ къ полкѣ, беретъ съ нея книгу Костомарова, раскрываетъ ее и подноситъ къ глазамъ. Мнѣ ясно видно его задумчивое лицо, я слѣжу, какъ онъ водитъ пальцемъ по строкамъ, качаетъ головою, перевертываетъ страницу, снова пристально смотритъ на нее, а потомъ переводитъ глаза на меня. Что-то странное, напряженное и вопрошающее отражаетъ отъ себя его задумчивое, осунувшееся лицо, и долго оно остается обращеннымъ ко мнѣ, новое для меня.

Я не могъ сдержать своего любопытства и спросилъ его, что онъ дѣлаетъ.

— А я думалъ, ты спишь...—смутился онъ; потомъ

подошелъ ко мнѣ, держа книгу въ рукѣ, сѣлъ рядомъ и, запинаясь, заговорилъ: — Я, видишь ли, хочу тебя спросить вотъ про что... Нѣтъ ли книги какой-нибудь насчетъ порядковъ жизни? Т.-е. поученія, какъ жить? Поступки бы нужно мнѣ разъяснить, которые вредные и которые ничего себѣ... Я, видишь ты, поступками смущаюсь своими... Который въ началѣ мнѣ кажется хорошимъ, въ концѣ выходитъ плохимъ. Вотъ хоть бы насчетъ Капки.—Онъ перевелъ духъ и продолжалъ съ силой и просительно:—Такъ вотъ поищи-ка, нѣтъ ли книги насчетъ поступковъ? И прочитай мнѣ.

Нѣсколько минутъ молчанія...

— Максимъ!..

— А?

— Какъ меня Капитолина-то раскрашивала!

— Да ладно ужъ... Будетъ тебѣ...

— Конечно, теперь ужъ нечего... А что, скажи мнѣ... въ правѣ она?..

Это былъ щекотливый вопросъ, но, подумавъ, я отвѣчалъ на него утвердительно.

— Вотъ и я тоже такъ полагаю... Въ правѣ... да...— уныло протянулъ Коноваловъ и замолчалъ.

Онъ долго возился на своей рогожѣ, постланной прямо на полъ, нѣсколько разъ вставалъ, курилъ, садился подъ окно, снова ложился.

Потомъ я заснулъ, а когда проснулся, его уже не было въ пекарнѣ, и онъ явился только къ вечеру. Казалось, что весь онъ былъ покрытъ какой-то пылью, и въ его отуманенныхъ глазахъ застыло что-то неподвижное. Кинувъ картузъ на полку, онъ вздохнулъ и сѣлъ рядомъ со мной.

— Ты гдѣ былъ?

— Ходилъ Капку посмотрѣть.

— Ну и что?

— Шабашъ, братъ! Вѣдь я те говорилъ...

— Ничего, видно, не подѣлаешь съ этимъ наро-

домъ...—попробовалъ было я разсѣять его настроеніе и заговорилъ о могучей силѣ привычки и о всемъ прочемъ, что въ этомъ случаѣ было умѣстно. Коноваловъ упорно молчалъ, глядя въ полъ..

— Нѣтъ, это что-о! Не въ томъ сила! А просто я есть заразный человѣкъ... Недоля мнѣ жить на свѣтѣ... Несчастный этакій ядовитый духъ отъ меня исходитъ. И какъ я близко къ человѣку подойду, такъ сейчасъ онъ отъ меня и заражается. И для всякаго я могу съ собой принести только горе... Вѣдь ежели подумать — кому я всей моей жизнью удовольствіе принесъ? Никому! А тоже, со многими людьми имѣлъ дѣло... Тлѣющій я человѣкъ...

— Это чепуха!..

— Нѣтъ, ужъ вѣрно!..—убѣжденно кивнулъ онъ головой.

Я разубѣждалъ его, но въ моихъ рѣчахъ онъ еще болѣе черпалъ увѣренности въ своей непригодности къ жизни...

Вообще онъ сталъ быстро и рѣзко измѣняться съ момента происшествія съ Капкой. Сталъ задумчивъ, вялъ, утратилъ интересъ къ книгѣ, работалъ уже не съ прежней горячностью, сталъ молчаливъ и необщителенъ.

Въ свободное отъ работы время онъ ложился на полъ и упорно смотрѣлъ въ своды потолка. Лицо у него осунулось, глаза утратили свой ясный дѣтскій блескъ.

— Саша, ты что? — спросилъ я его.

— Запой начинается,—просто объяснилъ онъ.—Скоро я распущусь... т.-е. начну водку глушить... Ужъ внутри у меня жжетъ... вродѣ изжоги, знаешь... Пришло время... кабы не эта самая исторія, я бы, поди-ка, еще протянулъ сколько-нибудь. Но ѣстъ меня это дѣло... Какъ такъ? Желалъ я человѣку оказать добро — и вдругъ... совсѣмъ несообразно! Да, братъ, очень нуженъ для жизни порядокъ поступковъ... И неужто ужъ такъ и нельзя выдумать этакій законъ, чтобы всѣ люди дѣй-

ствовали, какъ одинъ, и всѣ другъ друга понимать могли? Вѣдь совсѣмъ нельзя жить на такомъ разстояніи одинъ отъ другого! Неужто умные люди не понимаютъ, что нужно на землѣ устроить порядокъ и въ ясность людей привести?.. Э-эхма!

Поглощенный этими думами о необходимости въ жизни порядка, онъ не слушалъ моихъ рѣчей. Я замѣтилъ даже, что онъ какъ бы сталъ чуждаться меня. Однажды, выслушавъ въ сто первый разъ мой проектъ реорганизаціи жизни, онъ какъ бы разсердился на меня.

— Ну тебя... Слыхалъ я это... Тутъ не въ жизни дѣло, а въ человѣкѣ. Первое дѣло—человѣкъ... понялъ? Ну, и больше никакихъ... Этакъ-то, по-твоему, выходитъ, что, пока тамъ все это передѣлается, человѣкъ все-таки долженъ оставаться, какъ теперь. Тоже... Нѣтъ, ты его перестрой сначала, покажи ему ходы... Чтобы ему было свѣтло и не тѣсно на землѣ — вотъ чего добивайся для человѣка. Научи его находить свою тропу...

Я возражалъ, онъ горячился или дѣлался угрюмымъ и скучно восклицалъ:

— Э, отстань!

Какъ-то разъ онъ ушелъ съ вечера и не пришелъ ни ночью къ работѣ, ни на другой день. Вмѣсто него явился хозяинъ съ озабоченнымъ лицомъ и объявилъ:

— Закутилъ Лексаха-то у насъ. Въ „Стѣнкѣ“ сидитъ. Надо новаго пекаря искать...

— А можетъ, оправится?!..

— Ну, какъ же, жди... Знаю я его...

Я пошелъ въ „Стѣнку“—кабакъ, хитроумно устроенный въ каменномъ заборѣ. Онъ отличался тѣмъ, что въ немъ не было оконъ и свѣтъ падалъ въ него сквозь отверстіе въ потолкѣ. Въ сущности, это была квадратная яма, вырытая въ землѣ и покрытая сверху тёсомъ. Въ ней пахло землей, махоркой и перегорѣлой водкой—и ее наполняли завсегдатаи—темные люди безъ опредѣленныхъ занятій. Они цѣлыми днями торчали

тутъ, ожидая закутившаго мастерового для того, чтобъ до-нага опить его.

Коноваловъ сидѣлъ за большимъ столомъ посрединѣ кабака, въ кругу почтительно и льстиво слушавшихъ его шестерыхъ господъ въ фантастически-рваныхъ костюмахъ, съ физіономіями героевъ изъ разсказовъ Гофмана.

Пили пиво и водку вмѣстѣ и закусывали чѣмъ-то похожимъ на сухіе комья глины...

— Пейте, братцы, пейте, кто сколько можетъ. У меня есть и деньги, и одежа... Дня на три хватитъ всего. Все пропью и... шабашъ! Больше не хочу работать и жить здѣсь не хочу.

— Городъ сквернѣйшій, — сказалъ нѣкто, похожій на Джона Фальстафа.

— Работа?—вопросительно посмотрѣлъ въ потолокъ другой и съ изумленіемъ спросилъ: — Да развѣ человѣкъ для этого на свѣтъ родился?

И всѣ они сразу загалдѣли, доказывая Коновалову его право все пропить и даже возводя это право на степень непремѣнной обязанности—именно съ ними въ компаніи пропить.

— А, Максимъ... и котомка съ нимъ!—скаламбурилъ Коноваловъ, увидавъ меня.—Ну-ка, книжникъ и фарисей—тяпни! Я, братъ, окончательно спрыгнулъ съ рельсъ. Шабашъ! Пропиться хочу до волосъ... Когда одни волосы на тѣлѣ останутся—кончу. Вали и ты, а?

Онъ еще не былъ пьянъ, только глаза голубые его сверкали отчаяннымъ возбужденіемъ и роскошная борода, падавшая на грудь ему шелковымъ вѣеромъ, то и дѣло шевелилась, оттого что его нижняя челюсть дрожала нервной дрожью. Воротъ рубахи былъ растегнутъ, на бѣломъ лбу сверкали мелкія капельки пота и рука протянутая ко мнѣ со стаканомъ пива, тряслась.

— Брось, Саша, уйдемъ отсюда...—сказалъ я, положивъ ему руку на плечо.

— Бросить?.. — онъ засмѣялся. — Кабы ты лѣтъ на десять раньше пришелъ ко мнѣ да сказалъ это... можетъ, я и бросилъ бы. А теперь я ужъ лучше не брошу... Чего мнѣ дѣлать? Чего? Вѣдь я чувствую, все чувствую, всякое движеніе жизни... но понимать ничего не могу и пути моего не знаю... Чувствую... и пью, потому что больше мнѣ дѣлать нечего... Выпей!

Его компанія смотрѣла на меня съ явнымъ неудовольствіемъ, и всѣ двѣнадцать глазъ измѣряли мою фигуру далеко не миролюбиво.

Бѣдняги боялись, что я уведу Коновалова—угощеніе, которое они ждали, быть можетъ, цѣлую недѣлю.

— Братцы! Это мой товарищъ... ученый, чортъ его возьми! Максимъ, можешь ты здѣсь прочитать про Стеньку?.. Ахъ, братцы, какія книги есть на свѣтѣ! Про Пилу?.. — Максимъ, а?.. Братцы, не книга это, а кровь и слезы. А... вѣдь Пила-то—это я? Максимъ!.. — И Сысойка я... Ей-Богу! Вотъ и объяснилось!

Онъ широко съ открытыми глазами съ испугомъ въ нихъ смотрѣлъ на меня, и нижняя его губа странно дрожала. Компанія не особенно охотно очистила мнѣ мѣсто за столомъ. Я сѣлъ рядомъ съ Коноваловымъ, какъ разъ въ моментъ, когда онъ хватилъ стаканъ пива пополамъ съ водкой.

Ему, очевидно, хотѣлось какъ можно скорѣе оглушить себя этой смѣсью. Выпивъ, онъ взялъ съ тарелки кусокъ того, что казалось глиной, а было варенымъ мясомъ, посмотрѣлъ на него и бросилъ черезъ плечо въ стѣну кабака.

Компанія вполголоса урчала, какъ стая голодныхъ собакъ надъ костью.

— Потерянный я человѣкъ... Зачѣмъ меня мать съ отцомъ на свѣтъ родили? Ничего неизвѣстно... Темь!.. Тѣснота!.. Прощай, Максимъ, коли ты не хочешь пить со мной. Въ пекарню я не пойду. Деньги у меня есть за хозяиномъ — получи и дай мнѣ, я ихъ пропью...

Нѣтъ! Возьми себѣ на книги... Берешь? Не хочешь? Не надо... А то возьми? Свинья ты, коли такъ... Уйди отъ меня! У-уходи!

Онъ пьянѣлъ, и глаза у него звѣрски блеснули.

Компанія была совершенно готова вытурить меня въ шею изъ среды своей, и я, не желая дожидаться этого, ушелъ.

Часа черезъ три я снова былъ въ „Стѣнкѣ". Компанія Коновалова увеличилась еще на два человѣка. Всѣ они были пьяны, онъ — меньше всѣхъ. Онъ пѣлъ, облокотясь на столъ и глядя на небо черезъ отверстіе въ потолкѣ. Пьяницы въ разнообразныхъ позахъ слушали его и нѣкоторые икали.

Пѣлъ Коноваловъ баритономъ, на высокихъ нотахъ переходившимъ въ фальцетъ, какъ у всѣхъ пѣвцовъ мастеровыхъ. Подперевъ щеку рукой, онъ съ чувствомъ выводилъ заунывныя рулады, и лицо его было блѣдно отъ волненія, глаза полузакрыты, горло выгнуто впередъ. На него смотрѣли восемь пьяныхъ, безсмысленныхъ и красныхъ физіономій, и только порой были слышны бормотанье и икота. Голосъ Коновалова вибрировалъ и плакалъ, и стоналъ, и было до слезъ жалко видѣть этого славнаго парня поющимъ свою грустную пѣсню.

Тяжелый запахъ, потныя, пьяныя рожи, двѣ коптящія керосиновыя лампы и черныя отъ грязи и копоти доски стѣнъ кабака, его земляной полъ и сумракъ, наполнявшій эту яму — все это было мрачно и болѣзненно-фантастично. Казалось, что это пируютъ заживо погребенные въ склепѣ и одинъ изъ нихъ поетъ въ послѣдній разъ передъ смертью, прощаясь съ небомъ. Безнадежная грусть, спокойное отчаяніе, безысходная тоска звучали въ пѣснѣ моего товарища.

— Максимъ здѣсь? Хочешь ко мнѣ эсауломъ? Другъ, иди!—прервавъ свою пѣсню, заговорилъ онъ, протягивая мнѣ руку.—Я, братъ, совсѣмъ готовъ... Набралъ шайку себѣ... вотъ она... потомъ еще будутъ люди... Найдемъ!

Это н-ничего! Пилу и Сысойку призовемъ... И будемъ ихъ каждый день кашей кормить и говядиной... хорошо? Идешь? Возьми съ собой книги... будешь читать про Стеньку и про другихъ... Другъ! Ахъ и тошно мнѣ, тошно мнѣ... то-ошно-о!...

Онъ изо всей силы грохнулъ кулакомъ по столу. Загремѣли стаканы и бутылки, и компанія, очнувшись, сразу же наполнила кабакъ страшнымъ шумомъ.

— Пей, ребята! — крикнулъ Коноваловъ. — Пей! Отводи душу... дуй во всю!

Я ушелъ отъ нихъ, постоялъ у двери на улицѣ, послушалъ, какъ Коноваловъ ораторствовалъ заплетающимся языкомъ, и, когда онъ снова началъ пѣть, отправился въ пекарню, и вслѣдъ мнѣ долго стонала и плакала въ ночной тишинѣ неуклюжая пьяная пѣсня.

Черезъ два дня Коноваловъ пропалъ куда-то изъ города.

Мнѣ еще разъ привелось встрѣтиться съ нимъ...

Нужно родиться въ культурномъ обществѣ, для того, чтобы найти въ себѣ терпѣніе всю жизнь жить среди него и ни разу не пожелать уйти куда-нибудь изъ сферы всѣхъ этихъ тяжелыхъ условностей, узаконенныхъ обычаемъ маленькихъ ядовитыхъ лжей, изъ сферы болѣзненныхъ самолюбій, идейнаго сектантства, всяческой неискренности, — однимъ словомъ, изъ всей этой охлаждающей чувство и развращающей умъ суеты суетъ. Я родился и воспитывался внѣ этого общества и по сей пріятной для меня причинѣ не могу принимать его культуру большими дозами безъ того, чтобы, спустя нѣкоторое время, у меня не явилась настоятельная необходимость выйти изъ ея рамокъ и освѣжиться нѣсколько отъ чрезмѣрной сложности и болѣзненной утонченности этого быта.

Въ деревнѣ почти такъ же невыносимо тошно и грустно, какъ и среди интеллигенціи. Всего лучше от-

правиться въ трущобы городовъ, гдѣ хотя все и грязно, но все такъ просто и искренно, или идти гулять по полямъ и дорогамъ родины, что весьма любопытно, очень освѣжаетъ и не требуетъ никакихъ средствъ, кромѣ хорошихъ, выносливыхъ ногъ.

Лѣтъ пять тому назадъ я предпринялъ именно такую прогулку и, расхаживая по святой Руси безъ какого-либо опредѣленнаго маршрута, попалъ въ Ѳеодосію. Въ то время тамъ начинали строить молъ, и въ чаяніи заработать немного денегъ на дорогу, я отправился на мѣсто сооруженія.

Желая сначала посмотрѣть на работу, какъ на картину, я взошелъ на гору и сѣлъ тамъ, глядя внизъ на безкрайное, могучее море и крошечныхъ людей, строившихъ ему ковы.

Передо мной развернулась широкая картина труда людей: — весь каменистый берегъ передъ бухтой былъ изрытъ, всюду ямы и кучи камня и дерева, тачки, брёвна, полосы желѣза, копры для битья свай и еще какія-то приспособленія изъ бревенъ, и среди всего этого по всѣмъ направленіямъ сновали люди. Они, разорвавъ гору динамитомъ, дробили ее кирками, расчищая площадь для линіи желѣзной дороги, они мѣсили въ громадныхъ творилахъ цементъ и, дѣлая изъ него почти саженные кубическіе камни, опускали ихъ въ море, строя въ немъ оплотъ противъ титанической силы его неугомонныхъ волнъ. Они казались маленькими, какъ черви, на фонѣ темнокоричневой горы, изуродованной ихъ руками, и какъ черви суетливо копошились среди грудъ щебня и кусковъ дерева въ обломкахъ каменной пыли и въ тридцатиградусномъ знoѣ южнаго дня. Хаосъ вокругъ нихъ и раскаленное небо надъ ними придавали ихъ суетѣ такой видъ, какъ будто бы они вкапывались въ гору, стремясь уйти въ нѣдра ея отъ солнечнаго зноя и окружающей ихъ унылой картины разрушенія.

Въ душномъ воздухѣ стоялъ сильный стонущій ропотъ и гулъ, раздавались удары кирокъ о камень, заунывно пѣли колёса тачекъ, глухо падала чугунная баба на дерево сваи, плакала „дубинушка", стучали топоры, обтесывая брёвна, и на всѣ голоса кричали темныя и сѣрыя, хлопотливыя фигурки людей...

Въ одномъ мѣстѣ кучка ихъ, громко ухая, возилась съ большимъ осколкомъ горы, стараясь сдвинуть его съ мѣста, въ другомъ подымали тяжелое бревно и, надрываясь, кричали;

— Бе-е-ри-и!—И гора, изрытая трещинами, глухо повторяла: и-и-и!

По ломанной линіи досокъ, набросанныхъ тутъ и тамъ, медленно двигалась вереница людей, согнувшись надъ тачками, нагруженными камнемъ, и навстрѣчу имъ шла другая съ порожними тачками, шла, медленно растягивая одну минутку отдыха на двѣ... У одного копра стояла густая, пестрая толпа народа, и въ ней кто-то протяжно жалобнымъ голосомъ выпѣвалъ:

> „И-эхъ-ма, бра-атцы, дюже жарко!
> И-эхъ! Никому-то насъ не жалко!
> О-ой да ду-убинушка,
> У-ухнемъ!"

Мощно гудѣла толпа, натягивая тросы, и кусокъ чугуна, взлетая вверхъ по дудкѣ копра, падалъ оттуда, раздавался тупой охающій звукъ, и весь коперъ вздрагивалъ.

На всѣхъ точкахъ площади между горой и моремъ сновали маленькіе сѣрые люди, насыщая воздухъ своимъ крикомъ, пылью и терпкимъ запахомъ человѣка. Среди нихъ расхаживали распорядители въ бѣлыхъ кителяхъ съ металлическими пуговицами, сверкавшими на солнцѣ, какъ чьи-то желтые холодные глаза.

Море спокойно раскинулось до туманнаго горизонта и тихо плещетъ своими прозрачными волнами на берегъ, полный движенія и шума. Все сіяя въ блескѣ

солнца, оно точно улыбалось добродушной улыбкой Гулливера, сознающаго, что если онъ захочетъ, одно движеніе—и вся работа лилипутовъ исчезнетъ.

Оно лежало, ослѣпляя глаза своимъ блескомъ—большое, сильное, доброе, и его могучее дыханіе вѣяло на берегъ, освѣжая истомленныхъ людей, трудящихся надъ тѣмъ, чтобы стѣснить свободу его волнъ, которыя теперь такъ кротко и звучно ласкаютъ изуродованный берегъ. Оно какъ бы жалѣло ихъ:—вѣка его существованія научили его понимать, что не тѣ злоумышляютъ противъ него, которые строятъ; оно давно уже знаетъ, что это только рабы, ихъ роль бороться со стихіями лицомъ къ лицу, а въ этой борьбѣ готова и месть стихіи имъ. Они все только строятъ, вѣчно трудятся, ихъ потъ и кровь—цементъ всѣхъ сооруженій на землѣ; но они ничего не получаютъ за это, отдавая всѣ свои силы вѣчному стремленію сооружать—стремленію, которое создаетъ на землѣ чудеса, но все-таки не даетъ людямъ крова и слишкомъ мало даетъ имъ хлѣба. Они—тоже стихія, и вотъ почему море не гнѣвно, а ласково смотритъ на ихъ трудъ, отъ котораго имъ нѣтъ пользы. Эти сѣрые маленькіе черви, такъ источившіе гору—то же самое, что и его капли, которыя первыми идутъ на неприступныя и холодныя скалы береговъ, въ вѣчномъ стремленіи моря расширить свои предѣлы, и первыми гибнутъ, разбиваясь о нихъ. Въ массѣ эти капли тоже родственны ему, тогда онѣ совсѣмъ какъ море, такъ же мощны и такъ же склонны къ разрушенію, чуть только вѣяніе бури пронесется надъ ними. Морю издревле вѣдомы и рабы, строившіе пирамиды въ пустынѣ, и рабы Ксеркса, смѣшного человѣка, который думалъ наказать море тремя стами ударовъ за то, что оно поломало его игрушечные мосты. Рабы всегда были одинаковы, они всегда повиновались, ихъ всегда плохо кормили, и они вѣчно исполняли великое и чудесное, иногда обоготворяя тѣхъ, кто за-

ставлялъ ихъ работать, чаще проклиная ихъ, изрѣдка возмущаясь противъ своихъ владыкъ...

И, улыбаясь спокойной улыбкой титана, сознавшаго свою мощь, море овѣвало своимъ живительнымъ дыханіемъ титана, еще духовно слѣпого, порабощеннаго и жалко ковыряющаго землю, вмѣсто того, чтобъ стремиться къ родству съ небомъ. Тихо взбѣгають волны на берегъ, усѣянный толпой людей, созидающихъ каменную преграду ихъ вѣчному движенію, взбѣгають и поютъ свою звучную, ласковую пѣсню о прошломъ, о всемъ, что въ теченіе вѣковъ видѣли онѣ на берегахъ земли...

...Среди работавшихъ были какія-то странныя, сухія, бронзовыя фигуры въ красныхъ чалмахъ, въ фескахъ, въ синихъ короткихъ курткахъ и въ шароварахъ, узкихъ у голени, но съ широкой мотней. Это, какъ я узналъ послѣ, анатолійскіе турки. Ихъ гортанный говоръ мѣшался съ протяжнымъ, растянутымъ говоркомъ вятичей, съ крѣпкой, быстрой фразой волгарей, съ мягкой рѣчью хохловъ.

Въ Россіи голодали, и голодъ согналъ сюда представителей чуть ли не всѣхъ охваченныхъ несчастіемъ губерній. Они дѣлились на маленькія группы, стараясь держаться землякъ къ земляку, и только космополиты босяки сразу выдѣлялись и своимъ независимымъ видомъ, и костюмами, и особымъ складомъ рѣчи, изъ людей, еще находившихся во власти земли, лишь временно порвавшихъ съ нею связь, оторванныхъ отъ нея голодомъ и не забывшихъ о ней. Они были во всѣхъ группахъ: и среди вятичей, и среди хохловъ, всюду чувствуя себя на своемъ мѣстѣ, но большинство ихъ собралось у копра, какъ у работы, сравнительно съ работой на тачкахъ и съ киркой, болѣе легкой.

Когда я подошелъ къ нимъ, они стояли, опустивъ руки съ веревкой, дожидаясь, когда нарядчикъ исправитъ что-то въ блокѣ копра, должно быть „заѣдавшемъ"

веревку. Онъ копался тамъ вверху деревянной башни, то и дѣло крича оттуда:

— Дерни!

Веревку лѣниво дергали.

— Сто-ой!.. Ищё дерни. Сто-ой! Пшелъ!..

Запѣвала—давно небритый малый, съ рябымъ лицомъ и солдатской выправкой—повелъ плечами, скосилъ въ сторону глаза, откашлялся и завелъ:

— Ба-аба сваю въ землю гонитъ...

Слѣдующій стихъ не выдержалъ бы даже и самой снисходительной цензуры и вызвалъ единодушный взрывъ хохота, явившись, очевидно, импровизаціей, только что созданной запѣвалой, который, подъ смѣхъ товарищей, крутилъ себѣ усы съ видомъ артиста, привыкшаго къ такому успѣху у своей публики.

— Поше-елъ!—неистово заоралъ сверху копра нарядчикъ.—Задержали!..

— Не зѣвай, Митричъ,—лопнешь!..—предупредилъ его одинъ изъ рабочихъ.

Голосъ былъ мнѣ знакомъ, и я гдѣ-то видѣлъ эту высокую, широкоплечую фигуру съ овальнымъ лицомъ и большими голубыми глазами. Это Коноваловъ? Но у Коновалова не было шрама отъ праваго виска къ переносью, разсѣкавшаго высокій лобъ этого парня; волосы Коновалова были свѣтлѣе и не вились такими мелкими кудрями, какъ у этого; у Коновалова была красивая, широкая борода, этотъ же брился и носилъ густые усы концами книзу, какъ хохолъ. И, тѣмъ не менѣе, въ немъ было что-то хорошо знакомое мнѣ. Я рѣшилъ именно съ нимъ заговорить о томъ, къ кому тутъ нужно обратиться, чтобъ „встать на работу", и сталъ дожидаться, когда перестанутъ бить сваю.

— О-о-ухъ! о-о-охъ! — могуче вздыхала толпа, присѣдая, натягивая веревки и снова быстро выпрямляясь, какъ бы готовая оторваться отъ земли и взлетѣть на воз-

Коперъ скрипѣлъ и дрожалъ, надъ головами тол-

пы поднимались ея обнаженныя, загорѣлыя и волосатыя руки, вытягиваясь вмѣстѣ съ веревкой; ихъ мускулы вздувались шишками, но сорока-пудовый кусокъ чугуна взлеталъ вверхъ все на меньшее разстояніе, и его ударъ о дерево звучалъ все слабѣе. Глядя на эту работу, можно было подумать, что это молится толпа идолопоклонниковъ, въ отчаяніи и экстазѣ вздымая руки къ своему молчаливому богу и преклоняясь предъ нимъ. Облитыя пѣтомъ, грязныя и напряженныя лица съ растрепанными волосами, приставшими къ мокрымъ лбамъ, коричневыя шеи, дрожащія отъ напряженія плечи,—всѣ эти тѣла, едва прикрытыя разноцвѣтными рваными рубахами и портами, насыщали воздухъ вокругъ себя своими горячими испареніями, и слившись въ одну тяжелую массу мускуловъ, неуклюже возились во влажной атмосферѣ, пропитанной зноемъ юга и густымъ запахомъ пота.

— Шабашъ!—крикнулъ кто-то злымъ и надорваннымъ голосомъ.

Руки рабочихъ выпустили веревки, и онѣ слабо повисли вдоль копра, а рабочіе грузно опустились тутъ же на землю, отирая потъ, тяжело вздыхая, поводя спинами, щупая плечи и наполняя воздухъ глухимъ ропотомъ, похожимъ на рычаніе большого раздраженнаго звѣря.

— Землякъ! — обратился я къ облюбованному малому.

Онъ лѣниво обернулся ко мнѣ, скользнулъ по моему лицу своими глазами и сощурилъ ихъ, пристально всматриваясь въ меня.

— Коноваловъ!

— Постой...—онъ запрокинулъ рукой мою голову назадъ, точно собираясь схватить меня за горло, и вдругъ весь вспыхнулъ радостной и доброй улыбкой.

— Максимъ! Ахъ ты... ан-наѳема! Дружокъ... а? И ты сорвался со стези-то своей? Въ босые приписался?

Ну вотъ и хорошо! Отлично! Давно ты? Откуда ты идешь? Мы теперь съ тобою всю землю ошагаемъ! Какая тамъ жизнь... сзади-то? Тоска одна... канитель; не живешь, а гніешь! А я, братъ, съ той самой поры гуляю по бѣлу свѣту. Въ какихъ мѣстахъ бывалъ! Какими воздухами дышалъ... Нѣтъ, какъ ты обрядился ловко... не узнать: по одежѣ—солдатъ, по рожѣ—студентъ! Ну что, хорошо такъ жить... съ мѣста на мѣсто? А вѣдь Стеньку-то я помню... И Тараса, и Пилу... все....

Онъ толкалъ меня въ бокъ кулакомъ, хлопалъ своей широкой ладонью по плечу. Я не могъ вставить ни одного слова въ залпъ его вопросовъ и только улыбался, глядя въ его доброе лицо, сіявшее удовольствіемъ встрѣчи. Я былъ тоже радъ видѣть его, очень радъ; встрѣча съ нимъ напомнила мнѣ начало моей жизни, которое, несомнѣнно, было лучше ея продолженія.

Наконецъ, мнѣ удалось-таки спросить стараго пріятеля, откуда у него шрамъ на лбу и кудри на головѣ.

— А это, видишь ты... исторія одна была. Думалъ было я пробраться втроемъ съ товарищами черезъ румынскую границу, посмотрѣть хотѣли, какъ тамъ, въ Румыніи. Ну вотъ и отправились изъ Кагула—мѣстечко этакое есть въ Бессарабіи, около самой границы. Ночью, конечно, потихоньку идемъ себѣ. Вдругъ: стой! Кордонъ таможенный, прямо на него налѣзли. Ну, конечно, бѣжать! Тутъ меня одинъ солдатикъ и съѣздилъ по башкѣ. Не больно важно ударилъ, а все-таки съ мѣсяцъ я провалялся въ госпиталѣ. И какая вѣдь исторія! Солдатъ-то землякомъ оказался! Нашъ, муромскій!... Его тоже скоро въ госпиталь положили — контрабандистъ его испортилъ, ножомъ въ животъ ткнулъ. Очухались мы и разобрались въ дѣлахъ-то. Солдатъ спрашиваетъ у меня: это, говоритъ, я тебя полоснулъ? — Надо быть, ты, коли признаешь.—Должно, я, говоритъ; ты, говоритъ, не сердись—служба такая. Мы думали, вы съ контрабандой идете. Вотъ, говоритъ, и меня уважили — брюхо

подпороли. Ничего не подѣлаешь: жизнь—игра серьезная. Ну, мы и подружились съ нимъ. Хорошій солдатикъ—Яшка Мазинъ... А кудри? Кудри? Кудри, братъ ты мой, это послѣ тифа. Тифъ у меня былъ. Посадили меня въ Кишиневѣ въ тюрьму, желая судить за самовольное прохожденіе границы, а тамъ у меня и разыгрался тифъ... Валялся я съ нимъ, валялся, насилу всталъ. Надо быть, даже и не всталъ бы, да сидѣлка очень ужъ за меня хлопотала. Я, братъ, просто диву дался—возится со мной, какъ съ дитей, а на что я ей нуженъ. Марья, говорю, Петровна, бросьте вы эту музыку; чай, мнѣ совѣстно. А она знай себѣ посмѣивается. Добрая дѣвица... Душеспасительное мнѣ читала иногда. Ну, а я-то говорю, нѣтъ ли, молъ, чего этакого. Принесла книгу насчетъ англичанина-матроса, который спасся отъ кораблекрушенія на безлюдный островъ и устроилъ на немъ себѣ жизнь. Интересно, страхъ какъ! Очень мнѣ понравилась книга; такъ бы туда къ нему и поѣхалъ. Понимаешь, какая жизнь? Островъ, море, небо—ты одинъ себѣ живешь, и все у тебя есть, и совершенно ты свободенъ! Тамъ еще дикій былъ. Ну, я бы дикаго утопилъ—на кой чортъ онъ мнѣ нуженъ, а? Мнѣ и одному не скучно. Ты читалъ такую книгу?

— Погоди. Ну, а какъ же ты вышелъ изъ тюрьмы?

— А выпустили. Посудили, оправдали и выпустили. Очень просто... Вотъ что: я сегодня больше не работаю, ну ее къ лѣшему! Ладно, навихлялъ себѣ руки и будетъ. Денегъ у меня есть рубля три, да за сегодняшніе полдня сорокъ копеекъ получу. Вонъ сколько капитала! Значитъ, пойдемъ со мной къ намъ... мы не въ баракѣ, а тутъ по близости въ горѣ... дыра тамъ есть такая, очень удобная для человѣческаго жительства. Вдвоемъ мы квартируемъ въ ней, да товарищъ болѣетъ,—лихорадка его скрючила... Ну, такъ ты посиди тутъ, а я къ подрядчику... я скоро!..

Онъ быстро всталъ и пошелъ, какъ разъ въ то время, когда свайбойщы брались за веревку, начиная работу. Я остался сидѣть на камнѣ, поглядывая на шумную суету, царившую вокругъ меня, и на спокойное синевато-зеленое море.

Высокая фигура Коновалова, быстро шмыгая между людей, грудъ камня, дерева и тачекъ, исчезала вдали. Онъ шелъ, размахивая руками, одѣтый въ синюю кретоновую блузу, которая была ему коротка и узка, въ холщевыя порты и въ тяжелыя опорки. Шапка русыхъ кудрей колыхалась на его большой головѣ. Иногда онъ оборачивался назадъ и дѣлалъ мнѣ руками какіе-то знаки. Весь онъ былъ какой-то новый, оживленный, спокойно увѣренный, добродушный и сильный. Всюду вокругъ него работали, трещало дерево, раскалывался камень, уныло визжали тачки, вздымались облака пыли, что-то съ грохотомъ падало, и люди кричали, ругались, ухали и пѣли, точно стоная. Среди всей этой путаницы звуковъ и движеній красивая фигура моего пріятеля, удалявшагося куда-то изъ нея твердыми шагами, то и дѣло лавируя изъ стороны въ сторону, очень рѣзко выдѣлялась, являясь какъ бы намекомъ на что-то, объясняющее Коновалова.

Часа черезъ два послѣ встрѣчи мы съ нимъ лежали въ „дырѣ, очень удобной для человѣческаго жительства“. На самомъ дѣлѣ „дыра“ была весьма удобна—въ горѣ когда-то давно брали камень и вырубили большую четырехугольную нишу, въ которой можно было вполнѣ свободно помѣститься четверымъ. Но она была низка, и надъ входомъ въ нее висѣла глыба камня, изображая собой какъ бы навѣсъ, такъ что для того, чтобы попасть въ дыру, слѣдовало лечь на землю передъ ней и потомъ засовывать себя въ нее. Глубина ея была аршина три, но влѣзать въ нее съ головой не представлялось надобности, да и было рискованно, ибо эта глыба надъ входомъ могла обвалиться и совсѣмъ по-

хоронить насъ тамъ. Мы не хотѣли этого и устроились такъ: ноги и туловища сунули въ дыру, гдѣ было очень прохладно, а головы оставили на солнцѣ, въ отверстіи дыры, такъ что если бы глыба камня надъ нами захотѣла упасть, то она только раздавила бы намъ черепа.

Больной босякъ весь выбрался на солнце и легъ около насъ шагахъ въ двухъ, такъ что мы слышали, какъ стучали его зубы въ пароксизмѣ лихорадки. Это былъ сухой и длинный хохолъ: „изъ Пілтавы, а мабудь зъ Кіева“... задумчиво сказалъ онъ мнѣ.

— Человѣкъ такъ много на свѣтѣ живетъ, что не важно, коли онъ забудетъ, де родився... Да и развѣ жъ не все равно? Лиха бѣда родиться, а гдѣ... отъ этого не лучше!..

Онъ катался по землѣ, стараясь плотнѣе закутаться въ сѣрый балахонъ, сшитый изъ однѣхъ дыръ, и очень образно ругался, видя, что всѣ его усилія тщетны, ругался и все-таки продолжалъ кутаться. У него были маленькіе черные глаза, постоянно прищуренные, точно онъ всегда что-то пристально разсматривалъ.

Солнце невыносимо пекло намъ затылки, и Коноваловъ устроилъ изъ моей солдатской шинели нѣчто вродѣ ширмъ, воткнувъ въ землю палки и распяливъ на нихъ мой костюмъ. Все-таки было душно. Издали до насъ долеталъ глухой шумъ работъ на бухтѣ, но ея мы не видѣли: справа отъ насъ лежалъ на берегу городъ тяжелыми глыбами бѣлыхъ домовъ, слѣва — море, предъ нами — оно же, уходившее въ неизмѣримую даль, гдѣ въ мягкихъ полутонахъ смѣшались въ фантастическое марево какія-то дивныя и нѣжныя, невиданныя краски, ласкающія глазъ и душу неуловимой красотой своихъ оттѣнковъ...

Коноваловъ смотрѣлъ туда, блаженно улыбался и говорилъ мнѣ:

— Сядетъ солнце, мы запалимъ костеръ, вскипятимъ

чаю, есть у насъ хлѣбъ, есть мясо. А пока хочешь дынь или арбуза?

Онъ выкатилъ ногой изъ угла ямы арбузъ, досталъ изъ кармана ножъ и, разрѣзая арбузъ, говорилъ:

— Каждый разъ, какъ я бываю у моря, я все думаю, чего люди мало селятся около него? Были бы они отъ этого лучше, потому оно ласковое и такое... хорошія думы отъ него въ душѣ у человѣка. А ну, разскажи, какъ ты самъ жилъ въ эти годы?

Я сталъ разсказывать ему. Онъ слушалъ; больной хохолъ не обращалъ на насъ никакого вниманія, поджаривая себя на солнцѣ, уже опускавшемся въ море. А море вдали уже покрылось багрецомъ и золотомъ, и навстрѣчу солнцу изъ него поднимались розовато-дымчатыя облака мягкихъ очертаній. Казалось, что со дна моря встаютъ горы съ бѣлыми вершинами, пышно убранными снѣгомъ и розовыми отъ лучей заката. Отъ камней и неровностей почвы передъ нами на землю ложились тѣни и, незамѣтно удлиняясь, ползли на насъ.

— Совсѣмъ напрасно ты, Максимъ, въ городахъ трешься,—убѣдительно сказалъ Коноваловъ, выслушавъ мою эпопею.—И что тебя къ нимъ тянетъ? Тухлая тамъ жизнь и тѣсная. Ни воздуху, ни простору, ничего, что человѣку надо. Люди? Люди вездѣ есть...

— Эге!—вставилъ хохолъ, извиваясь по землѣ, какъ ужъ.—Людей вездѣ... богато; человѣку пройти къ своему мѣсту нельзя, чтобъ на ноги имъ не ступать. Вотъто безъ счету родятся! Какъ поганки послѣ дождя... да тѣхъ хоть господа ѣдятъ.

Онъ философски сплюнулъ и снова сталъ стучать зубами.

— А на счетъ тебя я опять скажу,—продолжалъ Коноваловъ,—въ городахъ не живи. Чего тамъ? Одно нездоровье и непорядокъ. Книги? Ну, будетъ ужъ, чай, тебѣ книги читать! Не для этого поди-ка ты родился... Да и книги—чепуха. Ну, купи ее, положи въ котомку

и иди. Хочешь со мной идти въ Ташкентъ? Въ Самаркандъ, или еще куда?.. А потомъ на Амуръ хватимъ... идетъ? Я, братъ, рѣшилъ ходить по землѣ въ разныя стороны—это всего лучше. Идешь и все видишь новое... И ни о чемъ не думается... Дуетъ тебѣ вѣтерокъ навстрѣчу и точно онъ выгоняетъ изъ души разную пыль. Легко и свободно... Никакого ни отъ кого стѣсненія: захотѣлось ѣсть — присталъ, поработалъ чего-нибудь на полтину; нѣтъ работы — попроси хлѣба, дадутъ. Такъ хоть земли много увидишь... Красоты всякой. Айда?

Солнце сѣло. Облака надъ моремъ потемнѣли, море тоже стало темнымъ и съ него повѣяло прохладой. Коегдѣ ужъ вспыхивали звѣзды, гулъ работы въ бухтѣ прекратился, лишь порой оттуда, тихіе какъ вздохи, доносились возгласы людей. И когда на насъ дулъ вѣтеръ, онъ приносилъ съ собой меланхоличный звукъ шороха волнъ о берегъ.

Тьма ночная быстро сгущалась, и фигура хохла, за пять минутъ передъ тѣмъ имѣвшая вполнѣ опредѣленныя очертанія, теперь уже представляла собою неуклюжій комъ...

— Костеръ бы... — сказалъ онъ, покашливая.

— Можно...

Коноваловъ откуда-то извлекъ кучку щепъ, подпалилъ ихъ спичкой, и тонкіе язычки огня начали ласково лизать желтое смолистое дерево. Струйки дыма вились въ ночномъ воздухѣ, полномъ влаги и свѣжести моря. А вокругъ становилось все тише:—жизнь точно отодвигалась куда-то отъ насъ, и звуки ея таяли и гасли во тьмѣ. Облака разсѣялись, на темно-синемъ небѣ ярко засверкали звѣзды, и на бархатной поверхности моря тоже чуть мелькали огоньки рыбачьихъ лодокъ и отраженныхъ звѣздъ. Костеръ передъ ними расцвѣлъ, какъ большой красно-желтый цвѣтокъ... Коноваловъ сунулъ въ него чайникъ и, обнявъ колѣни, задумчиво

сталъ смотрѣть въ огонь. И хохолъ, какъ громадная ящерица, подползъ и легъ къ нему.

— Настроили люди городовъ, домовъ, собрались тамъ въ кучи, пакостятъ землю, задыхаются, тѣснятъ другъ друга... Хорошая жизнь! Нѣтъ, вотъ она жизнь, вотъ какъ мы...

— Ого,—тряхнулъ головой хохолъ,—коли бъ къ ней еще намъ на зиму кожухи добыть, а то теплую хату, то и совсѣмъ это была бы господская жизнь... —Онъ прищурилъ одинъ глазъ и, усмѣхнувшись, посмотрѣлъ на Коновалова.

— Н-да, — смутился тотъ, — зима — это... треклятое время. Для зимы города дѣйствительно нужны... тутъ ужъ ничего съ ними не подѣлаешь... Но большіе города все-таки ни къ чему... Зачѣмъ народъ сбивать въ такія кучи, когда и двое-трое ужиться между собой не могутъ?.. Я вотъ про что. Оно, конечно, ежели подумать, такъ ни въ городѣ, ни въ степи, нигдѣ человѣку мѣста нѣтъ. Но лучше про такія дѣла не думать... ничего не выдумаешь, а душу надорвешь...

До этой поры я думалъ, что Коноваловъ измѣнился отъ бродячей жизни, что наросты тоски, которые были на его сердцѣ въ первое время нашего знакомства, слетѣли съ него, какъ шелуха, отъ вольнаго воздуха, которымъ онъ дышалъ въ эти годы; но тонъ его послѣдней фразы возстановилъ предо мной пріятеля все тѣмъ же ищущимъ своей точки человѣкомъ, какимъ я его зналъ. Все та же ржавчина недоумѣнія предъ жизнью и ядъ думъ о ней разъѣдали эту могучую фигуру, рожденную, къ ея несчастью, съ чуткимъ сердцемъ. Такихъ „задумавшихся“ людей много въ русской жизни, и всѣ они болѣе несчастны, чѣмъ кто-либо, потому что тяжесть ихъ думъ увеличена слѣпотой ихъ ума. Я съ сожалѣніемъ посмотрѣлъ на пріятеля, а онъ, какъ бы подтверждая мою мысль, тоскливо воскликнулъ:

— Вспомнилъ я, Максимъ, ту нашу жизнь и все тамъ... что было. Сколько послѣ того исходилъ я земли, сколько всякой всячины видѣлъ... Нѣтъ для меня на землѣ ничего удобнаго! Не нашелъ я себѣ мѣста!

— А зачѣмъ родился съ такой шеей, на которую ни одинъ хомутъ не подходитъ?—равнодушно спросилъ хохолъ, вынимая изъ огня вскипѣвшій чайникъ.

— Нѣтъ, скажи ты мнѣ...—спрашивалъ Коноваловъ,— почему я не могу быть покоенъ? А? Почему люди живутъ и ничего себѣ, занимаются своимъ дѣломъ, имѣютъ женъ, дѣтей и все прочее... Жалуются на жизнь они, но бываютъ и покойны. И всегда у нихъ есть охота дѣлать то, другое. А я — не могу. Тошно. Почему мнѣ тошно?

— Вотъ скулитъ человѣкъ, — удивился хохолъ. — Да развѣ жъ оттого, что ты поскулишь, тебѣ полегчаетъ?

— Вѣрно...—грустно согласился Коноваловъ.

— Я всегда говорю немного, да знаю, какъ сказать,— съ чувствомъ собственнаго достоинства произнесъ стоикъ, не уставая бороться съ своей лихорадкой.

Онъ закашлялся, завозился и сталъ ожесточенно плевать въ костеръ. Вокругъ насъ все было глухо, завѣшено густой пеленой тьмы. Небо надъ нами тоже было темно, луны еще не было. Море скорѣе чувствовалось, чѣмъ было видимо намъ—такъ густа была тьма впереди насъ. Казалось, на землю спустился черный туманъ. Костеръ гасъ.

— А поляжемте спать,—предложилъ хохолъ.

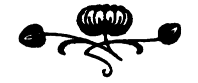
Мы забрались въ „дыру“ и легли, высунувъ изъ нея головы на воздухъ. Молчали. Коноваловъ, какъ легъ, такъ остался неподвиженъ, точно окаменѣлъ. Хохолъ неустанно возился и все стучалъ зубами. Я долго смотрѣлъ, какъ тлѣли угли костра: сначала яркій и большой, понемногу уголь становился меньше, покрывался пепломъ и исчезалъ подъ нимъ. И скоро отъ

костра не осталось ничего, кромѣ теплаго запаха. Я смотрѣлъ и думалъ:

— Такъ и всѣ мы... Хоть бы разгорѣться ярче!

...Черезъ три дня я простился съ Коноваловымъ. Я шелъ на Кубань, онъ не хотѣлъ. Но мы оба разстались въ увѣренности, что встрѣтимся.

Не пришлось...



ХАНЪ И ЕГО СЫНЪ.

(1896)

... Былъ въ Крыму ханъ Мосолайма эль Асвабъ и былъ у него сынъ Толайкъ Алгалла...

Прислонясь спиной къ ярко-коричневому стволу арбутуса, слѣпой нищій, татаринъ, началъ этими словами одну изъ старыхъ легендъ полуострова, богатаго своими воспоминаніями, а вокругъ разсказчика, на камняхъ-обломкахъ разрушеннаго временемъ ханскаго дворца,—сидѣла группа татаръ въ яркихъ халатахъ и тюбитейкахъ, шитыхъ золотомъ. Вечеръ былъ и солнце тихо опускалось въ море; его красные лучи пронизывали темную массу зелени вокругъ развалинъ и яркими пятнами ложились на камни, поросшіе мохомъ, опутанные цѣпкой зеленью плюща. Вѣтеръ шумѣлъ въ купѣ старыхъ чинаръ, и листья ихъ такъ шелестѣли, точно въ воздухѣ струились невидимые глазомъ ручьи воды.

Голосъ слѣпого нищаго былъ слабъ и дрожалъ, а каменное лицо его не отражало въ своихъ морщинахъ ничего, кромѣ покоя; заученныя слова лились одно за другимъ, и предъ слушателями вставала картина прошлыхъ, богатыхъ силой чувства дней.

— Ханъ былъ старъ,—говорилъ слѣпой,—но женщинъ въ гаремѣ было много у него. И онѣ любили старика, потому что въ немъ было еще довольно силы и огня, и ласки его нѣжили и жгли, а женщины всегда будутъ любить того, кто умѣетъ сильно ласкать, хоть бы

и былъ онъ сѣдъ, хоть бы и въ морщинахъ было лицо его—въ силѣ красота, а не въ нѣжной кожѣ и румянцѣ щекъ.

Хана всѣ любили, а онъ любилъ одну казачку-полонянку изъ днѣпровскихъ степей и всегда ласкалъ ее охотнѣе, чѣмъ другихъ женщинъ гарема, своего большого гарема, гдѣ было триста женъ изъ разныхъ земель, и всѣ они были красивы, какъ весенніе цвѣты, и всѣмъ имъ жилось хорошо. Много вкусныхъ и сладкихъ яствъ повелѣлъ готовить для нихъ ханъ и позволялъ имъ всегда, когда онѣ захотятъ, танцовать и играть...

А свою казачку онъ часто звалъ къ себѣ въ башню, изъ которой видно было море, и гдѣ онъ для казачки имѣлъ все, что нужно женщинѣ, чтобы ей весело жилось: сладкую пищу и разныя ткани, и золото, и камни всѣхъ цвѣтовъ, и музыку, и рѣдкихъ птицъ изъ далекихъ странъ, и огненныя ласки влюбленнаго хана. Въ этой башнѣ онъ забавлялся съ ней цѣлые дни, отдыхая отъ трудовъ своей жизни и зная, что сынъ Алгалла не уронитъ славы ханства, рыская волкомъ по русскимъ степямъ, и всегда возвращаясь оттуда съ богатой добычей, съ новыми женщинами, съ новой славой, оставляя тамъ, сзади себя, ужасъ и пепелъ, трупы и кровь.

Разъ возвратился онъ, Алгалла, съ набѣга на русскихъ, и было устроено много праздниковъ въ честь его, всѣ мурзы острова собрались на нихъ и были игры и пиръ, и стрѣляли изъ луковъ въ глаза плѣнниковъ, пробуя силу руки, и снова пили, славя храбрость Алгаллы, грозы враговъ, опоры ханства. А старый ханъ былъ такъ радъ славѣ сына. — Хорошо было ему, старику, видѣть въ сынѣ своемъ такого удальца, и знать, что когда онъ, старый, умретъ, — ханство будетъ въ крѣпкихъ рукахъ...

Хорошо было ему знать это, и вотъ онъ, желая показать сыну силу любви своей, сказалъ ему при всѣхъ

мурзахъ и бекахъ,—тутъ, на пиру, съ чашей въ рукѣ, сказалъ:

— Добрый ты сынъ, Алгалла! Слава Аллаху и да будетъ прославлено имя пророка его!

И всѣ прославили имя пророка хоромъ могучихъ голосовъ. Тогда ханъ сказалъ:

— Великъ Аллахъ! Еще при жизни моей онъ воскресилъ мою юность въ храбромъ сынѣ моемъ, и вотъ вижу я старыми глазами, что, когда скроется отъ нихъ солнце — и когда черви источатъ мнѣ сердце — живъ буду я въ сынѣ моемъ! Великъ Аллахъ и Магометъ, истинный пророкъ его! Хорошій сынъ у меня есть, тверда его рука, и смѣло сердце, и ясенъ умъ... Что хочешь ты взять изъ рукъ отца твоего, Алгалла? Скажи, и я дамъ тебѣ все по твоему желанію...

И не замеръ еще голосъ хана-старика, какъ поднялся Толайкъ Алгалла и сказалъ, сверкнувъ глазами, черными, какъ море ночью и горящими, какъ очи горнаго орла:

— Дай мнѣ русскую полонянку, повелитель-отецъ.

Помолчалъ ханъ—мало помолчалъ, столько времени, сколько надо, чтобы подавить дрожь въ сердцѣ—и помолчавъ, твердо и громко сказалъ:

— Бери! Кончимъ пиръ, и ты возьмешь ее.

Вспыхнулъ весь удалой Алгалла, великой радостью сверкнули его орлиныя очи, всталъ онъ во весь ростъ и сказалъ отцу-хану:

— Знаю я, что ты мнѣ даришь, повелитель-отецъ! Знаю это я... Рабъ я твой — твой сынъ. Возьми мою кровь по каплѣ въ часъ—двадцатью смертями я умру за тебя!

— Не надо мнѣ ничего!—сказалъ ханъ, и поникла на грудь его сѣдая голова, увѣнчанная славой долгихъ лѣтъ и многихъ подвиговъ.

Скоро они кончили пиръ и оба, молча, рядомъ другъ съ другомъ пошли изъ дворца въ гаремъ.

Ночь была темная и ни звѣздъ, ни луны не было видно изъ-за тучъ, густымъ ковромъ покрывшихъ небо.

Долго шли во тьмѣ отецъ и сынъ, и вотъ заговорилъ ханъ эль Асвабъ:

— Гаснетъ день ото дня жизнь моя — и все слабѣе бьется мое старое сердце и все меньше огня въ груди моей. Свѣтомъ и тепломъ моей жизни были знойныя ласки казачки... Скажи мнѣ, Толайкъ, скажи, неужели она такъ нужна тебѣ? Возьми сто, возьми всѣхъ моихъ женъ за одну ее!..

Молчалъ Толайкъ Алгалла, вздыхая.

— Сколько дней мнѣ осталось? Мало дней у меня на землѣ... Послѣдняя радость жизни моей она, — эта русская дѣвушка. Она знаетъ меня, она любитъ меня,— кто теперь, когда ея не будетъ, полюбитъ меня — старика, кто? Ни одна изъ всѣхъ, ни одна, Алгалла!..

Молчалъ Алгалла...

— Какъ я буду жить, зная, что ты обнимаешь ее, что тебя цѣлуетъ она? Передъ женщиной нѣтъ ни отца, ни сына, Толайкъ! Передъ женщиной всѣ мы — мужчины, мой сынъ... Больно будетъ мнѣ доживать мои дни... Пусть бы лучше всѣ старыя раны открылись на тѣлѣ моемъ, Толайкъ, и точили бы кровь мою, пусть бы я лучше не пережилъ этой ночи, мой сынъ!

Молчалъ его сынъ... Остановились они у дверей гарема и молча, опустивъ на груди головы, стояли долго передъ ней. Тьма была кругомъ, и облака бѣжали въ небѣ, а вѣтеръ, потрясая деревья, точно пѣлъ, шумѣлъ деревьями...

— Давно я люблю ее, отецъ...—тихо сказалъ Алгалла.

— Знаю... и знаю, что она не любитъ тебя... — сказалъ ханъ.

— Рвется сердце мое, когда я думаю про нее.

— А мое старое сердце чѣмъ полно теперь?

И снова они замолчали. Вздохнулъ Алгалла.

— Видно правду сказалъ мнѣ мудрецъ-мулла—муж-

чинѣ женщина всегда вредна: когда она хороша, она возбуждаетъ у другихъ желаніе обладать ею, а мужа своего предаетъ мукамъ ревности; когда она дурна, мужъ ея, завидуя другимъ, страдаетъ отъ зависти; а если она не хороша и не дурна,—мужчина дѣлаетъ ее прекрасной, и понявъ, что онъ ошибся, вновь страдаетъ чрезъ нее, эту женщину...

— Мудрость не лѣкарство отъ боли сердца... —сказалъ ханъ.

— Пожалѣемъ другъ друга, отецъ...

Поднялъ голову ханъ и грустно поглядѣлъ на сына.

— Убьемъ ее...—сказалъ Толайкъ.

— Ты любишь себя больше, чѣмъ ее и меня,—подумавъ, тихо молвилъ ханъ.

— Вѣдь и ты тоже.

И опять они помолчали.

— Да! И я тоже,—грустно сказалъ ханъ. Отъ горя онъ сдѣлался ребенкомъ.

— Что же, убьемъ?

— Не могу я отдать ее тебѣ, не могу,—сказалъ ханъ.

— И я не могу больше терпѣть—вырви у меня сердце или дай мнѣ ее...

Ханъ молчалъ.

— Или бросимъ ее въ море съ горы.

— Бросимъ ее въ море съ горы, — повторилъ ханъ слова сына, какъ эхо сынова голоса.

И тогда они вошли въ гаремъ, гдѣ она уже спала на полу, на пышномъ коврѣ. Остановились они предъ ней и смотрѣли; долго они смотрѣли на нее. У стараго хана слезы текли изъ глазъ на его серебряную бороду и сверкали въ ней, какъ жемчужины, а сынъ его стоялъ, сверкая очами, и скрежетомъ зубовъ своихъ, сдерживая страсть, разбудилъ казачку. Проснулась она—и на лицѣ ея, нѣжномъ и розовомъ, какъ заря, расцвѣли ея глаза, какъ васильки. Не замѣтила она Алгаллу и протянула алыя губы хану.

— Поцѣлуй меня, старый орелъ!

— Собирайся... пойдешь съ нами, — тихо сказалъ ханъ.

Тутъ она увидала Алгаллу и слезы на очахъ своего орла, и—умная она была—поняла все.

— Иду,—сказала она.—Иду. Ни тому, ни другому—такъ рѣшили? Такъ и должны рѣшать сильные сердцемъ. Иду.

И молча они, всѣ трое, пошли къ морю. Узкими тропинками шли, вѣтеръ шумѣлъ, гулко шумѣлъ...

Нѣжная она была, дѣвушка-то, скоро устала, но и горда была—не хотѣла сказать имъ этого.

И когда сынъ хана замѣтилъ, что она отстаетъ отъ нихъ—сказалъ онъ ей:

— Боишься?

Она блеснула глазами на него и показала ему окровавленную ногу...

— Дай понесу тебя! — сказалъ Алгалла, протягивая къ ней руки. Но она обняла шею своего стараго орла. Поднялъ ханъ ее на свои руки, какъ перо, и понесъ; она же, сидя на его рукахъ, отклоняла вѣтви отъ его лица, боясь, что онѣ попадутъ ему въ глазъ. Долго они шли, и вотъ уже слышенъ гулъ моря вдали. Тутъ Толайкъ,—онъ шелъ сзади ихъ, по тропинкѣ,—сказалъ отцу:

— Пусти меня впередъ, а то я хочу ударить тебя кинжаломъ въ шею.

— Пройди, — Аллахъ возмѣститъ тебѣ твое желаніе или проститъ — его воля, — я же отецъ твой, прощаю тебѣ. Я знаю, что значитъ любить.

И вотъ оно, море, предъ ними, тамъ внизу густое, черное и безъ береговъ. Глухо поютъ его волны у самаго низа скалы и темно тамъ внизу и холодно, и страшно.

— Прощай!—сказалъ ханъ, цѣлуя дѣвушку.

— Прощай,—сказалъ Алгалла и поклонился ей.

Она заглянула туда, гдѣ пѣли волны, и отшатнулась назадъ, прижавъ руки къ груди.

— Бросьте меня,—сказала она имъ...

Простеръ къ ней руки Алгалла и застоналъ, а ханъ взялъ ее въ руки свои, прижалъ къ груди крѣпко, поцѣловалъ и, поднявъ ее надъ своей головой—бросилъ внизъ со скалы.

Тамъ плескались и пѣли волны и было такъ шумно, что оба они не слыхали, когда она долетѣла до воды. Ни крика не слыхали, ничего. Ханъ опустился на камни и молча сталъ смотрѣть внизъ, во тьму и даль, гдѣ море смѣшалось съ облаками, откуда шумно плыли глухіе всплески волнъ, и вѣтеръ пролеталъ, развѣвая сѣдую бороду хана. Толайкъ стоялъ надъ нимъ, закрывъ лицо руками, какъ камень неподвижный и молчаливый. Время шло и по небу одно за другимъ плыли облака, гонимыя вѣтромъ. Темны и тяжелы они были, какъ думы стараго хана, лежавшаго надъ моремъ на высокой скалѣ.

— Пойдемъ, отецъ,—сказалъ Толайкъ.

— Подожди...—шепнулъ ханъ, точно слушая что-то. И опять прошло много времени, и все плескались волны внизу, а вѣтеръ налеталъ на скалу, шумя деревьями.

— Пойдемъ, отецъ...

— Подожди еще...

Не одинъ разъ говорилъ Толайкъ Алгалла:

— Пойдемъ, отецъ.

Ханъ все не шелъ отъ мѣста, гдѣ потерялъ радость своихъ послѣднихъ дней.

Но — все имѣетъ конецъ! — всталъ онъ, могучій и гордый, всталъ, нахмурилъ брови и глухо сказалъ:

— Идемъ...

Пошли они, но скоро остановился ханъ.

— А зачѣмъ я иду и куда, Толайкъ?—спросилъ онъ сына.—Зачѣмъ мнѣ жить теперь, когда вся моя жизнь въ ней была? Старъ я, не полюбятъ ужъ меня больше,

а если никто тебя не любитъ — неразумно жить на свѣтѣ.

— Слава и богатство есть у тебя, отецъ...

— Дай мнѣ одинъ ея поцѣлуй и возьми все это себѣ въ награду. Это все мертвое, одна любовь женщины жива. Нѣтъ такой любви—нѣтъ жизни у человѣка, нищъ онъ, и жалки дни его. Прощай, мой сынъ, благословеніе Аллаха надъ твоей главой да пребудетъ во всѣ дни и ночи жизни твоей.—И повернулся ханъ лицомъ къ морю.

— Отецъ,—сказалъ Толайкъ,—отецъ!.. И не могъ больше сказать ничего, такъ какъ ничего нельзя сказать человѣку, которому улыбается смерть, ничего не скажешь ему такого, что возвратило бы въ душу его любовь къ жизни.

— Пусти меня...

— Аллахъ...

— Онъ знаетъ...

Быстрыми шагами подошелъ ханъ къ обрыву и кинулся внизъ. Не остановилъ его сынъ, не успѣлъ. И опять ничего не было слышно отъ моря—ни крика, ни шума паденія хана. Только волны все плескали тамъ, да вѣтеръ гудѣлъ дикія пѣсни.

Долго смотрѣлъ внизъ Толайкъ Алгалла и потомъ вслухъ сказалъ:

— И мнѣ такое же твердое сердце дай, о Аллахъ!

И потомъ онъ пошелъ во тьму ночи...

... Такъ погибъ ханъ Мосолайма эль Асвабъ, и сталъ въ Крыму ханъ Толайкъ Алгалла...



„ВЫВОДЪ".

(1896)

По деревенской улицѣ, среди бѣлыхъ мазанокъ, съ дикимъ воемъ двигается странная процессія.

Идетъ толпа народа, идетъ густо и медленно,—движется какъ большая волна, а впереди ея шагаетъ лошаденка, юмористически-шероховатая лошаденка, понуро опустившая голову. Поднимая одну изъ переднихъ ногъ, она такъ странно встряхиваетъ головой, точно хочетъ ткнуться шершавой мордой въ пыль дороги, а когда она переставляетъ заднюю ногу, ея крупъ весь осѣдаетъ къ землѣ, и кажется, что она сейчасъ упадетъ.

Къ передку телѣги прикручена веревкой за руки маленькая совершенно нагая женщина, почти дѣвочка. Она идетъ какъ-то странно—бокомъ, ея голова, въ густыхъ растрепанныхъ темнорусыхъ волосахъ, поднята кверху и немного откинута назадъ, глаза широко открыты и смотрятъ куда-то вдаль тупымъ, безсмысленнымъ взглядомъ, въ которомъ нѣтъ ничего человѣческаго... Все тѣло ея въ синихъ и багровыхъ пятнахъ, круглыхъ и продолговатыхъ, лѣвая упругая дѣвическая грудь разсѣчена, и изъ нея сочится кровь... Она образовала пурпуровую полосу на животѣ и ниже по лѣвой ногѣ до колѣна, а на голени ее скрываетъ коричневая короста пыли. Кажется, что съ тѣла этой женщины содрана узкая и длинная полоса кожи, и должно быть по животу

этой женщины долго били полѣномъ,—онъ чудовищно вспухъ и весь страшно синій.

Ноги этой женщины, стройныя и маленькія, еле ступаютъ по пыли, весь корпусъ страшно изогнутъ и качается, и никакъ нельзя понять, почему она еще держится на этихъ ногахъ, сплошь, какъ и все ея тѣло, покрытыхъ синяками, почему она не падаетъ на землю и, вися на рукахъ, не волочится за телѣгой по пыльной и теплой землѣ...

А на телѣгѣ стоитъ высокій мужикъ въ бѣлой рубахѣ, въ черной смушковой шапкѣ, изъ-подъ которой, перерѣзывая ему лобъ, свѣсилась прядь ярко-рыжихъ волосъ; въ одной рукѣ онъ держитъ вожжи, въ другой—кнутъ и методически хлещетъ имъ разъ по спинѣ лошади и разъ по тѣлу маленькой женщины, и безъ того уже добитой до утраты человѣческаго образа. Глаза рыжаго мужика налиты кровью и блещутъ злымъ торжествомъ. Волосы оттѣняютъ ихъ зеленоватый цвѣтъ. Засученные по локти рукава рубахи обнажили крѣпкія, мускулистыя руки, густо поросшія рыжей шерстью; ротъ его открытъ, полонъ острыхъ бѣлыхъ зубовъ, и порой мужикъ хрипло вскрикиваетъ:

— Н-ну... вѣ-ѣдьма! Гей! Н-ну! Ага! Разъ!.. Такъ ли, братцы?..

А сзади телѣги и женщины, привязанной къ ней, валомъ валитъ толпа и тоже кричитъ, воетъ, свищетъ, смѣется, улюлюкаетъ... подзадориваетъ... Бѣгутъ мальчишки... Иногда одинъ изъ нихъ забѣгаетъ впередъ и кричитъ въ лицо женщины циничныя слова. Тогда взрывъ смѣха въ толпѣ заглушаетъ всѣ остальные звуки и тонкій свистъ кнута въ воздухѣ... Идутъ женщины съ возбужденными лицами и сверкающими удовольствіемъ глазами... Идутъ мужчины и кричатъ что-то отвратительное тому, что стоитъ въ телѣгѣ... Онъ оборачивается назадъ къ нимъ и хохочетъ, широко раскрывая ротъ. Ударъ кнутомъ по тѣлу женщины... Кнутъ,

тонкій и длинный, обвивается около плеча и вотъ онъ захлеснулся подъ мышкой... Тогда мужикъ, который бьетъ, сильно дергаетъ кнутъ къ себѣ; женщина визгливо вскрикиваетъ и, опрокидываясь назадъ, падаетъ въ пыль спиной... Многіе изъ толпы подскакиваютъ къ ней и скрываютъ ее собой, наклоняясь надъ нею.

Лошадь останавливается, но черезъ минуту она снова идетъ, и вся избитая женщина попрежнему двигается за телѣгой. И жалкая лошадь, медленно шагая, все мотаетъ своей шершавой головой, точно хочетъ сказать:

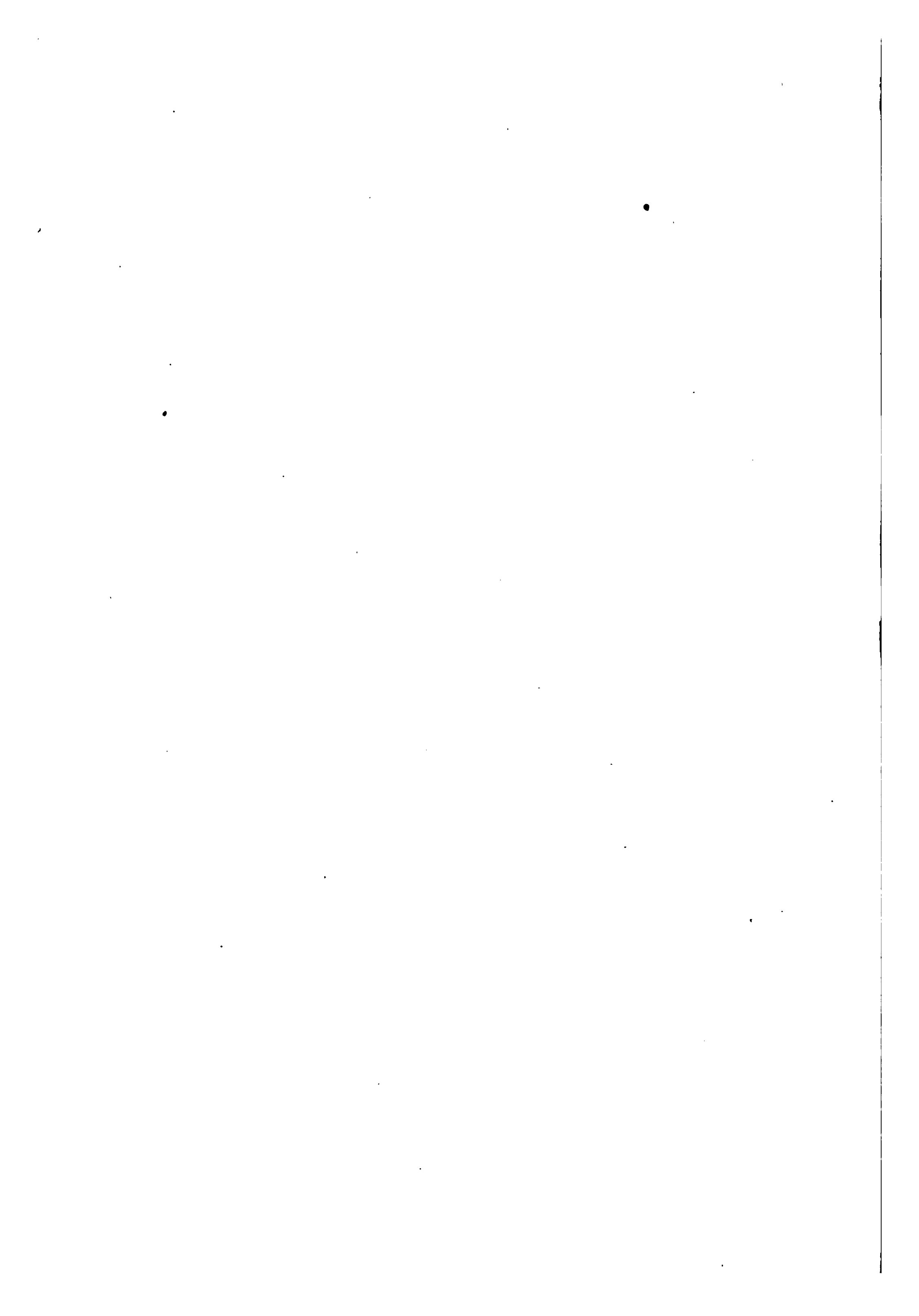
— Вотъ какъ подло быть скотомъ! Во всякой мерзости могутъ заставить принять участіе...

А небо, южное небо, совершенно чисто, — ни одной тучки, и съ него лѣтнее солнце щедро льетъ свои жгучіе лучи...

. . . .

Это я написалъ не аллегорическое изображеніе гоненія и истязанія правды—нѣтъ, къ сожалѣнію, это не аллегорія. Это называется—***выводъ***. Такъ наказываютъ мужья женъ за измѣну; это бытовая картина, обычай,— и это я видѣлъ въ 1891-мъ году 15-го іюля, въ деревнѣ Кандыбовкѣ, Херсонской губерніи.





СУПРУГИ ОРЛОВЫ.

(1897)

...Почти каждую субботу передъ всенощной изъ двухъ оконъ подвала стараго и грязнаго дома купца Петунникова на тѣсный дворъ, заваленный разною рухлядью и застроенный деревянными, покосившимися отъ времени службами, рвались ожесточенные женскіе крики:

— Стой! Стой, пропоица, дьяволъ!—низкимъ контральто кричала женщина.

— Пусти!—отвѣчалъ ей теноръ мужчины.

— Не пущу, не пущу я тебя, изверга!

— Вр-решь! пустишь!

— Убей меня не пущу!

— Ты? Вр-решь, еретица!

— Батюшки! Убилъ... ба-атюшка!

— Пу-устишь!

— Добивай, звѣрь, доколачивай!

— Подождешь... не сразу!

При первыхъ же крикахъ Сенька Чижикъ, ученикъ маляра Сучкова, цѣлыми днями растиравшій краски въ одномъ изъ сарайчиковъ на дворѣ, стремглавъ вылеталъ оттуда и, сверкая глазенками, черными, какъ у мыши, во все горло оралъ:

— Сапожники Орловы стражаются! Ухъ ты!

Страстный любитель всевозможныхъ происшествій, Чижикъ подбѣгалъ къ окнамъ квартиры Орловыхъ, ложился животомъ на землю и, свѣсивъ внизъ свою

лохматую, озорную голову съ бойкой, худой рожицей, выпачканной охрой и муміей, жадными глазами смотрѣлъ внизъ, въ темную и сырую дыру, изъ которой пахло плѣсенью, варомъ и прѣлой кожей. Тамъ, на днѣ ея, яростно возились двѣ фигуры, хрипя, стоная и ругаясь.

— Убьешь вѣдь...—задыхаясь, предупреждала женщина.

— Н-ничего! — увѣренно и съ сосредоточенной злобой успокоивалъ ее мужчина.

Раздавались тяжелые глухіе удары по чему-то мягкому, вздохи, взвизгиванія, напряженное кряхтѣнье человѣка, ворочающаго большую тяжесть.

— И-эхъ ты! Ка-акъ онъ ее колодкой-то саданулъ!— иллюстрировалъ Чижикъ ходъ событій въ подвалѣ, а собравшаяся вокругъ него публика—портные, судебный разсыльный Левченко, гармонистъ Кисляковъ и другіе любители безплатныхъ развлеченій—то и дѣло спрашивали Сеньку, въ нетерпѣніи дергая его за ноги и за штанишки, пропитанныя жирными красками:

— Ну? А теперь что? Какъ онъ ее?

— Сидитъ на ней верхомъ и мордой ее въ полъ тычетъ... — докладывалъ Сенька, сладострастно поеживаясь отъ переживаемыхъ имъ впечатлѣній...

Публика тоже наклонялась къ окнамъ Орловыхъ, охваченная горячимъ стремленіемъ самой видѣть всѣ детали боя; и хотя она уже давно знала пріемы Гришки Орлова, употребляемые имъ въ войнѣ съ женой, но всетаки изумлялась:

— Ахъ, дьяволъ! Разбилъ?

— Весь носъ въ кровь... такъ и тикётъ! — захлебываясь, сообщалъ Сенька.

— Ахъ ты, Господи, Боже мой! — восклицали женщины.—Ахъ, извергъ-мучитель!

Мужчины разсуждали болѣе объективно.

— Безпремѣнно онъ ее долженъ до смерти забить...— говорили они.

А гармонистъ тономъ провидца заявлялъ:

— Помяните мое слово—ножомъ распотрошитъ онъ ее! Устанетъ когда-нибудь возиться вотъ этакимъ манеромъ, да сразу и кончитъ всю музыку!

— Кончилъ!—вскакивая съ земли, вполголоса сообщалъ Сенька и мигомъ отлеталъ отъ оконъ куда-нибудь въ сторону, въ уголокъ, гдѣ занималъ новый наблюдательный постъ, зная, что сейчасъ долженъ выйти на дворъ Гришка Орловъ.

Публика быстро расходилась, не желая попадаться на глаза свирѣпаго сапожника; теперь, по окончаніи сраженія, онъ терялъ въ ея глазахъ всякій интересъ и, вмѣстѣ съ этимъ, былъ не безопасенъ.

Обыкновенно на дворѣ не было уже ни одной живой души, кромѣ Сеньки, когда Орловъ являлся изъ своего подвала. Тяжело дыша, въ разорванной рубахѣ, съ растрепанными волосами на головѣ, съ царапинами на потномъ и возбужденномъ лицѣ, онъ исподлобья оглядывалъ дворъ налитыми кровью глазами и, заложивъ руки за спину, медленно шелъ къ старымъ розвальнямъ, лежавшимъ кверху полозьями у стѣны дровяного сарая. Иногда онъ при этомъ ухарски посвистывалъ и такъ смотрѣлъ по сторонамъ, точно имѣлъ намѣреніе вызвать на бой все населеніе дома Петунникова. Затѣмъ онъ садился на полозья розваленъ, отиралъ рукавомъ рубахи потъ и кровь съ лица и замиралъ въ усталой позѣ, тупо глядя на стѣну дома, грязную, съ облѣзлою штукатуркой и съ разноцвѣтными полосами красокъ,—маляры Сучкова, возвращаясь съ работы, имѣли обыкновеніе чистить кисти объ эту часть стѣны.

Орлову было лѣтъ подъ тридцать. Бронзовое нервное лицо съ тонкими чертами украшали маленькіе темные усы, рѣзко оттѣняя его полныя, красныя губы. Надъ большимъ хрящеватымъ носомъ почти срастались густыя брови: изъ-подъ нихъ смотрѣли всегда безпокойно го-

рѣвшіе черные глаза. Средняго роста, немного сутулый отъ своей работы, мускулистый и горячій, онъ, долго сидя на розвальняхъ въ какомъ-то оцѣпенѣніи, разсматривалъ раскрашенную стѣну, глубоко дыша здоровой, смуглой грудью.

Солнце уже сѣло, но на дворѣ душно; пахнетъ масляной краской, дегтемъ, кислой капустой и какой-то гнилью. Изъ всѣхъ оконъ обоихъ этажей дома на дворъ льются пѣсни и брань, иногда чья-нибудь испитая физіономія съ минуту разсматриваетъ Орлова, высунувшись изъ-за косяка, и исчезаетъ, усмѣхаясь.

Являются маляры съ работы; проходя мимо Орлова, они искоса смотрятъ на него, перемигиваются между собой, и наполняя дворъ бойкимъ костромскимъ говоромъ, собираются кто въ баню, кто въ кабакъ. Сверху изъ второго этажа сползаютъ на дворъ портные — народъ полу-одѣтый, худосочный и кривоногій,—начинаютъ подтрунивать надъ костромичами-малярами за ихъ горохомъ разсыпающуюся рѣчь. Весь дворъ наполняется шумомъ, бойкимъ и живымъ смѣхомъ, шутками... Орловъ сидитъ въ своемъ углу и молчитъ, ни на кого не глядя. Никто не подходитъ къ нему и никто не рѣшается пошутить надъ нимъ, ибо знаютъ, что теперь онъ—звѣрь лютый.

Онъ сидитъ, весь охваченный глухой и тяжелой злобой, которая давитъ ему грудь, затрудняя дыханіе, и ноздри его порой хищно вздрагиваютъ, а губы искривляются, обнажая два ряда крѣпкихъ и крупныхъ желтыхъ зубовъ. Въ немъ растетъ что-то безформенное и темное, красныя, мутныя пятна плаваютъ предъ его глазами, тоска и жажда водки сосетъ его внутренности. Онъ знаетъ, что, когда онъ выпьетъ, ему будетъ легче, но пока еще свѣтло, и ему стыдно идти въ кабакъ въ такомъ оборванномъ и истерзанномъ видѣ по улицѣ, гдѣ всѣ знаютъ его, Григорія Орлова.

Онъ знаетъ себѣ цѣну и не хочетъ выходить на

всеобщее посмѣшище, но и пойти домой, чтобы одѣться и умыться, онъ тоже не можетъ. Тамъ, на полу, лежитъ избитая жена, а она ему теперь всячески противна.

Она тамъ стонетъ, и чувствуетъ, что она мученица, и что она права предъ нимъ,—онъ знаетъ это. Онъ знаетъ и то, что она дѣйствительно права, а онъ виноватъ, это еще болѣе усиливаетъ его ненависть къ ней, потому что рядомъ съ этимъ сознаніемъ въ душѣ его кипитъ злобное темное чувство и оно сильнѣе сознанія. Въ немъ все смутно и тяжело, и онъ безвольно отдается тяжести своихъ внутреннихъ ощущеній, не умѣя разобраться въ нихъ и зная, что только полбутылочки водки можетъ облегчить его.

Вотъ идетъ гармонистъ Кисляковъ. Онъ въ плисовой безрукавкѣ, въ красной шелковой рубашкѣ, въ шароварахъ, заправленныхъ въ щегольскіе сапоги. Подъ мышкой у него гармоника въ зеленомъ мѣшкѣ, черненькіе усики закручены въ стрѣлки, картузъ ухарски надѣтъ набекрень и все лицо сіяетъ удалью и весельемъ. Орловъ любитъ его за удальство, за игру и за веселый характеръ и завидуетъ его легкой, беззаботной жизни.

„—Съ по-бѣд-дой, Гриша, поздравляю
„И съ расцар-рапанной щекой!“

Орловъ не сердится на него за эту шутку, хотя онъ уже слышалъ ее разъ пятьдесятъ, да гармонистъ и не со зла говоритъ это, а просто потому, что шутить любитъ.

— Что, братъ! опять Плевна была?—спрашиваетъ Кисляковъ, останавливаясь на минутку передъ сапожникомъ.—Эхъ ты, Гриня, спѣла дыня! Шелъ бы ты туда, куда всѣмъ намъ дорога... Клюнули бы мы съ тобой.

— Я скоро...—не поднимая головы, говоритъ Орловъ.

— Жду и страдаю по тебѣ...

Вскорѣ за нимъ уходитъ и Орловъ.

Тогда изъ подвала, держась за стѣны, выходитъ маленькая, полная женщина. Голова у нея плотно закутана платкомъ и изъ отверстія на лицѣ смотритъ только одинъ глазъ, кусокъ щеки и лба. Пошатываясь, она идетъ черезъ дворъ и садится на то мѣсто, гдѣ незадолго передъ тѣмъ сидѣлъ ея мужъ. Ея появленіе никого не удивляетъ — къ этому привыкли, и всѣ знаютъ, что она просидитъ тутъ до той поры, пока Гришка, пьяный и настроенный на покаянный ладъ, не появится изъ кабака. Она выходитъ на дворъ потому, что въ подвалѣ душно, и для того, чтобы свести съ лѣстницы пьянаго Гришку. Лѣстница—полусгнившая и крутая: однажды Гришка упалъ съ нея и вывихнулъ себѣ руку, такъ что недѣли двѣ не работалъ, и за это время, чтобы прокормиться, они заложили почти всѣ пожитки.

Съ той поры Матрена и караулила его.

Иногда кто-нибудь со двора подсаживается къ ней, чаще всѣхъ Левченко—усатый унтеръ-офицеръ въ отставкѣ, разсудительный и степенный хохолъ съ гладко остриженной головой и сизымъ носомъ. Онъ садится и, позѣвывая, спрашиваетъ:

— Снова подрались?

— А тебѣ что?—недружелюбно и задорно говоритъ Матрена.

— А ничего!—объясняетъ хохолъ, и послѣ этого оба они долго молчатъ.

Матрена тяжело дышитъ и въ груди у нея что-то хрипитъ.

— И чего вы все воюете? Чего бъ вамъ дѣлить?— начинаетъ разсуждать хохолъ.

— Наше дѣло...—кратко говоритъ Матрена Орлова.

— Ваше, это такъ...—соглашается Левченко и даже киваетъ головой въ подтвержденіе сказаннаго.

— Такъ чего же ты лѣзешь ко мнѣ?—резонно заявляетъ Орлова.

— Фу ты... какая! И слова ей не скажи! Какъ посмотрю я на васъ—пара вы съ Гришкой! Батогами бы васъ лупить надо каждый день—разъ поутру и разъ вечеромъ—вотъ что! Были бы тогда оба не такіе ежи...

И разсерженный онъ уходитъ прочь отъ нея, чѣмъ она очень довольна:—по двору давно уже ходитъ говоръ, что хохолъ не даромъ къ ней ластится, и она зла на него, на него и на всѣхъ людей, которые суются не въ свое дѣло. А хохолъ идетъ въ уголъ двора своей прямой солдатской походкой, бодрый и сильный, несмотря на свои сорокъ лѣтъ.

Вотъ откуда-то къ нему подъ ноги подвертывается Чижикъ.

— Она тоже, дяденька, рѣдька, Орлиха-то!—вполголоса сообщаетъ онъ Левченку, хитро подмигивая туда, гдѣ сидитъ Матрена.

— Вотъ я тебѣ такую пропишу, гдѣ нужно, рѣдьку!—усмѣхаясь въ усы, грозитъ хохолъ. Онъ любитъ бойкаго Чижика и внимательно слушаетъ его, зная, что Чижику извѣстны всѣ тайны двора.

— Около нея не обрыбишься,—не обращая вниманія на угрозу, поясняетъ Чижикъ.—Максимка-маляръ пробовалъ, дыкъ она его такъ смазала! Я самъ слышалъ... здорово! Прямо по харѣ... какъ по барабану!

Полуребенокъ, полувзрослый, несмотря на свои двѣнадцать лѣтъ, живой и впечатлительный, онъ, какъ губка влагу, жадно впитываетъ въ себя грязь окружающей его жизни, и на лбу у него уже есть тонкая морщинка, указывающая на то, что Сенька Чижикъ думаетъ.

... На дворѣ темно. Надъ нимъ сіяетъ весь въ блескѣ звѣздъ квадратный кусокъ синяго неба и, окруженный высокими стѣнами, дворъ кажется глубокой ямой, когда съ него смотришь вверхъ. Въ одномъ углу этой ямы сидитъ маленькая женская фигурка, отдыхая отъ побоевъ и ожидая пьянаго мужа...

Орловы были женаты четвертый годъ. Былъ у нихъ ребенокъ, но проживъ около полутора года, умеръ; они оба недолго горевали о немъ, быстро успокоившись въ надеждѣ имѣть другого. Подвалъ, въ которомъ они помѣщались, представлялъ собою большую, продолговатую, темную комнату со сводчатымъ потолкомъ. Прямо у двери стояла большая русская печь, челомъ къ окнамъ; между нею и стѣной узенькій проходъ велъ въ квадратъ, освѣщенный двумя окнами, выходившими во дворъ. Свѣтъ падалъ изъ нихъ въ подвалъ косыми, мутными полосами, и въ комнатѣ было сыро, глухо и мертво. Жизнь билась гдѣ-то тамъ далеко наверху, а сюда залетали отъ нея только глухіе, неопредѣленные звуки, падавшіе вмѣстѣ съ пылью въ яму къ Орловымъ какими-то безформенными и безцвѣтными хлопьями. Противъ печи по стѣнѣ стояла деревянная двухспальная кровать за ситцевымъ пологомъ, коричневымъ, съ розовыми цвѣтами; противъ кровати у другой стѣны— столъ, на которомъ пили чай и обѣдали, а между кроватью и стѣной въ двухъ полосахъ свѣта супруги работали.

По стѣнамъ лѣниво путешествовали тараканы, объѣдая хлѣбный мякишъ, которымъ были приклеены къ штукатуркѣ разныя картинки изъ старыхъ журналовъ; унылыя мухи летали повсюду, скучно жужжа, и засиженныя ими картинки смотрѣли темными пятнами съ грязно-сѣраго фона стѣнъ.

День Орловыхъ начинался такъ: часовъ въ шесть утра Матрена просыпалась, умывалась и ставила самоваръ, не разъ искалѣченный въ пылу дракъ и весь покрытый заплатами изъ олова. Пока кипѣлъ самоваръ, она убирала комнату, ходила въ лавочку, потомъ будила мужа: онъ вставалъ, умывался, а самоваръ уже стоялъ на столѣ, шипя и курлыкая. Садились пить чай съ бѣлымъ хлѣбомъ, котораго съѣдали вдвоемъ фунтъ.

Григорій работалъ хорошо, и работа у него была

всегда, за чаемъ онъ распредѣлялъ ее. Онъ дѣлалъ чистую работу, требовавшую руки мастера, жена сучила дратву, подклеивала поднарядъ, дѣлала набойки на стоптанные каблуки и тому подобныя мелочи. За чаемъ же обсуждался обѣдъ. Зимой, когда надо ѣсть больше, это былъ довольно интересный вопросъ; лѣтомъ изъ экономіи печь топили только по праздникамъ и то не всегда, питались же преимущественно разными окрошками изъ кваса, съ добавленіемъ луку, соленой рыбы, иногда мяса, свареннаго у кого-нибудь на дворѣ. Кончивъ чай, садились работать: Григорій на квашенку, обитую кожей и съ трещиной на боку, жена рядомъ съ нимъ—на низенькую скамейку.

Сначала работали молча—о чемъ имъ было говорить? Перекинутся парой словъ, относящихся къ работѣ, и молчатъ по получасу и больше. Стучитъ молотокъ, шипитъ дратва, продергиваемая сквозь кожу. Григорій иногда зѣвнетъ и непремѣнно заключитъ зѣвокъ протяжнымъ ревомъ или воемъ. Матрена вздыхаетъ и молчитъ. Иногда Орловъ запѣвалъ пѣсню. Голосъ у него былъ рѣзкій, съ металлическимъ тембромъ, но пѣть онъ умѣлъ. Слова пѣсни то собирались въ жалобный и быстрый речитативъ и, какъ бы боясь не договорить того, что хотѣли сказать, стремительно рвались изъ Гришкиной груди, то вдругъ растягивались въ грустные вздохи или — съ воплемъ „эхъ!“— тоскливые и громкіе летѣли изъ окна на дворъ. Матрена подтягивала мужу своимъ мягкимъ контральто. Лица у обоихъ становились задумчивыми и печальными, темные глаза Гришки подергивались влагой. Жена его, погруженная въ звуки, какъ-то тупѣла, сидя точно въ полуснѣ и покачиваясь изъ стороны въ сторону, а иногда она точно захлебывалась пѣсней, разрывая средину ноты паузой, и снова продолжала вести ее въ унисонъ голоса мужа. Оба они во время пѣнія не чувствовали присутствія другъ друга, стараясь

излить въ чужихъ словахъ пустоту и скуку своей темной жизни, хотѣли, быть можетъ, оформить этими словами тѣ полусознательныя мысли и ощущенія, которыя зарождались въ ихъ душахъ.

Порой Гришка импровизировалъ:

Э-охъ, ты, жи-изнь... эхъ, да ужъ ты, жизнь моя треклятая...
Да ты, тоска-а! Эхъ и ты, тоска моя проклятая,
Проклятущая тоска-а-а!..

Матренѣ эти импровизаціи не нравились, и она обыкновенно въ такихъ случаяхъ спрашивала его:

— Чего ты завылъ, какъ пёсъ передъ покойникомъ?

Онъ почему-то тотчасъ же сердился на нее:

— Тупорылая хавронья! Что ты можешь понимать? Кикимора болотная!

— Вылъ, вылъ, да и залаялъ...

— Молчать твое дѣло! Я кто — подмастерье что ли твой, что ты мнѣ рацеи-то начитывать суешься, а?..

Матрена, видя, что у него напрягаются жилы на шеѣ и что глаза блещутъ гнѣвомъ, — молчала, молчала долго, демонстративно не отвѣчая на вопросы мужа, гнѣвъ котораго гасъ такъ же быстро, какъ и вспыхивалъ.

Она отвертывалась отъ его взглядовъ, искавшихъ примиренія съ ней, ожидавшихъ ея улыбки, и вся была полна трепетнаго чувства боязни, что онъ вновь разсердится на нее за эту игру съ нимъ. Но въ то же время сердиться на него и видѣть его стремленіе къ миру съ ней для нея было пріятно,—вѣдь это значило жить, думать, волноваться...

Оба они—молодые и здоровые люди—любили другъ друга и гордились другъ другомъ... Гришка былъ такой сильный, горячій, красивый, а Матрена — бѣлая, полная, съ огонькомъ въ сѣрыхъ глазахъ, — „ядреная баба“, какъ говорили о ней на дворѣ. Они любили другъ друга, но имъ было такъ скучно жить, у нихъ

почти не было впечатлѣній и интересовъ, которые могли бы порой дать имъ возможость отдохнуть другъ отъ друга и удовлетворяли бы естественную потребность человѣческаго духа—волноваться, думать, горѣть—вообще жить. Ибо при условіи отсутствія внѣшнихъ впечатлѣній и одухотворяющихъ жизнь интересовъ мужъ и жена—даже и тогда, когда это люди высокой культуры духа—роковымъ образомъ должны опротивѣть другъ другу. Это законъ, столь же неизбѣжный, какъ и справедливый. Если бъ у Орловыхъ была жизненная цѣль, хоть бы такая узкая, какъ накопленіе денегъ грошъ за грошомъ, тогда, несомнѣнно, имъ жилось бы легче.

Но у нихъ не было и этого.

Постоянно одинъ у другого на глазахъ, они привыкли другъ къ другу, знали всѣ слова и жесты одинъ другого. День шелъ за днемъ и не вносилъ въ ихъ жизнь ничего, что развлекало бы ихъ. Иногда, по праздникамъ, они ходили въ гости къ такимъ же нищимъ духомъ, какъ сами, иногда къ нимъ приходили гости, пили, пѣли, часто—дрались. А потомъ снова одинъ за другимъ тянулись безцвѣтные дни, какъ звенья невидимой цѣпи, отягчавшей жизнь этихъ людей работой, скукой и безсмысленнымъ раздраженіемъ другъ противъ друга.

Иногда Гришка говорилъ:

— Вотъ такъ жизнь, вѣдьма ея бабушка! И зачѣмъ только она мнѣ далась? Работища да скучища, скучища да работища...—И помолчавъ, съ поднятыми къ потолку глазами, съ блуждающей улыбкой, онъ продолжалъ:—родила меня мать по волѣ Божіей... супротивъ этого ничего не скажешь! Научился я мастерству... это вотъ зачѣмъ? Али, кромѣ меня, мало сапожниковъ? Ну, ладно, сапожникъ, а дальше что? Какое въ этомъ для меня удовольствіе?... Сижу въ ямѣ и шью... Потомъ помру. Вотъ, говорятъ, холера... Ну и что же? Жилъ Григорій

Орловъ, шилъ сапоги—и померъ отъ холеры. Въ чемъ же тутъ сила? И зачѣмъ это нужно, чтобъ я жилъ, шилъ и померъ, а?

Матрена молчала, чувствуя въ словахъ мужа что-то страшное; но порой она просила его не говорить такихъ словъ, потому что они противъ Бога, Который ужъ знаетъ, какъ устроить человѣку жизнь. А иногда, будучи не въ духѣ, она скептически заявляла мужу:

— А ты бы вотъ не пилъ винища-то—и жилось бы тебѣ веселѣе, и не лезли бы въ голову-то этакія мысли. Другіе живутъ — не жалуются, а копятъ денежки, да свои мастерскія на нихъ заводятъ и живутъ потомъ уже сами-то, какъ господа.

— И выходишь ты за такія деревянныя твои слова— чортова кукла! Раскинь мозгами-то, развѣ я могу не пить, коли въ этомъ моя радость? Другіе! Много ты ихъ, другихъ-то, этакихъ удачливыхъ знаешь? А я развѣ до женитьбы такой былъ? Это, ежели по совѣсти говорить, такъ ты меня сосешь и жизнь мнѣ тѣснишь... У, жаба!

Матрена обижалась, но чувствовала, что мужъ ея правъ. Въ пьяномъ видѣ онъ и веселый, и ласковый,— другіе были плодомъ ея фантазіи,—и до женитьбы онъ былъ не таковъ. Тогда это былъ весельчакъ, занятный и добрый... А теперь сталъ сущій звѣрь.

„Почему это? Неужто и впрямь я ему тяжела?“ — думала она.

Сердце ея сжималось отъ этой горькой думы, ей становилось жаль себя и его; она подходила къ нему и, ласково, любовно заглядывая ему въ глаза, плотно прижималась къ его груди.

— Ну, теперь будетъ лизаться, корова... — угрюмо говорилъ Гришка и показывалъ видъ, что хочетъ оттолкнуть ее отъ себя; но она уже знала, что онъ этого не сдѣлаетъ, и еще ближе, еще крѣпче жалась къ нему.

Тогда у него вспыхивали глаза, онъ бросалъ на полъ

работу и, посадивъ жену къ себѣ на колѣни, цѣловалъ ее много и долго, вздыхая во всю грудь и говоря вполголоса, точно боясь, что его подслушаетъ кто-то:

— Э-эхъ, Мотря! Живемъ мы съ тобой ай-ай какъ плохо... Какъ звѣрье грыземся... А почему? Такая звѣзда моя... подъ звѣздой родится человѣкъ и звѣзда — судьба его!

Но это объясненіе не удовлетворяло его и, прижавъ жену къ груди, онъ задумывался.

Они подолгу сидѣли такъ въ мутномъ свѣтѣ и спертомъ воздухѣ своего подвала. Она молчала, вздыхая, но иногда въ такіе хорошіе моменты ей вспоминались незаслуженные обиды и побои, понесенные отъ него, и она съ тихими слезами жаловалась ему на него.

Тогда онъ, смущенный ея ласковыми упреками, еще горячѣе ласкалъ ее, а она все болѣе разливалась въ жалобахъ. Это, наконецъ, опять-таки раздражало его.

— Будетъ скулить! Мнѣ, можетъ быть, въ тысячу разъ больнѣе, когда я тебя бью. Понимаешь? Ну и помолчи. Вашей сестрѣ дай волю, такъ вы и за горло. Брось разговоры. Что ты можешь сказать человѣку, ежели ему жизнь осточертѣла?

Въ другое время онъ смягчался подъ потокомъ ея тихихъ слезъ и страстныхъ жалобъ и уныло, задумчиво объяснялъ:

— Что я съ моимъ характеромъ подѣлаю? Обижаю я тебя... это вѣрно. Знаю, что ты у меня одна душа... ну, не всегда я это помню. Понимаешь, Мотря, иной разъ глаза бы мои на тебя не смотрѣли! Вродѣ какъ бы объѣлся я тобой. И подступитъ мнѣ въ ту пору подъ сердце этакое зло—разорвалъ бы я тебя, да и себя заодно. И чѣмъ ты предо мной правѣе, тѣмъ мнѣ больше бить тебя хочется...

Она едва ли понимала его, но кающійся и ласковый тонъ успокоивалъ ее.

— Богъ дастъ, какъ-нибудь поправимся, привык-

немъ, — говорила она, не сознавая, что они уже давно привыкли и исчерпали другъ друга.

— Вотъ ежели бы дите у насъ родилось—было бы лучше намъ...—вздыхая, заявляла она иногда.—Была бы у насъ и забава, и забота.

— Такъ чего же ты? Рожай...

— Да... вѣдь при такихъ твоихъ побояхъ—не могу я принести. Очень ужъ ты по животу и по бокамъ больно бьешь... Хоть бы ногами-то не билъ...

— Ну,—угрюмо и сконфуженно оправдывался Григорій,—развѣ можно въ этомъ разѣ соображать, чѣмъ, по чему бить надо? Да и я не палачъ какой... и не для удовольствія бью, а отъ тоски...

— И отчего она завелась въ тебѣ, тоска эта? — грустно спрашивала Матрена.

— Судьба такая, Мотря!—философствовалъ Гришка. Судьба и характеръ души... Гляди, хуже я другихъ, хохла, къ примѣру? Однако, хохолъ живетъ и не тоскуетъ. Одинъ онъ, ни жены, никого... Я бы подохъ безъ тебя... А онъ ничего! Онъ куритъ трубку и улыбается; доволенъ, дьяволъ, и тѣмъ, что трубку куритъ. А я такъ не могу... я родился, видно, съ безпокойствомъ въ сердцѣ. Характеръ у меня такой... У хохла онъ — какъ палка, а у меня — какъ пружина; нажмешь на него—дрожитъ... Выйду я, къ примѣру, на улицу, вижу то, другое, третье, а у меня ничего нѣтъ. Это мнѣ обидно. Хохлу—тому ничего не надо, а мнѣ и то обидно, что онъ, усатый чортъ, ничего не хочетъ, а я... и не знаю даже, чего хочу... всего! Н-да... Я сижу вотъ въ ямѣ и все работаю, и ничего нѣтъ у меня. Опять же и ты... Жена ты мнѣ, а что въ тебѣ занятнаго? Баба, какъ баба, со всѣмъ бабьимъ наборомъ... Знаю я все въ тебѣ; какъ ты чихнешь завтра—и то знаю, потому ты ужъ тысячу разъ, можетъ, при мнѣ чихала... Какая же поэтому у меня можетъ быть жизнь и какой интересъ? Нѣтъ интересу. Ну, я и иду въ трактиръ, потому что тамъ весело.

— А ты зачѣмъ же женился?—спрашивала Матрена.

— Зачѣмъ? — Гришка усмѣхался. — Чортъ меня знаетъ зачѣмъ... не надо бы, ежели по совѣсти сказать... Въ босяки бы лучше уйти... Тамъ хоть голодно, да свободно—иди куда хочешь! Шагай по всей землѣ!...

— Такъ иди, а меня отпусти на волю, — заявляла Матрена, готовая разревѣться.

— Это куда?—внушительно спрашивалъ Гришка.

— А мое дѣло.

— Ку-уда?—и глаза у него зловѣще разгорались.

— Не ори,—не боюсь...

— Али присмотрѣла себѣ кого? Говори!

— Пусти!

— Куда пустить?—ревѣлъ Гришка.

Онъ уже держалъ ее за волосы, сбивъ платокъ съ ея головы. Побои озлобляли ее, зло же доставляло ей великое наслажденіе, возбуждая всю ея душу, и она, вмѣсто того, чтобы двумя словами угасить его ревность, еще болѣе подзадоривала его, улыбаясь ему въ лицо странными, многозначительными улыбками. Онъ бѣсился и билъ ее, безпощадно билъ.

А ночью, когда она, вся изломанная и измятая, стоная, лежала на постели рядомъ съ нимъ, онъ искоса смотрѣлъ на нее и тяжело вздыхалъ. Ему было скверно, совѣсть мучила его, онъ понималъ, что его ревность не имѣетъ основаній и что онъ напрасно избилъ ее.

— Ну, будетъ ужъ...—сконфуженно говорилъ онъ.— Али я виноватъ? Да и ты тоже хороша... Вмѣсто того, чтобъ меня уговорить—подзадориваешь. Зачѣмъ это тебѣ надобно?

Она молчала, но она знала зачѣмъ, знала, что теперь ее, избитую и оскорбленную, ожидаютъ его ласки, страстныя и нѣжныя ласки примиренія. За это она готова была ежедневно платить болью въ избитыхъ бокахъ. И она плакала уже отъ одной только радости ожиданія, прежде чѣмъ мужъ успѣвалъ прикоснуться къ ней.

— Ну, полно, Мотря! Ну, голубушка, а? Полно, прости ужъ!—Онъ гладилъ ея волосы, цѣловалъ ее и скрипѣлъ зубами отъ горечи, наполнявшей все его существо.

Окна ихъ были открыты, но небо закрывала капитальная стѣна сосѣдняго дома и въ комнатѣ ихъ, какъ и всегда, было и темно, и душно, и тѣсно.

— Эхъ, жизнь! Каторга ты великолѣпная!—шепталъ Гришка, не будучи въ состояніи высказать того, что съ болью чувствовалъ. — Отъ ямы это, Мотря. Что мы? Вродѣ какъ бы прежде смерти въ землю похоронены...

— Переѣдемъ на другую квартиру,—сквозь сладкія слезы предлагала Матрена, понимая его слова буквально.

— Э-эхъ! Не то, тётенька! Хоть на чердакъ заберись, все въ ямѣ будешь... не квартира яма... жизнь—яма!

Матрена задумывалась и опять говорила:

— Богъ дастъ, можетъ и поправимся... привыкнемъ.

— Да, поправимся... Часто ты это говоришь. А дѣло-то у насъ, Мотря, не на поправку идетъ... Скандалы-то все чаще,—понимаешь?

Это было вѣрно. Промежутки между ихъ ссорами все сокращались, и вотъ, наконецъ, каждую субботу еще съ утра Гришка уже настраивался враждебно къ своей женѣ.

— Сегодня вечеромъ пошабашу и въ трактиръ къ Лысому... Напьюсь...—объявлялъ онъ.

Матрена, странно щуря глаза, молчала.

— Молчишь? И ужо вотъ такъ же молчи, цѣлѣе будешь,—предупреждалъ онъ.

Въ теченіе дня онъ съ озлобленіемъ, возраставшимъ по мѣрѣ приближенія вечера все болѣе, — нѣсколько разъ напоминалъ ей о своемъ намѣреніи напиться, чувствовалъ, что ей больно это слышать, и видя, какъ она, сосредоточенно молчаливая, съ твердымъ блескомъ въ глазахъ, готовая бороться, ходитъ по комнатѣ, еще болѣе свирѣпѣлъ.

Вечеромъ вѣстникъ ихъ несчастія, Сенька Чижикъ, объявлялъ о „страженіи“.

Избивъ жену, Гришка исчезалъ иногда на всю ночь, иногда не являлся и въ воскресенье. Она, вся въ синякахъ, встрѣчала его суровая, молчаливая, но полная скрытой жалости къ нему, оборванному, часто тоже избитому, въ грязи, съ налитыми кровью глазами.

Она знала, что ему надо опохмелиться, и у нея уже было припасено полбутылки водки. Онъ тоже зналъ это.

— Дай рюмочку...—хрипло просилъ онъ, пилъ двѣ-три и садился работать...

День проходилъ у него въ угрызеніяхъ совѣсти; часто онъ не выносилъ ихъ остроты, бросалъ работу и ругался страшными ругательствами, бѣгая по комнатѣ или валяясь на постели. Мотря давала ему время перекипѣть, тогда они мирились.

Раньше это примиреніе имѣло въ себѣ много остраго и сладкаго, но отъ времени все это постепенно выдыхалось, и мирились уже почти только потому, что неудобно же было молчать всѣ пять дней вплоть до субботы.

— Сопьешься ты,—вздыхая говорила Мотря.

— Сопьюсь,—подтверждалъ Гришка и сплевывалъ въ сторону съ видомъ человѣка, которому рѣшительно все равно, спиться или не спиться. — А ты отъ меня удерешь...—дополнялъ онъ картину будущаго, пытливо глядя ей въ глаза.

Она съ нѣкоторыхъ поръ стала опускать ихъ, чего раньше не дѣлала, а Гришка, видя это, зловѣще хмурилъ брови и тихонько скрипѣлъ зубами. Но, тайкомъ отъ мужа, она пока еще ходила къ гадалкамъ и знахаркамъ, принося отъ нихъ наговорные корешки и угли. А когда все это не помогло, она отслужила молебенъ святому великомученику Вонифатію, помогающему отъ запоя, и во все время молебна, стоя на колѣняхъ, горячо плакала, беззвучно двигая дрожащими губами.

И все чаще и чаще она чувствовала къ мужу дикую и холодную ненависть, возбуждавшую въ ней черныя думы, и все менѣе жалѣла она этого человѣка, три года тому назадъ такъ обогатившаго ея жизнь веселымъ смѣхомъ, ласками, любовными рѣчами.

Такъ изо дня въ день жили эти, въ сущности, недурные люди, жили, фатально ожидая чего-то такого, что окончательно вдребезги разобьетъ ихъ мучительно-нелѣпую жизнь...

Однажды въ понедѣльникъ утромъ, когда чета Орловыхъ только что напилась чаю, на порогѣ двери въ ихъ невеселое жилище появилась внушительная фигура полицейскаго. Орловъ вскочилъ со своего сидѣнья и, подъ укоризненно-пугливымъ взглядомъ жены пытаясь возстановить въ своей похмельной головѣ событія послѣднихъ дней, молчаливо и упорно уставился на гостя мутными глазами, полный самыхъ скверныхъ ожиданій.

— Сюда, сюда,—приглашалъ кого-то полицейскій.

— Темно, какъ въ омутѣ, чортъ бы побралъ купца Петунникова,—раздался молодой и веселый голосъ. Потомъ полицейскій посторонился, и въ комнату Орловыхъ быстро вошелъ студентъ въ бѣломъ кителѣ, съ фуражкой въ рукѣ, гладко остриженный, съ большимъ загорѣлымъ лбомъ и веселыми карими глазами, смѣшливо сверкавшими изъ-подъ очковъ.

— Здравствуйте!—воскликнулъ онъ еще не окрѣпнувшимъ баскомъ.—Честь имѣю представиться—санитаръ! Пришелъ освѣдомиться, какъ поживаете... и понюхать вашъ воздухъ... воздухъ у васъ совсѣмъ скверный!

Орловъ свободно вздохнулъ и радушно, весело улыбнулся. Ему сразу понравился этотъ шумный студентъ: лицо у него было такое здоровое, розовое, доброе, покрытое на щекахъ и подбородкѣ русымъ пухомъ. Все

оно улыбалось какою-то особенною, свѣжею и ясною улыбкой, отъ которой въ подвалѣ Орловыхъ стало какъ бы свѣтлѣе и веселѣе.

— Ну-съ, господа хозяева! — безъ паузъ говорилъ студентъ,—помойку опрастывайте почаще, а то отъ нея идетъ этотъ духъ невкусный. Я вамъ, тетенька, посовѣтовалъ бы мыть ее почаще и еще насыпали бы негашеной извести въ углы для очистки воздуха... а также противъ сырости известь помогаетъ. А у васъ, дяденька, почему такой скучный видъ?—обратился онъ къ Орлову и тутъ же, схвативъ его за руку, сталъ ощупывать пульсъ.

Бойкость студента какъ-то ошеломила Орловыхъ. Матрена растерянно улыбалась, молча оглядывая его, Григорій тоже улыбался, любуясь его живымъ лицомъ въ русомъ пуху.

— Животики у васъ какъ поживаютъ?—спрашивалъ тотъ.—Разсказывайте, не стѣсняясь... дѣло житейское, а ежели чуть что неладно, мы васъ снабдимъ разными кислыми лѣкарствами, и все какъ рукой сниметъ.

— Мы ничего... въ добромъ здоровьѣ, — сообщилъ, наконецъ, Григорій, усмѣхаясь. — А ежели я не того... такъ это одна наружность... потому что, ежели по правдѣ говорить, съ похмѣлья я нѣсколько.

— То-то я чую носомъ-то, что какъ будто бы вы, хозяинъ, чуть-чуть выпили вчера... самую малость, знаете...

Онъ до того уморительно произнесъ это и такую при этомъ скорчилъ рожу, что Орловъ такъ и прыснулъ довѣрчивымъ и громкимъ смѣхомъ. Матрена тоже смѣялась, закрывая ротъ передникомъ. Веселѣе и громче всѣхъ смѣялся самъ студентъ, и онъ же скорѣе всѣхъ и пересталъ. И когда расправились складки кожи около его пухлаго рта и около глазъ, складки, вызванныя смѣхомъ,—лицо его, простое и открытое, стало какъ-то еще проще.

— Выпить рабочему человѣку слѣдуетъ, ежели въ

мѣру, но по нынѣшнимъ временамъ лучше совсѣмъ воздержаться отъ выпивки. Слышали, какая болѣзнь-то ходитъ между людьми?

И уже съ серьезною миной на лицѣ онъ понятнымъ языкомъ началъ разсказывать Орловымъ о холерѣ и о мѣрахъ борьбы съ ней. Онъ говорилъ и расхаживалъ по комнатѣ, то щупая стѣну рукой, то заглядывая за дверь, въ уголъ, гдѣ висѣлъ рукомойникъ и стояла лохань съ помоями, даже нагнулся къ подпечку и понюхалъ, чѣмъ изъ него пахнетъ. Голосъ у него то и дѣло срывался съ басовыхъ нотъ на теноровыя, и простыя слова его рѣчи какъ-то сами собой, безъ усилій со стороны слушателей, одно за другимъ плотно укладывались въ ихъ памяти. Свѣтлые глаза его горѣли, и весь онъ былъ пропитанъ пыломъ своей молодой страсти къ дѣлу, которому онъ такъ просто и бодро служилъ.

Григорій съ улыбкой любопытства слѣдилъ за нимъ. Матрена то и дѣло фыркала носомъ, полицейскій исчезъ.

— Такъ насчетъ извести-то позаботьтесь сегодня же, хозяева. Тутъ рядомъ съ вами стройка, такъ каменщики вамъ на пятакъ сколько угодно дадутъ. А отъ выпивки, ежели не въ мѣру, нужно воздержаться, хозяинъ... Н-ну, пока до свиданья... Я еще забѣгу къ вамъ...

И онъ исчезъ такъ же быстро, какъ и вошелъ, оставивъ какъ бы въ видѣ воспоминанія о своихъ смѣющихся глазахъ растерянныя и довольныя улыбки на лицахъ четы Орловыхъ.

Съ минуту они молчали, глядя другъ на друга и еще не умѣя оформить впечатлѣніе, оставленное этимъ внезапнымъ набѣгомъ сознательной энергіи на ихъ темную автоматическую жизнь.

— А-яй!—протянулъ Григорій, качая головой.—Вотъ такъ... химикъ! А про нихъ говорятъ, что они отравляютъ народъ! Да развѣ человѣкъ съ такой рожей бу-

деть этимъ заниматься? И опять же голосъ! И все прочее... Нѣтъ, тутъ совсѣмъ открытая манера, пришелъ и сразу—на вотъ, вотъ онъ я! Известка... развѣ это вредно? Лимонная кислота... что такое? Просто кислота и больше ничего! И главное—чистота вездѣ, въ воздухѣ и на полу, и въ лоханкѣ... Развѣ такими средствами можно отравить человѣка? Ахъ, черти! Отравители, говорятъ... Этакой-то рубаха-парень, а? Тьфу! Рабочему, говоритъ, человѣку въ мѣру выпить всегда слѣдуетъ... слышь, Мотря? Ну-ка, нацѣди мнѣ рюмочку... есть, что ли?

Она очень охотно налила ему полчашки водки изъ бутылки, неизвѣстно откуда взятой ею.

— Этотъ-то дѣйствительно хорошій... такой располагающій къ себѣ,—сказала она, улыбаясь при воспоминаніи о студентѣ.—А другіе, прочіе — кто ихъ знаетъ? Можетъ, и впрямь наняты они...

— Да для чего наняты-то и кѣмъ опять же? — воскликнулъ Григорій.

— Для людского истребленія... Говорятъ, что какъ бѣднаго люда очень много, то и вышло распоряженіе— травить лишнихъ,—сообщила Матрена.

— Кто это говоритъ?

— Всѣ говорятъ... Стряпка отъ маляровъ говорила и другіе многіе...

— И дуры! Да развѣ это выгодно? Ты подумай: лѣчатъ! Это какъ понимать? Хоронятъ! А это развѣ не убытокъ? Тоже нуженъ гробъ, могила и прочее такое... Все идетъ на счетъ казны... Ер-рунда! Ежели бы хотѣли сдѣлать очистку и убавленіе людей, то взяли бы да и сослали ихъ въ Сибирь — тамъ мѣста про всѣхъ хватитъ! Или на необитаемые острова... И сославъ, приказали бы тамъ работать. Работай и плати подать... поняла? Вотъ тебѣ и очистка, и очень даже выгодно... Потому что необитаемый островъ никакого дохода не дастъ, ежели не засадить его людьми. А казнѣ—доходъ первое дѣло, значитъ, морить людей да хоронить ихъ

на свой счетъ ей не рука... Поняла? И опять же студентъ... озорникъ онъ, это точно, но онъ больше насчетъ бунта, а чтобы людей морить... нѣ-ѣтъ, его для такой игры не укупишь за всѣ мѣдныя! Развѣ сразу не видно, что онъ къ этому дѣлу не можетъ быть способенъ? Рыло у него не того калибра...

Цѣлый день они толковали о студентѣ и о всемъ, что онъ сообщилъ имъ. Вспоминали звукъ его смѣха, его лицо, нашли, что у него на кителѣ не хватало одной пуговицы, и едва не разругались изъ-за вопроса: „на какой сторонѣ груди“? Матрена упорно утверждала, что на правой, ея мужъ говорилъ — на лѣвой и уже дважды крѣпко ругнулъ ее, но во-время вспомнивъ, что, наливая водку въ чашку, жена не подняла дно бутылки кверху, онъ уступилъ ей. Потомъ рѣшили съ завтрашняго дня заняться введеніемъ у себя чистоты и снова, овѣянные чѣмъ-то свѣжимъ, продолжали бесѣдовать о студентѣ.

— Нѣтъ, какой вѣдь хлюстъ!—восхищался Григорій.—Пришелъ—точно десять лѣтъ знакомы... Обнюхалъ все, разъяснилъ и... больше ничего! Ни крика, ни шума, хотя вѣдь и онъ начальство тоже... Ахъ, раздуй его горой! Понимаешь, Матрена, тутъ, братъ, есть о насъ забота. Сразу видно... Желаютъ насъ сохранить въ цѣлости, а не то что, что другое... Это все ерунда, насчетъ мора... бабьи сказки... Животъ, говоритъ, какъ дѣйствуетъ?.. А ежели моръ, такъ на кой ему чортъ дѣйствіе моего живота знать? А какъ онъ ловко разъяснилъ насчетъ этихъ... какъ ихъ? дьяволовъ-то, которые заползаютъ въ кишки, ну?

— Какъ-то вродѣ небылицы,—усмѣхнулась Матрена.—Чай, это такъ только, для страха, чтобы насчетъ чистоты старался больше народъ...

— Ну, тамъ кто ихъ знаетъ, можетъ и правда... отъ сырости черви вѣдь заводятся же. Ахъ, ты чортъ! Какъ ихъ, этихъ козяковъ? Совсѣмъ не небылицы, а... помню

вѣдь какъ!.. На языкѣ вертится слово, а не поймаю...

Они и когда спать легли, такъ все еще говорили о событіи дня съ тѣмъ же наивнымъ воодушевленіемъ, съ какимъ дѣти дѣлятся между собой впервые пережитымъ и сильно поразившимъ ихъ впечатлѣніемъ. Такъ они и заснули среди разговора.

Поутру рано ихъ разбудили. У кровати ихъ стояла дородная стряпка маляровъ, и ея, всегда красное, полное лицо, противъ обыкновенія было сѣро и вытянуто.

— Что вы проклаждаетесь? — торопливо говорила она, какъ-то особенно шлепая толстыми губами.—Холера-то вѣдь на дворѣ у насъ... Посѣтилъ Господь!— и она вдругъ заплакала.

— Ахъ, ты... врешь?—воскликнулъ Григорій.

— А я лоханку-то съ вечера не вынесла,—виновато сказала Матрена.

— Я, милые вы мои, хочу расчетъ взять. Уйду я... Уйду и уйду... въ деревню,—говорила стряпка.

— Да кого забрало-то?—спросилъ Григорій, поднимаясь съ постели.

— Гармониста! Его... Выпилъ, слышь, воды изъ фонтана вчера вечеромъ, въ ночь его и схатило... И схватило, сударики, прямо за животъ, вродѣ какъ бы отъ мышьяка бываетъ...

— Гармонистъ...—бормоталъ Григорій. Ему не вѣрилось, чтобъ гармониста могла одолѣть какая-нибудь болѣзнь. Такой веселый, удалой парень, вчера онъ прошелъ по двору такимъ же павлиномъ, какъ и всегда. Пойду, взгляну,—рѣшилъ Орловъ, недовѣрчиво усмѣхаясь.

Обѣ женщины испуганно вскрикнули:

— Гриша, вѣдь зараза!

— Что ты, батюшка, куда ты?

Григорій крѣпко выругался, сунулъ ноги въ опорки и растрепанный, съ разстегнутымъ воротомъ рубахи, пошелъ къ двери. Жена схватила его сзади за плечо

онъ чувствовалъ, что рука ея дрожитъ, и вдругъ озлился почему-то.

— Въ морду дамъ! Прочь!—рявкнулъ онъ и ушелъ, толкнувъ жену въ грудь.

На дворѣ было тихо и пусто, и Григорій, идя къ двери гармониста, одновременно чувствовалъ и ознобъ страха, и острое удовольствіе отъ того, что изъ всѣхъ обитателей дома одинъ онъ идетъ къ больному гармонисту. Это удовольствіе еще болѣе усилилось, когда онъ замѣтилъ, что изъ оконъ второго этажа на него смотрятъ портные. Онъ даже засвисталъ, ухарски тряхнувъ головой. Но у двери въ каморку гармониста его ждало маленькое разочарованіе въ образѣ Сеньки Чижика.

Пріотворивъ дверь, онъ сунулъ свой острый носъ въ образовавшуюся щель и, по своему обыкновенію, наблюдалъ, увлеченный до такой степени, что обернулся только тогда, когда Орловъ дернулъ его за ухо.

— Вотъ такъ скрючило его, дяденька Григорій,— шопотомъ заговорилъ онъ, поднявъ на Орлова свою чумазую мордочку, еще болѣе обостренную переживаемымъ впечатлѣніемъ.—И вродѣ какъ бы разсохся онъ... какъ худая бочка... ей Богу!

Орловъ, охваченный зловоннымъ воздухомъ, стоялъ и молча слушалъ Чижика, стараясь заглянуть однимъ глазомъ въ щель непритворенной двери.

— Ежели бы воды ему дать напиться, дяденька Григорій?—предложилъ Чижикъ.

Орловъ взглянулъ на лицо мальчика, возбужденное почти до нервной дрожи, и самъ почувствовалъ въ себѣ какъ бы взрывъ возбужденія.

— Ступай, тащи воды!—скомандовалъ онъ Чижику и, смѣло распахнувъ дверь, остановился на порогѣ, нѣсколько подавшись назадъ.

Сквозь туманъ въ глазахъ Григорій видѣлъ Кислякова:—гармонистъ въ своемъ парадномъ костюмѣ ле-

жалъ грудью на столѣ, крѣпко вцѣпившись въ него руками, и его ноги въ лакированныхъ сапогахъ вяло двигались по мокрому полу.

— Кто это?—спросилъ онъ сипло и апатично, точно голосъ его слинялъ, потерялъ всѣ тона.

Григорій оправился и, осторожно шагая по полу, пошелъ къ нему, стараясь говорить бодро и даже шутливо.

— Я, братъ, Митрій Павловъ... А ты что это... переложилъ что ли вчера?—онъ внимательно, съ боязнью и любопытствомъ разсматривалъ Кислякова и не узналъ его.

Лицо у гармониста все обострилось, скулы торчали двумя рѣзкими углами, глаза глубоко ввалились и, окруженные зеленоватыми пятнами, были страшно неподвижны и мутны. Кожа на щекахъ была такого цвѣта, какою она бываетъ у покойниковъ въ жаркое лѣтнее время. Это было совсѣмъ мертвое, страшное лицо, и только медленное движеніе челюстей доказывало, что оно еще живо. Неподвижные глаза Кислякова долго смотрѣли въ лицо Григорія, и этотъ ихъ мертвый взглядъ наводилъ на него ужасъ. Зачѣмъ-то ощупывая свои бока руками, Орловъ стоялъ шагахъ въ трехъ отъ больного и чувствовалъ, что его точно кто-то схватилъ за горло сырой и холодной рукой, хватилъ и медленно душитъ. И ему захотѣлось скорѣе уйти изъ этой комнатки, прежде такой свѣтлой и уютной, а теперь пропитанной какимъ-то удушающимъ запахомъ гнили и страннымъ холодомъ.

— Ну...—началъ было онъ, приготовляясь отступать. Но сѣрое лицо гармониста странно задвигалось, губы, покрытыя чернымъ налетомъ, раскрылись, и онъ сказалъ своимъ беззвучнымъ голосомъ:

— Это... я... умираю...

Глубокое равнодушіе, неизъяснимая апатія трехъ его словъ отдались въ головѣ и груди Орлова, какъ три тупыхъ удара. Съ безсмысленной гримасой на лицѣ,

онъ повернулся къ двери, но навстрѣчу ему влетѣлъ Чижикъ, съ ведромъ въ рукѣ, запыхавшійся и весь въ поту.

— Вота... изъ колодца отъ Спиридонова... не давали, черти...

Онъ поставилъ ведро на полъ, бросился куда-то въ уголъ, снова явился и, подавая стаканъ Орлову, продолжалъ тараторить:

— У васъ, говорятъ, холера... Я говорю, ну, такъ что? И у васъ будетъ... теперь ужъ она пойдетъ чесать, какъ въ слободкѣ... Дыкъ онъ меня какъ ахнетъ по башкѣ!..

Орловъ взялъ стаканъ, зачерпнулъ изъ ведра воды и однимъ глоткомъ выпилъ ее. Въ ушахъ его звучали мертвыя слова:

— Это... я... умираю...

А Чижикъ вьюномъ вертѣлся около него, чувствуя себя какъ нельзя болѣе въ своей сферѣ.

— Дайте пить...—сказалъ гармонистъ, двигаясь по полу вмѣстѣ со столомъ.

Чижикъ подскочилъ къ нему и поднесъ къ чернымъ губамъ его стаканъ воды. Григорій, прислонясь къ стѣнѣ у двери, точно сквозь сонъ слушалъ, какъ больной громко втягивалъ въ себя воду: потомъ услыхалъ предложеніе Чижика раздѣть Кислякова и уложить его въ постель, потомъ раздался голосъ стряпки маляровъ. Ея широкое лицо, съ выраженіемъ страха и соболѣзнованія, смотрѣло со двора въ окно, и она говорила плаксивымъ тономъ:

— Дать бы ему сажи голландской съ ромомъ: на стаканъ чайный—сажи двѣ ложки хлебальныхъ, да рому до краевъ.

А кто-то невидимый предложилъ деревяннаго масла съ огуречнымъ разсоломъ и съ царской водкой.

Орловъ вдругъ почувствовалъ, что тяжелая, гнетущая тьма внутри его освѣщается какимъ-то воспоми-

наніемъ. Онъ крѣпко потеръ себѣ лобъ, какъ бы желая усилить яркость этого свѣта, и вдругъ быстро вышелъ вонъ, перебѣжалъ дворъ и исчезъ на улицѣ.

— Батюшки! И сапожника схватило! Въ больницу побѣжалъ,—крикливо-плачущимъ голосомъ комментировала стряпка его бѣгство.

Матрена, стоявшая рядомъ съ ней, посмотрѣла широко открытыми глазами и, поблѣднѣвъ, вся затряслась.

— Врешь ты,—хрипло сказала она, едва двигая бѣлыми губами,—Григорій этой поганой болѣзнью не захвораетъ... не поддастся...

Но стряпка, горестно воя, уже исчезла куда-то, и черезъ пять минутъ на улицѣ около дома купца Петунникова глухо гудѣла кучка сосѣдей и прохожихъ. На всѣхъ лицахъ чередовались одни и тѣ же чувства: возбужденіе, смѣнявшееся безнадежнымъ уныніемъ, и что-то злое, уступавшее иногда мѣсто дѣланной удали. Со двора къ толпѣ и обратно то и дѣло леталъ Чижикъ, сверкая босыми ногами и сообщая ходъ событій въ комнатѣ гармониста.

Публика, тѣсно сбившись въ кучу, наполняла пыльный и пахучій воздухъ улицы глухимъ гуломъ своего говора, а иногда сквозь него вырывалось крѣпкое ругательство по чьему-то адресу, ругательство такое же злое, какъ и безсмысленное.

— Смотрите... Орловъ-то!

Орловъ подъѣхалъ къ воротамъ на козлахъ бѣлой холщевой фуры, которой правилъ угрюмый человѣкъ, весь одѣтый въ бѣломъ же. Этотъ человѣкъ рявкнулъ глухимъ басомъ:

— Пошелъ съ дороги!

И поѣхалъ прямо на людей, шарахнувшихся во всѣ стороны отъ его окрика.

Видъ этой фуры и окрикъ ея возницы какъ бы придавилъ повышенное настроеніе зрителей—всѣ какъ-то сразу потемнѣли и многіе быстро ушли.

Вслѣдъ за фурой явился откуда-то студентъ, посѣщавшій Орловыхъ. Фуражка у него съѣхала на затылокъ, по лбу струился крупный потъ, на немъ была надѣта какая-то длинная мантія ослѣпительной бѣлизны и спереди на ея подолѣ красовалась большая, круглая дыра съ рыжими краями, очевидно, только что прожженная чѣмъ-то.

— Ну, Орловъ, гдѣ больной?—громко спрашивалъ онъ, искоса посматривая на публику, собравшуюся въ уголкѣ у воротъ и встрѣтившую его появленіе весьма недоброжелательно, хотя не безъ любопытства слѣдившую за нимъ.

Кто-то громко сказалъ:

— Ишь ты... какой поваръ!

Другой голосъ тише и съ зловѣщимъ оттѣнкомъ пообѣщалъ:

— Погоди, онъ-те угоститъ!

Нашелся, какъ всегда, въ толпѣ шутникъ.

— Онъ тебѣ дастъ такой супъ, что у тебя сразу лопнетъ пупъ!

Раздался смѣхъ, но не веселый, затемненный боязливымъ подозрѣніемъ, не живой, хотя лица прояснились нѣсколько.

— Вѣдь вотъ сами-то они не боятся заразы... это какъ понимать?—многозначительно спросилъ человѣкъ съ напряженнымъ лицомъ и взглядомъ, полнымъ сосредоточенной злобы.

И подъ вліяніемъ этого вопроса, лица публики снова потемнѣли, а говоръ сталъ глуше...

— Несутъ!

— Орловъ-то! Ахъ, собака!

— Не боится?

— Ему что? Онъ пьяница...

— Осторожнѣй, осторожнѣй. Орловъ! Поднимайте выше ноги... такъ! Готово! Поѣзжай, Петръ!—командовалъ студентъ. Я скоро пріѣду, скажи доктору. Ну-съ,

господинъ Орловъ, я прошу васъ помочь мнѣ уничтожить здѣсь заразу... Кстати, на случай, вы выучитесь, какъ-это дѣлать... Согласны? Ну-те?

— Могу,—сказалъ Орловъ, оглядываясь вокругъ и чувствуя въ себѣ приливъ гордости.

— И я тоже могу, — заявилъ Чижикъ.

Онъ проводилъ печальную фуру за ворота и вернулся какъ разъ во-время для того, чтобы предложить свои услуги. Студентъ черезъ очки посмотрѣлъ на него.

— Ты кто такой есть, а?

— Изъ маляровъ... въ ученикахъ...—объяснилъ Чижикъ.

— А холеры боишься?

— Я?—удивился Сенька.—Вота! Я... ничего не боюсь!

— Н-ну? Ловко! Такъ вотъ что, братцы. — Студентъ присѣлъ на бочку, лежавшую на землѣ, и, покачиваясь на ней, сталъ говорить о необходимости для Орлова и Чижика хорошенько вымыться.

Они образовали группу, къ нимъ скоро подошла Матрена, боязливо улыбаясь. За ней кухарка, вытиравшая мокрые глаза сальнымъ передникомъ. Черезъ нѣкоторое время осторожно, какъ кошки къ воробьямъ, къ этой группѣ подошло еще нѣсколько человѣкъ изъ публики. Около студента собрался тѣсный кружокъ человѣкъ въ десять, и это воодушевило его. Стоя въ центрѣ этихъ людей и быстро жестикулируя, онъ, то вызывая улыбки на лицахъ, то сосредоточенное вниманіе, то острое недовѣріе и скептическіе смѣшки, началъ нѣчто вродѣ лекціи.

— Главное дѣло во всѣхъ болѣзняхъ—чистота тѣла и воздуха, которымъ вы дышите, господа,—увѣрялъ онъ своихъ слушателей.

— О, Господи!—громко вздыхала стряпка маляровъ.— Отъ нечаянной смерти Варварѣ великомученицѣ надо молиться...

— Господа и въ тѣлѣ, и въ воздухѣ живутъ, но,

однако, тоже помираютъ, — заявилъ одинъ изъ слушателей.

Орловъ стоялъ рядомъ со своей женой и смотрѣлъ въ лицо студента, о чемъ-то глубоко думая. Сбоку его дернули за рубаху.

— Дяденька Григорій! — поднявшись на цыпочки, шепнулъ Сенька Чижикъ, сверкая горящими, какъ угольки, глазами, — теперь вотъ помретъ Митрій-то Павловъ, родныхъ у него нѣту... кому же гармоника достанется?

— Отстань, чертенокъ!—отмахнулся Орловъ.

Сенька отошелъ въ сторону и уставился въ окно комнатки гармониста, ища въ ней чего-то жаднымъ взглядомъ.

— Известка, деготь,—громко перечислялъ студентъ.

Вечеромъ этого безпокойнаго дня, когда Орловы сѣли пить чай, Матрена съ любопытствомъ спросила у мужа:

— Ты давеча куда ходилъ со студентомъ-то?

Григорій посмотрѣлъ ей въ лицо глазами, чѣмъ-то затуманенными, точно чужими, и, не отвѣчая, сталъ выливать чай изъ стакана на блюдечко.

Около полудня, кончивъ мытье комнаты гармониста, Григорій уходилъ куда-то съ санитаромъ, воротился часа въ три задумчивый и молчаливый, легъ на постель и вотъ вплоть до чая лежалъ кверху лицомъ, не вымолвивъ за все это время ни слова, хотя жена много разъ пыталась вызвать его на разговоръ. Онъ даже не обругалъ за приставанье, а это уже было странно, непривычно ей и возбуждало ее.

Инстинктомъ женщины, вся жизнь которой сосредоточилась на мужѣ, она подозрѣвала уже, что мужа ея охватило чѣмъ-то новымъ, ей было боязно чего-то и тѣмъ болѣе страстно хотѣлось знать, что это.

— Тебѣ, можетъ, нездоровится, Гриша?

Григорій слилъ съ блюдца въ ротъ послѣдній глотокъ чая, вытеръ рукой усы, не спѣша подвинулъ женѣ пустой стаканъ и, нахмуривъ брови, заговорилъ:

— Ходилъ я со студентомъ въ баракъ... да...

— Въ холерный?—воскликнула Матрена и тревожно, понизивъ голосъ, спросила:—много тамъ ихъ?

— Пятьдесятъ три человѣка съ нашимъ-то...

— Ну?

— Съ десятокъ поправляются... Ходятъ... Желтые, худые...

— Тоже холерные? Чай нѣтъ?.. Другихъ какихъ-нибудь сунули туда для оправданія: вотъ-де, смотрите, вылѣчиваемъ мы!

— Ты дура!—рѣшительно сказалъ Григорій и зло блеснулъ глазами.—Всѣ вы тутъ дубьё! Необразованность и глупость—больше ничего! Подохнешь съ вами отъ тоски при вашемъ невѣжествѣ... Ничего вы не можете понимать,—онъ рѣзко подвинулъ къ себѣ вновь налитый стаканъ чаю и замолчалъ.

— Гдѣ это ты образовался такъ?—ехидно спросила Матрена и вздохнула.

Мужъ, не обративъ на ея слова никакого вниманія, молчалъ, задумчивый и неприступно суровый. Потухавшій самоваръ тянулъ пискливую мелодію, полную раздражающей скуки, въ окна со двора вѣяло запахомъ масляной краски, карболки и обезпокоенной помойной ямы. Полусумракъ, пискъ самовара и запахи—все въ комнатѣ плотно сливалось одно съ другимъ, образуя вокругъ Орловыхъ обстановку, похожую на кошмаръ, а черное жерло печи смотрѣло на супруговъ такъ, точно чувствовало себя призваннымъ проглотить ихъ при удобномъ случаѣ. Долго тянулось молчаніе. Супруги грызли сахаръ, стучали посудой, глотали чай. Матрена вздыхала, Григорій стукалъ пальцемъ по столу.

— Чистота тамъ невиданная!—вдругъ съ раздраженіемъ заговорилъ онъ.—Всѣ служащіе до послѣдняго—

въ бѣломъ. Хворые то и дѣло въ ванны лѣзутъ... Виномъ ихъ поятъ... шесть съ полтиной бутылка! Кушанья... съ одного запаха сытъ будешь... Уходъ, забота... Обращеніе со всѣми — материнское... и все прочее... Н-да... Извольте понять: живешь на землѣ, ни одинъ чортъ даже и плюнуть на тебя не хочетъ, не то что зайти иногда и спросить—что и какъ, и вообще... какая жизнь, т.-е. по душѣ она или по душу человѣку? Есть чѣмъ дышать ему или нѣту? А какъ начнешь умирать—не только не позволяютъ, но даже въ изъянъ вводятъ себя. Бараки... вино... шесть съ полтиной бутылка! Неужто нѣтъ у людей догадки? Вѣдь бараки и вино большущихъ денегъ стоятъ. Развѣ эти самыя деньги нельзя на улучшеніе жизни употреблять... каждый годъ по нѣскольку?

Жена не старалась понять его рѣчей, достаточно было чувствовать, что онѣ новы, и безошибочно уже выводить отсюда, что у Григорія въ душѣ творится что-то новое для нея. Увѣренная въ этомъ, она скорѣе хотѣла узнать, какъ все это коснется ея. Въ этомъ желаніи была и боязнь, и надежда, и что-то враждебное къ мужу.

— Тамъ, чай, ужъ побольше твоего знаютъ,—сказала она, когда онъ кончилъ, и скептически поджала губы.

Григорій повелъ плечомъ, крякнулъ, искоса взглянулъ на нее, потомъ, помолчавъ, началъ въ тонѣ еще болѣе повышенномъ:

— Знаютъ, не знаютъ—это ихъ дѣло. Но ежели мнѣ, не видавъ никакой жизни, помирать приходится, объ этомъ я могу разсуждать. Я тебѣ вотъ что скажу: такого порядка я больше не хочу, т.-е. сидѣть да дожидаться, когда придетъ холера, да меня, какъ гармониста, скрючитъ,—я не согласенъ. Не могу! Петръ Ивановичъ говоритъ: вали навстрѣчу! Судьба противъ тебя, а ты противъ нея,—чья возьметъ? Война! Больше никакихъ... Значитъ, что теперь? А поступаю я служи-

телемъ въ баракъ—и все тутъ! Поняла! Прямо въ пасть влѣзу—глотай, а я буду ногами дрыгать!.. Меньше я тамъ не заработаю... 20 рублей въ мѣсяцъ жалованья, да еще награду могутъ дать... Можно умереть?.. это такъ, но здѣсь еще скорѣе здохнешь. Опять же перемѣна жизни...—и возбужденный Орловъ стукнулъ кулакомъ по столу такъ, что вся посуда съ дребезгомъ подпрыгнула.

Матрена въ началѣ рѣчи смотрѣла на мужа съ выраженіемъ безпокойства и любопытства, а въ конецъ ея уже враждебно прищурила глаза.

— Это студентъ тебѣ насовѣтовалъ? — сдержанно спросила она.

— У меня и свой умъ есть... могу разсудить,—почему-то уклонился Григорій отъ прямого отвѣта.

— Ну, а какъ же со мной раздѣлаться посовѣтовалъ онъ тебѣ?—продолжала Матрена.

— Съ тобой?—Григорій нѣсколько смутился—онъ не успѣлъ еще обсудить этого вопроса. Оно, конечно, можно бабу оставить на квартирѣ, какъ вообще это дѣлается, но бабы бываютъ разныя. Матрену—опасно. За ней нуженъ глазъ да глазъ. Остановившись на этой мысли, Орловъ хмуро продолжалъ:—Студентъ... что же съ тобой? Будешь тутъ жить... а я буду жалованье получать... н-да...

— Такъ,—кратко и спокойно сказала женщина и усмѣхнулась той многозначущей, чисто-женской улыбкой, которая сразу можетъ вызвать у мужчины колющее сердце чувство ревности.

Орловъ, нервозный и чуткій, ощутилъ это, но изъ самолюбія, не желая выдавать себя, кратко бросилъ женѣ:

— Квакъ да хрюкъ—всѣ твои рѣчи...—и насторожился, ожидая, что еще скажетъ она.

А она снова улыбнулась этой раздражающей улыбкой и промолчала.

— Ну, такъ какъ же?—спросилъ Григорій повышеннымъ тономъ.

— Что, какъ же? — произнесла Матрена равнодушно вытирая чашки.

— Ехидна! Не финти... пришибу! — вскипѣлъ Орловъ. — Я, можетъ, на смерть иду.

— Не я тебя посылаю... не ходи... — перебила Матрена.

— Ты бы рада и послать, я знаю! — иронически воскликнулъ Орловъ.

Она молчала. Это молчаніе бѣсило его, но онъ сдержался отъ привычнаго ему выраженія чувствъ, вызываемыхъ въ немъ подобными сценами. Онъ сдержался подъ вліяніемъ одной преехидной, какъ ему казалось, мысли, мелькнувшей у него въ головѣ. Онъ даже улыбнулся злорадной улыбкой.

— Я знаю, тебѣ хочется, чтобы я провалился хоть въ тартарары. Ну, еще посмотримъ, чья возьметъ... да! Я тоже могу сдѣлать такой ходъ—ахъ ты мнѣ!

Онъ вскочилъ изъ-за стола, схватилъ съ окна свой картузъ и ушелъ, оставивъ жену неудовлетворенной ея политикой, смущенной угрозами, съ возрастающимъ въ ней чувствомъ страха предъ будущимъ. Глядя въ окно, она шептала про себя:

— О Господи! Царица Небесная! Пресвятая Богородица!

Осаждаемая массой тревожныхъ вопросовъ, она долго сидѣла за столомъ, пытаясь предположить, что сдѣлаетъ Григорій. Предъ ней стояла вымытая посуда; на капитальную стѣну сосѣдняго дома противъ оконъ комнаты заходящее солнце бросило красноватое пятно; отраженное бѣлой стѣной, оно проникло въ комнату, и край стеклянной сахарницы, стоявшей предъ Матреной, блестѣлъ. Она, наморщивъ лобъ, смотрѣла на этотъ слабый отблескъ, пока не утомились глаза. Тогда, вставъ со стула, она убрала посуду и легла на кровать. Тошно ей было.

Григорій пришелъ, когда уже было совсѣмъ темно.

Еще по его шагамъ на лѣстницѣ она опредѣлила, что онъ въ духѣ. Онъ выругалъ тьму въ комнатѣ, окликнувъ жену, подошелъ къ кровати и сѣлъ на нее. Жена поднялась и сѣла съ нимъ рядомъ.

— Знаешь что?—усмѣхаясь, спросилъ Орловъ.

— Ну?

— И ты пойдешь на мѣсто!

— Куда?—дрогнувшимъ голосомъ спросила она.

— Въ одинъ баракъ со мной! — торжественно объявилъ Орловъ.

Она обняла его за шею и, крѣпко сжавъ руками, поцѣловала прямо въ губы. Онъ не того ждалъ и оттолкнулъ ее. Она это притворяется... ей, шельмѣ, совсѣмъ не хочется вмѣстѣ-то съ нимъ. Притворяется, ехидна, за дурака считаетъ мужа...

— Чему рада? — грубо и подозрительно спросилъ онъ, чувствуя желаніе сбросить ее на полъ.

— Такъ ужъ!—бойко отвѣтила она.

— Финти! Знаю я тебя!

— Еруслань ты мой храбрый!

— Брось, молъ... а то смотри!

— Гришаня ты мой!

— Да ты что въ самомъ дѣлѣ?

Когда ея ласки укротили его нѣсколько, онъ озабоченно спросилъ ее:

— А ты не боишься?

— Чай, вмѣстѣ будемъ,—просто отвѣтила она.

Ему пріятно было слышать это. Онъ сказалъ ей:

— Молодчина!

И въ то же время такъ ущипнулъ ее за бокъ, что она взвизгнула.

Первый день дежурства Орловыхъ совпалъ съ очень сильнымъ наплывомъ больныхъ, и двумъ новичкамъ, привыкшимъ къ своей медленно двигавшейся жизни, было жутко и тѣсно среди кипучей дѣятельности, охва-

тившей ихъ. Неловкіе, непонимавшіе приказаній, подавленные впечатлѣніями, они сразу же растерялись, и хотя то и дѣло бѣгали куда-то, пытаясь работать, но не столько работали, сколько мѣшали другимъ. Григорій нѣсколько разъ всѣмъ существомъ своимъ чувствовалъ, что заслуживаетъ строгаго окрика или выговора за свое неумѣнье, но къ великому его изумленію, на него не кричали.

Когда одинъ изъ докторовъ, высокій черноусый человѣкъ, съ горбатымъ носомъ и большущей бородавкой надъ правой бровью, велѣлъ Григорію помочь одному изъ больныхъ сѣсть въ ванну, Григорій съ такимъ усердіемъ цапнулъ больного подъ мышки, что тотъ даже крякнулъ и сморщился.

— А ты, голубчикъ, не ломай его, онъ и цѣликомъ въ ванну уберется...—серьезно сказалъ докторъ.

Орловъ сконфузился; больной же, сухой и длинный верзила, усмѣхнулся черезъ силу и хрипло сказалъ:

— Съ нови... Непривыченъ.

Другой докторъ, старикъ съ острой сѣдой бородой и блестящими большими глазами, сказалъ Орловымъ, когда они пришли въ баракъ, наставленіе, какъ обращаться съ больными, что дѣлать въ томъ и другомъ случаѣ, какъ брать больныхъ, перенося ихъ; въ заключеніе спросилъ ихъ, были ли они вчера въ банѣ, и выдалъ имъ бѣлые передники. Голосъ у этого доктора былъ мягкій, говорилъ онъ быстро; онъ очень понравился четѣ супруговъ, но черезъ полчаса они забыли всѣ его наставленія, охваченные бурной жизнью барака. Вокругъ нихъ мелькали люди въ бѣломъ, раздавались приказанія, подхватываемыя прислугой на-лету, хрипѣли, охали и стонали больные, текла и плескалась вода, и всѣ эти звуки плавали въ воздухѣ, до того густо насыщенномъ острыми, непріятно щекочущими ноздри запахами, что, казалось, каждое слово доктора, каждый вздохъ больного тоже пахнутъ, раздирая носъ...

Сначала Орлову казалось, что тутъ царитъ самый безшабашный хаосъ, въ которомъ ему ни за что не найти себѣ мѣста, и что онъ задохнется, оглохнетъ, заболѣетъ... Но прошло нѣсколько часовъ, и Григорій, охваченный вѣяніемъ повсюду разсѣиваемой энергіи, насторожился и проникся сильнымъ желаніемъ скорѣе приспособиться къ дѣлу, чувствуя, что ему будетъ покойнѣе и легче, если онъ завертится вмѣстѣ со всѣми.

— Сулемы!—кричалъ одинъ докторъ.

— Горячей воды еще въ эту ванну! — командовалъ худенькій студентикъ съ красными опухшими вѣками.

— Вы... какъ васъ? Орловъ... да! трите-ка ему ноги... Вотъ такъ... понимаете... Та-акъ, та-акъ... Легче, — сдерете кожу... Ой, усталъ я...—приказывалъ и показывалъ Григорію другой студентъ, длинноволосый и рябой.

— Еще больного привезли! — раздавалось сообщеніе.

— Орловъ, идите, тащите его.

Григорій усердствовалъ — весь потный, ошеломленный, съ мутными глазами и съ тяжелымъ туманомъ въ головѣ. Порой чувство личнаго бытія въ немъ совершенно исчезало подъ давленіемъ массы впечатлѣній, переживаемыхъ имъ въ каждую минуту. Зеленыя пятна подъ мутными глазами на землистыхъ лицахъ, кости, точно обостренныя болѣзнью, липкая, пахучая кожа, страшныя судороги едва живыхъ тѣлъ — все это сжимало ему сердце тоской и вызывало у него тошноту, отъ которой онъ едва сдерживался.

Нѣсколько разъ въ коридорѣ барака онъ мелькомъ видѣлъ жену; она похудѣла и лицо у нея было сѣрое и растерянное. Онъ охрипшимъ голосомъ спросилъ ее:

— Ну, что?

Она слабо улыбнулась въ отвѣтъ ему и молча исчезла.

Григорія кольнула совершенно непривычная ему мысль: а пожалуй, онъ напрасно втиснулъ сюда, въ такую пакостную работу, свою бабу. Захвораетъ она еще

отъ заразы... И встрѣтивъ ее другой разъ, онъ строго крикнулъ ей:

— Смотри, чаще руки-то мой... берегись!

— А то что будетъ?—задорно спросила она, оскаливъ свои мелкіе бѣлые зубы.

Это разозлило его. Вотъ нашла мѣсто смѣшкамъ, дура! И до чего онѣ подлы, эти бабы! Но сказать ей онъ ничего не успѣлъ; поймавъ его сердитый взглядъ, Матрена быстро ушла въ женское отдѣленіе.

А онъ черезъ минуту уже несъ знакомаго полицейскаго въ мертвецкую. Полицейскій тихо покачивался на носилкахъ, уставившись въ ясное и жаркое небо стеклянными глазами изъ-подъ искривленныхъ вѣкъ. Григорій смотрѣлъ на него съ тупымъ ужасомъ въ сердцѣ: третьяго дня онъ этого полицейскаго видѣлъ на посту и даже ругнулъ его, проходя мимо—у нихъ были маленькіе счеты между собой. А теперь вотъ этотъ человѣкъ, такой здоровякъ и злючка, лежитъ мертвый, весь обезображенный, скорченный судорогами.

Орловъ чувствовалъ, что это нехорошо, — зачѣмъ и на свѣтъ родиться, если можно въ одинъ день отъ такой поганой болѣзни умереть? Онъ смотрѣлъ сверху внизъ на полицейскаго и жалѣлъ его. Куда дѣнутся ребята?... цѣлыхъ трое. Покойникъ годъ назадъ схоронилъ жену и не успѣлъ еще жениться во второй разъ.

Даже больно ему было гдѣ-то внутри отъ этой жалости. Но вдругъ согнутая лѣвая рука трупа медленно пошевелилась и выпрямилась. Въ то же время и лѣвая сторона искривленнаго рта, раньше полуоткрытая, закрылась.

— Стой! — захрипѣлъ Орловъ, ставя носилки на землю.—Живъ!—шопотомъ заявилъ онъ служителю, который несъ съ нимъ трупъ.

Тотъ обернулся, пристально взглянулъ на покойника и съ сердцемъ сказалъ Орлову:

— Чего врешь? Али не понимаешь, что это онъ для

гроба расправляется? Видишь, какъ его изломало?.. не такъ же въ гробъ-то лечь. Айда, неси!

— Да, вѣдь, шевелится...—трепеща отъ ужаса, протестовалъ Орловъ.

— Неси, знай, чудакъ человѣкъ! Что ты словъ не понимаешь? Говорю: выправляется,—ну, значитъ, шевелится. Эта необразованность твоя, смотри, до грѣха тебя можетъ довести... Живъ! Развѣ можно про мертвый трупъ говорить такія рѣчи? Это, братъ, бунтъ... н-да! Понимаешь? Молчи, значитъ, никому ни слова насчетъ того, что они шевелятся,—они всѣ такъ. А то свинья—борову, а боровъ—всему городу, ну и бунтъ вышелъ—живыхъ хоронятъ! Придетъ сюда народъ и разнесетъ насъ вдребезги. И тебѣ будетъ на калачи. Понялъ? Сваливай налѣво.

Спокойный голосъ Пронина и его неторопливая походка дѣйствовали на Григорія отрезвляюще.

— Ты, братъ, только духомъ не падай—привыкнешь. Здѣсь хорошо. Харчъ, обращеніе и всякое другое—все въ аккуратѣ. Всѣ, братъ, мертвецами будемъ; это самое обыкновенное дѣло въ жизни. А пока что, живи знай, не робѣй только—главная причина! Водку пьешь?

— Пью,—сказалъ Орловъ.

— Ну вотъ. Вонъ тутъ въ ямкѣ у меня бутылочка есть на всякій случай, айда-ка, проглотимъ нѣсколько.

Они подошли къ ямкѣ за угломъ барака, выпили, и Пронинъ, наливъ на сахаръ мятныхъ капель, подалъ его Орлову со словами:

— Ѣшь, а то пахнуть водкой будешь. Здѣсь насчетъ водки—строго. Потому, вредно пить ее, говорятъ.

— А ты привыкъ тутъ?—спросилъ у него Григорій.

— Еще бы! Я спервоначалу. При мнѣ тутъ народу перемерло—сотни, прямо сказать. Житье здѣсь безпокойное, но хорошее житье, ежели говорить правду. Божье дѣло. Вродѣ какъ на войнѣ санитары... ты про санитаровъ и сестеръ милосердія слыхалъ? Я въ ту-

рецкую кампанію насмотрѣлся на нихъ. Подъ Ардаганомъ, подъ Карсомъ былъ. Ну а это, братъ, чище насъ, солдатъ, люди. Мы воюемъ, ружье у насъ есть, пули, штыкъ; а они—безо всего подъ пулями, какъ въ зеленомъ саду, гуляютъ. Нашъ, турка—берутъ и тащатъ на перевязочный. А вокругъ нихъ — ж-жи! ті-ю! фить! Иногда ему, бѣдному, санитару-то, въ затылокъ—чикъ!— и готово!..

Послѣ этого разговора и здороваго глотка водки Орловъ нѣсколько пріободрился.

— Взялся за гужъ, такъ не бай, что не дюжъ,— усовѣщивалъ онъ себя, растирая ноги больного. За его спиной кто-то жалобно стонущимъ голосомъ просилъ:

— Пи-ить! Ой, голу-убчики-и!

А кто-то гоготалъ:

— Ого-го-го! Погорячѣй!.. Го-го-сподинъ докторъ, помогаетъ! Вотъ вамъ Христосъ—чувствую! Разрѣшите еще подлить кипяточку!

— Дайте-ка ваты!—кричалъ докторъ Ващенко.

Орловъ работалъ, внимательно вслушиваясь въ происходящее вокругъ него, и находилъ, что, въ сущности, все это совсѣмъ ужъ не такъ [illegible] и страшно, какъ казалось ему недавно, и что тутъ — не хаосъ, а пра-[illegible] дѣйствуетъ большая и разумная сила. [illegible]

[illegible]

[illegible]

вслѣдъ за этимъ Орловъ какъ бы конфузился своего желанія и восклицалъ про-себя:

— „Повертись-ка вотъ этакъ-то, толстомясая! Не бойсь, подсохнешь... Лишишься своихъ намѣреніевъ...“

Онъ всегда подозрѣвалъ, что у жены его имѣются въ душѣ намѣренія очень оскорбительныя для него, какъ мужа, а иногда, восходя въ своихъ подозрѣніяхъ до нѣкотораго объективизма, даже признавалъ, что эти намѣренія имѣютъ основаніе. Жизнь-то у нея тоже желтенькая, и отъ такой жизни всякая дрянь въ голову полѣзетъ. Этотъ объективизмъ обыкновенно перерождалъ на время его подозрѣнія въ увѣренность. Потомъ онъ спрашивалъ себя: а зачѣмъ ему надо было лѣзть изъ своего подвала въ этотъ котелъ кипящій?—и недоумѣвалъ. Но всѣ эти думы вращались гдѣ-то глубоко въ немъ, онѣ были какъ бы отгорожены отъ прямого вліянія на его работу тѣмъ напряженнымъ вниманіемъ, съ которымъ онъ относился къ дѣйствіямъ врачебнаго персонала. Онъ никогда не видалъ, чтобъ въ какомъ-нибудь трудѣ люди убивались такъ, какъ они убиваются тутъ, и не разъ подумалъ, глядя на утомленныя лица докторовъ и студентовъ, что всѣ эти люди—воистину не даромъ деньги получаютъ!

Смѣнившись съ дежурства, едва держась на ногахъ, Орловъ вышелъ на дворъ барака и прилегъ у стѣны его подъ окномъ аптеки. Въ головѣ у него шумѣло, подъ ложечкой сосало и ноги болѣли ноющей болью усталости. Ему ни о чемъ уже не думалось и ничего не хотѣлось, онъ просто вытянулся на дернѣ, посмотрѣлъ въ небо, гдѣ стояли пышныя облака, богато украшенныя лучами заката, и уснулъ, какъ убитый.

Приснилось ему, что будто бы онъ съ женой въ гостяхъ у доктора Ващенко въ громадной комнатѣ, уставленной по стѣнамъ вѣнскими стульями. На стульяхъ сидятъ всѣ больные изъ барака. Докторъ съ Матреной ходятъ „русскую“ среди зала, а онъ самъ играетъ на

гармоникѣ и хохочетъ, потому что длинныя ноги доктора совсѣмъ не гнутся, и докторъ, важный и надутый, ходитъ по залу за Матреной — точно цапля по болоту. И всѣ больные тоже хохочутъ, раскачиваясь на стульяхъ.

Вдругъ въ дверяхъ является полицейскій.

— Ага!—мрачно и грозно кричитъ онъ.—Ты, Гришка, думалъ, что я совсѣмъ умеръ? На гармоникѣ играешь, а меня въ мертвецкую стащилъ! Ну-ка, пойдемъ со мной! Вставай!

Охваченный дрожью, облитый потомъ, Орловъ быстро поднялся и сѣлъ на землѣ. Противъ него сидѣлъ на корточкахъ докторъ Ващенко и укоризненно говорилъ ему:

— Какой же ты, друже, санитаръ, если спишь на землѣ, да еще и брюхомъ на нее легъ, а? А ну ты простудишь себѣ брюхо,—сляжешь, вѣдь, на койку, да еще чего добраго и помрешь... Это, друже, не годится,— для спанья у тебя есть мѣсто въ баракѣ. Что жъ тебѣ не сказали про это? Да ты и потный, и знобитъ тебя. Ну-ка, иди, я тебѣ кое-чего дамъ.

— Я съ устатка,—пробормоталъ Орловъ.

— Тѣмъ хуже. Надо беречь себя — время опасное, а ты человѣкъ нужный.

Орловъ молча прошелъ за докторомъ по коридору барака, молча выпилъ какое-то лѣкарство изъ одной рюмки, выпилъ еще изъ другой, сморщился и плюнулъ.

— Ну, а теперь иди, спи себѣ... До свиданья! — и докторъ началъ переставлять по полу коридора свои длинныя тонкія ноги.

Орловъ посмотрѣлъ ему вслѣдъ и вдругъ, широко улыбнувшись, побѣжалъ за нимъ.

— Покорно благодарю, докторъ!

— За что?—остановился тотъ.

— За работу. Теперь я буду стараться для васъ во всю силу! Потому пріятно мнѣ ваше безпокойство...

и... что я нужный человѣкъ... и вообще пок-корнѣйше благодаренъ!

Докторъ пристально и съ удивленіемъ смотрѣлъ на взволнованное какой-то радостью лицо барачнаго служителя и тоже улыбнулся.

— Чудачина ты! А, впрочемъ, ничего, — это все славно у тебя выходитъ... искренно. Валяй, старайся во всю; это не для меня будетъ, а для больныхъ. Надо намъ человѣка отъ болѣзни отбить, вырвать его изъ ея лапъ—понимаешь? Ну, вотъ и давай стараться во всю силу побѣдить болѣзнь. А пока—спи, иди!

Вскорѣ Орловъ лежалъ на койкѣ и засыпалъ съ пріятнымъ ощущеніемъ ласкающей теплоты въ животѣ. Ему было радостно и онъ былъ гордъ своимъ, такимъ простымъ разговоромъ съ докторомъ.

А заснулъ онъ съ сожалѣніемъ о томъ, что жена не слыхала этого разговора. Разсказать ей завтра... Не повѣритъ, чай, чортова перечница.

— Чай пить иди, Гриша,—разбудила его поутру жена.

Онъ приподнялъ голову и посмотрѣлъ на нее. Она улыбалась ему. Гладко причесанная, въ своемъ бѣломъ балахонѣ она была такая чистенькая, свѣжая.

Ему было пріятно видѣть ее такой и въ то же время онъ подумалъ, что вѣдь и другіе мужчины въ баракѣ ее видятъ такой же.

— Т.-е. это какой же чай пить? У меня свой чай есть;—куда мнѣ идти?—хмуро сказалъ онъ.

— А ты иди со мной попей, — предложила она, глядя на него ласкающими глазами.

Григорій отвелъ свои глаза въ сторону и кратко сказалъ, что придетъ.

Она ушла, а онъ снова легъ на койку и задумался.

„Ишь ты какая! Чай пить зоветъ, ласковая... Похудѣла, однакоже, за день-то“. Ему стало жалко ея и

захотѣлось сдѣлать для нея что-нибудь пріятное. Купить къ чаю чего-нибудь сладкаго, что ли? Но, умываясь, онъ уже отбросилъ эту мысль, — зачѣмъ бабу баловать? Живетъ и такъ?

Чай пили въ маленькой свѣтлой каморкѣ съ двумя окнами, выходившими въ поле, все залитое золотистымъ сіяніемъ утренняго солнца. На дернѣ, подъ окнами, еще блестѣла роса, вдали на горизонтѣ въ туманно-розоватой дымкѣ утра стояли деревья почтоваго тракта. Небо было чисто и съ поля вѣяло въ окна запахомъ сырой травы и земли.

Столъ стоялъ въ простѣнкѣ между оконъ и за нимъ сидѣло трое: Григорій и Матрена съ товаркой — пожилой, высокой и худой женщиной съ рябымъ лицомъ и добрыми сѣрыми глазами. Звали ее Фелицата Егоровна, она была дѣвицей, дочерью коллежскаго асессора, и не могла пить чай на водѣ изъ больничнаго куба, а всегда кипятила самоваръ свой собственный. Объявивъ все это Орлову надорваннымъ голосомъ, она гостепріимно предложила ему сѣсть подъ окномъ и дышать вволю „настоящимъ небеснымъ воздухомъ", а затѣмъ куда-то исчезла.

— Что, ты устала вчера?—спросилъ Орловъ у жены.

— Просто страсть какъ!—живо отвѣтила Матрена.— Ногъ подъ собой не слышу, головонька кружится, словъ не понимаю, того и гляди, пластомъ лягу. Еле-еле до смѣны дотянула... Все молилась, помоги Господи, думаю.

— А боишься?

— Покойниковъ—боюсь. Ты знаешь...—она наклонилась къ мужу и со страхомъ шепнула ему:—они послѣ смерти шевелятся... ей Богу!

— Это я ви-идалъ! — скептически усмѣхнулся Григорій.—Мнѣ вчера Назаровъ полицейскій и послѣ смерти своей чуть-чуть плюху не влѣпилъ. Несу я его въ мертвецкую, а онъ ка-акъ размахнется лѣвой рукой... я

едва уберегся... вотъ какъ!—Онъ привралъ немного, но это вышло какъ-то само собой, помимо его желанія.

Очень ужъ ему нравилось это чаепитіе въ свѣтлой и чистой комнатѣ съ окнами въ безграничный просторъ зеленаго поля и голубого неба. И еще что-то ему нравилось—не то жена, не то онъ самъ. Въ концѣ концовъ ему хотѣлось показать себя съ самой лучшей стороны, быть героемъ наступающаго дня.

— Примусь я тутъ работать—даже небу жарко станетъ, вотъ какъ! Потому есть причина у меня на это. Во-первыхъ, люди здѣсь, я тебѣ скажу,—не существующіе на землѣ!

Онъ разсказалъ свой разговоръ съ докторомъ, и такъ какъ онъ опять незамѣтно для себя нѣсколько нафантазировалъ — это обстоятельство еще болѣе усилило его настроеніе.

— Во-вторыхъ, работа сама. Это братъ, великое дѣло, вродѣ войны, напримѣръ. Холера и люди — кто кого? Тутъ умъ требуется и чтобы все было въ аккуратѣ. Что такое холера? Это надо понять, и сейчасъ валяй ее тѣмъ, что она не терпитъ! Мнѣ докторъ Ващенко говоритъ: ты, говоритъ, Орловъ, человѣкъ въ этомъ дѣлѣ нужный. Не робѣй, говоритъ, и гони ее изъ ногъ въ брюхо больного, а тамъ, говоритъ, я ее кисленькимъ и прищемлю. Тутъ ей и конецъ, а человѣкъ-то ожилъ и весь вѣкъ насъ съ тобой благодарить долженъ, потому кто его у смерти отнялъ? Мы! — И Орловъ гордо выпятилъ грудь, глядя на жену возбужденными глазами.

Она задумчиво улыбалась ему въ лицо, онъ былъ красивъ и очень походилъ теперь на того Гришу, какимъ она видѣла его когда-то давно, еще до свадьбы.

— У насъ въ отдѣленіи тоже всѣ такія работящія и добрыя. Докторша то-олстая, въ очкахъ, а потомъ фельдшерицы. Хорошіе люди, говорятъ съ тобой таково просто и все у нихъ понимаешь.

— Такъ ты, значитъ, ничего, довольна? — спросилъ Григорій, нѣсколько остывъ отъ возбужденія.

— Я-то? Господи, Ты посуди: я получаю 12 руб. да ты 20... вѣдь 32 рубля въ мѣсяцъ! На готовомъ на всемъ! Это, ежели до зимы хворать будутъ люди, сколько мы накопимъ?.. А тамъ, Богъ дастъ, и поднимемся изъ подвала-то...

— Н-да, это тоже важная статья...—задумчиво сказалъ Орловъ и, помолчавъ, воскликнулъ съ паѳосомъ надежды, ударивъ жену по плечу:—Эхъ, Матренка, али намъ солнце не улыбнется? Не робѣй, знай!

Она вся загорѣлась.

— Только бы ты стерпѣлъ...

— А про это—молчокъ! По кожѣ—шило, по жизни—рыло... Иная жизнь, иное и поведенье мое будетъ.

— Господи, кабы это случилось!—глубоко вздохнула женщина.

— Ну, и цыцъ!

— Гришенька!

Они разстались съ какими-то новыми чувствами другъ къ другу, воодушевленные надеждами, готовые работать до изнеможенія, бодрые и веселые.

Прошло дня три-четыре и Орловъ ужъ заслужилъ нѣсколько лестныхъ отзывовъ о себѣ, какъ о смѣтливомъ и расторопномъ маломъ, и, вмѣстѣ съ этимъ, замѣтилъ, что Пронинъ и другіе служители въ баракѣ стали относиться къ нему съ завистью и желаніемъ насолить. Онъ насторожился, и въ немъ тоже возникла злоба противъ толсторожаго Пронина, съ которымъ онъ непрочь былъ вести дружбу и бесѣдовать „по душѣ“. Въ то же время ему дѣлалось какъ-то горько при видѣ явнаго желанія товарищей по работѣ нанести ему какой-либо вредъ.—Эхъ злыдари!—восклицалъ онъ про-себя и тихонько поскрипывалъ зубами, стараясь не упустить удобнаго случая заплатить врагамъ „за лычко ремешкомъ“. И невольно мысль его останавливалась на женѣ:—

съ той можно говорить про все, она его успѣхамъ завидовать не будетъ и, какъ Пронинъ, карболкой сапогъ ему не сожжетъ.

Всѣ дни работы были такіе же бурные и кипучіе, какъ первый, но Григорій уже не такъ уставалъ, ибо тратилъ свою энергію съ каждымъ днемъ болѣе сознательно. Онъ научился распознавать запахи лекарствъ и, выдѣливъ изъ нихъ запахъ сѣрнаго эфира, потихоньку, когда удавалось, съ наслажденіемъ нюхалъ его, замѣтивъ, что вдыханіе эфира дѣйствуетъ почти такъ же пріятно, какъ добрая рюмка водки. Съ полуслова понимая приказанія медицинскаго персонала, всегда добрый и разговорчивый, умѣвшій развлекать больныхъ, онъ все болѣе и болѣе нравился докторамъ и студентамъ, и вотъ, подъ вліяніемъ совокупности всѣхъ впечатлѣній новой формы бытія, у него образовалось странное, повышенное настроеніе. Онъ чувствовалъ себя человѣкомъ особыхъ свойствъ. И въ немъ забилось желаніе сдѣлать что-то такое, что обратило бы на него вниманіе всѣхъ, всѣхъ поразило бы и заставило убѣдиться въ его правѣ на самочувствіе, такъ поднявшее его въ своихъ глазахъ. Это было своеобразное честолюбіе существа, которое вдругъ сознало себя человѣкомъ и, еще неувѣренное въ этомъ новомъ для него фактѣ, хотѣло подтвердить его чѣмъ-либо для себя и другихъ; это было честолюбіе, постепенно перерождавшееся въ жажду безкорыстнаго подвига.

Изъ такого побужденія Орловъ совершалъ разныя рискованныя вещи, вродѣ того, что единолично, не ожидая помощи товарищей и надрываясь, тащилъ коренастаго больного съ койки въ ванну, ухаживалъ за самыми грязными больными, относился съ какимъ-то ухарствомъ къ возможности зараженія, а къ мертвымъ—съ простотой, порою переходившей въ цинизмъ. Но все это не удовлетворяло его: ему хотѣлось чего-то болѣе крупнаго, это желаніе все разгоралось въ немъ, мучило его

и, наконецъ, доводило до тоски. Тогда онъ изливалъ душу женѣ, потому что больше было некому.

Однажды вечеромъ, смѣнившись съ дежурства, попивъ чаю, супруги вышли въ поле. Баракъ стоялъ далеко за городомъ, среди длинной, зеленой равнины, съ одной стороны ограниченной темной полосой лѣса, съ другой—линіей городскихъ зданій; на сѣверѣ поле уходило вдаль и тамъ, зеленое, сливалось съ мутноголубымъ горизонтомъ; на югѣ его обрѣзывалъ крутой обрывъ къ рѣкѣ, а по обрыву шелъ трактъ и стояли на равномъ разстояніи другъ отъ друга старыя, вѣтвистыя деревья. Заходило солнце, и кресты городскихъ церквей, возвышаясь надъ темной зеленью садовъ, пылали въ небѣ, отражая снопы золотыхъ лучей, и на стеклахъ оконъ крайнихъ домовъ города тоже отражалось красное пламя заката. Гдѣ-то играла музыка; изъ оврага, густо-поросшаго ельникомъ, вѣяло смолистымъ запахомъ; лѣсъ тоже разстилалъ въ воздухѣ свой сложный, сочный ароматъ; легкія душистыя волны теплаго вѣтра ласково плыли къ городу, и въ полѣ, пустынномъ и широкомъ, было такъ славно, тихо и сладко-печально.

Орловы шли по травѣ и молчали, съ удовольствіемъ вдыхая чистый воздухъ вмѣсто барачныхъ запаховъ.

— Гдѣ это музыка играетъ, въ городѣ или въ лагеряхъ?—тихонько спросила Матрена у задумавшагося мужа.

Она не любила видѣть его думающимъ—онъ казался чужимъ ей и далекимъ отъ нея въ эти минуты. Послѣднее время имъ и такъ мало приходится бывать вмѣстѣ, и тѣмъ болѣе она дорожила этими моментами.

— Музыка?—переспросилъ Григорій, точно освобождаясь отъ дремы.—А чортъ съ ней, съ этой музыкой! Ты бы послушала, какая въ душѣ у меня музыка... вотъ это такъ!

— А что? — тревожно взглянувъ ему въ глаза, спросила она.

— А я не знаю что... Значить, и разсказать не могу тебѣ... да и могъ бы, такъ развѣ ты поймешь? Горитъ у меня душа... Хочется ей простора... чтобы могъ я развернуться во всю мою силу... Эхма! силу я въ себѣ чувствую—необоримую! то-есть, еслибъ эта, напримѣръ, холера да преобразилась въ человѣка... въ богатыря... хоть въ самого Илью Муромца,—сцѣпился бы я съ ней! Иди на смертный бой! Ты сила и я, Гришка Орловъ, сила,—ну, кто кого? И придушилъ бы я ее и самъ бы легъ... Крестъ надо мной въ полѣ и надпись: „Григорій Андреевъ Орловъ... Освободилъ Россію отъ холеры". Больше ничего не надо...

Онъ говорилъ, и лицо его горѣло, а глаза сверкали.

— Силачъ ты мой! — ласково шепнула Матрена, прижимаясь къ нему бокомъ.

— Понимаешь... на сто ножей бросился бы я... но чтобы съ пользой! Чтобъ отъ этого облегченіе вышло жизни. Потому, вижу я людей: докторъ Ващенко, студентъ Хохряковъ—работаютъ они, даже удивленіе! Имъ бы давно надо умереть съ устатка... Изъ-за денегъ, думаешь? Изъ-за денегъ такъ работать нельзя! У доктора—слава-те Господи!—есть-таки кое-что и еще немножко... А старикъ захворалъ прошлый разъ, такъ Ващенко за него четверо сутокъ отбарабанилъ, даже домой не съѣздилъ за все время... Деньги тутъ не при чемъ; тутъ жалость причина. Жалко имъ людей—ну, и не жалѣютъ себя... ради кого, спроси? Ради всякаго... Ради Мишки Усова... Мишкѣ мѣсто въ каторгѣ, потому всякій знаетъ, что Мишка воръ, а можетъ, хуже... Мишку лѣчатъ... И рады, когда онъ всталъ съ койки, смѣются... Вотъ и я хочу эту самую радость испытать... и чтобы было много ея... задохнуться бы мнѣ въ ней! Потому что смотрѣть на нихъ, какъ они смѣются отъ своей радости,—заноза мнѣ. Взною весь и загорюсь. Хочу!.. А какъ? Эхъ ты... чортъ!

Орловъ безнадежно махнулъ рукой и снова глубоко задумался.

Матрена молчала, но сердце у нея билось тревожно—ее пугало это возбужденіе мужа, и въ словахъ его она ясно чувствовала великую страсть его желанія, непонятнаго ей, потому что она и не пыталась понять его. Ей былъ дорогъ и нуженъ мужъ, а не герой.

Они подошли къ краю оврага и сѣли рядомъ другъ съ другомъ... Снизу на нихъ смотрѣли кудрявыя вершины молоденькихъ березокъ, на днѣ оврага уже лежала синеватая мгла, оттуда несло сыростью, гніющими листьями, хвоей. Порой вдоль оврага тихо проносился вѣтеръ, вѣтки березъ колыхались, колыхались и маленькія ели,—весь оврагъ наполнялся трепетнымъ, боязливымъ шопотомъ, казалось, кто-то, нѣжно-любимый и оберегаемый деревьями, заснулъ въ оврагѣ подъ ихъ сѣнью, и они чуть-чуть перешептываются о немъ, боясь разбудить его. А въ городѣ вспыхивали огни и на темномъ фонѣ его садовъ они выдѣлялись, какъ красноватые цвѣты. И въ небѣ зажигались звѣзды. Орловы сидѣли молча,—онъ задумчиво барабанилъ пальцами по своему колѣну, она поглядывала на него и тихонько вздыхала.

И вдругъ, охвативъ его за шею руками, она положила на грудь ему свою голову и шепотомъ заговорила:

— Голубчикъ ты мой, Гришенька! Милый ты мой! Какой ты опять хорошій ко мнѣ сталъ, удалой ты мой! Вѣдь будто тогда... послѣ свадьбы... живемъ мы съ тобой... ни слова обиднаго ты мнѣ не скажешь, разговоры все со мной говоришь, душу открываешь... не зыкаешь на меня.

— А ты соскучилась объ этомъ? Я инъ поколочу, если хочешь,—ласково пошутилъ Григорій, ощущая въ душѣ приливъ нѣжности и жалости къ женѣ.

Онъ сталъ рукой тихо гладить ей голову, и ему нравилась эта ласка,—она была такая отеческая—ласка

ребенку. Матрена въ самомъ дѣлѣ похожа была на ребенка: она взобралась уже къ нему на колѣни и сжалась у него на груди въ маленькій мягкій и теплый комокъ.

— Милый ты мой!—шептала она.

Онъ глубоко вздохнулъ и на языкъ ему сами собою потекли новыя для него и жены его слова.

— Эхъ ты, кошечка бѣдная! Ласковая... видишь, какъ-никакъ, а нѣтъ друга ближе мужа. А ты все въ сторону норовишь... Вѣдь ежели я иной разъ обижалъ тебя—отъ тоски это, Мотря. Жили въ ямѣ... Свѣту не видѣли, людей почти не знали, Выбрался изъ ямы и прозрѣлъ, вродѣ какъ слѣпой былъ насчетъ жизни. И понимаю теперь, что жена, какъ-никакъ, первый въ жизни другъ. Потому люди змѣи и гады, ежели правду сказать... Все язву желаютъ другому нанести... Къ примѣру—Пронинъ, Васюковъ... Э, ну ихъ къ... Молчокъ, Мотря! Выправимся, не робѣй... Выйдемъ въ люди и заживемъ съ понятіемъ... Ну? Чего ты, дуреха ты моя?

Она плакала сладкими слезами счастія и на вопросъ его отвѣтила поцѣлуями.

— Единственная ты моя!—шепталъ онъ и тоже цѣловалъ ее.

Оба они стирали поцѣлуями слезы другъ друга и оба чувствовали ихъ солоноватый вкусъ. И долго еще говорилъ Орловъ новыми для него словами.

Уже совсѣмъ стемнѣло. Небо, пышно расцвѣченное безчисленными роями звѣздъ, смотрѣло на землю съ торжественной грустью, а въ полѣ было тихо, точно въ небѣ.

У нихъ вошло въ привычку пить чай вмѣстѣ. На другое утро, послѣ разговора въ полѣ, Орловъ явился въ комнату жены чѣмъ-то сконфуженный и хмурый. Фелицата захворала, Матрена была одна въ комнатѣ и

встрѣтила мужа съ сіяющимъ лицомъ, но тотчасъ же потемнѣла и тревожно спросила у него:

— Что ты такой? Нездоровится?

— Нѣтъ, ничего, — сухо отвѣтилъ онъ, садясь на стулъ и подвигая къ себѣ уже налитый чай.

— А что же?—добивалась Матрена.

— Не спалось. Все думалъ... Раскудахтались мы съ тобой вчера, смякли... и мнѣ теперь стыдно себя... Ни къ чему все это. Ваша сестра въ такихъ разахъ норовитъ человѣка въ руки взять... н-да... Только ты про это не мечтай—не удастся... Меня ты не обойдешь, и я тебѣ не поддамся... Такъ и знай!

Онъ сказалъ все это очень внушительно, но на жену не смотрѣлъ. Матрена все время не отводила глазъ отъ его лица, и губы его странно искривились.

— Что же, ты каешься въ томъ, что вчера такимъ мнѣ близкимъ былъ?— тихо спросила она. — Каешься, что цѣловалъ да ласкалъ меня? Это что ли? Обидно мнѣ это слышать... очень горько, рвешь ты мнѣ сердце такими рѣчами. Чего тебѣ надо? Скучно тебѣ со мной... не люба я тебѣ, или что?

Она смотрѣла на него подозрительно, и въ тонѣ ея звучали и горечь, и вызовъ мужу.

— Н-нѣтъ,—смущенно сказалъ Григорій,—я вообще... Жили мы съ тобой въ ямѣ... знаешь сама, что за жизнь! Даже вспоминать тошно. И вотъ теперь поднялись... и боязно чего-то. Все такъ скоро перемѣнилось... И я самъ себѣ, какъ чужой, и ты другая будто бы. Это что такое? И что за этимъ будетъ?

— Что Богъ дастъ, Гриша!—серьезно сказала Матрена.—Ты только не кайся въ томъ, что хорошъ вчера былъ.

— Ладно, брось...—все такъ же смущенно и вздыхая, остановилъ ее Григорій. — Я, видишь ли, думаю, что все-таки ничего не выйдетъ у насъ. И прежняя жизнь наша не цвѣтиста, и теперешняя мнѣ не по-душѣ. И хоть не пью я, не дерусь съ тобой, не ругаюсь...

Матрена судорожно засмѣялась.

— Некогда тебѣ теперь заниматься-то всѣмъ этимъ.

— Напиться я всегда бы нашелъ время, — улыбнулся Орловъ.—Не тянетъ... вотъ диво! А потомъ мнѣ вообще какъ-то... не то совѣстно чего-то, не то боязно...— онъ тряхнулъ головой и задумался.

— Господь тебя знаетъ, что съ тобой,—тяжело вздохнувъ, сказала Матрена. — Житье хорошее, хоть работы и много; всѣ доктора тебя любятъ, самъ ты въ аккуратѣ себя держишь... ужъ я не знаю что? Безпокойный ты очень.

— Это вѣрно, безпокойный... Вотъ я думалъ ночью: Петръ Ивановичъ говоритъ: всѣ люди равны другъ другу, а я развѣ не человѣкъ, какъ всѣ? Но, однако, докторъ Ващенко получше меня, и Петръ Ивановичъ получше, и многіе другіе... Значитъ, они мнѣ не равны... и я имъ не ровня, я это чувствую. Они вылѣчили Мишку Усова и рады... А я этого не понимаю. И вообще чему радоваться, коли человѣкъ выздоровѣлъ? Жизнь у него хуже холерной судороги, ежели говорить по правдѣ. Они понимаютъ это, но рады... И я тоже хотѣлъ бы порадоваться, какъ они, а не могу... Потому что—чему же радоваться опять-таки?

— А они жалѣютъ людей,—возразила Матрена,— охъ какъ жалѣютъ! У насъ тоже... начнетъ поправляться больная, такъ, Господи, что дѣлается! А которая бѣдная идетъ на выписку, такъ ей и совѣтовъ, и денегъ, и лѣкарствъ надаютъ... Даже слеза меня прошибаетъ... добрые люди, жалостливые!

— Вотъ и ты говоришь—слеза... А меня удивленіе беретъ... Больше ничего.—Орловъ повелъ плечами и потеръ себѣ голову, недоумѣвающе поглядѣвъ на жену.

У нея откуда-то явилось краснорѣчіе, и она съ усердіемъ начала доказывать мужу, что люди вполнѣ достойны жалости. Наклонясь къ нему и глядя въ лицо его ласкающими глазами, она долго говорила ему про

людей и тяжесть жизни, а онъ смотрѣлъ на нее и думалъ:

„Ишь какъ говоритъ! Откуда у нея слова?“

— Вѣдь и самъ ты жалостливый — говоришь, удушилъ бы холеру, ежели бы сила. А для чего? Кому она помѣха? Людямъ, а не тебѣ: тебѣ отъ того, что она явилась, даже лучше жить стало.

Орловъ вдругъ расхохотался.

— А, вѣдь, вѣрно! И впрямь лучше! Ахъ ты, дуй ее горой! Люди мрутъ, а мнѣ отъ этого жить лучше, а?.. Вотъ такъ жизнь! Тьфу!

Онъ всталъ и смѣясь ушелъ на дежурство. Когда онъ шелъ по коридору, у него вдругъ явилось сожалѣніе о томъ, что, кромѣ него, никто не слышалъ рѣчей Матрены. „Ловко говорила! Баба, баба, а тоже понимаетъ кое-что“. И охваченный какимъ-то пріятнымъ чувствомъ, онъ вошелъ въ свое отдѣленіе навстрѣчу хрипамъ и стонамъ больныхъ.

Матрена, въ свою очередь, всячески старалась расширить свое возрастающее значеніе въ жизни мужа. Трудовая и бойкая жизнь въ баракѣ сильно приподняла ея самооцѣнку,—это случилось незамѣтно для Матрены. Она не думала, не разсуждала, но, вспоминая свою прежнюю жизнь въ подвалѣ, въ тѣсномъ кругу заботъ о мужѣ и хозяйствѣ, она невольно сравнивала прошлое съ настоящимъ, и мрачныя картины подвальнаго существованія постепенно отходили все далѣе и далѣе отъ нея. Барачное начальство полюбило ее за смѣтливость и умѣнье работать, всѣ относились къ ней ласково, въ ней видѣли человѣка, и это было ново для нея, оживляло ее...

Однажды, во время ночного дежурства, толстая докторша начала разспрашивать ее объ ея жизни, и Матрена, охотно и открыто разсказывая ей про свою жизнь, вдругъ замолчала, улыбаясь.

— Ты что смѣешься?—спросила докторша.

— Да такъ... очень ужъ плохо жила я... и вѣдь, повѣрите ли, милая моя барыня,—не понимала я этого... вотъ до сего часу не понимала, какъ плохо.

Послѣ этого смотра прошлому въ душѣ Орловой родилось странное чувство къ мужу, она все такъ же любила его, какъ и раньше — слѣпой любовью самки, но ей стало казаться, какъ будто Григорій должникъ ея. Порой она, говоря съ нимъ, принимала тонъ покровительственный, ибо онъ часто возбуждалъ въ ней жалость своими безпокойными рѣчами. Но все-таки иногда ее охватывало сомнѣніе въ возможности тихой и мирной жизни съ мужемъ, хотя вообще она уже вѣрила, что Григорій остепенится и погаснетъ въ немъ его тоска.

Роковымъ образомъ они должны были сблизиться другъ съ другомъ и—оба молодые, трудоспособные, сильные—они зажили бы сѣрой жизнью полусытой бѣдности, кулацкой жизнью, всецѣло поглощенной погоней за грошомъ, но отъ этого конца ихъ спасло то, что Гришка называлъ своимъ „безпокойствомъ въ сердцѣ“ и что не могло помириться съ буднями.

Утромъ хмураго сентябрьскаго дня на дворъ барака въѣхала фура, и Пронинъ выпулъ изъ нея маленькаго мальчика, перепачканнаго красками, костляваго, желтаго, едва дышавшаго.

— Опять изъ дома Петунникова, съ Мокрой улицы,— сообщилъ возница на вопросъ, откуда больной.

— Чижикъ!—огорченно вскричалъ Орловъ,—ахъ ты Господи! Сенька! Чижъ! Ты меня узнаешь?

— У... узналъ...—съ усиліемъ сказалъ Чижикъ, лежа на носилкахъ и медленно заводя глаза подъ лобъ, чтобы видѣть Орлова, который шелъ у него въ головахъ и склонился надъ нимъ.

— Ахъ ты... веселая птица! Какъ же это ты сбрендилъ?—спрашивалъ Орловъ. Онъ былъ какъ-то странно

встревоженъ видомъ этого мальчугана, измученнаго болѣзнью.—Мальчишку-то за что? — воплотилъ онъ въ одинъ вопросъ свои ощущенія и печально качнулъ головой.

Чижикъ молчалъ и пожимался.

— Холодно,—сказалъ онъ, когда его положили на койку и стали снимать съ него прокрашенные всѣми красками лохмотья.

— А вотъ мы тебя сейчасъ въ горячую воду пустимъ...—обѣщалъ Орловъ.—И вылѣчимъ.

Чижикъ потрясъ головенкой и зашепталъ:

— Не вылѣчишь... Дяденька Григорій.... наклонись-ка... ухомъ. Гармонику-то я стащилъ... Она въ дровяникѣ... Третьяго дня въ первый разъ тронулъ послѣ того, какъ укралъ. А-ахъ какая! Спряталъ ее... а тутъ и брюхо заболѣло... Вотъ... Значитъ, за грѣхъ это... Она подъ лѣстницей на стѣнкѣ виситъ... и дровами я ее заложилъ... Вотъ... Ты, дяденька Григорій, отдай ее.... У гармониста сестра есть...—Спрашивала... От-да-ай!... Онъ застоналъ и началъ корчиться въ судорогахъ.

Съ нимъ сдѣлали все, что могли, но истощенное, худое тѣльце не крѣпко держало въ себѣ жизнь, и вечеромъ Орловъ несъ его на носилкахъ въ мертвецкую. Несъ и чувствовалъ себя такъ, точно его обидѣли.

Въ мертвецкой Орловъ попробовалъ расправить тѣло Чижика, но ему не удалось. Орловъ ушелъ убитый, хмурый, унося съ собой образъ изувѣченнаго страшною болѣзнью веселаго мальчика.

Его охватило разслабляющее сознаніе своего безсилія передъ смертью и непониманіе ея. Сколько онъ хлопоталъ около Чижика, какъ ревностно трудились надъ нимъ доктора... умеръ мальчикъ! Это обидно... Вотъ и его, Орлова, схватитъ однажды и скрючитъ... И кончено. Ему стало страшно и, рядомъ съ этимъ чувствомъ, его охватило одиночество. Поговорить бы съ умнымъ человѣкомъ насчетъ всего этого. Онъ не-

разъ пробовалъ завести обширный разговоръ съ кѣмъ-либо изъ студентовъ, но никто не имѣлъ времени для философіи. Приходилось идти къ женѣ и говорить съ ней. И онъ пошелъ къ ней, хмурый и печальный.

Она только что смѣнилась съ дежурства и мылась въ углу комнаты, но самоваръ уже стоялъ на столѣ и наполнялъ воздухъ паромъ и шипѣніемъ.

Григорій молча сѣлъ на стулъ и сталъ смотрѣть на голыя, круглыя плечи жены. Самоваръ бурлилъ, плескалась вода, Матрена фыркала, по коридору взадъ и впередъ быстро бѣгали служителя, и Григорій по походкѣ старался опредѣлить, кто идетъ.

Вдругъ ему представилось, что плечи Матрены такъ же холодны и покрыты такимъ же липкимъ пo̓томъ, какъ у Чижика, когда тотъ корчился въ судорогахъ на больничной койкѣ. Онъ вздрогнулъ и глухо сказалъ:

— Умеръ Сенька-то...

— Умеръ!? Царство небесное новопреставленному отроку Семену!—молитвенно сказала Матрена и вслѣдъ затѣмъ начала свирѣпо плеваться—мыло попало ей въ ротъ.

— Жалко мнѣ его,—вздохнулъ Григорій.

— Озорникъ больно былъ.

— Умеръ и шабашъ! Не твое теперь дѣло, каковъ онъ былъ... А что умеръ — это жалко. Бойкій былъ, шустрый... Гармонику... Гмъ! Ловкій мальченка... Я иной разъ смотрѣлъ на него и думалъ: взять его къ себѣ вродѣ какъ въ ученики... Сирота онъ... привыкъ бы и сталъ замѣсто сына намъ... Потому—нѣтъ вотъ у насъ дѣтей-то... Нѣтъ... Здоровенная ты такая, а не родишь... Родила одинъ разъ, да и кончено. Эхъ ты! Были бы у насъ пискуны этакіе, глядишь, не такъ скучно жилось бы намъ... А то вотъ живи, работай... А для чего? Для пропитанія своего, и твоего... А куда мы... куда намъ пропитаніе? Чтобы работать... Колесо безсмысленное и выходитъ... А ежели были бы дѣти—другой разговорецъ. Н-да...

Онъ говорилъ это, низко опустивъ голову, тономъ грусти и недовольства. Матрена стояла передъ нимъ и слушала, постепенно блѣднѣя.

— Я здоровый, ты здоровая, а дѣтей нѣтъ... Что такое? Почему? Н-да... Думаешь, думаешь этакъ-то и... запьешь!

— Врешь!—твердо и громко сказала Матрена.—Врешь ты! Не смѣй ты мнѣ этихъ подлыхъ твоихъ словъ говорить... слышишь? Не смѣй! Пьешь ты — такъ себѣ, изъ баловства, потому что сдержать себя не можешь, а бездѣтство мое не при чемъ тутъ; врешь, Гришка!

Григорій былъ ошеломленъ. Онъ откинулся на спинку стула, взглянулъ на жену и не узналъ ея. Никогда раньше онъ не видалъ ея такою разъяренной, никогда не смотрѣла она на него такими безжалостно-злыми глазами и не говорила съ такой силой въ словахъ.

— Ну, ну?!—вызывающе произнесъ Григорій, вцѣпившись руками въ сидѣнье стула.—Ну-ка, говори еще!

— И скажу! Не сказала бы, но укора твоего такого не могу снести! Не рожу я тебѣ? И не буду! Не могу ужъ... Не рожу!.. — рыданіе послышалось въ ея крикѣ.

— Не ори,—предупредилъ ее мужъ.

— Почему не рожу, а? Ну-ка вспомни, Гриша, сколько ты меня билъ? Сколько пинковъ въ бока мнѣ насыпалъ?.. Сосчитай-ка! Какъ ты мучилъ, истязалъ меня? Знаешь ли ты, сколько крови изъ меня лилось послѣ мучительства твоего? По шею рубаха-то въ крови бывала! Вотъ почему не рожу, мужъ милый! Какъ же ты можешь упреки мнѣ дѣлать за это, а? Какъ же харѣ твоей не совѣстно смотрѣть-то на меня?... Вѣдь убивецъ ты! Понимаешь ли—убивецъ! Убивалъ ты, самъ убивалъ дѣтокъ-то своихъ! а теперь меня упрекаешь за то, что не рожу... Все я отъ тебя сносила, все я тебѣ прощала,—этакихъ словъ вовѣки не прощу! Умирать буду — вспомню! Неужто ты не понимаешь, что самъ виноватъ, что извелъ ты меня? Неужто я не какъ всѣ

женщины—не хочу дѣтей! Не хочу, думаешь!? Многія ночи я, не спамши, Господа Бога молила сохранить дитя въ утробѣ моей отъ тебя, убивца... Вижу дитя чужое—горечью захлебываюсь отъ зависти да жалости къ себѣ... Мнѣ бы... Царица Небесная!... Семку этого... тихонько ласкала... Что я? Господи! Безплодная...

Она стала задыхаться. Слова прыгали изъ ея рта безъ смысла и безъ связи.

Лицо у нея было все въ пятнахъ, она дрожала и царапала себѣ шею, потому что въ горлѣ ея клокотали рыданія. Крѣпко держась за стулъ, Григорій, блѣдный и подавленный, сидѣлъ противъ нея и широко раскрытыми глазами смотрѣлъ на эту чужую ему женщину. И боялся ея... боялся, что она вцѣпится ему въ горло и задушитъ его. Именно это обѣщали ему ея страшные, горящіе злобой глаза. Она была теперь вдвое сильнѣе его, онъ это чувствовалъ и трусилъ; не могъ встать и ударить ее, какъ сдѣлалъ бы, если бы не понималъ, что она переродилась, точно впитала въ себя великую силу откуда-то.

— Душу ты мнѣ задѣлъ... Гришка! Великъ твой грѣхъ передо мной! Терпѣла я, молчала... люблю тебя, потому что... но не могу я попрека такого снести!.. Силъ ужъ нѣтъ... Богоданный ты мой! будь ты за слова твои трижды прокл...

— Молчать!—рявкнулъ Гришка, оскаливъ зубы.

— Вы, скандалисты! Забыли, гдѣ вы? Черти проклятые!

У Григорія былъ туманъ въ глазахъ. Не разобралъ онъ, кто стоитъ въ двери и говоритъ басомъ; выругался скверными словами, оттолкнулъ человѣка въ сторону и убѣжалъ въ поле. А Матрена, постоявъ среди комнаты съ минуту, шатаясь и точно слѣпая, протянувъ руки впередъ, подошла къ койкѣ и со стономъ свалилась на нее.

Темнѣло и уже въ окна комнаты съ неба изъ си-

зыхъ, рваныхъ тучъ заглядывала любопытно золотистая луна, покрывая полъ тѣнями.

Вскорѣ по стекламъ оконъ и стѣнѣ барака зашуршалъ мелкій частый дождь—предвѣстникъ безконечныхъ, наводящихъ тоску дождей хмурой осени.

Маятникъ часовъ равномѣрно отбивалъ секунды, неустанно били въ стёкла капли дождя. Одинъ за другимъ шли часы и дождь все шелъ, а на койкѣ неподвижно лежала женщина и смотрѣла воспаленными глазами въ потолокъ. Лицо у нея было мрачное, строгое, зубы крѣпко стиснуты, скулы выдались и въ глазахъ свѣтились страхъ и тоска. А дождь все шуршалъ о стѣны и стёкла; казалось, онъ настойчиво шепчетъ что-то утомительно-однообразное, хочетъ убѣдить кого-то въ чемъ-то, но не имѣетъ достаточно страсти для того, чтобы сдѣлать это быстро, красиво, съ силой, и надѣется достичь своей цѣли мучительною, безконечно-длинною, безцвѣтною проповѣдью, въ которой нѣтъ искренняго паѳоса вѣры.

Дождь шелъ и тогда, когда небо покрылось предразсвѣтнымъ колоритомъ, обѣщающимъ ненастный день и такъ похожимъ на цвѣтъ ножа, долго бывшаго въ употребленіи и лишеннаго блеска полировки. А Матрена все еще не могла уснуть. Въ монотонномъ шумѣ дождя она слышала тоскливый и пугавшій ее вопросъ:

— Что-то теперь будетъ? Что-то теперь будетъ?

Онъ неотвязно звучалъ за окнами и отзывался ноющей болью во всемъ существѣ ея.

— Что-то теперь будетъ?

Женщина боялась отвѣчать себѣ, хотя отвѣтъ то и дѣло вспыхивалъ предъ нею въ образѣ пьянаго и звѣрски-свирѣпаго мужа. Но ей было трудно разстаться съ мечтой о спокойной, любовной жизни, она уже сжилась съ этой мечтой и гнала прочь отъ себя угрожающее предчувствіе. И въ то же время у нея мелькало сознаніе, что если это случится—запьетъ Григорій, она уже

не сможетъ жить съ нимъ. Она видѣла его другимъ, сама стала другая и прежняя жизнь возбуждала въ ней боязнь и отвращеніе—чувства новыя, ранѣе невѣдомыя ей. Но она была женщина и въ концѣ концовъ она стала обвинять себя за эту размолвку съ мужемъ.

— И какъ это все вышло?.. О, Господи!.. Точно я съ крючка сорвалась...

Въ такихъ противорѣчивыхъ, мучительныхъ думахъ прошелъ еще одинъ длинный часъ. Разсвѣло. Въ полѣ клубился тяжелый туманъ и неба не видно было сквозь его сѣрую мглу.

— Орлова! Дежурить...

Машинально повинуясь этому зову, брошенному въ дверь ея комнаты, она медленно поднялась съ постели, наскоро умылась и пошла въ баракъ, чувствуя себя безсильной и полубольной. Въ баракѣ она вызвала общее недоумѣніе вялостью своихъ движеній и угрюмымъ лицомъ съ погасшими глазами.

— Орлова! Вамъ, кажется, нездоровится?—спросила ее докторша.

— Ничего...

— Да вы скажите, не стѣсняясь! Вѣдь можно замѣнить васъ...

Матренѣ стало совѣстно, ей не хотѣлось выдавать своей боли и страха предъ этимъ хорошимъ, но все-таки чужимъ ей человѣкомъ. И почерпнувъ изъ глубины своей измученной души остатокъ бодрости, она, усмѣхаясь, сказала докторшѣ:

— Ничего! Съ мужемъ я немножко повздорила... Пройдетъ это... не въ первинку...

— Бѣдная вы! — вздохнула докторша, знавшая ея жизнь.

Матренѣ захотѣлось упасть предъ ней, ткнуться головой въ ея колѣни и заревѣть... Но она сдержалась и только плотно сжала губы да провела рукой по горлу,

какъ бы отталкивая готовое вырваться рыданіе назадъ въ грудь.

Смѣнившись съ дежурства, она вошла въ свою комнату и прежде всего посмотрѣла въ окно. По полю къ бараку двигалась фура—должно быть, везли больного. Мелкій дождь сыпался изъ сѣрыхъ тучъ... Больше ничего не было тамъ. Матрена отвернулась отъ окна и, тяжело вздохнувъ, сѣла за столъ, занятая своимъ вопросомъ.

— Что-то теперь будетъ? И сердце ея билось въ тактъ этимъ словамъ...

Долго сидѣла она, одинокая, въ тяжелой полудремотѣ, и каждый разъ шумъ шаговъ въ коридорѣ заставлялъ ее вздрагивать и, привставъ со стула, смотрѣть на дверь...

Но когда, наконецъ, эта дверь отворилась и вошелъ Григорій, она не вздрогнула и не встала, ибо почувствовала себя такъ, точно осеннія тучи съ неба вдругъ опустились на нее всей своей тяжестью.

А Григорій остановился у порога, бросилъ на полъ свой мокрый картузъ и, громко топая ногами, пошелъ къ женѣ. Съ него текла вода. Лицо у него было красное, глаза тусклые и губы растягивались въ широкую, глупую улыбку. Онъ шелъ, и Матрена слышала, какъ въ сапогахъ его хлюпала вода. Онъ былъ жалокъ и въ этомъ видѣ не представлялся ей.

— Хорошъ!—тихо сказала она.

Григорій глупо мотнулъ головой и спросилъ у нея:

— Хочешь, въ ноги поклонюсь?

Она молчала.

— Не хочешь? Ну, твое дѣло... А я все думалъ: виноватъ я предъ тобой или нѣтъ? Выходитъ — виноватъ. Вотъ я и говорю: хочешь, въ н-ноги поклонюсь?

Она молчала, вдыхая запахъ водки, исходившій отъ него, и душу ея разъѣдало горькое чувство.

— Ты вотъ что — ты не кобенься! Пользуйся, пока

я смирный, — повышая голосъ, говорилъ Григорій. — Ну, прощаешь?

— Пьяный ты,—сказала Матрена, вздыхая.—Иди-ка спать...

— Врешь, я не пьяный, а усталъ я. Я все ходилъ и думалъ... Я, братъ, много думалъ... о! ты смотри!...

Онъ погрозилъ ей пальцемъ, криво усмѣхаясь.

— Что молчишь?

— Не могу я съ тобой говорить.

— Не можешь? А почему?

Онъ вдругъ весь вспыхнулъ и голосъ у него сталъ тверже.

— Ты вчера накричала на меня тутъ, налаяла... ну, а я вотъ у тебя же прощенья прошу. Понимай!

Онъ сказалъ это очень зловѣще, у него вздрагивали губы и ноздри раздувались. Матрена знала, что это значитъ, и предъ ней въ яркихъ образахъ воскресало прежнее: подвалъ, субботнія сраженія, тоска и духота ихъ жизни.

— Понимаю я!—рѣзко сказала она.—Вижу... опять ты озвѣрѣешь теперь... эхъ ты!

— Озвѣрѣю? Это... къ дѣлу не идетъ... Я говорю: простишь? Ты что думаешь? Нужно мнѣ оно, твое прощенье? Превосходно обойдусь и безъ него... но, однако, хочу вотъ, чтобъ ты меня простила... Поняла?

— Уйди ты отъ меня, Григорій!—тоскливо воскликнула женщина, отвертываясь отъ него.

— Уйти?—зло засмѣялся Гришка.—Уйти, а ты чтобы осталась на волѣ? Ну, нѣ-ѣтъ! А ты это видѣла?

Онъ схватилъ ее за плечо, рванулъ къ себѣ и поднесъ къ ея лицу ножъ—короткій, толстый и острый кусокъ ржаваго желѣза.

— Н-ну?

— Эхъ, кабы ты меня зарѣзалъ,—глубоко вздохнувъ, сказала Матрена, и, освободясь изъ-подъ его руки, вновь отвернулась отъ него. Тогда и онъ отшатнулся

отъ нея, пораженный не ея словами, а тономъ ихъ. Онъ слыхалъ изъ ея устъ эти слова, не разъ слыхалъ, но такъ—она никогда не говорила ихъ. И то, что она, не боясь ножа, отвернулась отъ него, усилило его изумленіе и растерянность. Нѣсколько секундъ тому назадъ для него было бы легко ударить ее, но теперь онъ не могъ и не хотѣлъ этого. Почти испуганный ея равнодушіемъ къ угрозѣ, онъ бросилъ ножъ на столъ и съ тупой злобой спросилъ жену:

— Дьяволъ! Чего тебѣ нужно?

— Ничего мнѣ не надо, ничего!—задыхаясь, крикнула Матрена.—А ты что? Убить пришелъ? Ну и убей!

Григорій смотрѣлъ на нее и молчалъ, не зная, что ему теперь дѣлать, и не видя ничего яснаго въ своихъ спутанныхъ чувствахъ. Онъ пришелъ съ опредѣленнымъ намѣреніемъ побѣдить жену. Вчера, во время столкновенія, она была сильнѣе его, онъ это чувствовалъ и это унижало его въ своихъ глазахъ. Непремѣнно нужно было, чтобы она опять подчинилась ему, онъ не понималъ, зачѣмъ, но твердо зналъ—нужно. Натура страстная, онъ много пережилъ и передумалъ за эти сутки и—темный человѣкъ—не умѣлъ разобраться въ хаосѣ тѣхъ чувствъ, которыя возбудила въ немъ жена смѣло брошеннымъ ему правдивымъ обвиненіемъ. Онъ понималъ, что это возстаніе противъ него, и принесъ съ собой ножъ, чтобъ испугать Матрену; онъ убилъ бы ее, если бъ она не такъ пассивно сопротивлялась его желанію подчинить ее. Но вотъ она была предъ нимъ. беззащитная, убитая тоской и все-таки сильнѣе его. Ему было обидно видѣть это, и обида дѣйствовала на него отрезвляюще.

— Слушай! — сказалъ онъ, — ты не фордыбачь! Ты знаешь, я вѣдь и въ самомъ дѣлѣ... ахну вотъ тебя въ бокъ—и шабашъ! И всей исторіи будетъ точка!.. Очень просто...

Почувствовавъ, что онъ говоритъ не то, что нужно,

Григорій замолчалъ. Матрена не двигалась, отвернувшись отъ него. Въ ней происходилъ лихорадочно-быстрый подсчетъ всего пережитаго съ мужемъ и бился этотъ неотвязный вопросъ:

— Что-то теперь будетъ?

— Мотря!—вдругъ тихо заговорилъ Григорій, опираясь на столъ рукой и наклоняясь къ женѣ.—Али я виноватъ, что... все не тово... не въ порядкѣ?... Вѣдь очень ужъ тошно мнѣ!

Онъ покрутилъ головой и вздохнулъ.

— Такъ мнѣ тошно! Такъ мнѣ тѣсно на землѣ! Вѣдь развѣ это жизнь? Ну, скажемъ, холерные, — что они? Развѣ они мнѣ поддержка? Одни помрутъ, другіе выздоровѣютъ... а я опять должонъ буду жить. Какъ жить? Не жизнь—однѣ судороги... развѣ не обидно это? Вѣдь я все понимаю, только мнѣ трудно сказать, что я не могу такъ жить... а какъ мнѣ надо—не знаю! Ихъ, вонъ, лѣчатъ и всякое имъ вниманіе... а я здоровый, но ежели у меня душа болитъ, развѣ я ихъ дешевле? Ты подумай — вѣдь я хуже холернаго... у меня въ сердцѣ судороги—вотъ въ чемъ гвоздь!.. А ты на меня кричишь!.. Ты думаешь, я звѣрь? Пьяница — и все тутъ? Эхъ ты... баба ты! Деревянная...

Онъ говорилъ тихо и вразумительно, но она плохо слышала его рѣчь, занятая строгимъ смотромъ прошлаго.

— Ты вотъ молчишь...—говорилъ Гришка, прислушиваясь, какъ въ немъ растетъ что-то новое и сильное.—А что ты молчишь? Чего ты хочешь?

— Ничего я отъ тебя не хочу! — воскликнула Матрена. — Что ты гвоздишь меня? Что мучишь? Чего тебѣ надо?

— Чего! А того... чтобы, стало быть...

Но тутъ Орловъ почувствовалъ, что не можетъ сказать ей, чего именно ему нужно,—такъ сказать, чтобъ все сразу было ясно и ему, и ей. Онъ понялъ, что между

ними образовалось что-то, чего уже не разобьешь никакими словами...

Тогда въ немъ вдругъ и ярко вспыхнула дикая злоба. Онъ съ размаха ударилъ жену кулакомъ по затылку и звѣремъ зарычалъ:

— Ты что, вѣдьма, а? Ты что играешь? Убью, стерва!

Она отъ удара ткнулась лицомъ въ столъ, но тотчасъ же вскочила на ноги и, глядя въ лицо мужа взглядомъ ненависти, твердо, громко и кратко сказала:

— Бей!

— Цыцъ!

— Бей! Ну?

— Ахъ ты дьяволъ!

— Нѣтъ ужъ, Григорій, будетъ! Не хочу я больше этого...

— Цыцъ!

— Не дамъ я тебѣ измываться надо мной...

Онъ заскрипѣлъ зубами и отступилъ отъ нея на шагъ — быть можетъ, для того, чтобъ удобнѣе ударить ее.

Но въ этотъ моментъ дверь отворилась и на порогѣ явился докторъ Ващенко.

— Эт-то что такое? Вы гдѣ, а? Вы что это тутъ разыгрываете?

Лицо у него было строгое и изумленное. Орловъ нимало не смутился при видѣ его и даже поклонился ему, говоря:

— А такъ это... дезинфекція промежду мужемъ и женой...

И онъ судорожно усмѣхнулся въ лицо доктору...

— Ты почему не явился на дежурство? — рѣзко крикнулъ докторъ, раздраженный усмѣшкой.

Гришка пожалъ плечами и спокойно объявилъ:

— Занятъ былъ... по своимъ дѣламъ...

— Такъ... да! А скандалилъ тутъ вчера — кто?

— Мы...

— Вы? Очень хорошо... Вы ведете себя по-домашнему... безъ спроса шляетесь...

— Не крѣпостные, потому что...

— Молчать! Кабакъ вы тутъ устроили... скоты! Я покажу вамъ, гдѣ вы...

Приливъ дикой удали, страстнаго желанія все опрокинуть, вырваться изъ гнетущей душу путаницы горячей волной охватилъ Гришку. Ему показалось, что вотъ сейчасъ онъ сдѣлаетъ что-то необыкновенное и сразу разрѣшитъ свою темную душу отъ путь, связавшихъ ее. Онъ вздрогнулъ, почувствовалъ пріятный холодокъ въ сердцѣ и, съ какой-то кошечьей ужимкой повернувшись къ доктору, сказалъ ему:

— Вы не безпокойте глотку, не орите... я знаю, гдѣ я — въ морильнѣ!

— Что-о? Какъ ты сказалъ?—нагнулся къ нему пораженный докторъ.

Гришка понялъ, что сказалъ дикое слово, но не охладѣлъ отъ этого, а еще болѣе распалился.

— Ничего, сойдетъ! Скушаете... Матрена! Собирайся!

— Нѣтъ, голубчикъ, постой! Ты мнѣ отвѣть... — съ зловѣщимъ спокойствіемъ произнесъ докторъ.—Я тебя, мерзавецъ, за это...

Гришка въ упоръ смотрѣлъ на него и заговорилъ, чувствуя себя такъ, точно онъ прыгаетъ куда-то и съ каждымъ прыжкомъ ему дышится все легче...

— Вы, Андрей Степановичъ, не кричите... не ругайтесь... Вы думаете, ежели холера, то вы и можете надо мной командовать. Напрасная мечта... Что вы лѣчите, такъ это даже и ненужно никому... А что я сказалъ— морилка, это, конечно, пустое слово, и я дразнился... Но вы, все-таки, не очень орите...

— Нѣтъ, врешь!—спокойно сказалъ докторъ... Я тебя проучу... ей, подите сюда!

Въ коридорѣ уже столпились люди... Гришка прищурилъ глаза и сцѣпилъ зубы...

— Я не вру и не боюсь... а коли вамъ нужно проучить меня, то я для вашего удобства и еще скажу...

— Н-ну? Скажи...

— Я пойду въ городъ и цыкну:—Ребята! А знаете, какъ холеру лѣчатъ?

— Что-о? — широко раскрылъ глаза докторъ.

— Такъ тогда мы тутъ такую дезинфекцію съ лиминаціей...

— Что ты говоришь, чортъ тебя возьми! — глухо вскричалъ докторъ. Раздраженіе уступило въ немъ мѣсто изумленію предъ этимъ парнемъ, котораго онъ зналъ, какъ трудолюбиваго и неглупаго работника и который теперь, неизвѣстно зачѣмъ, безтолково и нелѣпо лѣзъ въ петлю...

— Что ты мелешь, дуракъ?

— Дуракъ! — отозвалось эхомъ во всемъ существѣ Гришки. Онъ понялъ, что этотъ приговоръ справедливъ и еще болѣе обидѣлся.

— Что я говорю! Я знаю... Мнѣ все равно... — говорилъ онъ, дико сверкая глазами.—Я такъ понимаю теперь, что нашему брату всегда все равно... и совсѣмъ напрасно стѣсняемся мы въ нашихъ чувствахъ... Матрена, собирайся!

— Я не пойду!—твердо заявила Матрена.

Докторъ смотрѣлъ на нихъ круглыми глазами и теръ себѣ лобъ, ничего не понимая.

— Ты... пьяный или сумашедшій человѣкъ! понимаешь ты, что дѣлаешь?

Гришка не сдавался, не могъ сдаться. И въ отвѣтъ доктору онъ говорилъ иронически:

— А вы какъ понимаете? Вы-то что дѣлаете? Дезинфекцію, ха, ха! Больныхъ лѣчите... а здоровые помираютъ отъ тѣсноты жизни... Матрена! Башку разобью! Иди...

— Я съ тобой не пойду!

Она была блѣдна и неестественно неподвижна, но

глаза ея смотрѣли въ лицо мужа твердо и холодно. Гришка, несмотря на весь свой геройскій куражъ, отвернулся отъ нея и, опустивъ голову, замолчалъ.

— Тьфу!—плюнулъ докторъ.—Самъ дьяволъ не разберетъ, что это такое... Ты! Пошелъ вонъ! Ступай и благодари, что я тебя не приструнилъ... тебя бы слѣдовало подъ судъ... болванъ! Пошелъ!

Григорій молча взглянулъ на доктора и опять поникъ. Ему было бы лучше, если бы его побили или хоть отправили въ полицію... Но докторъ былъ добрый человѣкъ и видѣлъ, что Орловъ почти невмѣняемъ...

— Послѣдній разъ говорю—идешь ты?—сипло спросилъ Гришка жену.

— Нѣтъ, не пойду, — отвѣтила она и немножко согнулась, точно ожидая удара.

Гришка махнулъ рукой.

— Ну... чортъ васъ всѣхъ возьми!.. Да и на кой дьяволъ вы нужны мнѣ?

— Ты, дубина дикая,—урезонивающе началъ докторъ.

— Не лайтесь!—крикнулъ Гришка.—Ну, шлюха проклятая,—ухожу я! Чай, не увидимся... а можетъ, увидимся... это ужъ какъ я захочу! Но ежели увидимся—не хорошо тебѣ будетъ, такъ и знай!

И Орловъ двинулся къ двери.

— Прощай... трагикъ! — сардонически сказалъ докторъ, когда Гришка поровнялся съ нимъ.

Григорій остановился и, поднявъ на доктора тоскливо сверкавшіе глаза, сдержанно и негромко заявилъ:

— А вы меня не троньте... не заводите пружину сначала... развернулась она, никого не задѣла... ну и ладно.

Онъ поднялъ съ пола картузъ, налѣпилъ его себѣ на голову, поежился и ушелъ, не взглянувъ на жену.

На нее пытливо смотрѣлъ докторъ. Она стояла предъ нимъ блѣдная, съ какимъ-то безчувственнымъ лицомъ.— Докторъ кивнулъ головой вслѣдъ Григорію и спросилъ ее:

— Что съ нимъ?

— Не знаю...

— Гм... А куда онъ теперь?

— Пьянствовать!—твердо отвѣтила Орлова.

Докторъ повелъ бровями и ушелъ.

Матрена посмотрѣла въ окно. Отъ барака къ городу, въ вечернемъ сумракѣ, подъ дождемъ и вѣтромъ быстро двигалась фигура мужчины. Одна, среди мокраго сѣраго поля...

... Лицо Матрены Орловой поблѣднѣло еще болѣе, она оборотилась въ уголъ, стала на колѣни и начала молиться, усердно отбивая земные поклоны, задыхаясь въ страстномъ шопотѣ своей молитвы и растирая грудь и горло дрожащими отъ возбужденія руками.

Однажды я осматривалъ ремесленную школу въ N. Моимъ чичероне былъ знакомый человѣкъ, одинъ изъ основателей ея. Онъ водилъ меня по образцово-устроенной школѣ и разсказывалъ:

— Какъ видите, мы можемъ похвалиться... чадо наше растетъ и развивается на славу. Учительскій персоналъ на удивленіе подобрался. Въ сапожной и башмачной мастерской, напримѣръ, учительница—простая сапожница, баба, т.-е. даже бабеночка, вкусная такая, шельма, но безупречнѣйшаго поведенія. — Впрочемъ, это къ черту... н-да. Такъ, вотъ, эта бабочка простая, говорю, сапожница, но какъ она работаетъ!.. какъ умѣло преподаетъ свое ремесло, съ какою любовью относится къ ребятишкамъ—изумительно! Безцѣнная работница... работаетъ за 12 р. и квартиру при школѣ... и еще двухъ сиротъ содержитъ на свои убогія средства! Это, я вамъ скажу, преинтересная фигура.

Онъ такъ усердно расхваливалъ сапожницу, что вызвалъ во мнѣ желаніе познакомиться съ ней.

Это скоро устроилось, и вотъ однажды Матрена Ивановна Орлова разсказывала мнѣ свою печальную жизнь.

Первое время послѣ того, какъ она, разошлась съ мужемъ, онъ не давалъ ей покоя: — приходилъ къ ней пьяный, устраивалъ скандалы, подстерегалъ ее всюду и билъ нещадно. Она терпѣла.

Когда баракъ закрыли, докторша предложила Матренѣ Ивановнѣ устроить ее при школѣ и оградить отъ мужа. И то, и другое удалось, и Орлова зажила спокойною, трудовою жизнью; выучилась подъ руководствомъ знакомыхъ фельдшерицъ грамотѣ, взяла себѣ на воспитаніе двухъ сиротъ изъ пріюта — дѣвочку и мальчика—и работаетъ, довольная собой, съ грустью и со страхомъ вспоминая свое прошлое. Въ воспитанникахъ своихъ она души не чаетъ, значеніе своей дѣятельности понимаетъ широко, относится къ ней сознательно и среди заправилъ школы заслужила всеобщій интересъ и уваженіе къ себѣ. Но она кашляетъ сухимъ, подозрительнымъ кашлемъ, на впалыхъ щекахъ ея горитъ зловѣщій румянецъ и въ сѣрыхъ глазахъ ютится много грусти. Отозвалось супружество съ безпокойнымъ Гришкой.

А онъ махнулъ рукой на жену и вотъ уже третій годъ не безпокоитъ ея. Онъ иногда является въ N, но не показыветъ своихъ глазъ Матренѣ. Онъ „босячитъ“, какъ опредѣлила она мнѣ родъ его жизни.

Мнѣ удалось познакомиться и съ нимъ. Я нашелъ его въ одной изъ городскихъ трущобъ, и въ два-три свиданія мы съ нимъ были друзьями. Повторивъ исторію, разсказанную мнѣ его женой, онъ задумался не надолго и потомъ сказалъ:

— Вотъ такъ-то, значитъ, Максимъ Савватѣичъ, приподняло меня, да и шлепнуло. Такъ я никакого геройства и не совершилъ. А и по сю пору хочется мнѣ отличиться на чемъ-нибудь... Раздробить бы всю землю въ пыль или собрать шайку товарищей! Или вообще что-нибудь этакое, чтобы стать выше всѣхъ людей и плюнуть на нихъ съ высоты... И сказать имъ: ахъ вы,

гады! Зачѣмъ живете? Какъ живете? Жулье вы лицемѣрное и больше ничего! И потомъ внизъ тормашками съ высоты и... вдребезги! Н-да-а! Чортъ те возьми... скучно! И ахъ какъ скучно и тѣсно мнѣ жить!... Думалъ я, сбросивъ съ шеи Матрешку:— н-ну, Гриня, плавай свободно, якорь поднятъ! Анъ не тутъ-то было— фарватеръ мелокъ! Стопъ! И сижу на мели... Но не обсохну, не бойсь! Я себя проявлю! Какъ? — это одному дьяволу извѣстно... Жена? Ну ее ко всѣмъ чертямъ! Развѣ такимъ, какъ я, жепа нужна? На кой ее... когда меня во всѣ четыре стороны сразу тянетъ... Я родился съ безпокойствомъ въ сердцѣ... и судьба моя—быть босякомъ! Самое лучшее положеніе въ свѣтѣ—свободно и... тѣсно все-таки! Ходилъ я и ѣздилъ въ разныя стороны... никакого утѣшенія... Пью? Конечно, а какъ же? Все-таки водка—она гаситъ сердце... А горитъ сердце большимъ огнемъ... Противно все — города, деревни, люди разныхъ калибровъ... Тьфу! Неужто же лучше этого и выдумать ничего нельзя? Всѣ другъ на друга... такъ бы всѣхъ и передушилъ! Эхъ ты жизнь, дьявольская ты премудрость!

Тяжелая дверь кабака, въ которомъ сидѣлъ я съ Орловымъ, то и дѣло отворялась и при этомъ какъ-то сладострастно повизгивала. И внутренность кабака возбуждала представленіе о какой-то пасти, которая медленно, но неизбѣжно поглощаетъ одного за другимъ бѣдныхъ русскихъ людей, безпокойныхъ и иныхъ...



БЫВШІЕ ЛЮДИ.

(1897)

I.

Въѣзжая улица—это два ряда одноэтажныхъ лачужекъ, тѣсно прижавшихся другъ къ другу, ветхихъ, съ кривыми стѣнами и перекошенными окнами; дырявыя крыши этихъ изувѣченныхъ временемъ человѣческихъ жилищъ испещрены заплатами изъ лубковъ и поросли мхомъ; надъ ними кое-гдѣ торчатъ высокіе шесты со скворешницами, и ихъ осѣняетъ пыльная зелень бузины и корявыхъ ветелъ—жалкая флора городскихъ окраинъ, населенныхъ бѣднотою.

Мутно-зеленыя отъ старости стекла оконъ домишекъ смотрятъ другъ на друга взглядами трусливыхъ жуликовъ. Посреди улицы ползетъ въ гору извилистая колея, лавируя между глубокихъ ритвинъ, промытыхъ дождями. Кое-гдѣ лежатъ поросшія бурьяномъ кучи щебня и разнаго мусора—это остатки или начала тѣхъ сооруженій, которыя безуспѣшно предпринимались обывателями въ борьбѣ съ потоками дождевой воды, стремительно стекавшей изъ города. Вверху, на горѣ, въ пышной зелени густыхъ садовъ прячутся красивые каменные дома, колокольни церквей гордо вздымаются въ голубое небо, ихъ золотые кресты ослѣпительно блестятъ на солнцѣ.

Въ дожди городъ спускаетъ на Въѣзжую улицу свою грязь, въ сухое время осыпаетъ ее пылью,—и всѣ эти уродливые домики кажутся тоже сброшенными оттуда, сверху, сметенными, какъ мусоръ, чьей-то могучей рукой.

Приплюснутые къ землѣ, они усѣяли собой всю гору, полугнилые, немощные и окрашенные солнцемъ, пылью и дождями въ тотъ не уловимый для опредѣленія сѣровато-грязный колоритъ, который принимаетъ дерево въ старости.

Въ концѣ этой жалкой улицы, выброшенный изъ города подъ гору, стоялъ длинный двухъ-этажный выморочный домъ, купленный у города купцомъ Петунниковымъ. Онъ былъ крайнимъ въ порядкѣ, находясь уже подъ горой, и дальше за нимъ широко развертывалось поле, обрѣзанное въ полуверстѣ отъ дома крутымъ обрывомъ къ рѣкѣ.

Большой и очень старый домъ имѣлъ самую мрачную физіономію среди своихъ сосѣдей. Весь онъ покривился, въ двухъ рядахъ его оконъ не было ни одного, сохранившаго правильную форму, и осколки стеколъ въ изломанныхъ рамахъ имѣли зеленовато-мутный цвѣтъ болотной воды.

Простѣнки между оконъ испещряли трещины и темныя пятна отвалившейся штукатурки—точно время этими іероглифами написало на стѣнахъ дома его біографію. Крыша, наклонившаяся на улицу, еще болѣе увеличивала его плачевный видъ—казалось, что домъ нагнулся къ землѣ и покорно ждетъ отъ судьбы послѣдняго удара, который превратитъ его въ прахъ, въ безформенную груду полугнилыхъ обломковъ.

Ворота были отворены—одна половинка ихъ, сорванная съ петель, лежала на землѣ и въ щели между ея досками проросла трава, густо покрывавшая большой и пустынный дворъ дома. Въ глубинѣ двора стояло низенькое закопченое зданіе съ желѣзной крышей на

одинъ скатъ. Самый домъ, конечно, былъ необитаемъ, но въ этомъ зданіи, раньше представлявшемъ собою кузницу, теперь помѣщалась „ночлежка“, содержимая ротмистромъ въ отставкѣ Аристидомъ Ѳомичемъ Кувалдой.

Внутри ночлежка была длинной и мрачной норой, размѣромъ въ четыре и десять саженъ; она освѣщалась съ одной стороны четырьмя маленькими квадратными окнами и широкой дверью. Кирпичныя, нештукатуренныя стѣны ея были черны отъ копоти, потолокъ изъ барочнаго днища тоже прокоптѣлъ до черноты; посреди ея помѣщалась громадная печь, основаніемъ которой служилъ горнъ, а вокругъ печи и по стѣнамъ шли широкія нары съ кучками всякой рухляди, служившей ночлежникамъ постелями. Отъ стѣнъ пахло дымомъ, отъ земляного пола—сыростью, отъ наръ—потнымъ и гніющимъ тряпьемъ.

Помѣщеніе хозяина ночлежки находилось на печи, нары вокругъ печи были почетнымъ мѣстомъ, и на нихъ размѣщались тѣ ночлежники, которые пользовались благоволеніемъ и дружбой хозяина.

День ротмистръ всегда проводилъ у двери въ ночлежку, сидя въ нѣкоторомъ подобіи кресла, собственноручно сложеннаго имъ изъ кирпичей, или же въ харчевнѣ Егора Вавилова, находившейся наискось отъ дома Петунникова; тамъ ротмистръ обѣдалъ и пилъ водку.

Передъ тѣмъ, какъ снять это помѣщеніе, Аристидъ Кувалда имѣлъ въ городѣ бюро для рекомендаціи прислуги; восходя выше въ его прошлое, можно было узнать, что онъ имѣлъ типографію, а до типографіи онъ, по его словамъ,—„просто—жилъ! И славно жилъ, чортъ возьми! Умѣючи жилъ, могу сказать!“

Это былъ широкоплечій, высокій человѣкъ лѣтъ пятидесяти, съ рябымъ, опухшимъ отъ пьянства лицомъ, въ широкой грязно-желтой бородѣ. Глаза у него были

сѣрые, огромные, дерзко-веселые; говорилъ онъ басомъ съ рокотаньемъ въ горлѣ, и почти всегда въ зубахъ у него торчала нѣмецкая фарфоровая трубка съ выгнутымъ чубукомъ. Когда онъ сердился, ноздри его большого горбатаго и ярко-краснаго носа широко раздувались и губы вздрагивали, обнажая два ряда крупныхъ, какъ у волка, желтыхъ зубовъ. Длиннорукій, колченогій, всегда одѣтый въ грязную и рваную офицерскую шинель, въ сальной фуражкѣ съ краснымъ околышемъ, но безъ козырька, и въ худыхъ валенкахъ, доходившихъ ему до колѣнъ,—поутру онъ неизмѣнно былъ въ тяжеломъ состояніи похмелья, а вечеромъ—навеселѣ. Допьяна онъ не могъ напиться, сколько бы ни выпилъ, и веселаго расположенія духа никогда не терялъ.

Вечерами, сидя въ своемъ кирпичномъ креслѣ съ трубкой въ зубахъ, онъ принималъ постояльцевъ.

— Что за человѣкъ?—спрашивалъ онъ у подходившаго къ нему рванаго и угнетеннаго субъекта, сброшеннаго изъ города за пьянство или по какой-нибудь другой, не менѣе основательной причинѣ опустившагося внизъ.

Человѣкъ отвѣчалъ.

— Представь въ подтвержденіе твоего вранья законную бумагу.

Бумага представлялась, если была. Ротмистръ совалъ ее за пазуху, рѣдко интересуясь ея содержаніемъ, и говорилъ:

— Все въ порядкѣ. За ночь двѣ копѣйки, за недѣлю гривеникъ, за мѣсяцъ—три гривеника. Ступай и займи себѣ мѣсто, да смотри не чужое, а то тебя вздуютъ. У меня живутъ люди строгіе...

Новички спрашивали его:

— А чаемъ, хлѣбомъ или чѣмъ съѣстнымъ не торгуете?

— Я торгую только стѣной и крышей, за что самъ плачу мошеннику-хозяину этой дыры, купцу 2-й гиль-

діи Іудѣ Петунникову, пять цѣлковыхъ въ мѣсяцъ,—объяснялъ Кувалда дѣловымъ тономъ;—ко мнѣ идетъ народъ, къ роскоши непривычной... а если ты привыкъ каждый день жрать — вонъ напротивъ харчевня. Но лучше, если ты, обломокъ, отучишься отъ этой дурной привычки. Вѣдь ты не баринъ—значитъ, что ты ѣшь? Самъ себя ѣшь!

За такія и подобныя рѣчи, произносимыя дѣланно-строгимъ тономъ и всегда со смѣющимися глазами, и за внимательное отношеніе къ своимъ постояльцамъ ротмистръ пользовался среди городской голи широкой популярностью. Часто случалось, что бывшій кліентъ ротмистра являлся на дворъ къ нему уже не рваный и угнетенный, а въ болѣе или менѣе приличномъ видѣ и съ бодрымъ лицомъ.

— Здравствуйте, ваше благородіе! Каковенько поживаете?

— Здорово. Живъ. Говори дальше.

— Не узнали?

— Не узналъ.

— А помните, я у васъ зимой жилъ съ мѣсяцъ... когда еще облава-то была и трехъ забрали?

— Н-ну, братъ, подъ моей гостепріимной кровлей то и дѣло полиція бываетъ!

— Ахъ ты, Господи! Еще вы тогда частному приставу кукишъ показали!

— Погоди, ты плюнь на воспоминанія и говори просто, что тебѣ нужно?

— Не желаете ли принять отъ меня угощеніе махонькое? Какъ я о ту пору у васъ жилъ, и вы мнѣ, значитъ...

— Благодарность должна быть поощряема, другъ мой, ибо она у людей рѣдко встрѣчается. Ты, должно быть, славный малый, и хоть я совсѣмъ тебя не помню, но въ кабакъ съ тобой пойду съ удовольствіемъ и напьюсь за твои успѣхи въ жизни съ наслажденіемъ.

— А вы все такой же... все шутите?

— Да что же еще можно дѣлать, живя среди васъ, горюновъ?

Они шли. Иногда бывшій кліентъ ротмистра, весь развинченный и расшатанный угощеніемъ, возвращался въ ночлежку; на другой день они снова угощались, и въ одно прекрасное утро бывшій кліентъ просыпался съ сознаніемъ, что онъ вновь пропился до тла.

— Ваше благородіе! Вотъ те и разъ! Опять я къ вамъ въ команду попалъ? Какъ же теперь?

— Положеніе, которымъ нельзя похвалиться, но, находясь въ немъ, не слѣдуетъ и скулить,—резонировалъ ротмистръ.—Нужно, другъ мой, ко всему относиться равнодушно, не портя себѣ жизни философіей и не ставя никакихъ вопросовъ. Философствовать всегда глупо, философствовать съ похмелья—невыразимо глупо. Похмелье требуетъ водки, а не угрызенія совѣсти и скрежета зубовнаго... зубы береги, а то тебя бить не по чему будетъ. На-ка вотъ тебѣ двугривенный,—иди и принеси косушку водки, на пятачокъ горячаго рубца или легкаго, фунтъ хлѣба и два огурца. Когда мы опохмелимся, тогда и взвѣсимъ положеніе дѣлъ...

Положеніе дѣлъ опредѣлялось вполнѣ точно дня черезъ два, когда у ротмистра не оказывалось ни гроша отъ трешницы или пятишницы, которая была у него въ карманѣ въ день появленія благодарнаго кліента.

— Пріѣхали! Баста!—говорилъ ротмистръ;—теперь, когда мы съ тобой, дуракъ, пропились вполнѣ совершенно, попытаемся снова вступить на путь трезвости и добродѣтели. Какъ справедливо сказано: не согрѣшивъ—не покаешься, не покаявшись—не спасешься. Первое мы исполнили, но каяться безполезно, давай же прямо спасаться. Отправляйся на рѣку и работай. Если не ручаешься за себя—скажи подрядчику, чтобъ онъ твои деньги удерживалъ, а то отдавай ихъ мнѣ. Когда накопимъ капиталъ, я куплю тебѣ штаны и прочее,

что нужно для того, чтобы ты вновь могъ сойти за порядочнаго человѣка и скромнаго труженика, гонимаго судьбой. Въ хорошихъ штанахъ ты снова можешь далеко уйти. Маршъ!

Кліентъ отправлялся крючничать на рѣку, посмѣиваясь надъ длинными и мудрыми рѣчами ротмистра. Онъ неясно понималъ ихъ соль, но видѣлъ предъ собой веселые глаза, чувствовалъ бодрый духъ и зналъ, что въ краснорѣчивомъ ротмистрѣ онъ имѣлъ руку, которая, въ случаѣ надобности, можетъ поддержать его.

И дѣйствительно, чрезъ мѣсяцъ—другой какой-нибудь каторжной работы кліентъ, по милости строгаго надзора за его поведеніемъ со стороны ротмистра, имѣлъ матеріальную возможность вновь подняться на ступеньку выше того мѣста, куда онъ опустился при благосклонномъ участіи того же ротмистра.

— Н-ну, другъ мой,—критически осматривая реставрированнаго кліента, говорилъ Кувалда,—штаны и пиджакъ у насъ есть. Это вещи громаднаго значенія—вѣрь моему опыту. Пока у меня были приличные штаны, я жилъ въ городѣ на роли порядочнаго человѣка, но, чортъ возьми, какъ только штаны съ меня слѣзли, такъ и я упалъ въ мнѣніи людей и самъ долженъ былъ слѣзть сюда внизъ изъ города. Люди, мой прекрасный болванъ, судятъ о всѣхъ вещахъ по ихъ формѣ, сущность же вещей имъ недоступна по причинѣ врожденной людямъ глупости. Заруби это себѣ на носу и, уплативъ мнѣ хоть половину твоего долга, съ миромъ иди и ищи и да обрящешь!

— Я вамъ, Аристидъ Ѳомичъ, сколько состою?—смущенно освѣдомлялся кліентъ.

— Рубль и семь гривенъ... Теперь дай мнѣ рубль или семь гривенъ, а остальныя я подожду на тебѣ до поры, пока ты не украдешь или не заработаешь больше того, что ты теперь имѣешь.

— Покорнѣйше благодарю за ласку!—говоритъ тро-

нутый кліентъ. Экой вы... какой добряга, право! Эхъ, напрасно васъ жизнь скрутила... какой, чай, вы орелъ были на своемъ-то мѣстѣ?!

Ротмистръ жить не можетъ безъ витіеватыхъ рѣчей.

— Что значитъ на своемъ мѣстѣ? Никто не знаетъ своего настоящаго мѣста въ жизни, и каждый изъ насъ лѣзетъ не въ свой хомутъ. Купцу Іудѣ Петунникову мѣсто въ каторжныхъ работахъ, а онъ ходитъ среди бѣла дня по улицамъ и даже хочетъ строить какой-то заводъ. Учителю нашему мѣсто около хорошей бабы и среди полдюжины ребятъ, а онъ валяется у Вавилова въ кабакѣ. Вотъ и ты—ты идешь искать мѣсто лакея или коридорнаго, а я вижу, что твое мѣсто въ солдатахъ, ибо ты не глупъ, выносливъ и понимаешь дисциплину. Видишь—какая штука? Насъ жизнь тасуетъ, какъ карты, и только случайно—и то не надолго—мы попадаемъ на свое мѣсто!

Иногда подобныя прощальныя бесѣды служили предисловіемъ къ продолженію знакомства, которое снова начиналось доброй выпивкой и снова доходило до того, что кліентъ пропивался и изумлялся, ротмистръ давалъ ему реваншъ и... пропивались оба.

Такія повторенія предыдущаго ничуть не портили добрыхъ отношеній между сторонами. Упомянутый ротмистромъ учитель былъ именно однимъ изъ тѣхъ кліентовъ, которые чинились лишь затѣмъ, чтобы тотчасъ же разрушиться. По своему интеллекту это былъ человѣкъ ближе всѣхъ другихъ стоявшій къ ротмистру и, быть можетъ, именно этой причинѣ онъ былъ обязанъ тѣмъ, что, опустившись до ночлежки, уже болѣе не могъ подняться.

Съ нимъ однимъ Аристидъ Кувалда могъ философствовать въ увѣренности, что его понимаютъ. Онъ цѣнилъ это, и когда поправленный учитель готовился оставить ночлежку, заработавъ деньжонокъ и имѣя намѣреніе снять себѣ въ городѣ уголъ,—Аристидъ Ку-

валда такъ грустно провожалъ его, такъ много изрекалъ меланхолическихъ тирадъ, что оба они непремѣнно напивались и пропивались. Вѣроятно, Кувалда сознательно ставилъ дѣло такъ, что учитель при всемъ желаніи не могъ выбраться изъ его ночлежки. Можно ли было Аристиду Кувалдѣ, дворянину съ образованіемъ, осколки котораго и теперь еще порой блестѣли въ его рѣчахъ, съ развитой превратностями судьбы привычкой мыслить, можно ли было ему не желать и не стараться всегда видѣть рядомъ съ собой человѣка такого же, какъ и онъ самъ? Мы умѣемъ жалѣть себя.

Этотъ учитель когда-то что-то преподавалъ въ учительскомъ институтѣ одного приволжскаго города, но вслѣдствіе нѣкоторой исторіи былъ устраненъ изъ института. Потомъ онъ былъ конторщикомъ на кожевенномъ заводѣ и тоже принужденъ былъ уйти. Былъ библіотекаремъ въ какой-то частной библіотекѣ, извѣдалъ еще нѣсколько профессій и, наконецъ, сдавъ экзаменъ на частнаго повѣреннаго по судебнымъ дѣламъ, запилъ горькую и попалъ къ ротмистру. Былъ онъ высокій, сутулый, съ длиннымъ и острымъ носомъ и совершенно лысой головой. На его костлявомъ и желтомъ лицѣ съ клинообразной бородкой блестѣли большіе безпокойно-тоскливые глаза, глубоко ввалившіеся въ орбиты, и углы его рта были печально опущены къ низу. Средства къ жизни или, вѣрнѣе, къ пьянству онъ добывалъ репортерствомъ въ мѣстныхъ газетахъ. Случалось, что онъ зарабатывалъ въ недѣлю рублей пятнадцать. Тогда онъ отдавалъ ихъ ротмистру и говорилъ:

— Будетъ! Я возвращаюсь въ лоно культуры. Еще недѣлю работы — и я одѣнусь прилично и addio, mio caro!

— Похвально! Сочувствуя отъ души твоему, Филиппъ, рѣшенію, я не дамъ тебѣ ни рюмки за всю эту недѣлю, — строго предупреждалъ его ротмистръ.

— Буду благодаренъ!... Ни единой капли не дашь?

Ротмистръ слышалъ въ его словахъ что-то близкое къ робкой мольбѣ о послабленіи и еще строже говорилъ:

— Хоть реви — не дамъ!

— Ну, и кончено,—вздыхалъ учитель и отправлялся на репортажъ. А черезъ день, много черезъ два, онъ, разбитый, утомленный и жаждущій, уже смотрѣлъ на ротмистра откуда-нибудь изъ угла тоскливыми и умоляющими глазами и трепетно ждалъ, когда смягчится сердце друга. Ротмистръ принималъ суровый видъ и произносилъ пропитанныя убійственной ироніей рѣчи на тему о позорѣ слабохарактерности, о скотскомъ наслажденіи пьянства и на всѣ другія, приличныя случаю темы. Надо отдать ему справедливость—онъ вполнѣ искренно увлекался своей ролью ментора и моралиста; но завсегдатаи ночлежки, настроенные скептически, слѣдя за ротмистромъ и слушая его карающія рѣчи, говорили другъ другу, подмигивая въ его сторону:

— Химикъ! Ловко отбояривается! Дескать, я тебѣ говорилъ, ты меня не слушалъ — пеняй на себя!

— Его благородіе настоящій воинъ—впередъ идетъ, а уже назадъ дорогу ищетъ!

А учитель ловилъ своего друга опять-таки гдѣ-нибудь въ темномъ углу и, крѣпко вцѣпившись въ его грязную шинель, весь дрожащій, облизывая сухія губы, невыразимымъ словами, глубоко-трагическимъ взглядомъ смотрѣлъ въ его лицо.

— Не можешь? — угрюмо спрашивалъ ротмистръ.

Учитель молча и утвердительно кивалъ головой и затѣмъ уныло опускалъ ее на грудь, вздрагивая всѣмъ своимъ тѣломъ, длиннымъ и худымъ.

— Потерпи еще день... можетъ быть, справишься?— предлагалъ Кувалда.

Учитель вздыхалъ и трясъ головой отрицательно, безнадежно. Ротмистръ видѣлъ, что худое тѣло друга все трепещетъ отъ жажды яда и доставалъ изъ кармана деньги.

— Въ большинствѣ случаевъ безполезно спорить съ рокомъ,—говорилъ онъ при этомъ, точно желая оправдать себя передъ кѣмъ-то.

А если учитель выдерживалъ всю недѣлю, между нимъ и ротмистромъ разыгрывалась трогательная сцена прощанія друзей и финалъ ея обыкновенно происходилъ въ харчевнѣ Вавилова.

Учитель не всѣ свои деньги пропивалъ; по крайней мѣрѣ половину ихъ онъ тратилъ на дѣтей Въѣзжей улицы. Бѣдняки всегда дѣтьми богаты, и на этой улицѣ, въ ея пыли и ямахъ, цѣлые дни съ утра до вечера шумно возились кучи оборванныхъ, грязныхъ и полуголодныхъ ребятишекъ.

Дѣти — это живые цвѣты земли, но на Въѣзжей улицѣ они имѣли видъ цвѣтовъ, преждевременно увядшихъ, должно быть—потому, что росли на почвѣ, скудной здоровыми соками.

И вотъ учитель часто собиралъ ихъ вокругъ себя и, накупивъ булокъ, яицъ, яблоковъ и орѣховъ, шелъ съ ними въ поле, къ рѣкѣ. Тамъ они располагались на землѣ и сначала жадно поѣдали все, что предлагалъ имъ учитель, а потомъ начинали играть, наполняя воздухъ на цѣлую версту вокругъ себя беззаботнымъ шумомъ и смѣхомъ. Худая и длинная фигура пьяницы какъ-то съеживалась среди этихъ маленькихъ людей, относившихся къ нему съ полной фамильярностью, какъ къ своему однолѣтку. Они даже и звали его просто Филиппомъ, не добавляя къ его имени дядя или дядюшка. Вертясь около него, какъ вьюны, они толкали его, вскакивали къ нему на спину, хлопали его по лысинѣ, хватали за носъ. Все это, должно быть, нравилось ему, ибо онъ не протестовалъ противъ такихъ вольностей. Онъ вообще мало разговаривалъ съ ними, а если и говорилъ, то какъ-то такъ осторожно и даже робко, точно боялся, что его слова могутъ выпачкать ихъ или вообще повредить имъ. Онъ проводилъ съ ними

въ роли ихъ игрушки и товарища по нѣсколько часовъ кряду, разсматривая оживленныя ихъ рожицы своими тоскливо-грустными глазами, а потомъ задумчиво и медленно шелъ отъ нихъ въ харчевню Вавилова и тамъ быстро и молча напивался до потери сознанія.

Почти каждый день, возвращаясь съ репортажа, учитель приносилъ съ собой газету, и около него устраивалось общее собраніе всѣхъ бывшихъ людей. Они, увидѣвъ его, двигались къ нему изъ разныхъ угловъ двора, выпившіе или страдавшіе съ похмелья, разнообразно растрепанные, но одинаково жалкіе и грязные.

Шелъ толстый, какъ бочка, Алексѣй Максимовичъ Симцовъ, бывшій лѣсничій удѣльнаго вѣдомства, а нынѣ торговецъ спичками, чернилами, ваксой и бракованными лимонами. Это былъ старикъ лѣтъ шестидесяти, въ парусиновомъ пальто и въ широкой шляпѣ, прикрывавшей своими измятыми полями его толстое и красное лицо съ бѣлой густой бородой, изъ которой на свѣтъ Божій весело смотрѣлъ маленькій пунцовый носъ, толстыя губы такого же цвѣта и слезящіеся циничные глазки. Его звали Кубарь — и это прозвище мѣтко очерчивало его круглую фигуру и рѣчь, похожую на жужжаніе.

Вылѣзалъ откуда-нибудь изъ угла Конецъ — мрачный, молчаливый и черный пьяница, бывшій тюремный смотритель Лука Антоновичъ Мартьяновъ, человѣкъ, существовавшій игрой „въ ремешокъ“, „въ три листика“, „въ банковку“ и прочими искусствами, столь же остроумными и такъ же нелюбимыми полиціей. Онъ грузно опускалъ свое большое, не разъ жестоко битое тѣло на траву, рядомъ съ учителемъ, сверкалъ черными глазами и, простирая руку къ бутылкѣ, хриплымъ басомъ спрашивалъ:

— Могу?

Являлся механикъ Павелъ Солнцевъ, чахоточный человѣкъ лѣтъ тридцати. Лѣвый бокъ у него былъ перебитъ въ дракѣ, а лицо, желтое и острое, какъ у лисицы, постоянно кривилось въ ехидную улыбку. Тонкія губы открывали два ряда черныхъ, разрушенныхъ болѣзнью зубовъ, и лохмотья на его узкихъ и костлявыхъ плечахъ болтались, какъ на вѣшалкѣ. Его прозвали Ѳбъѣдокъ. Онъ промышлялъ торговлей мочальными щетками собственной фабрикаціи и вѣниками изъ какой-то особенной травы, очень удобными для чистки платья.

Приходилъ высокій, костлявый и кривой на лѣвый глазъ, неизвѣстнаго происхожденія человѣкъ, съ испуганнымъ выраженіемъ въ большихъ круглыхъ глазахъ, молчаливый, робкій, трижды сидѣвшій за кражи по приговорамъ мирового и окружнаго судовъ. Фамилія его была Кисельниковъ, но его звали Полтора Тараса, потому что онъ былъ какъ разъ на полроста выше своего неразлучнаго друга дьякона Тараса, разстриженнаго за пьянство и развратное поведеніе. Дьяконъ былъ низенькій и коренастый человѣкъ съ богатырской грудью и круглой, кудластой головой. Онъ удивительно хорошо плясалъ и еще удивительнѣе сквернословилъ. Они вмѣстѣ съ Полтора Тарасомъ избирали своей спеціальностью пилку дровъ на берегу рѣки, а въ свободные часы дьяконъ разсказывалъ своему другу и всякому желающему слушать сказки „собственнаго сочиненія“, какъ онъ заявлялъ. Слушая эти сказки, героями которыхъ всегда являлись святые, короли, священники и генералы, даже обитатели ночлежки брезгливо плевались и таращили глаза въ изумленіи передъ фантазіей дьякона, разсказывавшаго, прищуривъ глаза и съ безстрастнымъ лицомъ, поразительно-безстыдныя вещи и грязно-фантастическія приключенія. Воображеніе этого человѣка было неизсякаемо и могуче—онъ могъ сочинять и говорить цѣлый день съ

утра и до вечера и никогда не повторялся. Въ лицѣ его погибъ, быть можетъ, крупный поэтъ, въ крайнемъ случаѣ недюжинный разсказчикъ, умѣвшій все оживлять и даже въ камни влагавшій душу своими скверными, но образными и сильными словами.

Былъ тутъ еще какой-то нелѣпый юноша, прозванный Кувалдой Метеоромъ. Однажды онъ явился ночевать и съ той поры остался среди этихъ людей, къ ихъ удивленію. Сначала его не замѣчали—днемъ онъ, какъ и всѣ, уходилъ изыскивать пропитаніе, но вечеромъ постоянно торчалъ около этой дружной компаніи, и наконецъ, ротмистръ замѣтилъ его.

— Мальчишка! Ты что такое на сей землѣ?

Мальчишка храбро и кратко отвѣтилъ:

— Я—босякъ...

Ротмистръ критически посмотрѣлъ на него. Парень былъ какой-то длинноволосый, съ глуповатой скуластой рожей, украшенной вздернутымъ носомъ. На немъ была надѣта синяя блуза безъ пояса, а на головѣ торчалъ остатокъ соломенной шляпы. Ноги были босы.

— Ты—дуракъ!—рѣшилъ Аристидъ Кувалда.—Что ты тутъ околачиваешься? Никуда ты намъ не годенъ... Водку пьешь? Нѣтъ... Ну, а воровать умѣешь? Тоже нѣтъ. Иди, научись и приходи тогда, когда уже человѣкомъ будешь...

Парень засмѣялся.

— Нѣтъ, ужъ я поживу съ вами.

— Для чего?

— А такъ...

— Ахъ ты... метеоръ!—сказалъ ротмистръ.

— Вотъ я ему сейчасъ зубы вышибу,—предложилъ Мартьяновъ.

— А за что?—освѣдомился парень.

— Такъ...

— А я возьму камень и по головѣ васъ тресну, — почтительно объявилъ парень.

Мартьяновъ избилъ бы его, если бъ не вступился Кувалда.

— Оставь его... Это, братъ, какая-то родня тебѣ, да и всѣмъ намъ, пожалуй. Ты безъ достаточнаго основанія хочешь ему зубы выбить; онъ, какъ и ты, безъ основанія хочетъ жить съ нами. Ну, и чортъ съ нимъ... мы всѣ живемъ безъ достаточнаго къ тому основанія... Живемъ, а для чего? Такъ! Онъ тоже такъ... пускай его...

— Но лучше бъ вамъ, молодой человѣкъ, удалиться отъ насъ, — посовѣтовалъ учитель, оглядывая этого парня своими печальными глазами.

Тотъ ничего не отвѣтилъ и остался. Потомъ къ нему привыкли и перестали замѣчать его. А онъ жилъ среди нихъ и все замѣчалъ.

Всѣ перечисленные субъекты составляли главный штабъ ротмистра, и онъ съ добродушной ироніей называлъ ихъ „бывшими людьми". Помимо ихъ, въ ночлежкѣ постоянно обитало человѣкъ пять—шесть рядовыхъ босяковъ. Это были люди деревни, они не могли похвастаться такимъ прошлымъ, какъ „бывшіе люди", и хотя не менѣе ихъ испытали превратностей судьбы, но были болѣе цѣльными людьми, чѣмъ тѣ, не такъ страшно изломанными. Быть можетъ, порядочный человѣкъ культурнаго класса и выше такого же человѣка изъ мужиковъ, но всегда порочный человѣкъ изъ города неизмѣримо гаже и грязнѣе порочнаго человѣка деревни. Это правило рѣзко бросалось въ глаза изъ сопоставленія бывшихъ интеллигентовъ и бывшихъ мужиковъ, населявшихъ убѣжище Кувалды.

Виднымъ представителемъ бывшихъ мужиковъ являлся старикъ-тряпичникъ по имени Тяпа. Длинный и безобразно худой, онъ держалъ голову такъ, что подбородокъ упирался ему въ грудь, и отъ этого его тѣнь напоминала своей формой кочергу. Въ фасъ лица его не было видно, въ профиль можно было видѣть только

горбатый носъ, отвисшую нижнюю губу и мохнатыя сѣдыя брови. Онъ былъ первымъ по времени постояльцемъ ротмистра и про него говорили, что гдѣ-то имъ спрятаны большія деньги. Именно изъ-за этихъ денегъ года два тому назадъ его „шаркнули“ ножомъ по горлу, и съ той поры онъ наклонилъ такъ странно голову. Онъ отрицалъ существованіе у него денегъ, говорилъ, что „шаркнули его просто такъ, изъ-за озорства“, и что съ той поры ему очень удобно собирать тряпки и кости — голова постоянно наклонена къ землѣ. Когда онъ шелъ качающейся, невѣрной походкой, безъ палки въ рукахъ и безъ мѣшка за спиной — признаковъ его профессіи, — онъ казался человѣкомъ, задумавшимся почти до утраты сознанія, а Кувалда въ такіе моменты говорилъ, указывая на него пальцемъ:

— Смотрите, вотъ ищетъ себѣ пристанища совѣсть купца Іуды Петунникова, удравшая отъ него въ бѣга. Смотрите, какая она потрепанная, скверная, грязная эта бѣглая совѣсть!

Говорилъ Тяпа хрипящимъ голосомъ, едва позволявшимъ понимать его рѣчь, и должно быть, поэтому онъ вообще мало говорилъ и очень любилъ уединеніе. Но каждый разъ, когда въ ночлежку являлся какой-нибудь свѣжій экземпляръ человѣка, вытолкнутаго нуждой изъ деревни, Тяпа при видѣ его впадалъ въ тоскливое озлобленіе и безпокойство. Онъ преслѣдовалъ этого несчастнаго ѣдкими насмѣшками, съ злымъ хрипомъ выходившими изъ его горла; онъ натравливалъ на него какого-нибудь злющаго босяка, грозилъ, наконецъ, собственноручно избить и ограбить его ночью и почти всегда добивался того, что запуганный и растерявшійся мужичокъ исчезалъ изъ ночлежки и уже больше не появлялся въ ней.

Тогда Тяпа успокаивался и забивался куда-нибудь въ уголъ, гдѣ чинилъ свои лохмотья или же читалъ Библію, такую же старую, грязную и рваную, какъ

самъ онъ. Еще онъ вылѣзалъ изъ своего угла тогда, когда учитель приносилъ газету и читалъ ее. Обыкновенно Тяпа молча слушалъ все, что читалось, и глубоко вздыхалъ, ни о чемъ не спрашивая. Но когда, прочитавъ газету, учитель складывалъ ее, Тяпа протягивалъ свою костлявую руку и говорилъ:

— Дай-ка...

— На что тебѣ?

— Дай... можетъ, про насъ есть что...

— Про кого это?

— Про деревню.

Надъ нимъ смѣялись и бросали ему газету. Онъ бралъ ее и читалъ въ ней о томъ, что въ какой-то деревнѣ градомъ побило хлѣбъ, а въ другой сгорѣло тридцать дворовъ, а въ третьей баба отравила свою семью — все, что принято писать о деревнѣ и что рисуетъ ее только несчастной, глупой и злой. Тяпа читалъ все это глухо и мычалъ, выражая этимъ звукомъ, быть можетъ, состраданіе, быть можетъ, удовольствіе.

Большую часть воскресенья, въ которое онъ никогда не выходилъ за сборомъ тряпокъ, онъ употреблялъ именно на чтеніе своей Библіи. Читая, онъ мычалъ и вздыхалъ. Книгу онъ держалъ, упирая ее въ грудь себѣ, и сердился, когда кто-нибудь трогалъ ее или мѣшалъ ему читать.

— Эй ты, чернокнижникъ,—говорилъ ему Кувалда,— что ты понимаешь? Брось!

— А что ты понимаешь?

— Такъ, колдунъ! И я ничего не понимаю, но я вѣдь не читаю книгъ...

— А я вотъ читаю...

— Ну, и глупъ... — рѣшалъ ротмистръ. — Когда въ головѣ заведутся насѣкомыя — и это безпокойно, но если въ нее заползутъ еще и мысли — какъ же ты будешь жить, старая жаба?

— Ну, мнѣ недолго ужъ,—говорилъ спокойно Тяпа.

Однажды учитель захотѣлъ узнать, гдѣ онъ выучился грамотѣ. Тяпа кратко отвѣтилъ ему:

— А въ тюрьмѣ...

— Ты развѣ былъ тамъ?

— Былъ...

— За что?

— Такъ... Ошибся... Вотъ и Библію оттуда вынесъ. Барыня одна дала... Въ тюрьмѣ-то, братъ, хорошо...

— Н-ну? Чѣмъ это?

— Вразумляетъ... Грамотѣ вотъ научился... книгу досталъ... Все — даромъ...

Когда въ ночлежку явился учитель, Тяпа уже давно жилъ въ ней. Онъ долго присматривался къ учителю,— чтобы посмотрѣть въ лицо человѣку, Тяпа сгибалъ весь свой корпусъ на бокъ, — долго прислушивался къ его разговорамъ и какъ-то разъ подсѣлъ къ нему.

— Вотъ ты этакій... ученый былъ... Библію-то ты читалъ?

— Читалъ...

— То-то... Помнишь ее?

— Ну... помню...

Старикъ согнулъ корпусъ на бокъ и посмотрѣлъ на учителя сѣрымъ, суровымъ и недовѣрчивымъ глазомъ.

— А помнишь, были тамъ амаликитяне?

— Ну?

— Гдѣ они теперь?

— Исчезли, Тяпа... вымерли....

Старикъ помолчалъ и снова спросилъ:

— А филистимляне?

— И эти тоже...

— Всѣ вымерли?

— Да... всѣ...

— Такъ... А мы тоже вымремъ?

— Придетъ время — и мы вымремъ, — равнодушно пообѣщалъ учитель.

— А отъ котораго мы изъ колѣнъ Израилевыхъ?

Учитель посмотрѣлъ на него, подумалъ и сталъ разсказывать о киммерійцахъ, скиѳахъ, славянахъ... Старикъ еще больше избочился и какими-то испуганными глазами смотрѣлъ на него.

— Врешь ты все! — захрипѣлъ онъ, когда учитель кончилъ.

— Почему вру? — изумился тотъ.

— Какіе ты мнѣ народы назвалъ? Нѣтъ ихъ въ Библіи.

Онъ всталъ и пошелъ прочь, глубоко оскорбленный и злобно ворчащій.

— Изъ ума ты выживаешь, Тяпа,—убѣжденно сказалъ вслѣдъ ему учитель.

Тогда старикъ снова обернулся къ нему и, протянувъ руку, погрозилъ ему крючковатымъ и грязнымъ пальцемъ.

— Отъ Господа—Адамъ, отъ Адама—евреи, значитъ, всѣ люди отъ евреевъ... И мы тоже...

— Ну?

— Татары отъ Измаила... а онъ отъ еврея...

— Да тебѣ-то чего надо?

— Ничего! Зачѣмъ врешь?

И онъ ушелъ, оставивъ своего собесѣдника въ недоумѣніи. Но дня черезъ два снова подсѣлъ къ нему.

— Былъ ты ученый... ну и долженъ знать—кто мы?

— Славяне, Тяпа,—отвѣтилъ учитель и внимательно сталъ ждать словъ Тяпы, желая понять его.

— Говори по Библіи—тамъ такихъ нѣтъ. Кто мы— вавилоняне, что ли? Или — эдомъ?

Учитель пустился въ критику Библіи. Старикъ долго, внимательно слушалъ его и перебилъ:

— Погоди... брось! Значитъ, въ народахъ, Богу извѣстныхъ,—русскихъ нѣтъ? Неизвѣстные мы Богу люди? Такъ ли? Которые въ Библіи записаны — Господь тѣхъ зналъ... Сокрушалъ ихъ огнемъ и мечомъ, разрушалъ города и сёла ихъ, но и пророковъ посылалъ имъ для

поученія... жалѣлъ, значитъ. Евреевъ и татаръ разсѣялъ, но сохранилъ... А мы какъ же? Почему у насъ пророковъ нѣтъ?

— Н-не знаю!—протянулъ учитель, стараясь понять старика. А онъ положилъ руку на плечо учителя, сталъ тихонько толкать его взадъ и впередъ и захрипѣлъ, будто глотая что-то...

— Такъ и скажи!.. А то говоришь ты больно много... будто все знаешь. Слушать мнѣ тебя тошно... душу ты мнѣ мутишь... Молчалъ бы лучше!.. Кто мы? То-то! Почему у насъ нѣтъ пророковъ? ага!.. А гдѣ мы были, когда Христосъ по землѣ ходилъ? Видишь? Эхъ ты! И врешь еще... развѣ народъ цѣлый можетъ умереть? Народъ русскій не можетъ исчезнуть—врешь ты... онъ въ Библіи записанъ, только неизвѣстно подъ какимъ словомъ... Ты народъ-то знаешь, какой онъ? Онъ — огромный... Сколько деревень на землѣ? Все народъ тамъ живетъ... настоящій, большой народъ. А ты говоришь—вымретъ... Народъ не можетъ умереть, человѣкъ можетъ... а народъ нуженъ Богу, онъ строитель земли. Амаликитяне не умерли — они нѣмцы или французы... а ты... эхъ ты!.. Ну, скажи вотъ, почему мы Богомъ обойдены? Нѣту намъ ни казней, ни пророковъ отъ Господа? Кто насъ научитъ?..

Рѣчь Тяпы была страшно сильна; насмѣшка и укоризна и глубокая вѣра звучали въ ней. Онъ долго говорилъ, и учителю, который по обыкновенію былъ выпивши и въ мирномъ настроеніи, стало, наконецъ, такъ скверно слушать его, точно его распиливали деревянной пилой. Онъ слушалъ старика, смотрѣлъ на его исковерканное тѣло, чувствовалъ эту странную, давившую силу словъ и вдругъ ему стало до боли жалко себя и грустно о чемъ-то. Ему тоже захотѣлось сказать старику что-нибудь сильное, увѣренное, что-нибудь такое, что расположило бы Тяпу въ его пользу, заставило бы говорить не этимъ укоризненно-суровымъ тономъ, а другимъ —

мягкимъ, отечески-ласковымъ. И учитель ощущалъ, какъ въ груди у него что-то клокочетъ, подступаетъ ему къ горлу... но никакихъ сильныхъ словъ онъ въ себѣ не нашелъ.

— Какой ты человѣкъ?.. душа у тебя изорванная... а разныя слова говоришь ты тутъ... Будто что знаешь... Молчалъ бы...

— Эхъ, Тяпа,—тоскливо воскликнулъ учитель,—ты это вѣрно говоришь... И народъ... вѣрно!.. Онъ огромный... но я ему чужой... и онъ мнѣ чужой... Вотъ въ чемъ трагедія моей жизни... Но—пускай! Буду страдать... И пророковъ нѣтъ... нѣтъ!.. Я, дѣйствительно, говорю много... и это не нужно никому... но я буду молчать... Только ты не говори со мной такъ... Эхъ, старикъ! ты не знаешь... не знаешь... не можешь понять...

Учитель заплакалъ, наконецъ. Онъ заплакалъ такъ легко и свободно, такими обильными слезами, что ему стало ужасно пріятно отъ этихъ слезъ.

— Шелъ бы ты въ деревню... просился бы тамъ въ учителя или въ писаря... и былъ бы сытъ и провѣтрился бы. А то чего маешься?—сурово хрипѣлъ Тяпа.

А учитель все плакалъ, наслаждаясь своими слезами.

Съ этихъ поръ они стали друзьями, и бывшіе люди, видя ихъ вмѣстѣ, говорили:

— Учитель охаживаетъ Тяпу... къ деньгамъ его держитъ курсъ.

— Это его Кувалда подучилъ... развѣдать, дескать, гдѣ стариковы капиталы...

Могло быть, что, говоря такъ, думали иначе. У этихъ людей была одна смѣшная черта: они любили показать себя другъ другу хуже, чѣмъ были на самомъ дѣлѣ.

Человѣкъ, не имѣя въ себѣ ничего хорошаго, иногда непрочь порисоваться и своимъ дурнымъ.

Когда всѣ эти люди соберутся вокругъ учителя съ его газетой — начинается чтеніе.

— Ну-съ, — говоритъ ротмистръ, — о чемъ сегодня разсуждаетъ газетина? Фельетонъ есть?

— Нѣтъ, — сообщаетъ учитель.

— Жадничаетъ вашъ издатель... а передовица имѣется?

— Сегодня есть... Гуляева, кажется.

— Ага! Валяй ее; онъ, шельма, толково пишетъ, гвоздь ему въ глазъ.

— Оцѣнка недвижимыхъ имуществъ,—читаетъ учитель,—произведенная болѣе пятнадцати лѣтъ тому назадъ, и понынѣ продолжаетъ служить основаніемъ ко взиманію оцѣночнаго, въ пользу города, сбора...

— Это наивно, — комментируетъ ротмистръ Кувалда; — продолжаетъ служить! Это смѣшно! Купцу, ворочающему дѣлами города, выгодно, чтобъ она продолжала служить, ну, она и продолжаетъ...

— Статья и написана на эту тему, — говоритъ учитель.

— Да? Странно! Это фельетонная тема... объ этомъ нужно писать съ перцемъ...

Возгорается маленькій споръ. Публика слушаетъ его внимательно, ибо водки выпита пока только одна бутылка. Послѣ передовой читаютъ мѣстную хронику, потомъ судебную. Если въ этихъ криминальныхъ отдѣлахъ дѣйствующимъ и страдающимъ лицомъ является купецъ—Аристидъ Кувалда искренно ликуетъ. Обворовали купца—прекрасно, только жаль, что мало. Лошади его разбили—пріятно слышать, но прискорбно, что онъ остался живъ. Искъ въ судѣ проигралъ купецъ—великолѣпно, но печально, что судебныя издержки не возложили на него въ удвоенномъ количествѣ.

— Это было бы незаконно,—замѣчаетъ учитель.

— Незаконно? Но законенъ-ли самъ купецъ?—горько спрашиваетъ Кувалда.—Что есть купецъ? Разсмотримъ

это грубое и нелѣпое явленіе: прежде всего каждый купецъ—мужикъ. Онъ является изъ деревни и по истеченіи нѣкотораго времени дѣлается купцомъ. Для того, чтобы сдѣлаться купцомъ, нужно имѣть деньги. Откуда у мужика могутъ быть деньги? Какъ извѣстно, онѣ не являются отъ трудовъ праведныхъ. Значитъ, мужикъ такъ или иначе мошенничалъ. Значитъ, купецъ — мошенникъ-мужикъ!

— Ловко!—одобряетъ публика выводъ оратора.

А Тяпа мычитъ, потирая себѣ грудь. Такъ же точно онъ мычитъ, когда съ похмелья выпиваетъ первую рюмку водки. Ротмистръ сіяетъ. Читаютъ корреспонденціи. Тутъ для ротмистра—„разливное море“, по его словамъ. Онъ всюду видитъ, какъ купецъ скверно дѣлаетъ жизнь и какъ онъ ловко мнетъ и портитъ ее. Его рѣчи громятъ и уничтожаютъ купца. Его слушаютъ съ удовольствіемъ въ глазахъ, потому что онъ зло ругается.

— Если бъ я писалъ въ газетахъ! — восклицаетъ онъ.—О, я бы показалъ купца въ его настоящемъ видѣ... я бы показалъ, что онъ только животное, временно исполняющее должность человѣка. Я понимаю его! Онъ? Онъ грубъ, онъ глупъ, не имѣетъ вкуса въ жизни, не имѣетъ представленія объ отечествѣ и ничего выше пятака не знаетъ.

Объѣдокъ, зная слабую струну ротмистра и любя злить людей, ехидно вставляетъ:

— Да, съ той поры, какъ дворяне начали дружно помирать съ голода—исчезаютъ люди изъ жизни...

— Ты правъ, сынъ паука и жабы; да, съ той поры, какъ дворяне пали, людей нѣтъ! Есть только купцы... и я ихъ не-на-вижу!

— Оно и понятно, потому что и ты, братъ, попранъ во прахъ ими же...

— Я? Я погибъ отъ любви къ жизни... дуракъ! Я жизнь любилъ... а купецъ ее обираетъ. Я не выношу его именно за это... а не потому, что я дворянинъ. Я,

если хочешь знать, не дворянинъ, а просто бывшій человѣкъ. Мнѣ теперь наплевать на все и на всѣхъ... и вся жизнь для меня—любовница, которая меня бросила за что я презираю ее и глубоко равнодушенъ къ ней.

— Врешь!—говоритъ Объѣдокъ.

— Я вру?—оретъ Аристидъ Кувалда, красный отъ гнѣва.

— Зачѣмъ кричать,—раздается холодный и мрачный басъ Мартьянова.—Зачѣмъ разсуждать? Купецъ... дворянинъ... намъ какое дѣло?

— Поелику мы ни бэ, ни мэ, ни ку-ку-ре-ку... — вставляетъ дьяконъ Тарасъ.

— Отстаньте, Объѣдокъ, — примирительно говоритъ учитель.—Зачѣмъ солить селедку?

Онъ не любитъ спора и вообще не любитъ шума. Когда вокругъ него разгораются страсти, его губы складываются въ болѣзненную гримасу, и онъ разсудительно и спокойно старается помирить всѣхъ со всѣми, а если это не удается ему, онъ уходитъ отъ компаніи. Зная это, ротмистръ, если онъ не особенно пьянъ, сдерживается, не желая терять въ лицѣ учителя лучшаго слушателя своихъ рѣчей.

— Я повторяю,—болѣе спокойно продолжаетъ онъ,—я вижу жизнь въ рукахъ враговъ, не враговъ только дворянина, но враговъ всего благороднаго, алчныхъ, неспособныхъ украсить жизнь чѣмъ-либо...

— Однако, братъ,—говоритъ учитель,—купцы создали Геную, Венецію, Голландія,—это купцы, купцы Англіи завоевали своей странѣ Индію, купцы Строгановы...

— Какое мнѣ дѣло до тѣхъ купцовъ? Я имѣю въ виду Іуду Петунникова и иже съ нимъ...

— А до этихъ тебѣ какое дѣло?—тихо спрашиваетъ учитель.

— А развѣ я не живу? Ага! Живу,—значитъ, долженъ негодовать при видѣ того, какъ жизнь портятъ дикіе люди, полонившіе ее.

— И смѣются надъ благороднымъ негодованіемъ ротмистра и человѣка въ отставкѣ,—задираетъ Объѣдокъ.

— Хорошо! Это глупо, я согласенъ...—Какъ бывшій человѣкъ, я долженъ смарать въ себѣ всѣ чувства и мысли, когда-то мои. Это, пожалуй, вѣрно... Но чѣмъ же я и всѣ вы—чѣмъ же вооружимся мы, если отбросимъ эти чувства?

— Вотъ ты начинаешь говорить умно,—поощряетъ его учитель.

— Намъ нужно что-то другое, другія воззрѣнія на жизнь, другія чувства... намъ нужно что-то такое, новое... ибо и мы въ жизни новость...

— Несомнѣнно намъ нужно это,—говоритъ учитель.

— Зачѣмъ?—спрашиваетъ Конецъ.—Не все ли равно, что говорить и думать? Намъ недолго жить... мнѣ сорокъ, тебѣ пятьдесятъ... моложе тридцати нѣтъ среди насъ. И даже въ двадцать долго не проживешь такою жизнью.

— И какая мы новость?—усмѣхается Объѣдокъ, — гольтепа всегда была.

— И она создала Римъ,—говоритъ учитель.

— Да, конечно, — ликуетъ ротмистръ: — Ромулъ и Ремъ—развѣ они не золоторотцы? И мы—придетъ нашъ часъ—создадимъ...

— Нарушеніе общественной тишины и спокойствія,— перебиваетъ Объѣдокъ. Онъ хохочетъ, довольный собой. Смѣхъ у него скверный, разъѣдающій душу. Ему вторитъ Симцовъ, дьяконъ, Полтора Тараса. Наивные глаза мальчишки Метеора горятъ яркимъ огнемъ и щёки у него краснѣютъ. Конецъ говоритъ, точно молотомъ бьетъ по головамъ:

— Все это глупости... мечты... ерунда!

Странно было видѣть такъ разсуждающими этихъ людей, изгнанныхъ изъ жизни, рваныхъ, пропитанныхъ водкой и злобой, ироніей и грязью.

Для ротмистра такія бесѣды были положительно

праздникомъ сердца. Онъ говорилъ больше всѣхъ, и это давало ему возможность считать себя лучше всѣхъ. А какъ бы низко ни палъ человѣкъ—онъ никогда не откажетъ себѣ въ наслажденіи почувствовать себя сильнѣе, умнѣе, хотя бы даже сытѣе своего ближняго. Аристидъ Кувалда злоупотреблялъ этимъ наслажденіемъ, но не пресыщался имъ, къ неудовольствію Объѣдка, Кубаря и другихъ бывшихъ людей, мало интересовавшихся подобными вопросами.

Но зато политика была общей любимицей. Разговоръ на тему о необходимости завоеванія Индіи или объ укрощеніи Англіи могъ затянуться безконечно. Съ неменьшей страстью говорили о способахъ радикальнаго искорененія евреевъ съ лица земли, но въ этомъ вопросѣ верхъ всегда бралъ Объѣдокъ, сочинявшій изумительно жестокіе проекты, и ротмистръ, желавшій вездѣ быть первымъ, избѣгалъ этой темы. Охотно, много и скверно говорили о женщинахъ, но въ защиту ихъ всегда выступалъ учитель, сердившійся, если очень ужъ пересаливали. Ему уступали, ибо всѣ смотрѣли на него, какъ на человѣка недюжиннаго, и у него по субботамъ занимали деньги, заработанныя имъ за недѣлю.

Онъ вообще пользовался многими привилегіями: его, напримѣръ, не били въ тѣхъ нерѣдкихъ случаяхъ, когда бесѣда заканчивалась всеобщей потасовкой. Ему было разрѣшено приводить въ ночлежку женщинъ; больше никто не пользовался этимъ правомъ, ибо ротмистръ всѣхъ предупреждалъ:

— Бабъ ко мнѣ не водить... Бабы, купцы и философія—три причины моихъ неудачъ. Изобью, если увижу кого-нибудь, явившагося съ бабой... бабу тоже изобью... За философію—оторву голову...

Онъ могъ оторвать голову: несмотря на свои года, онъ обладалъ удивительной силой. Затѣмъ, каждый разъ, когда онъ дрался, ему помогалъ Мартьяновъ. Мрачный и молчаливый, точно надгробный памятникъ, во

время общаго боя онъ всегда становился спиной къ спинѣ Кувалды, и тогда они изображали собой всесокрушавшую и несокрушимую машину.

Однажды пьяный Симцовъ ни за что, ни про что вцѣпился въ волосы учителя и выдралъ клокъ ихъ. Кувалда ударомъ кулака въ грудь уложилъ его на полчаса въ обморокъ, а когда онъ очнулся, заставилъ его съѣсть волосы учителя. Тотъ съѣлъ, боясь быть избитымъ до смерти.

Кромѣ чтенія газеты, разговоровъ и дракъ, развлеченіемъ служила еще игра въ карты. Играли безъ Мартьянова, ибо онъ не могъ играть честно, о чемъ, послѣ нѣсколькихъ уличеній въ мошенничествѣ, самъ же откровенно и заявилъ:

— Я не могу не передергивать... Это у меня привычка.

— Это бываетъ,—подтвердилъ дьяконъ Тарасъ.— Я привыкъ дьяконицу свою по воскресеньямъ послѣ обѣдни бить; такъ, знаете, когда умерла она—такая тоска на меня по воскресеньямъ нападала, что даже невѣроятно. Одно воскресенье прожилъ—вижу, плохо! Другое—стерпѣлъ. Третье—кухарку свою ударилъ разъ... Обидѣлась она... Подамъ, говоритъ, мировому. Представьте себѣ мое положеніе! На четвертое воскресенье — вздулъ ее, какъ жену! Потомъ заплатилъ ей десять цѣлковыхъ и ужъ билъ по заведенному порядку, пока опять не женился...

— Дьяконъ,—врешь! Какъ ты могъ въ другой разъ жениться?—оборвалъ его Объѣдокъ.

— А? А я такъ... она у меня за хозяйствомъ смотрѣла.

— У васъ были дѣти?—спросилъ его учитель.

— Пять штукъ... Одинъ утонулъ... Старшій... забавный былъ мальчишка! Двое умерли отъ дифтерита... Одна дочь вышла замужъ за какого-то студента и поѣхала съ нимъ въ Сибирь, а другая захотѣла учиться

и умерла въ Питерѣ... отъ чахотки, говорятъ... Д-да... пять было... какъ же! Мы, духовенство, плодовитые...

Онъ сталъ объяснять, почему это именно такъ, возбуждая гомерическій хохотъ своимъ разсказомъ. Когда хохотать устали, Алексѣй Максимовичъ Симцовъ вспомнилъ, что у него тоже была дочь.

— Лидкой звали... Толстая была такая...

И больше онъ, должно быть, не помнилъ ничего, потому что посмотрѣлъ на всѣхъ, улыбнулся виновато и... умолкъ.

О своемъ прошломъ эти люди мало говорили другъ съ другомъ, вспоминали о немъ крайне рѣдко, всегда въ общихъ чертахъ и въ болѣе или менѣе насмѣшливомъ тонѣ. Пожалуй, что такое отношеніе къ прошлому и было умно, ибо для большинства людей память о прошломъ ослабляетъ энергію въ настоящемъ и подрываетъ надежды на будущее.

А въ дождливые, сѣрые, холодные дни поздней осени бывшіе люди собирались въ трактирѣ Вавилова. Тамъ ихъ знали, немножко боялись, какъ воровъ и драчуновъ, немножко презирали, какъ горькихъ пьяницъ, но все-таки уважали и слушали ихъ, считая умными людьми. Трактиръ Вавилова былъ клубомъ Въѣзжей улицы, а бывшіе люди—интеллигенціей клуба.

По субботамъ вечерами, въ воскресенье съ утра до ночи трактиръ былъ полонъ, и бывшіе люди являлись въ немъ желанными гостями. Они вносили съ собой въ среду забитыхъ бѣдностью и горемъ обывателей улицы свой духъ, въ которомъ было что-то, облегчавшее жизнь людей, истомленныхъ и растерявшихся въ погонѣ за кускомъ хлѣба, такихъ же пьяницъ, какъ обитатели убѣжища Кувалды, и такъ же сброшенныхъ изъ города, какъ и они. Умѣнье обо всемъ говорить и все осмѣивать, безбоязненность мнѣній, рѣзкость рѣчи,

отсутствіе страха передъ тѣмъ, чего вся улица боялась, безшабашная, бравирующая удаль этихъ людей — не могли не нравиться улицѣ. Затѣмъ, почти всѣ они знали законы, могли дать любой совѣтъ, написать прошеніе, помочь безнаказанно смошенничать. За все это имъ платили водкой и лестнымъ удивленіемъ предъ ихъ талантами.

По своимъ симпатіямъ улица дѣлилась на двѣ, почти равныя, партіи: одна полагала, что „ротмистръ — куда забористѣй учителя, настоящій воинъ! Храбрость и умъ у него большущіе“. Другая была убѣждена, что учитель во всѣхъ отношеніяхъ „перевѣсилъ“ Кувалду. Поклонниками Кувалды являлись тѣ изъ мѣщанства, которые были извѣстны въ улицѣ какъ записные пьяницы, воры и сорви-головы, для которыхъ путь отъ сумы до тюрьмы былъ неизбѣженъ. Учителя уважали люди болѣе степенные, на что-то надѣявшіеся, чего-то ожидавшіе, вѣчно чѣмъ-то занятые и рѣдко сытые.

Характеръ отношеній Кувалды и учителя къ улицѣ точно опредѣлился слѣдующимъ примѣромъ. Однажды въ трактирѣ обсуждалось постановленіе городской думы, коимъ обыватели Въѣзжей улицы обязывались: рытвины и промоины въ своей улицѣ засыпать, но навоза и труповъ домашнихъ животныхъ для сей цѣли не употреблять, а примѣнять къ дѣлу только щебень и мусоръ съ мѣстъ постройки какихъ-либо зданій.

— Откуда же я долженъ взять этотъ самый щебень, ежели я за всю свою жизнь одну только скворешницу хотѣлъ строить, да и то вотъ еще не собрался?—жалобно заявилъ Мокей Анисимовъ, человѣкъ, промышлявшій торговлей тертыми калачами, которые пекла его жена.

Ротмистръ нашелъ, что ему слѣдуетъ высказаться по данному вопросу, и грохнулъ кулакомъ по столу, привлекая къ себѣ вниманіе.

— Откуда взять щебень и мусоръ? Иди, ребята, всей улицей въ городъ и разбирай думу. Больше она

по своей ветхости ни на что не годится. Такимъ образомъ, вы дважды послужите украшенію города — и Въѣзжую сдѣлаете приличной, и новую думу заставите построить. Лошадей для возки возьмите у головы, да захватите и его трехъ дочекъ — дѣвицы для упряжи вполнѣ годныя. А то разрушьте домъ купца Іуды Петунникова и вымостите улицу деревомъ. Кстати, я знаю, Мокей, на чемъ твоя жена сегодня калачи пекла:— на ставняхъ съ третьяго окна и двухъ ступенькахъ съ крыльца Іудина дома.

Когда публика вдоволь нахохоталась и поострила надъ предложеніемъ ротмистра, степенный огородникъ Павлюгинъ спросилъ:

— А какъ же, все-таки, быть-то, ваше благородіе?.. А? Какъ ты разсудишь?

— Я? Ни рукой, ни ногой не двигать! Размываетъ улицу—ну и пускай!

— Нѣкоторые дома попадать хотятъ...

— Не мѣшайте имъ, пускай падаютъ! Упадутъ— дери съ города вспомоществованіе; не дастъ — валяй къ нему искъ! Вода-то откуда течетъ? Изъ города? Ну, городъ и виновенъ въ разрушеніи домовъ...

— Вода отъ дождя скажутъ...

— Да вѣдь въ городѣ дома отъ нея не валятся? А? Онъ съ васъ налоги деретъ, а голоса вамъ для разговора о вашихъ правахъ не даетъ! Онъ вамъ жизнь и имущество портитъ, да васъ же и чинить заставляетъ! Катай его спереди и сзади!

И половина улицы, убѣжденная радикаломъ Кувалдой, рѣшила ждать, когда ея домишки смоетъ дождевой водой изъ города.

Болѣе степенные люди нашли въ учителѣ человѣка, который составилъ имъ превосходную и убѣдительную реляцію думѣ.

Въ этой реляціи отказъ улицы выполнить постановленія думы былъ мотивированъ настолько солидно, что

дума вняла. Улицѣ разрѣшили воспользоваться мусоромъ, оставшимся отъ ремонта казармъ, и дали ей для возки пять лошадей отъ пожарнаго обоза. Даже болѣе—признали необходимымъ проложить современемъ по улицѣ сточную трубу. Это и многое другое создало учителю широкую популярность въ улицѣ. Онъ писалъ прошенія, печаталъ замѣтки въ газетахъ. Такъ, напримѣръ, однажды гости Вавилова замѣтили, что селедки и другія снѣди въ трактирѣ Вавилова совершенно не соотвѣтствуютъ своему назначенію. И вотъ, дня черезъ два Вавиловъ, стоя за буфетомъ съ газетой въ рукахъ, публично каялся.

— Справедливо—одно могу сказать! Дѣйствительно, селедки купилъ я ржавыя, несовсѣмъ хорошія селедки. И капуста... вѣрно!... задумалась она немножко. Извѣстно, вѣдь каждый человѣкъ хочетъ какъ можно больше въ свой карманъ пятаковъ нагнать. Ну, и что же? Вышло совсѣмъ наоборотъ: я посягнулъ, а умный человѣкъ предалъ меня позору за жадность мою... Квитъ!

Это покаяніе произвело на публику очень хорошее впечатлѣніе и дало возможность Вавилову скормить ей и селедку, и капусту, и все это публика, подъ приправой своего впечатлѣнія, незамѣтно скушала. Фактъ весьма значительный, ибо онъ не только увеличивалъ престижъ учителя, но и знакомилъ обывателя съ силой печатнаго слова. Случалось, что учитель читалъ въ трактирѣ лекціи практической морали.

— Видѣлъ я,—говорилъ онъ, обращаясь къ маляру Яшкѣ Тюрину,—видѣлъ я, Яковъ, какъ ты билъ свою жену...

Яшка уже „подмалевался“ двумя стаканами водки и находится въ ухарски-развязномъ настроеніи. Публика смотритъ на него, ожидая, что вотъ сейчасъ онъ „выкинетъ колѣнце“, и въ харчевнѣ воцаряется тишина.

— Видѣлъ? А что, понравилось? — спрашиваетъ Яшка.

[illegible] быть яв-
[illegible] голосъ
[illegible] характеръ

твоей жены причина того, что ты ее такъ неосторожно бьешь... а вся твоя темная и печальная жизнь...

— Вотъ это вѣрно, — восклицаетъ Яковъ, — живемъ, дѣйствительно, въ темнотѣ, какъ у трубочиста за пазухой.

— Ты злишься на всю жизнь, а терпитъ твоя жена... самый близкій къ тебѣ человѣкъ—и терпитъ безъ вины передъ тобой только потому, что ты ея сильнѣе; она у тебя всегда подъ рукой и дѣваться ей отъ тебя некуда. Видишь, какъ это... нелѣпо!

— Оно такъ... чортъ ее возьми! Да вѣдь что же мнѣ дѣлать-то? Али я не человѣкъ?

— Такъ, ты человѣкъ!.. Ну, вотъ я тебѣ хочу сказать: бить ты ее бей, если безъ этого ужъ не можешь, но бей осторожно: помни, что можешь повредить ея здоровью или здоровью ребенка. Никогда вообще не слѣдуетъ бить беременныхъ женщинъ... по животу, по груди и бокамъ... бей по шеѣ или возьми веревку и... по мягкимъ мѣстамъ...

Ораторъ кончилъ свою рѣчь, и его глубоко ввалившіеся темные глаза смотрятъ на публику и, кажется, въ чемъ-то извиняются передъ ней и о чемъ-то виновато спрашиваютъ ее.

Она же оживленно шумитъ. Ей понятна эта мораль бывшаго человѣка, мораль кабака и несчастія.

— Что, братъ, Яша, понялъ ли?

— Вотъ она какая правда-то бываетъ!

Яковъ понялъ: неосторожно бить жену—вредно для него.

Онъ молчитъ, отвѣчая смущенными улыбками на шутки товарищей.

— И опять же, что такое жена? — философствуетъ калачникъ Мокей Анисимовъ: — жена — другъ, ежели правильно вникнуть въ дѣло. Она къ тебѣ вродѣ какъ цѣпью на всю жизнь прикована... и оба вы съ ней на манеръ каторжниковъ. И старайся идти съ ней стройно въ ногу... а не сумѣешь — цѣпь почуешь...

— Погоди,—говоритъ Яковъ,—вѣдь и ты свою бьешь?

— А я развѣ говорю — нѣтъ! Бью... Иначе невозможно... Кого же мнѣ — стѣну, что ли, дуть кулаками, когда не въ терпежъ приходитъ?

— Ну вотъ, и я тоже...—говоритъ Яковъ.

— Ну, какая же у насъ жизнь тѣсная и аховая, братцы мои! Нѣтъ тебѣ нигдѣ настоящаго размаха!

— И даже жену бей съ оглядкой! — юмористически скорбитъ кто-то. И такъ они бесѣдуютъ до поздней ночи или до драки, возникающей на почвѣ опьяненія и тѣхъ настроеній, какія навѣваютъ на нихъ эти бесѣды.

За окнами трактира дождь идетъ и дико воетъ холодный вѣтеръ. Въ трактирѣ душно, накурено, но тепло; на улицѣ мокро, холодно и темно. Вѣтеръ такъ стучитъ въ окно, точно дерзко вызываетъ всѣхъ этихъ людей изъ трактира и грозитъ разнести ихъ по землѣ, какъ пыль. Иногда въ его воѣ слышится подавленный, безнадежный стонъ и потомъ раздается холодный, жесткій хохотъ. Эта музыка наводитъ на унылыя мысли о близости зимы, о проклятыхъ короткихъ дняхъ безъ солнца и о длинныхъ ночахъ, о необходимости имѣть теплую одежду и много ѣсть. На пустой желудокъ такъ плохо спится въ безконечныя зимнія ночи. Идетъ зима, идетъ... Какъ жить?

Эти невеселыя думы вызывали усиленную жажду обывателей Въѣзжей, и у бывшихъ людей увеличивалось количество вздоховъ въ ихъ рѣчахъ и количество морщинъ на лицахъ, голоса становились глуше, отношенія другъ къ другу тупѣе. И вдругъ среди нихъ вспыхивала звѣрская злоба, пробуждалось ожесточеніе людей загнанныхъ, измученныхъ своей суровой судьбой. Или ощущалась близость того неумолимаго врага, который всю жизнь ихъ превратилъ въ одну жестокую нелѣпость. Но этотъ врагъ былъ неуловимъ, ибо невѣдомъ.

И тогда они били другъ друга; били жестоко, звѣрски били и снова, помирившись, напивались, пропивая все, что могъ принять въ закладъ нетребовательный Вавиловъ. Такъ, въ тупой злобѣ, въ тоскѣ, сжимавшей имъ сердца, въ невѣдѣніи исхода изъ этой подлой жизни, они проводили дни осени, ожидая еще болѣе суровыхъ дней зимы.

Кувалда въ такія времена приходилъ къ нимъ на помощь съ философіей.

— Не горюй, братцы! Все имѣетъ свой конецъ—это самое главное достоинство жизни. Пройдетъ зима, и снова будетъ лѣто... Славное время, когда, говорятъ, и у воробья есть пиво.—Но его рѣчи не дѣйствовали—глотокъ самой чистой воды не насытитъ голоднаго.

Дьяконъ Тарасъ тоже пробовалъ развлечь публику, распѣвая пѣсни и разсказывая свои сказки. Онъ имѣлъ болѣе успѣха. Иногда его усилія приводили къ тому, что вдругъ отчаянное, удалое веселіе вскипало въ трактирѣ: пѣли, плясали, хохотали и на нѣсколько часовъ становились похожими на безумныхъ.

И потомъ опять впадали въ тупое, равнодушное отчаяніе и сидѣли за столами трактира въ копоти лампъ, въ табачномъ дыму, угрюмые, оборванные, лѣниво переговариваясь другъ съ другомъ, слушая торжествующій вой вѣтра и думая о томъ, какъ бы напиться водки, напиться до потери чувствъ.

И всѣ были глубоко противны каждому, и каждый таилъ въ себѣ безсмысленную злобу противъ всѣхъ.

II.

Все относительно на этомъ свѣтѣ, и нѣтъ въ немъ для человѣка того положенія, хуже котораго не могло бы уже ничего быть.

Однажды въ концѣ сентября, яснымъ днемъ, ротмистръ Аристидъ Кувалда сидѣлъ, по обыкновенію, въ

своемъ креслѣ у дверей ночлежки и, глядя на возведенное купцомъ Петунниковымъ каменное зданіе рядомъ съ трактиромъ Вавилова, думалъ.

Зданіе, еще окруженное лѣсами, предназначалось подъ свѣчной заводъ и давно уже кололо глаза ротмистру пустыми и темными впадинами длиннаго ряда своихъ оконъ и этой паутиной дерева, окружавшей его отъ основанія до крыши. Красное, точно кровью обмазанное, оно походило на какую-то жестокую машину, еще не дѣйствующую, но уже разинувшую рядъ глубокихъ, жадно зіяющихъ пастей и готовую что-то поглощать, жевать и пожирать. Сѣрый деревянный трактиръ Вавилова, съ кривой крышей, поросшей мхомъ, оперся на одну изъ кирпичныхъ стѣнъ завода и казался какимъ-то большимъ паразитомъ, присосавшимся къ ней.

Ротмистръ думалъ о томъ, что скоро и на мѣстѣ стараго дома начнутъ строить. Сломаютъ и ночлежку. Придется искать другое помѣщеніе, а такого удобнаго и дешеваго не найдешь. Жалко, грустно какъ-то уходить съ насиженнаго мѣста. Уходить же придется только потому, что нѣкій купецъ пожелалъ производить свѣчи и мыло. И ротмистръ чувствовалъ, что если бъ ему представился случай чѣмъ-нибудь хоть на время испортить жизнь этому врагу—о! съ какимъ наслажденіемъ онъ испортилъ бы ее!

Вчера купецъ Иванъ Андреевичъ Петунниковъ былъ на дворѣ ночлежки съ архитекторомъ и своимъ сыномъ. Измѣряли дворъ и всюду натыкали въ землю какихъ-то палочекъ, которыя по уходѣ Петунникова, ротмистръ приказалъ Метеору вытаскать изъ земли и разбросать.

Передъ глазами ротмистра стоялъ этотъ купецъ—маленькій, сухонькій, въ длиннополомъ одѣяніи, похожемъ одновременно на сюртукъ и на поддевку, въ бархатномъ картузѣ и высокихъ, ярко начищенныхъ сапогахъ. Костлявое скуластое лицо, съ сѣдой, клинообразной бородой, съ высокимъ, изрѣзаннымъ морщинами лбомъ,

и изъ-подъ него сверкали узкіе, сѣрые глазки, прищуренные, всегда что-то высматривающіе... Острый хрящеватый носъ, маленькій ротъ съ тонкими губами... Въ общемъ, у купца видъ благочестиво-хищный и почтенно-злой.

— Проклятая помѣсь лисицы и свиньи!—выругался про-себя ротмистръ и вспомнилъ первую фразу Петунникова, касавшуюся его. Купецъ пришелъ съ членомъ городской управы покупать домъ и, увидѣвъ ротмистра, спросилъ у своего провожатаго бойкимъ костромскимъ говоромъ:

— Энто тотъ самый огарокъ... квартирантъ-то вашъ?

И съ той поры вотъ уже почти полтора года они состязаются другъ съ другомъ въ своемъ умѣньѣ оскорблять человѣка.

И вчера между ними произошло легонькое „упражненіе въ буесловіи", какъ называлъ ротмистръ свои разговоры съ купцомъ. Проводивъ архитектора, купецъ подошелъ къ ротмистру.

— Сидишь? — спросилъ онъ, дергая рукой за козырекъ картуза, такъ что нельзя было понять, поправляетъ ли онъ его, или же хочетъ изобразить поклонъ.

— Мыкаешься?—въ тонъ ему сказалъ ротмистръ и сдѣлалъ движеніе нижней челюстью, отчего борода его вздрогнула и что нетребовательный человѣкъ могъ принять за поклонъ или за желаніе ротмистра пересунуть свою трубку изъ одного угла рта въ другой.

— Денегъ у меня много—вотъ и мыкаюсь. Деньги хотятъ, чтобъ ихъ въ жизнь пускали, вотъ я и даю имъ ходъ...—немножко дразнитъ ротмистра купецъ, лукаво прищуривая свои глазки.

— Не тебѣ, значитъ, рубль служитъ, а ты рублю,— комментируетъ Кувалда, борясь съ желаніемъ дать пинка въ животъ купцу.

— Али это не все равно? Съ ними, съ деньгами-то, всяко пріятно... А вотъ ежели безъ нихъ...

И купецъ съ нахально-поддѣланнымъ состраданіемъ оглядываетъ ротмистра. У того верхняя губа прыгаетъ, обнажая крупные волчьи зубы.

— Имѣя умъ и совѣсть, можно жить и безъ нихъ... Деньги обыкновенно являются какъ разъ въ то время, когда у человѣка совѣсть усыхать начинаетъ... Совѣсти меньше—денегъ больше...

— Это вѣрно... А то есть люди, у которыхъ ни денегъ, ни совѣсти...

— Ты смолоду-то такимъ и былъ? — простодушно спрашиваетъ Кувалда. Теперь у Петунникова вздрагиваетъ носъ. Иванъ Андреевичъ вздыхаетъ, щуритъ глазки и говоритъ:

— Мнѣ смолоду о-охъ большія тяжести поднять пришлось!

— Я думаю...

— Работалъ я, охъ, какъ работалъ!

— А многихъ обработалъ!

— Такихъ какъ ты? Дворянъ-то? Ничего... достаточно ихъ отъ меня Христовой молитвѣ выучились...

— Не убивалъ, только грабилъ?—рѣжетъ ротмистръ. Петунниковъ зеленѣетъ и находитъ нужнымъ измѣнить тему.

— А хозяинъ ты плохой—сидишь, а гость стоитъ...

— Пусть и онъ сядетъ,—разрѣшаетъ Кувалда.

— Да не на что, вишь...

— На землю... земля всякую дрянь принимаетъ...

— Я это по тебѣ вижу... Однако, пойти отъ тебя, ругателя,—ровно и спокойно сказалъ Петунниковъ, но глаза его излили на ротмистра холодный ядъ.

И онъ ушелъ, оставивъ Кувалду въ пріятномъ сознаніи, что купецъ боится его. Если бъ онъ не боялся, такъ уже давно бы выгналъ изъ ночлежки. Не изъ-за пяти же рублей въ мѣсяцъ онъ не гонитъ его! И ротмистру пріятно смотрѣть въ спину Петунникова, медленно удаляющагося со двора. Потомъ ротмистръ слѣ-

дить, какъ купецъ ходитъ около своего завода, ходитъ по лѣсамъ вверхъ и внизъ. И ему очень хочется, чтобъ купецъ упалъ и изломалъ себѣ кости. Сколько уже онъ создалъ остроумныхъ комбинацій паденія и всяческихъ увѣчій, глядя на Петунникова, лазившаго по лѣсамъ своего завода, какъ паукъ по своей сѣткѣ. Вчера ему даже показалось, что вотъ одна доска дрогнула подъ ногами купца, и ротмистръ въ волненіи вскочилъ со своего мѣста... Но ничего не вышло.

И сегодня, какъ всегда, передъ глазами Аристида Кувалды торчитъ это красное зданіе, такое прочное, плотное, такъ крѣпко вцѣпившееся въ землю, точно уже высасывающее изъ нея соки. И кажется, что оно холодно и темно смѣется надъ ротмистромъ зіяющими дырами своихъ стѣнъ. Солнце льетъ на него свои осенніе лучи такъ же щедро, какъ и на уродливые домики Въѣзжей улицы.

— А вдругъ! — мысленно воскликнулъ ротмистръ, измѣряя глазами стѣну завода. — Ахъ, ты, чортъ возьми! Если бы... — весь встрепенувшись, возбужденный своей мыслью, Аристидъ Кувалда вскочилъ и торопливо пошелъ въ трактиръ Вавилова, улыбаясь и бормоча что-то про-себя.

Вавиловъ встрѣтилъ его за буфетомъ дружескимъ восклицаніемъ:

— Вашему благородію здравія желаемъ!

Средняго роста, съ лысой головой, въ вѣнчикѣ сѣдыхъ кудрявыхъ волосъ, съ бритыми щеками и съ прямо-торчащими усами, похожими на зубныя щетки, прямой и ловкій, въ кожаной курткѣ, онъ каждымъ своимъ движеніемъ позволялъ узнать въ немъ стараго унтеръ-офицера.

— Егоръ! У тебя вводный листъ и планъ на домъ есть?—торопливо спросилъ Кувалда.

— Имѣю.

Вавиловъ подозрительно сузилъ свои вороватые

глаза и пристально уставился ими въ лицо ротмистра, въ которомъ онъ видѣлъ что-то особенное.

— Покажи мнѣ! — воскликнулъ ротмистръ, стукая кулакомъ по стойкѣ и опускаясь на табуретъ около нея.

— А зачѣмъ?—спросилъ Вавиловъ, рѣшившiйся при видѣ возбужденiя Кувалды держать ухо востро.

— Болванъ, неси скорѣй!

Вавиловъ наморщилъ лобъ и испытующе поднялъ глаза къ потолку.

— Гдѣ онѣ у меня, эти самыя бумаги?

На потолкѣ не нашлось никакихъ указанiй по этому вопросу; тогда унтеръ устремилъ глаза на свой животъ и съ видомъ озабоченной задумчивости сталъ барабанить пальцемъ по стойкѣ.

— Будетъ тебѣ кобениться — прикрикнулъ на него ротмистръ, не любившiй его, находя, что бывшему солдату привычнѣе быть воромъ, чѣмъ трактирщикомъ.

— Да я, Ристидъ Ѳомичъ, ужъ вспомнилъ. Кажись, онѣ въ окружномъ судѣ остались. Какъ я вводился во владѣнiе...

— Егорка, брось! Въ виду твоей же пользы, покажи мнѣ сейчасъ планъ, купчую и все, что есть. Можетъ быть, ты не одну сотню рублей выиграешь отъ этого — понялъ?

Вавиловъ ничего не понялъ, но ротмистръ говорилъ такъ внушительно, съ такимъ серьезнымъ видомъ, что глаза унтера загорѣлись пылкимъ любопытствомъ, и, сказавъ, что посмотритъ, нѣтъ ли этихъ бумагъ у него въ укладкѣ, онъ ушелъ въ дверь за буфетомъ. Черезъ двѣ минуты онъ возвратился съ бумагами въ рукахъ и съ выраженiемъ крайняго изумленiя на рожѣ.

— Анъ онѣ, проклятыя, дома!

— Эхъ ты... паяцъ изъ балагана! А еще солдатъ былъ...—не преминулъ укорить его Кувалда, выхвативъ изъ его рукъ коленкоровую папку съ синей актовой бумагой. Затѣмъ, развернувъ передъ собой бумаги и

все болѣе возбуждая любопытство Вавилова, ротмистръ сталъ читать, разсматривать и при этомъ многозначительно мычалъ. Вотъ, наконецъ, онъ рѣшительно всталъ и пошелъ къ двери, оставивъ бумаги на стойкѣ и кинувъ Вавилову:

— Погоди... не прячь ихъ...

Вавиловъ собралъ бумаги, положилъ ихъ въ ящикъ выручки, заперъ его и подергалъ рукой—хорошо ли заперлось? Потомъ онъ, задумчиво потирая лысину, вышелъ на крыльцо харчевни. Тамъ онъ увидалъ, что ротмистръ, измѣривъ шагами фасадъ харчевни, щелкнулъ пальцами и снова началъ измѣрять ту же линію, озабоченный, но довольный.

Лицо Вавилова какъ-то напрягалось, потомъ вытянулось, потомъ вдругъ радостно просіяло.

— Ристидъ Ѳомичъ! Неужто? — воскликнулъ онъ, когда ротмистръ поровнялся съ нимъ.

— Вотъ те и неужто! Больше аршина отрѣзано. Это по фасаду, а въ глубь сейчасъ узнаю...

— Вглубь?.. десять саженъ два аршина!

— Что, догадался, бритая харя?

— Какъ же, Ристидъ Ѳомичъ! Ну и глазокъ у васъ—въ землю вы на три аршина видите!—съ восхищеніемъ воскликнулъ Вавиловъ.

Черезъ нѣсколько минутъ они сидѣли другъ противъ друга въ комнатѣ Вавилова, и ротмистръ, большими глотками уничтожая пиво, говорилъ трактирщику:

— Итакъ, вся стѣна завода стоитъ на твоей землѣ. Дѣйствуй безъ всякой пощады. Придетъ учитель, и мы накатаемъ прошеніе въ окружной. Цѣну иска, чтобы не тратиться на гербовыя, назначимъ самую скромную, а просить будемъ о сломкѣ. Это, дуракъ ты мой, называется нарушеніемъ границъ чужого владѣнія... очень пріятное событіе для тебя! Ломай! А ломать такую махину да подвигать ее — дорого стоитъ,

Мировую! Тутъ ты и прижми Іуду. Мы разсчитаемъ, сколько будетъ стоить сломка самымъ точнымъ образомъ — съ битымъ кирпичемъ, съ ямой подъ новый фундаментъ... все высчитаемъ! Даже время примемъ въ счетъ! И — позвольте, благочестивый Іуда, двѣ ты-ся-чи рублей!

— Не дастъ! — тревожно моргая глазами, сверкавшими жаднымъ огнемъ, вытянулъ Вавиловъ.

— Вретъ! Дастъ! Ты пошевели мозгами—что ему дѣлать? Ломать? Но — смотри, Егорка не продешеви! Покупать тебя будутъ—не продавайся дешево! Пугать будутъ—не бойся! Положись на насъ...

Глаза у ротмистра горѣли свирѣпой радостью, и лицо, красное отъ возбужденія, судорожно подергивалось. Онъ разжегъ алчность трактирщика и, убѣдивъ его дѣйствовать возможно скорѣе, ушелъ торжествующій и непреклонно-свирѣпый.

Вечеромъ всѣ бывшіе люди узнали объ открытіи ротмистра и, горячо обсуждая будущія дѣйствія Петунникова, изображали въ яркихъ краскахъ его изумленіе и злобу въ тотъ день, когда судебный разсыльный вручитъ ему копію иска. Ротмистръ чувствовалъ себя героемъ. Онъ былъ счастливъ, и всѣ вокругъ него были довольны. Большая куча темныхъ, одѣтыхъ въ лохмотья фигуръ лежала на дворѣ и шумѣла, и ликовала, оживленная событіемъ. Всѣ они знали купца Петунникова, проходившаго много разъ мимо нихъ. Презрительно щуря глаза, онъ дарилъ ихъ такимъ же вниманіемъ, какъ и весь другой мусоръ, валявшійся на дворѣ. Отъ него вѣяло сытостью, раздражавшей ихъ, и даже сапоги его блестѣли пренебреженіемъ ко всѣмъ имъ. И вотъ теперь одинъ изъ нихъ сильно ударитъ этого купца по его карману и самолюбію. Развѣ это не хорошо?

Зло въ глазахъ этихъ людей имѣло много привле-

кательнаго. Оно было единственнымъ орудіемъ по рукѣ и по силѣ имъ. Каждый изъ нихъ давно уже воспиталъ въ себѣ полусознательное, смутное чувство острой непріязни ко всѣмъ людямъ сытымъ и одѣтымъ не въ лохмотья, и въ каждомъ изъ нихъ было это чувство въ разныхъ степеняхъ его развитія. Оно-то и вызывало у всѣхъ бывшихъ людей жгучій интересъ къ войнѣ, объявленной Кувалдой купцу Петунникову.

Двѣ недѣли жила ночлежка ожиданіемъ новыхъ событій, и за все это время Петунниковъ ни разу не являлся на постройку. Дознано было, что его нѣтъ въ городѣ, и что копія прошенія еще не вручена ему. Кувалда громилъ практику гражданскаго судопроизводства. Едва ли когда-нибудь и кто-либо ждалъ этого купца съ такимъ напряженнымъ нетерпѣніемъ, съ которымъ ожидали его босяки.

— Не идетъ, не идетъ мой ненаглядный-й...

— Эхъ, знать, не любитъ онъ м-меня-а!—пѣлъ дьяконъ Тарасъ, поджавъ щеку и юмористически-скорбно глядя въ гору.

И вотъ однажды подъ вечеръ Петунниковъ явился. Онъ пріѣхалъ въ солидной телѣжкѣ съ сыномъ въ роли кучера—краснощекимъ малымъ, въ длинномъ клѣтчатомъ пальто и въ темныхъ очкахъ. Они привязали лошадь къ лѣсамъ;—сынъ вынулъ изъ кармана рулетку, подалъ конецъ ея отцу и они начали мѣрить землю, оба молчаливые и озабоченные.

— Ага-а!—торжествуя, возгласилъ ротмистръ.

Всѣ, кто былъ налицо въ ночлежкѣ, высыпали къ воротамъ и смотрѣли, вслухъ выражая свои мнѣнія по поводу происходившаго.

— Что значитъ привычка воровать — человѣкъ воруетъ даже и по ошибкѣ, не желая украсть, рискуя потерять больше того, сколько украдетъ... — соболѣзновалъ ротмистръ, вызывая у своего штаба смѣхъ и рядъ подобныхъ замѣчаній.

— Ой, малый! — воскликнулъ, наконецъ, Петунниковъ, взорванный насмѣшками,—гляди, какъ бы я тебя за твои слова къ мировому не потянулъ!

— Безъ свидѣтелей ничего не выйдетъ... Родной сынъ не можетъ свидѣтельствовать со стороны отца...— предупредилъ ротмистръ.

— Ну, гляди же! Атаманъ-то ты храбрый, да вѣдь и на тебя найдется управа!

И Петунниковъ грозилъ пальцемъ... Сынъ его, спокойный и погруженный въ разсчеты, не обращалъ вниманія на эту кучку темныхъ людей, зло потѣшавшихся надъ его отцомъ. Онъ даже не взглянулъ ни разу въ ихъ сторону.

— Молоденькій паучокъ имѣетъ хорошую выдержку, — замѣтилъ Объѣдокъ, подробно прослѣдивъ всѣ дѣйствія и движенія Петунникова младшаго.

Обмѣривъ все, что было нужно, Иванъ Андреевичъ нахмурился, молча сѣлъ въ телѣжку и уѣхалъ, а его сынъ твердыми шагами пошелъ къ трактиру Вавилова и скрылся въ немъ.

— Ого! рѣшительный молодой воръ... да! Ну-ка, что будетъ дальше?—спросилъ Кувалда.

— А дальше Петунниковъ младшій купитъ Егора Вавилова... — увѣренно сказалъ Объѣдокъ и вкусно чмокнулъ губами, выражая полное удовольствіе на своемъ остромъ лицѣ.

— А ты этому радъ, что ли?—сурово спросилъ Кувалда.

— А мнѣ пріятно видѣть, какъ людскіе разсчеты не оправдываются, — съ наслажденіемъ объяснилъ Объѣдокъ, щуря глаза и потирая руки.

Ротмистръ сердито плюнулъ и промолчалъ. И всѣ они, стоя у воротъ полуразрушеннаго дома, молчали и смотрѣли на дверь харчевни. Прошелъ часъ и болѣе въ этомъ ожидающемъ молчаніи. Потомъ дверь харчевни отворилась и Петунниковъ вышелъ изъ нея такой же

спокойный, какимъ вошелъ въ нее. Онъ остановился на минуту, кашлянулъ, приподнялъ воротникъ пальто, посмотрѣлъ на людей, наблюдавшихъ за нимъ, и пошелъ вверхъ по улицѣ въ городъ.

Ротмистръ проводилъ его глазами и, обращаясь къ Объѣдку, усмѣхнулся.

— А вѣдь, пожалуй, ты правъ, сынъ скорпіона и мокрицы... У тебя есть нюхъ на все подлое... да... Ужъ по харѣ этого юнаго жулика видно, что онъ добился своего... Сколько взялъ съ нихъ Егорка? Онъ взялъ... Онъ ихъ же поля ягода. Онъ взялъ, будь я трижды проклятъ! Это я устроилъ ему. Горько мнѣ понимать мою глупость. Да, жизнь вся противъ насъ, братцы мои, мерзавцы! И даже когда плюнешь въ рожу ближняго, плевокъ летитъ въ твои же глаза.

Утѣшивъ себя этой сентенціей, почтенный ротмистръ посмотрѣлъ на свой штабъ. Всѣ были разочарованы, ибо всѣ чувствовали, что то, что произошло между Вавиловымъ и Петунниковымъ, произошло не такъ, какъ они ждали. И всѣмъ было обидно это. Сознаніе неумѣнья причинить зло болѣе оскорбительно для человѣка, чѣмъ сознаніе невозможности сдѣлать добро, потому что зло дѣлать такъ легко и просто.

— Итакъ,—чего же мы тутъ торчимъ? Намъ нечего больше ждать... кромѣ могарыча, который я сдерну съ Егорки... — сказалъ ротмистръ, хмуро посматривая на харчевню. — Благоденственному и мирному житію нашему подъ кровлей Іуды — пришелъ конецъ. Попретъ насъ Іуда вонъ... О чемъ и объявляю по ввѣренному мнѣ департаменту санкюлотовъ...

Конецъ мрачно засмѣялся.

— Тюремщикъ, ты чего?—спросилъ Кувалда.

— Куда жъ я пойду?

— Это, душа моя, вопросище... Судьба твоя отвѣтитъ на него, не безпокойся, — задумчиво сказалъ рот-

мистръ, идя въ ночлежку. Бывшіе люди лѣниво двинулись за нимъ.

— Мы подождемъ критическаго момента,—говорилъ ротмистръ, шагая среди нихъ. — Когда насъ вытурятъ вонъ, тогда мы и поищемъ новой норы для себя. А пока не стоитъ портить жизнь такими думами... Въ критическіе моменты человѣкъ становится энергичнѣе... и если бъ жизнь, во всей ея совокупности, сдѣлать сплошнымъ критическимъ моментомъ, если бъ каждую секунду человѣкъ принужденъ былъ дрожать за цѣлость своей башки... ей Богу, жизнь была бы болѣе живой, а люди болѣе интересными!

— То-есть, съ большей яростью грызли бы глотки другъ другу, — пояснилъ Объѣдокъ, улыбаясь.

— Ну, такъ что же?—задорно воскликнулъ ротмистръ, не любившій, чтобы его мысли пояснялись.

— А ничего... это хорошо. Когда хотятъ скорѣе куда-нибудь доѣхать, лошадей бьютъ кнутомъ, а машины раздражаютъ огнемъ.

— Ну, да! Пусть все скачетъ къ чорту на кулички! Мнѣ было бы пріятно, если бъ земля вдругъ вспыхнула и сгорѣла или разорвалась бы вдребезги... лишь бы я погибъ послѣдній, посмотрѣвъ сначала на другихъ...

— Свирѣпо! — усмѣхнулся Объѣдокъ.

— Такъ что? Я— бывшій человѣкъ...—такъ? Я отверженъ—значитъ, я свободенъ отъ всякихъ путъ и узъ... Значитъ, я могу наплевать на все! Я долженъ по роду своей жизни отбросить въ сторону все старое... всѣ манеры и пріемы отношеній къ людямъ, существующимъ сыто и нарядно и презирающимъ меня за то, что въ сытости и костюмѣ я отсталъ отъ нихъ... и я долженъ воспитать въ себѣ что-то новое — понялъ? Такое, знаешь, чтобы мимо меня идущіе господа жизни вродѣ Іуды Петунникова при видѣ моей представительной фигуры—трепетъ хладный въ печенкахъ ощущали.

— Экій у тебя языкъ храбрый, — смѣялся Объѣдокъ...

— Эхъ ты!.. мизерь... — презрительно оглядѣлъ его Кувалда.—Что ты понимаешь? Что ты знаешь? Умѣешь ли ты думать? А я думалъ... и читалъ книги, въ которыхъ ты не понялъ бы ни слова.

— Еще бы! Гдѣ мнѣ щи лаптемъ хлебать.... Но хотя ты читалъ и думалъ, а я не дѣлалъ ни того, ни другого, однако, недалеко же мы другъ отъ друга ушли...

— Пошелъ къ чорту!—вскричалъ Кувалда.

Его разговоры съ Объѣдкомъ всегда такъ кончались. Вообще безъ учителя его рѣчи, — онъ самъ это зналъ, — только воздухъ портили и расплывались въ немъ безъ оцѣнки и вниманія къ нимъ; но не говорить онъ не могъ. И теперь, обругавъ своего собесѣдника, онъ чувствовалъ себя одинокимъ среди своихъ людей. А говорить ему хотѣлось, и потому онъ обратился къ Симцову съ вопросомъ:

— Ну, а ты, Алексѣй Максимовичъ, куда преклонишь свою сѣдую голову?

Старикъ добродушно улыбнулся, потеръ рукой свой носъ и объявилъ:

— Не знаю... увижу! Наше дѣло маленькое: выпилъ да еще!

— Почтенная, хотя и простая задача! — похвалилъ его ротмистръ.

Симцовъ, помолчавъ, добавилъ, что онъ устроится скорѣе всѣхъ ихъ, потому что его женщины очень любятъ. Это была правда: старикъ всегда имѣлъ двухъ—трехъ любовницъ изъ проститутокъ, содержавшихъ его по два и три дня къ ряду на свои скудные заработки. Онѣ часто били его, но онъ относился къ этому стоически; сильно избить его они почему-то не могли — можетъ быть, жалѣли. Онъ былъ страстный женолюбецъ и разсказывалъ, что женщины—причина всѣхъ несча-

стій его жизни. Близость его отношеній къ женщинамъ и характеръ ихъ отношеній къ нему подтверждались и частыми болѣзнями его, и костюмомъ, всегда хорошо починеннымъ и болѣе чистымъ, чѣмъ костюмы товарищей. И теперь, сидя на землѣ у дверей ночлежки въ кругу своихъ товарищей, онъ хвастливо началъ разсказывать, что его давно уже зоветъ Рѣдька жить съ ней, но онъ не идетъ къ ней, не хочетъ уйти изъ компаніи.

Его слушали съ интересомъ и не безъ зависти. Рѣдьку всѣ знали — она жила недалеко подъ горой... и недавно только отсидѣла нѣсколько мѣсяцевъ за вторую кражу. Это была „бывшая“ кормилица, высокая и дородная деревенская баба, съ рябымъ лицомъ и очень красивыми, хотя всегда пьяными глазами.

— Ишь ты, старый чортъ! — выругался Объѣдокъ, глядя на самодовольно улыбавшагося Симцова.

— А почему онѣ меня любятъ? Потому что я знаю, чѣмъ жива ихъ душа...

— Н-да?—вопросительно воскликнулъ Кувалда.

— Умѣю заставить ихъ жалѣть меня. А женщина, когда она пожалѣетъ — хоть зарѣжетъ изъ жалости. Плачь передъ ней, проси ее убить тебя, пожалѣетъ и— убьетъ...

— Это я убью! — рѣшительно заявилъ Мартьяновъ, усмѣхаясь своей мрачной усмѣшкой.

— Кого?—спросилъ Объѣдокъ, отодвигаясь отъ него въ сторону.

— Все равно... Петунникова... Егорку... хоть тебя!

— Зачѣмъ?—освѣдомился Кувалда.

— Хочу въ Сибирь... Мнѣ надоѣло это... подлая жизнь... А тамъ ужъ будешь знать, какъ нужно жить...

— Д-да, тамъ укажутъ подробно, — меланхолически согласился ротмистръ.

О Петунниковѣ и грядущемъ выселеніи изъ ночлежки больше не говорили. Всѣ уже были увѣрены,

что выселеніе близко къ нимъ и считали излишнимъ утруждать себя разсужденіями на эту тему. Отъ разговоровъ положеніе не улучшилось бы, да, наконецъ, было еще не холодно, хотя и начинались дожди—можно было спать на любомъ клочкѣ земли за городомъ.

Расположившись кружкомъ на травѣ, эти люди лѣниво вели безконечную бесѣду о разныхъ разностяхъ, свободно переходя отъ одной темы къ другой и тратя столько вниманія къ чужимъ словамъ, сколько нужно было его для того, чтобы продолжать бесѣду, не прерывая. Молчать было скучно, но и внимательно слушать тоже скучно. Это общество бывшихъ людей имѣло одно великое достоинство: въ немъ никто не насиловалъ себя, стараясь казаться лучше, чѣмъ онъ есть, и не возбуждалъ другихъ къ такому насилію надъ собой.

Августовское солнце старательно прокаливало лохмотья этихъ людей, подставившихъ ему свои спины и нечесаныя головы — хаотическое соединеніе царства растительнаго съ минеральнымъ и животнымъ. Въ углахъ двора росъ пышный бурьянъ—высокіе лопухи, усѣянные цѣпкими репьями, и еще какіе-то никому ненужныя растенія услаждали взоры никому ненужныхъ людей...

А въ харчевнѣ Вавилова разыгралась слѣдующая сцена.

Петунниковъ младшій вошелъ въ нее не торопясь, осмотрѣлся, поморщился брезгливо и, медленно снявъ съ головы сѣрую шляпу, спросилъ у трактирщика, встрѣтившаго его почтительнымъ поклономъ и любезной усмѣшкой:

— Егоръ Терентьевичъ Вавиловъ—это вы и есть?

— Точно такъ!—отвѣтилъ унтеръ, опираясь о прилавокъ обѣими руками, какъ бы готовый перепрыгнуть черезъ него.

— Имѣю къ вамъ дѣло,—заявилъ Петунниковъ.

— Вполнѣ пріятно... Пожалуйте въ комнаты!

Они прошли въ комнаты и сѣли—гость на клеенчатый диванъ передъ круглымъ столомъ, хозяинъ на стулъ противъ него. Въ одномъ углу комнаты горѣла лампада передъ громаднымъ трехстворчатымъ кіотомъ, на стѣнѣ около него тоже висѣли иконы. Ризы ихъ были ярко вычищены и блестѣли, какъ новыя. Въ комнатѣ, тѣсно заставленной сундуками и старой разнообразной мебелью, пахло деревяннымъ масломъ, табакомъ и кислой капустой. Петунниковъ осмотрѣлся и снова скорчилъ гримасу. Вавиловъ со вздохомъ взглянулъ на иконы, а потомъ они пристально осмотрѣли другъ друга и оба взаимно произвели хорошее впечатлѣніе. Петунникову понравились откровенно-вороватые глаза Вавилова. Вавилову—открытое, холодное и рѣшительное лицо Петунникова съ широкими крѣпкими скулами и частыми бѣлыми зубами.

— Ну-съ, вы, конечно, знаете меня и догадываетесь, насчетъ чего я буду говорить! — началъ Петунниковъ.

— Насчетъ иску... я такъ полагаю, — почтительно сказалъ унтеръ.

— Именно. Пріятно видѣть, что вы не ломаетесь, а идете къ дѣлу, какъ человѣкъ прямой души,—поощрилъ Петунниковъ собесѣдника.

— Солдатъ-съ я...—скромно сказалъ тотъ.

— Это видно. Итакъ, будемъ вести дѣло просто и прямо, чтобы скорѣе кончить его.

— Вотъ именно.

— Хорошо-съ. Вашъ искъ вполнѣ законенъ, и вы его, конечно, выиграете—это прежде всего я считаю нужнымъ сообщить вамъ.

— Покорно благодарю, — сказалъ унтеръ, моргнувъ глазами, чтобы скрыть въ нихъ улыбку.

— Но, скажите, зачѣмъ же вамъ понадобилось на-

чинать знакомство съ нами, вашими будущими сосѣдями, такъ рѣзко... прямо съ суда?

Вавиловъ пожалъ плечами и смолчалъ.

— Было бы проще придти къ намъ и устроить все миромъ... а? Какъ вы думаете?

— Это, конечно, пріятнѣе. Да видите ли... тутъ есть одна закорючка... не своей волей я дѣйствовалъ... а по наущенію... Послѣ понялъ, какъ было бы лучше-то, ну, ужъ поздно.

— Такъ... Васъ, полагаю, адвокатъ какой-нибудь научилъ?

— Въ этомъ родѣ...

— Ага! Ну-съ, такъ желаете кончить дѣло миромъ?

— Съ полнымъ удовольствіемъ!—воскликнулъ солдатъ.

Петунниковъ помолчалъ, посмотрѣлъ на него и вдругъ холодно и сухо спросилъ:

— А почему вы этого желаете?

Вавиловъ не ожидалъ такого вопроса и сразу не могъ отвѣтить. По его мнѣнію, это былъ пустой вопросъ, и солдатъ, съ сознаніемъ превосходства, усмѣхнулся въ лицо Петунникова-сына.

— Извѣстно почему... съ людьми надо стараться жить въ мирѣ.

— Ну,—перебилъ его Петунниковъ,—это не совсѣмъ такъ. Вы, какъ я вижу, неясно понимаете, почему вамъ хотѣлось бы помириться съ нами... Я разскажу вамъ это.

Солдатъ удивился немного. Этотъ парень, весь одѣтый въ клѣтчатую матерію и довольно смѣшной въ ней, говорилъ такъ, какъ, бывало, говорилъ ротный командиръ Ракшинъ, подъ сердитую руку выбивавшій у рядовыхъ сразу по три зуба.

— Вамъ нужно помириться съ нами потому, что наше сосѣдство вамъ очень выгодно! А выгодно оно потому, что у насъ на заводѣ будетъ рабочихъ не менѣе

полутораста человѣкъ, со временемъ—болѣе. Если сто изъ нихъ послѣ каждаго недѣльнаго разсчета выпьютъ у васъ по стакану, значитъ, въ мѣсяцъ вы продадите на четыреста стакановъ больше, чѣмъ продаете теперь. Это я взялъ самое меньшее. Затѣмъ у васъ харчевня. Вы, кажется, неглупый и бывалый человѣкъ, сообразите-ка сами выгодность нашего сосѣдства.

— Это вѣрно-съ... — кивнулъ головой Вавиловъ, — это я зналъ.

— И что же?—громко освѣдомился купецъ.

— Ничего-съ... Давайте помиримся...

— Очень пріятно, что вы такъ скоро рѣшаете. Вотъ я припасъ заявленіе въ судъ о прекращеніи вами претензіи противъ отца. Прочитайте и подпишите.

Вавиловъ круглыми глазами посмотрѣлъ на своего собесѣдника и вздрогнулъ, предчувствуя что-то крайне скверное.

— Позвольте... подписать? А какъ же это?

— Просто, вотъ напишите имя и фамилію и больше ничего,—обязательно указывая пальцемъ, гдѣ подписать, объяснилъ Петунниковъ.

— Нѣтъ—это что-о! Я не про это... Я насчетъ того, какое же мнѣ вознагражденіе за землю вы дадите?

— Да вѣдь вамъ эта земля ни къ чему!—успокоительно сказалъ Петунниковъ.

— Однако, она моя!—воскликнулъ солдатъ.

— Конечно... А сколько вы хотѣли бы?

— Да хоть бы—по иску... Какъ тамъ прописано, — робко заявилъ Вавиловъ.

— Шестьсотъ? — Петунниковъ мягко засмѣялся: — Ахъ вы чудакъ!

— Я имѣю право... Я могу хоть двѣ тысячи требовать... Могу настоять, чтобы вы сломали... Я такъ и хочу... Потому и цѣна иска такая малая. Я требую—ломать!

— Валяйте... Мы, можетъ быть, и сломаемъ... года

черезъ три, втянувъ васъ въ большія издержки по суду. А заплативъ, откроемъ свой кабачокъ и харчевню получше вашей—вы и пропадете, какъ шведъ подъ Полтавой. Пропадете, голубчикъ, ужъ мы объ этомъ позаботимся. Мы могли бы теперь начать хлопоты насчетъ кабачка, да возня это, а намъ время дорого. Да жалко и васъ—зачѣмъ же у человѣка ни за что, ни про что хлѣбъ отбивать?

Егоръ Терентьевичъ, крѣпко сцѣпивъ зубы, смотрѣлъ на своего гостя и чувствовалъ, что гость—владыка его судьбы. Жалко стало Вавилову себя предъ лицомъ этой холодно-спокойной, неумолимой фигуры въ клѣтчатомъ костюмѣ.

— А въ такомъ близкомъ сосѣдствѣ съ нами находясь и въ согласіи живя, вы, служивый, хорошо могли бы заработать. Объ этомъ мы тоже бы позаботились. Я, напримѣръ, даже сейчасъ порекомендую вамъ лавочку маленькую открыть. Знаете — табачокъ, спички, хлѣбъ, огурцы и такъ далѣе... Все это будетъ имѣть хорошій сбытъ.

Вавиловъ слушалъ и, какъ неглупый малый, понималъ, что отдаться на великодушіе врага—всего лучше. Собственно, съ этого и надо бы начать. И не зная, куда дѣвать свою обиду и злобу, солдатъ вслухъ обругалъ Кувалду:

— Пьяница, ан-наѳема, чортъ тебя задави!

— Это вы того адвоката, который сочинялъ вамъ прошеніе?—спокойно спросилъ Петунниковъ и, вздохнувъ, добавилъ:—дѣйствительно, онъ могъ сыграть съ вами скверную шутку... если бъ мы не пожалѣли васъ.

— Эхъ!—махнулъ рукой огорченный солдатъ;—ихъ двое тутъ... Одинъ нашелъ, другой писалъ... Корреспондентъ проклятый!

— Это почему же корреспондентъ?

— Пишетъ въ газеты... Все ваши постояльцы... Вотъ люди! Уберите вы ихъ, гоните, Христа ради! Разбой-

ники! Всѣхъ здѣсь въ улицѣ мутятъ, настраиваютъ. Житья нѣтъ отъ нихъ... отчаянные люди—того гляди, ограбятъ или подожгутъ...

— А этотъ корреспондентъ... онъ кто такой?—заинтересовался Петунниковъ.

— Онъ? Пьяница! Учителемъ былъ—выгнали. Пропился и... вотъ пишетъ въ газеты, сочиняетъ прошенія. Очень подлый человѣкъ!

— Гмъ! Онъ вамъ и писалъ прошеніе? Та-акъ-съ! Очевидно, онъ же писалъ и о безпорядкахъ на стройкѣ,—лѣса тамъ, что ли, нашелъ неправильно поставленными.

— Онъ! Я это знаю, онъ, собака! Самъ здѣсь читалъ и хвалился—вотъ я, говоритъ, Петунникова въ убытокъ ввелъ.

— Н-да... Ну-съ, такъ какъ же вы мириться намѣрены?

— Мириться?

Солдатъ опустилъ голову и задумался.

— Эхъ ты, жизнь наша темная!—съ обидой въ голосѣ воскликнулъ онъ, почесавъ затылокъ.

— Учиться надо,—порекомендовалъ ему Петунниковъ, закуривая папиросу.

— Учиться? Не въ этомъ дѣло-съ, сударь вы мой! Свободы нѣтъ, вотъ что! Вѣдь у меня какая жизнь? Въ трепетѣ живу... съ постоянной оглядкой... вполнѣ лишенъ свободы желательныхъ мнѣ движеній! А почему? Боюсь... этотъ кикимора учитель въ газетахъ пишетъ на меня... санитарный надзоръ навлекаетъ, штрафы плачу... Постояльцы эти ваши, того гляди, сожгутъ, убьютъ, ограбятъ... Что я противъ нихъ могу? Полиціи они не боятся... Посадятъ ихъ — они даже рады—хлѣбъ имъ даровой.

— А вотъ мы ихъ устранимъ... если сойдемся съ вами,—пообѣщалъ Петунниковъ.

— Какъ же мы сойдемся? — съ тоской и угрюмо спросилъ Вавиловъ.

— Говорите ваши условія.

— Да что же? Дайте... шестьсотъ по иску...

— Сто рублей не возьмете?—спокойно спросилъ купецъ, тщательно осмотрѣлъ своего собесѣдника и, мягко улыбнувшись, добавилъ: — больше не дамъ ни рубля...

Послѣ этого онъ снялъ очки и медленно сталъ вытирать ихъ стекла вынутымъ изъ кармана платкомъ. Вавиловъ смотрѣлъ на него съ тоской въ сердцѣ и въ то же время проникался почтеніемъ къ нему. Въ спокойномъ лицѣ молодого Петунникова, въ его сѣрыхъ, большихъ глазахъ, въ широкихъ скулахъ, во всей его коренастой фигурѣ было много силы, увѣренной въ себѣ и хорошо дисциплинированной умомъ. Вавилову нравилось и то, какъ Петунниковъ говорилъ съ нимъ: просто, съ дружескими нотками въ голосѣ, безъ всякаго барства, какъ со своимъ братомъ, хотя Вавиловъ понималъ, что онъ, солдатъ, не пара этому человѣку. Разсматривая его, почти любуясь имъ, солдатъ, наконецъ, не вытерпѣлъ и, ощутивъ въ себѣ приливъ горячаго любопытства, на минуту заглушившаго всѣ остальныя его ощущенія, почтительно спросилъ Петунникова:

— Гдѣ изволили учиться?

— Въ технологическомъ институтѣ. А что? — вскинулъ тотъ на него улыбавшіеся глаза.

— Ничего-съ, это я такъ... извините! — Солдатъ понурилъ голову и вдругъ съ восхищеніемъ, завистью и даже вдохновенно воскликнулъ:—Н-да! Вотъ оно образованіе-то! Одно слово,—наука—свѣтъ! А нашъ братъ,—какъ сова передъ солнцемъ въ этомъ свѣтѣ... Эхъ-ма! Ваше благородіе! Давайте, кончимъ дѣло!

Онъ рѣшительнымъ жестомъ протянулъ руку Петунникову и сдавленно сказалъ:

— Ну... пятьсотъ?

— Не больше ста рублей, Егоръ Терентьевичъ, —

какъ бы сожалѣя, что больше дать не можетъ, пожалъ плечами Петунниковъ, хлопая по волосатой рукѣ солдата своей бѣлой и крупной рукой.

Они скоро кончили, потому что солдатъ вдругъ пошелъ навстрѣчу желанію Петунникова крупными скачками, а тотъ былъ непоколебимо твердъ. И когда Вавиловъ получилъ сто рублей и подписалъ бумагу, — онъ ожесточенно бросилъ перо на столъ и воскликнулъ:

— Ну, теперь остается мнѣ съ золотой ротой вѣдаться! Засмѣютъ, застыдятъ они меня, дьяволы!

— А вы скажите имъ, что я заплатилъ вамъ всю сумму иска,—предложилъ Петунниковъ, спокойно пуская изо рта тонкія струйки дыма и слѣдя за ними.

— Да развѣ они этому повѣрятъ? Это тоже умные мошенники, не хуже...

Вавиловъ остановился во̀-время, смущенный едва не сказаннымъ сравненіемъ, и съ боязнью взглянулъ на купеческаго сына. Тотъ курилъ и весь былъ поглощенъ этимъ занятіемъ. Скоро онъ ушелъ, пообѣщавъ на прощанье Вавилову раззорить гнѣздо безпокойныхъ людей. Вавиловъ смотрѣлъ ему вслѣдъ и вздыхалъ, ощущая сильное желаніе крикнуть что-нибудь злое и обидное въ спину этого человѣка, твердыми шагами поднимавшагося въ гору по дорогѣ, изрытой ямами, засоренной мусоромъ.

Вечеромъ въ харчевню явился ротмистръ. Брови у него были сурово нахмурены и правая рука энергично стиснута въ кулакъ. Вавиловъ виновато улыбался на встрѣчу ему.

— Н-ну, достойный потомокъ Каина и Іуды, разсказывай...

— Порѣшили... — сказалъ Вавиловъ, вздохнувъ и опуская глаза.

— Не сомнѣваюсь. Сколько сребренниковъ получилъ?

— Четыреста цѣлковыхъ...

— Навѣрное врешь... Но это мнѣ же лучше. Безъ дальнѣйшихъ словъ, Егорка, десять процентовъ мнѣ за открытіе, четвертную учителю за написаніе прошенія, ведро водки всѣмъ намъ и приличное количество закуски. Деньги сейчасъ подай, водку и прочее къ восьми часамъ.

Вавиловъ позеленѣлъ и широко-открытыми глазами уставился на Кувалду:

— Это-съ дудки! Это грабежъ! Я не дамъ... Что вы, Аристидъ Ѳомичъ! Нѣтъ, ужъ это вы оставьте вашъ аппетитъ до слѣдующаго праздника! Ишь вы какъ! Нѣтъ, я теперь имѣю возможность не бояться васъ. Я теперь...

Кувалда посмотрѣлъ на часы.

— Даю тебѣ, Егорка, десять минутъ для твоего поганаго разговора. Кончай въ этотъ срокъ блудить языкомъ и давай, что требую. Не дашь — сожру! Конецъ тебѣ кое-что продалъ? Ты въ газетѣ о кражѣ у Басова читалъ? Понимаешь? Спрятать не успѣешь ничего — помѣшаемъ. И сегодня же ночью... Понялъ?

— Аристидъ Ѳомичъ! За что? — взвылъ отставной унтеръ.

— Безъ словъ! Понялъ или нѣтъ?

Высокій, сѣдой и внушительно нахмурившійся Кувалда говорилъ вполголоса, и его хриплый басъ зловѣще гудѣлъ въ пустой харчевнѣ. Вавиловъ всегда немножко боялся его и какъ бывшаго военнаго, и какъ человѣка, которому нечего терять. Теперь же Кувалда явился передъ нимъ въ новомъ видѣ: онъ не говорилъ много и смѣшно, какъ всегда, а въ томъ, что онъ говорилъ тономъ командира, увѣреннаго въ повиновеніи, звучала не шуточная угроза. И Вавиловъ чувствовалъ, что ротмистръ погубитъ его, если захочетъ, погубитъ съ удовольствіемъ. Нужно было покориться силѣ. Но съ злымъ трепетомъ въ сердцѣ солдатъ еще разъ попробовалъ увернуться отъ кары. Онъ глубоко вздохнулъ и смиренно началъ:

— Видно, вѣрно сказано: сама себя баба бьетъ, коли нечисто жнетъ... Навралъ я на себя вамъ, Аристидъ Ѳомичъ... хотѣлъ умнѣе показаться, чѣмъ я есть... Сто рублей я получилъ только...

— Дальше...—бросилъ ему Кувалда.

— А не четыреста, какъ сказалъ вамъ... Значитъ...

— Ничего не значитъ. Мнѣ неизвѣстно, когда ты вралъ, давеча или теперь. Я получаю съ тебя шестьдесятъ пять рублей. Это скромно... Ну?

— Эхъ, Господи Боже мой! Аристидъ Ѳомичъ! Я вашему благородію всегда, сколько могъ, оказывалъ вниманія.

— Ну? Брось слова, Егорка, правнукъ Іуды!

— Извольте... я дамъ... Только васъ Богъ накажетъ за это.

— Молчать, ты, гнойный прыщъ на землѣ! — гаркнулъ ротмистръ, свирѣпо вращая глазами. — Я наказанъ Богомъ... Онъ меня поставилъ въ необходимость видѣть тебя, говорить съ тобой... Пришибу на мѣстѣ, какъ муху!

Онъ потрясъ кулакомъ у носа Вавилова и скрипнулъ зубами, оскаливъ ихъ.

Когда онъ ушелъ, Вавиловъ началъ криво усмѣхаться и учащенно моргать глазами. Потомъ по щекамъ его покатились двѣ крупныя слезы. Онѣ были какія-то сѣрыя, и когда скрылись въ его усахъ, двѣ другія явились на ихъ мѣсто. Тогда Вавиловъ ушелъ къ себѣ въ комнату, сталъ тамъ передъ образами и такъ стоялъ долго, не молясь, не двигаясь и не вытирая слезъ съ своихъ морщинистыхъ коричневыхъ щекъ.

Дьяконъ Тарасъ, всегда тяготѣвшій къ лѣсамъ и лугамъ, предложилъ бывшимъ людямъ идти въ поле, въ одинъ оврагъ и тамъ, на лонѣ природы, распить

водку Вавилова. Но ротмистръ и всѣ остальные единодушно обругали и дьякона, и природу, рѣшивъ пить у себя на дворѣ.

— Одинъ, два, три...—считалъ Аристидъ Ѳомичъ,—итого насъ тринадцать; нѣтъ учителя... ну, да еще коекакіе архаровцы подойдутъ. Будемъ считать двадцать персонъ. По два съ половиной огурца на брата, по фунту хлѣба и мяса... недурно! Водки приходится по бутылкѣ... есть кислая капуста, яблоки и три арбуза. Спрашивается, какого дьявола еще нужно вамъ, друзья мои мерзавцы? Итакъ, приготовимся же пожирать Егорку Вавилова, ибо все это—кровь и плоть его!

На землѣ разостлали какіе-то остатки одеждъ, на нихъ разложили питія и яства и усѣлись вокругъ нихъ, усѣлись чинно и молча, едва сдерживая жадное желаніе пить, сверкавшее у всѣхъ на глазахъ.

Наступилъ вечеръ, тѣни его опускались на обезображенную отбросами землю двора ночлежки, и послѣдніе лучи солнца освѣщали крышу полуразвалившагося дома. Было прохладно и тихо.

— Приступимъ, братія!—скомандовалъ ротмистръ.—Сколько чашъ имѣемъ мы? Шесть... а насъ тринадцать... Алексѣй Максимовичъ! наливай! Готово? Н-ну, перррвый взводъ... пли!

Выпили, крякнули и стали ѣсть.

— А учителя нѣтъ... вотъ уже третьи сутки я не вижу его. Никто не видалъ?—спросилъ Кувалда.

— Никто...

— Это не въ его характерѣ! Ну, все равно. Выпьемъ еще! Выпьемъ за здоровье Аристида Кувалды, единственнаго моего друга, который всю мою жизнь ни на минуту не оставлялъ меня одного. Хотя, чортъ его побери, можетъ быть, я и выигралъ бы что-нибудь, если бъ онъ на нѣкоторое время лишилъ меня своего общества.

— Это остроумно,—сказалъ Объѣдокъ и закашлялся.

Ротмистръ съ сознаніемъ своего превосходства посмотрѣлъ на товарищей, но не сказалъ ничего, ибо ѣлъ.

Выпивъ дважды, компанія сразу оживилась—порціи были внушительныя. Полтора Тараса выразилъ робкое желаніе послушать сказку, но дьяконъ вступилъ въ споръ съ Кубаремъ о преимуществахъ худыхъ женщинъ предъ толстыми и не обратилъ вниманія на слова друга, доказывая Кубарю свой взглядъ съ ожесточеніемъ и горячностью человѣка, глубоко убѣжденнаго въ правотѣ своихъ взглядовъ. Наивная рожа Метеора, лежавшаго на животѣ около него, выражала умиленіе, смакуя забористыя словечки дьякона. Мартьяновъ, обнявъ свои колѣни громадными руками, поросшими черной шерстью, молча и мрачно смотрѣлъ на бутылку съ водкой и ловилъ языкомъ свой усъ, стараясь закусить его зубами. Объѣдокъ дразнилъ Тяпу.

— Я уже подсмотрѣлъ, куда ты, колдунъ, деньги прячешь!

— Твое счастье...—хрипѣлъ Тяпа.

— Я, братъ, у тебя ихъ поддедюлю!

— Бери...

Кувалдѣ было скучно съ этими людьми: среди нихъ не было ни одного собесѣдника, достойнаго слушать его краснорѣчіе и способнаго понимать его.

— Гдѣ бы это могъ быть учитель?—вслухъ подумалъ онъ. Мартьяновъ посмотрѣлъ на него и сказалъ:

— Придетъ...

— Я увѣренъ, что онъ именно придетъ, а не въ каретѣ пріѣдетъ. Выпьемъ, будущій каторжникъ, за твое будущее. Если ты убьешь денежнаго человѣка, подѣлись со мной... Я, братъ, поѣду тогда въ Америку въ эти... какъ ихъ? Лампасы... Пампасы! Поѣду туда и достукаюсь тамъ до президента штатовъ. Потомъ объявлю всей Европѣ войну и вздую ее. Армію куплю... въ Европѣ же... Приглашу французовъ, нѣмцевъ, турокъ и т. д. и буду бить ими ихнихъ родственниковъ... какъ

Илья Муромецъ билъ татаръ татариномъ. Съ деньгами можно быть и Ильей... и уничтожить Европу, и нанять къ себѣ въ лакеи Іуду Петунникова... Онъ пойдетъ... дать ему сто рублей въ мѣсяцъ—и пойдетъ! Но лакеемъ будетъ сквернымъ, ибо станетъ воровать...

— И еще тѣмъ худая женщина лучше толстой, что она дешевле стоитъ,—убѣдительно говорилъ дьяконъ.— Первая дьяконица моя покупала на платье двѣнадцать аршинъ, а вторая десять... Также и въ пищѣ...

Полтора Тараса виновато засмѣялся, повернулъ голову къ дьякону, уставился своимъ глазомъ ему въ лицо и сконфуженно заявилъ:

— У меня тоже была жена...

— Это со всякимъ можетъ случиться, — замѣтилъ Кувалда.—Ври дальше...

— Была худая, но ѣла много... И даже отъ этого померла...

— Ты отравилъ ее, кривой, — убѣжденно сказалъ Объѣдокъ.

— Нѣтъ, ей Богу! Она севрюги объѣлась,—разсказывалъ Полтора Тараса.

— А я тебѣ говорю—ты ее отравилъ!—рѣшительно утверждалъ Объѣдокъ.

Съ нимъ часто это бывало: сказавъ какую-нибудь нелѣпость, онъ начиналъ повторять ее, не приводя никакихъ основаній въ подтвержденіе, и, говоря сначала какимъ-то капризно-дѣтскимъ тономъ, постепенно доходилъ почти до бѣшенства.

Дьяконъ вступился за друга.

— Нѣтъ, онъ отравить не могъ... не было причины...

— А я говорю—отравилъ!—взвизгнулъ Объѣдокъ.

— Молчать!—грозно крикнулъ ротмистръ. Скука у него перерождалась въ тоскливое озлобленіе. Онъ свирѣпыми глазами осмотрѣлъ своихъ пріятелей и, не найдя въ ихъ рожахъ, уже полупьяныхъ, ничего, что

могло бы дать дальнѣйшую пищу его озлобленію, — опустилъ голову на грудь, посидѣлъ такъ нѣсколько минутъ и потомъ легъ на землю кверху лицомъ. Метеоръ грызъ огурцы. Онъ бралъ огурецъ въ руку, не глядя на него, засовывалъ его до половины въ ротъ и сразу перекусывалъ большими желтыми зубами, такъ что разсолъ изъ огурца брызгалъ во всѣ стороны, орошая его щёки. Ѣсть ему, очевидно, не хотѣлось, но этотъ процессъ развлекалъ его. Мартьяновъ сидѣлъ неподвижно, какъ изваяніе, въ той же позѣ, въ которой усѣлся на землю, и такъ же сосредоточенно и мрачно смотрѣлъ на полуведерную бутыль водки, уже наполовину пустую. Тяпа смотрѣлъ на землю и громко жевалъ мясо, не поддававшееся его старымъ зубамъ. Объѣдокъ лежалъ на животѣ и кашлялъ, съеживая все свое маленькое тѣло. Остальные—все молчаливыя и темныя фигуры—сидѣли и лежали въ разнообразныхъ позахъ, и лохмотья дѣлали ихъ похожими на безобразныхъ животныхъ, созданныхъ силой, грубой и фантастической, для насмѣшки надъ человѣкомъ.

— Жила-была въ Суздалѣ
Барыня незнатная,
И съ ней случилась судорга,
Оч-чень непріятная!

вполголоса напѣвалъ дьяконъ, обнимая Алексѣя Максимовича, блаженно улыбавшагося ему въ лицо. Полтора Тараса сладострастно хихикалъ.

Ночь приближалась. Въ небѣ тихо вспыхивали звѣзды, на горѣ въ городѣ — огни фонарей. Заунывные свистки пароходовъ неслись съ рѣки, съ визгомъ и дребезгомъ стеколъ отворялась дверь харчевни Вавилова. На дворъ вошли двѣ темныя фигуры, приблизились къ группѣ людей около бутылки, и одна изъ нихъ хрипло спросила:

— Пьете?

А другая вполголоса, съ завистью и радостью, произнесла:

— Ишь какіе черти!

Затѣмъ черезъ голову дьякона протянулась рука взяла бутылку и раздалось характерное бульканіе водки, наливаемой изъ бутылки въ чашку. Потомъ громко крякнули...

— Ну, и тоска же!—воскликнулъ дьяконъ.—Кривой! давай вспомнимъ старину, споемъ—на рѣкахъ вавилонскихъ!

— Онъ развѣ умѣетъ?—спросилъ Симцовъ.

— Онъ? Онъ, братъ, въ архіерейскомъ хорѣ солистомъ былъ... Ну, Кривой... На-а-рѣ-ѣ-ѣ-ка-а...

Голосъ у дьякона былъ дикій, хриплый, прерывающійся, а его другъ пѣлъ визгливымъ фальцетомъ.

Объятый тьмою, выморочный домъ, казалось, увеличился въ объемѣ или подвинулся всей массой полусгнившаго дерева ближе къ этимъ людямъ, будившимъ въ немъ глухое эхо своимъ дикимъ воемъ. Облако, пышное и темное, медленно двигалось по небу надъ нимъ. Кто-то изъ бывшихъ людей храпѣлъ, остальные, все еще недостаточно пьяные, или молча пили и ѣли, или же разговаривали вполголоса съ длинными паузами. Всѣмъ было непривычно это подавленное настроеніе на пирѣ, рѣдкомъ по обилію водки и яствъ. Почему-то сегодня долго не разгоралось буйное оживленіе, свойственное обитателямъ ночлежки за бутылкой.

— Вы... собаки! Погодите выть...—сказалъ ротмистръ пѣвцамъ, поднимая голову съ земли и прислушиваясь.—Кто-то ѣдетъ... на пролеткѣ...

Пролетка на Въѣзжей улицѣ и въ эту пору не могла не возбудить общаго вниманія. Кто это изъ города могъ рискнуть поѣхать по рытвинамъ и ухабамъ улицы, кто и зачѣмъ? Всѣ подняли головы и слушали. Въ тишинѣ ночи ясно разносилось шуршаніе колесъ, за-

дѣвавшихъ за крылья пролетки. Оно все приближалось. Раздался чей-то голосъ, грубо спрашивавшій:

— Ну, гдѣ же?

Кто-то отвѣтилъ:

— А вонъ къ тому дому, должно быть.

— Дальше не поѣду...

— Это къ намъ!—воскликнулъ ротмистръ.

— Полиція!—прозвучалъ тревожный шопотъ.

— На пролеткѣ-то! Дуракъ!—глухо сказалъ Мартьяновъ.

Кувалда всталъ и пошелъ къ воротамъ.

Объѣдокъ, склонивъ голову вслѣдъ ему, сталъ слушать.

— Это ночлежный домъ?—спрашивалъ кто-то дребезжащимъ голосомъ.

— Да, Аристида Кувалды... — прогудѣлъ недовольный басъ ротмистра.

— Вотъ, вотъ... здѣсь жилъ репортеръ Титовъ?

— Ага! Это вы его привезли?

— Да...

— Пьяный?

— Боленъ!

— Значитъ, сильно пьяный. Эй, учитель! Ну-ка, вставай!

— Подождите! Я помогу вамъ... онъ сильно боленъ. Онъ двое сутокъ лежалъ у меня. Берите подъ мышки... Былъ докторъ. Очень скверно...

Тяпа всталъ и медленно пошелъ къ воротамъ, а Объѣдокъ усмѣхнулся и выпилъ.

— Зажгите-ка огонь тамъ!—крикнулъ ротмистръ.

Метеоръ пошелъ въ ночлежку и зажегъ въ ней лампу. Тогда изъ двери ночлежки протянулась во дворъ широкая полоса свѣта, и ротмистръ вмѣстѣ съ какимъ-то маленькимъ человѣкомъ вели по ней учителя въ ночлежку. Голова у него дрябло повисла на грудь, ноги волочились по землѣ и руки висѣли въ воздухѣ,

какъ изломанныя. При помощи Тяпы его свалили на нары, и онъ, вздрогнувъ всѣмъ тѣломъ, съ тихимъ стономъ вытянулся на нихъ.

— Мы съ нимъ въ одной газетѣ работали... Очень несчастный. Я говорю:—пожалуйста, лежите у меня, вы меня не стѣсняете... Но онъ молитъ меня—отправьте домой! Волнуется... я подумалъ, что ему вредно, и вотъ привезъ его... домой! Вѣдь это именно здѣсь... да?

— А по-вашему, у него еще гдѣ-нибудь есть домъ?—грубо спросилъ Кувалда, пристально разсматривая своего друга.—Тяпа, ступай принеси холодной воды!

— Такъ вотъ...—смущенно помялся человѣчекъ.—Я полагаю... я не нуженъ ему?

— Вы?—ротмистръ критически посмотрѣлъ на него.

Человѣчекъ былъ одѣтъ въ пиджакъ, сильно потертый и тщательно застегнутый вплоть до подбородка. Брюки на немъ были съ бахромой, шляпа рыжая отъ старости, смятая, какъ и его худое, голодное лицо.

— Нѣтъ, вы не нужны... здѣсь такихъ, какъ вы, много...—сказалъ ротмистръ, отворачиваясь отъ человѣчка.

— Значитъ, до свиданія!—Человѣчекъ пошелъ къ двери и оттуда тихо попросилъ:

— Ежели что случится... вы извѣстите въ редакцію... Моя фамилія—Рыжовъ. Я написалъ бы маленькій некрологъ... вѣдь все-таки онъ былъ, знаете, дѣятель прессы...

— Гмъ! некрологъ, говорите? Двадцать строкъ—сорокъ копеекъ? Я лучше сдѣлаю: когда онъ умретъ, я отрѣжу ему одну ногу и пришлю въ редакцію на ваше имя. Это для васъ выгоднѣе, чѣмъ некрологъ, дня на три хватитъ... у него ноги толстыя... Ѣли же вы его всѣ тамъ живого, навѣрное, поѣдите и мертваго...

Человѣчекъ какъ-то странно фыркнулъ и исчезъ. Ротмистръ сѣлъ на нары рядомъ съ учителемъ, пощупалъ рукой его лобъ, грудь и позвалъ его:

— Филиппъ!

Звукъ глухо отдался въ грязныхъ стѣнахъ ночлежки и замеръ.

— Это, братъ, нелѣпо!—сказалъ ротмистръ, тихонько приглаживая рукой растрепанные волосы неподвижнаго учителя. Потомъ ротмистръ прислушался къ его дыханію, горячему и прерывистому, посмотрѣлъ въ лицо, осунувшееся и землистое, вздохнулъ и, строго нахмуривъ брови, осмотрѣлся вокругъ. Лампа была скверная: огонь въ ней дрожалъ, и по стѣнамъ ночлежки молча прыгали черныя тѣни. Ротмистръ сталъ упорно смотрѣть на ихъ безмолвную игру и разглаживать себѣ бороду.

Пришелъ Тяпа съ ведромъ воды, поставилъ его на нары рядомъ съ головой учителя и, взявъ его руку, поднялъ на своей рукѣ, какъ бы взвѣшивая.

— Не надо воды,—махнулъ рукой ротмистръ.

— Попа надо,—увѣренно сообщилъ старый тряпичникъ.

— Ничего не надо,—рѣшилъ ротмистръ.

Они помолчали, глядя на учителя.

— Пойдемъ, выпьемъ, старый чортъ!

— А онъ?

— Ты ему поможешь?

Тяпа повернулся къ учителю спиной, и они оба вышли на дворъ къ своей компаніи.

— Что тамъ?—спросилъ Объѣдокъ, обращая къ ротмистру свою острую морду.

— Ничего особеннаго... Умираетъ человѣкъ...—кратко сообщилъ ротмистръ.

— Избили его?—поинтересовался Объѣдокъ.

Ротмистръ не отвѣтилъ, ибо пилъ водку въ это время.

— Какъ будто онъ зналъ, что у насъ есть чѣмъ поминки о немъ справить,—сказалъ Объѣдокъ, закуривая папиросу.

Кто-то засмѣялся, кто-то тяжело вздохнулъ. Вообще же разговоръ ротмистра и Объѣдка не произвелъ на этихъ людей замѣтнаго впечатлѣнія, по крайней мѣрѣ, не видно было, что онъ взволновалъ, заинтересовалъ или заставилъ задуматься кого-нибудь. Всѣ относились къ учителю, какъ къ человѣку недюжинному, но теперь многіе были уже пьяны, другіе же оставались наружно спокойны. Лишь дьяконъ вдругъ какъ-то напрягся, пошлепалъ губами, потеръ лобъ и дико взвылъ:

— Иде-же праведніи у-по-ко-я-ются-а!

— Ты!—зашипѣлъ Объѣдокъ,—что орешь?

— Дай ему въ рожу!—посовѣтовалъ ротмистръ.

— Дуракъ!—раздался хрипъ Тяпы.—Когда человѣкъ кончается, нужно молчать... чтобы тихо было.

Было достаточно тихо: и въ небѣ, покрытомъ тучами и грозившемъ дождемъ, и на землѣ, одѣтой мрачной тьмой осенней ночи. Порой раздавался храпъ уснувшихъ, бульканье наливаемой водки, чавканье. Дьяконъ что-то бормоталъ. Тучи плыли такъ низко, что казалось—вотъ онѣ задѣнутъ за крышу стараго дома и опрокинутъ его на группу этихъ людей.

— А... скверно на душѣ, когда умираетъ человѣкъ близкій...—заикаясь, проговорилъ ротмистръ и склонилъ голову на грудь.

Никто ему не отвѣтилъ.

— Среди васъ—онъ былъ лучшій... самый умный и порядочный... Мнѣ жалко его...

— Со-о святы-ими упоко-о-ой... пой, кривая шельма!—забурлилъ дьяконъ, толкая въ бокъ своего друга, дремавшаго рядомъ съ нимъ.

— Молчать!.. ты! — злымъ шопотомъ воскликнулъ Объѣдокъ, вскакивая на ноги.

— Я его ударю по башкѣ,—предложилъ Мартьяновъ, поднимая голову съ земли.

— А ты не спишь?—необычайно ласково сказалъ Аристидъ Ѳомичъ.—Слышалъ? Учитель-то у насъ...

Мартьяновъ тяжело завозился на землѣ, всталъ, посмотрѣлъ на полосы свѣта, исходившаго изъ двери и оконъ ночлежки, качнулъ головой и молча сѣлъ рядомъ съ ротмистромъ.

— Выпьемъ?—предложилъ тотъ.

Ощупью отыскавъ стаканы, они выпили.

— Пойду, посмотрю...—сказалъ Тяпа;—можетъ ему надо чего.

— Гробъ надо...—усмѣхнулся ротмистръ.

— Не говорите вы про это,—глухимъ голосомъ попросилъ Объѣдокъ.

За Тяпой всталъ съ земли Метеоръ. Дьяконъ тоже хотѣлъ встать, но свалился на бокъ и громко выругался.

Когда Тяпа ушелъ, ротмистръ ударилъ по плечу Мартьянова и вполголоса заговорилъ:

— Такъ-то, Мартьяновъ... Ты бы лучше другихъ долженъ чувствовать... Ты былъ... впрочемъ, къ чорту это. Жалко тебѣ Филиппа?

— Нѣтъ, — помолчавъ, отвѣтилъ бывшій тюремщикъ.—Я, братъ, ничего такого не чувствую... разучился... Мерзко такъ жить. Я серьезно говорю, что убью кого-нибудь...

— Да?—неопредѣленно произнесъ ротмистръ.—Ну... что же? Выпьемъ еще!

— Н-наше дѣл-ло маленькое... выпилъ—да еще-о!

Это проснулся и блаженнымъ тономъ пропѣлъ Симцовъ.

— Братцы?! Кто тутъ? Налейте старику чарку!

Ему налили и подали. Выпивъ, онъ снова свалился, ткнувшись головой въ чей-то бокъ.

Минуты двѣ продолжалось молчаніе, такое же темное и жуткое, какъ эта осенняя ночь. Потомъ кто-то зашепталъ...

— Что?—раздался вопросъ.

— Я говорю, славный онъ парень... былъ. Голова, тихій такой...—говорили вполголоса.

— Да, деньги тоже имѣлъ... и не жалѣлъ ихъ для своего брата...—И опять наступило молчаніе.

— Кончается!—раздался хрипъ Тяпы надъ головой ротмистра.

Аристидъ Ѳомичъ всталъ и, усиленно-твердо ступая ногами, пошелъ въ ночлежку.

— Пошто идешь?—остановилъ его Тяпа.—Не ходи. Пьяный вѣдь ты... нехорошо!

Ротмистръ остановился и подумалъ:

— А что, хорошо на этой землѣ? Пошелъ ты къ чорту!—И онъ толкнулъ Тяпу.

По стѣнамъ ночлежки все прыгали тѣни, какъ бы молча борясь другъ съ другомъ. На нарахъ, вытянувшись во весь ростъ, лежалъ учитель и хрипѣлъ. Глаза у него были широко открыты, обнаженная грудь сильно колыхалась, въ углахъ губъ кипѣла пѣна, и на лицѣ было такое напряженное выраженіе, какъ будто онъ силился сказать что-то большое, трудное и — не могъ, и невыразимо страдалъ отъ этого.

Ротмистръ сталъ передъ нимъ, заложивъ руки за спину, и съ минуту молча смотрѣлъ на него. Потомъ заговорилъ, болѣзненно наморщивъ лобъ:

— Филиппъ! Скажи мнѣ что-нибудь... слово утѣшенія другу... брось!.. Я, братъ, люблю тебя... Всѣ люди—скоты, ты былъ для меня—человѣкъ... хотя ты пьяница! Ахъ, какъ ты пилъ водку, Филиппъ! Именно это тебя и погубило... А почему? Нужно было умѣть владѣть собою... и слушать меня. Р-развѣ я не говорилъ тебѣ, бывало...

Таинственная, все уничтожающая сила, именуемая смертью, какъ-бы оскорбленная присутствіемъ этого пьянаго человѣка при мрачномъ и торжественномъ актѣ ея борьбы съ жизнью, рѣшила скорѣе кончить свое безстрастное дѣло, и учитель, глубоко вздохнувъ, тихо простоналъ, вздрогнулъ, вытянулся и замеръ.

Ротмистръ качнулся на ногахъ, продолжая свою рѣчь.

— Ты что? Хочешь, я принесу тебѣ водки? Но лучше не пей, Филиппъ... Сдержись, побѣди себя... А то выпей! Зачѣмъ, говоря прямо, сдерживать себя... Чего ради, Филиппъ? Вѣрно? Чего ради?..

Онъ взялъ его за ногу и потянулъ къ себѣ.

— А, ты уснулъ, Филиппъ? Ну... спи... Покойной ночи... Завтра я все это разъясню тебѣ и ты убѣдишься, что ничего не надо запрещать себѣ... А теперь спи... если ты не умеръ...

Онъ вышелъ, сопровождаемый молчаніемъ, и, придя къ своимъ, объявилъ:

— Уснулъ... или умеръ... Не знаю... Я н-немножко пьянъ...

Тяпа еще болѣе согнулся, осѣняя свою грудь крестнымъ знаменіемъ. Мартьяновъ молча поёжился и легъ на землю. Объѣдокъ сталъ быстро возиться на землѣ, вполголоса, злымъ и тоскливымъ тономъ говоря:

— Чортъ васъ всѣхъ возьми! Мучители... Ну, умеръ! Ну, что же? Меня-то... мнѣ зачѣмъ знать это? Зачѣмъ мнѣ объ этомъ разсказывать? Придетъ время — я самъ умру... не хуже его... Не хуже я другихъ.

— Это вѣрно! — громко говорилъ ротмистръ, грузно опускаясь на землю.—Придетъ время, и всѣ мы умремъ не хуже другихъ.... ха-ха! Какъ мы проживемъ... это пустяки! Но мы умремъ — какъ всѣ. Въ этомъ — цѣль жизни, вѣрьте моему слову. Ибо человѣкъ живетъ, чтобъ умереть. И умираетъ... И если это такъ — не все ли равно, отчего и какъ онъ умираетъ и какъ онъ жилъ? Мартьяновъ, я правъ? Выпьемъ же еще... и еще, пока живы...

Накрапывалъ дождь. Густая, душная тьма покрывала фигуры людей, валявшіяся на землѣ, скомканныя сномъ или опьяненіемъ. Полоса свѣта, исходившая изъ ночлежки, поблѣднѣвъ, задрожала и вдругъ исчезла. Очевидно, лампу задулъ вѣтеръ или въ ней догорѣлъ керосинъ. Падая на желѣзную крышу ночлежки, капли

дождя стучали робко и нерѣшительно. Съ горы изъ города неслись унылые, рѣдкіе удары въ колоколъ — это сторожили церковь.

Мѣдный звукъ, слетая съ колокольни, тихо плылъ во тьмѣ и медленно замиралъ въ ней, но раньше, чѣмъ тьма успѣвала заглушить его послѣднюю, трепетно вздыхавшую ноту, рождался другой ударъ, и снова въ тишинѣ ночи разносился меланхолическій вздохъ металла.

На утро первымъ проснулся Тяпа.

Повернувшись на спину, онъ посмотрѣлъ на небо — изуродованная шея его только въ этомъ положеніи позволяла ему видѣть небо надъ головой.

Въ это утро небо было однообразно сѣрое. Тамъ, вверху, сгустился сырой и холодный сумракъ, онъ погасилъ солнце и, скрывъ собою голубую безпредѣльность, изливалъ на землю уныніе. Тяпа перекрестился и привсталъ на локтѣ, чтобъ посмотрѣть, не осталось ли гдѣ водки. Бутылка была тутъ, но пустая. Перелѣзая черезъ товарищей, Тяпа сталъ осматривать чашки, изъ которыхъ пили. Одну изъ нихъ онъ нашелъ почти полной, выпилъ ее, вытеръ губы рукавомъ и сталъ трясти за плечо ротмистра.

— Вставай... эй! Слышь?

Ротмистръ поднялъ голову, глядя на него тусклыми глазами.

— Надо полиціи заявить... ну, вставай!

— А что?—сонно и сердито спросилъ ротмистръ.

— Что, умеръ онъ...

— Это кто?

— Ученый-то...

— Филиппъ? Да-а!

— А ты забылъ... эхма!—укоризненно хрипѣлъ Тяпа.

Ротмистръ всталъ на ноги, зычно зѣвнулъ и потянулся такъ, что у него кости хрустнули.

— Такъ иди ты, объяви...

— Я не пойду... не люблю я ихъ,—угрюмо сказалъ Тяпа.

— Ну, разбуди вонъ дьякона... А я пойду посмотрю.

— Такъ-то вотъ... дьяконъ, вставай!

Ротмистръ вошелъ въ ночлежку и сталъ въ ногахъ учителя. Мертвый лежалъ, вытянувшись во всю длину: лѣвая рука была у него на груди, правая откинута такъ, точно онъ размахнулся, чтобъ ударить кого-то. Ротмистръ подумалъ, что если бъ учитель всталъ теперь, онъ былъ бы такой же высокій, какъ Полтора Тараса. Потомъ онъ сѣлъ на нары въ ногахъ своего пріятеля и, вспомнивъ, что они прожили вмѣстѣ около трехъ лѣтъ, вздохнулъ. Вошелъ Тяпа, держа голову, какъ козелъ, собравшійся бодаться. Онъ сѣлъ по другую сторону ногъ учителя, посмотрѣлъ на его темное лицо, спокойное и серьезное, съ плотно сжатыми губами, и захрипѣлъ:

— Да... вотъ и умеръ... И я умру скоро...

— Тебѣ пора,—хмуро сказалъ ротмистръ.

— Пора ужъ!—согласился Тяпа.—И тебѣ тоже надо бы умереть... Все лучше, чѣмъ такъ-то...

— А можетъ, хуже? Ты почемъ знаешь?

— Хуже не будетъ. Помрешь — съ Богомъ будешь имѣть дѣло... А тутъ съ людьми... А люди — что они значатъ?

— Ну ладно, не хрипи...—сердито оборвалъ его Кувалда.

И въ сумракѣ, наполнявшемъ ночлежку, стало внушительно тихо.

Долго они молча сидѣли у ногъ мертваго сотоварища и изрѣдка поглядывали на него, оба погруженные въ думы. Потомъ Тяпа спросилъ:

— Хоронить его ты будешь?

— Я? Нѣтъ! Полиція пускай хоронитъ.

— Ну! Чай, ты схорони... вѣдь за прошеніе-то съ

Вавилова взялъ его деньги... Я дамъ, коли не хватитъ...

— Деньги его у меня... а хоронить не стану.

— Нехорошо это. Мертваго грабишь. Я вотъ скажу всѣмъ, что ты его деньги заѣсть хочешь...—пригрозилъ Тяпа.

— Глупъ ты, старый чортъ,— презрительно сказалъ Кувалда.

— Не глупъ я... а только не хорошо, молъ, не по-дружески.

— Ну и ладно. Отвяжись!

— Ишь! А сколько денегъ-то?

— Четвертная...—разсѣянно сказалъ Кувалда.

— Вона!.. Далъ бы мнѣ хоть пятерочку...

— Экой ты мерзавецъ, старикъ... — равнодушно посмотрѣвъ въ лицо Тяпы, выругался ротмистръ.

— А что? Право, дай...

— Пошелъ къ чорту!.. Я ему на эти деньги памятникъ устрою.

— На что ему?

— Куплю жерновъ и якорь. Жерновъ положу на могилу, а якорь цѣпью прикую къ нему... Это будетъ очень тяжело...

— Зачѣмъ? Чудишь ты...

— Ну... не твое дѣло.

— Я, смотри, скажу... — снова пригрозилъ Тяпа.

Аристидъ Ѳомичъ тупо посмотрѣлъ на него и промолчалъ. И опять они сидѣли долго въ молчанiи, всегда въ присутствiи мертвыхъ принимающемъ внушительный и таинственный колоритъ.

— Слышь, вонъ... ѣдутъ! — сказалъ Тяпа, всталъ и ушелъ изъ ночлежки.

Скоро въ дверяхъ ея явился частный приставъ, слѣдователь и докторъ. Всѣ трое поочередно подходили къ учителю и, взглянувъ на него, выходили вонъ, награждая Кувалду косыми и подозрительными взглядами.

Онъ сидѣлъ, не обращая на нихъ вниманія, пока приставъ не спросилъ его, кивая головой на учителя:

— Отчего онъ умеръ?

— Спросите у него... Я думаю, отъ непривычки...

— Что такое? — спросилъ слѣдователь.

— Я говорю — умеръ, молъ, онъ, по моему мнѣнію, отъ непривычки къ той болѣзни, которой захворалъ...

— Гмъ... да! А онъ давно хворалъ?

— Вытащить бы его сюда, не видно тамъ ничего,— предложилъ докторъ скучнымъ тономъ.—Можетъ быть, есть знаки....

— Ну-те-ка, позовите кого-нибудь вынести его,— приказалъ приставъ Кувалдѣ.

— Зовите сами... Онъ мнѣ не мѣшаетъ и тутъ... — равнодушно отозвался ротмистръ.

— Ну!—крикнулъ полицейскій, дѣлая свирѣпое лицо.

— Тпру! — отпарировалъ Кувалда, не трогаясь съ мѣста, спокойно злой и оскалившій зубы.

— Я, чортъ возьми!.. — крикнулъ приставъ, взбѣшенный до того, что лицо у него налилось кровью.— Я вамъ этого не спущу! Я...

— Добренькаго здоровьица, господа честные! — сладкимъ голосомъ сказалъ купецъ Петунниковъ, являясь въ дверяхъ.

Окинувъ острымъ взглядомъ всѣхъ сразу, онъ вздрогнулъ, отступилъ шагъ назадъ и, снявъ картузъ, истово перекрестился. Затѣмъ по лицу его расплылась улыбка злораднаго торжества, и, въ упоръ глядя на ротмистра, онъ почтительно спросилъ:

— Что это здѣсь?—никакъ человѣка убили?

— Да вотъ что-то въ этомъ родѣ, — отвѣтилъ ему слѣдователь.

Петунниковъ глубоко вздохнулъ, опять перекрестился и тономъ огорченія заговорилъ:

— А, Господи Боже мой! Какъ я этого боялся! Всегда, бывало, зайдешь сюда, посмотришь... ай, ай, ай!

Потомъ придешь домой, и все такое начинаетъ мерещиться—Боже упаси всякаго!.. Сколько разъ я господину этому вотъ... главнокомандующему золотой ротой хотѣлъ отказать отъ квартиры, но боюсь все... знаете... народъ такой... лучше уступить, думаю, а то какъ бы не того...

Онъ плавно повелъ рукой въ воздухѣ, потомъ провелъ ею по лицу, собралъ въ горсть бороду и снова вздохнулъ.

— Опасные люди. И господинъ этотъ вродѣ начальника у нихъ... совершенно атаманъ разбойниковъ.

— А вотъ мы его пощупаемъ,—многообѣщающимъ тономъ сказалъ приставъ, глядя на ротмистра мстительными глазами.—Онъ мнѣ тоже хорошо извѣстенъ!..

— Да, мы съ тобой, братъ, старые знакомые...—подтвердилъ Кувалда фамильярнымъ тономъ.—Сколько я тебѣ и присным твоимъ взятокъ за молчаніе переплатилъ!

— Господа,—воскликнулъ приставъ,—вы слышали? Прошу запомнить! Я этого не спущу... А... а! Такъ вотъ что? Ну, ты у меня помни это! Я тебя... сокр-ращу, мой другъ...

— Не хвались на рать идучи... мой другъ, — спокойно говорилъ Аристидъ Ѳомичъ.

Докторъ, молодой человѣкъ въ очкахъ, смотрѣлъ на него съ любопытствомъ, слѣдователь со зловѣщимъ вниманіемъ, Петунниковъ съ торжествомъ, а приставъ кричалъ и метался, наскакивая на него.

Въ дверяхъ ночлежки явилась мрачная фигура Мартьянова. Онъ подошелъ тихо и сталъ сзади Петунникова, такъ что его подбородокъ приходился подъ теменемъ купца. Сбоку изъ-за него выглядывалъ дьяконъ, широко раскрывая свои маленькіе, опухшіе и красные глазки.

— Однако, давайте же что-нибудь дѣлать, господа!—предложилъ докторъ.

Мартьяновъ скорчилъ страшную гримасу и вдругъ—чихнулъ прямо на голову Петунникова. Тотъ вскрикнулъ, присѣлъ и прыгнулъ въ сторону, чуть не сбивъ съ ногъ пристава, который едва удержалъ его, раскрывъ ему объятія.

— Видите?—тревожно сказалъ купецъ, указывая на Мартьянова.—Вотъ какіе люди! а?

Кувалда хохоталъ. Докторъ и слѣдователь смѣялись, а къ дверямъ ночлежки подходили все новыя и новыя фигуры. Полусонныя, опухшія физіономіи съ красными, воспаленными глазами, съ растрепанными волосами на головахъ, безцеремонно разглядывали доктора, слѣдователя и пристава.

— Куда лѣзете!—усовѣщивалъ ихъ городовой, дергая за лохмотья и отталкивая отъ двери. Но онъ былъ одинъ, а ихъ много, и они, не обращая на него вниманія, лѣзли, дыша перегорѣлой водкой, молчаливые и зловѣщіе. Кувалда посмотрѣлъ на нихъ, потомъ на начальство, нѣсколько смущенное обиліемъ этой нехорошей публики, и, усмѣхаясь, сказалъ начальству:

— Господа! Можетъ, вы хотите познакомиться съ моими квартирантами и пріятелями? Хотите? Все равно—рано или поздно, вамъ придется же по обязанностямъ службы знакомиться съ ними...

Докторъ смущенно засмѣялся. Слѣдователь плотно сжалъ губы, а приставъ догадался, что нужно было сдѣлать, и крикнулъ на дворъ:

— Сидоровъ! Свисти... скажи, когда придутъ сюда, чтобъ достали телѣгу...

— Ну, а я пойду!—сказалъ Петунниковъ, выдвигаясь откуда-то изъ-за угла.—Квартирку вы мнѣ сегодня ослободите, господинъ... Я ломать буду эту хибарочку... Позаботьтесь... а то я обращусь къ полиціи...

На дворѣ пронзительно рокоталъ свистокъ полицейскаго, у дверей ночлежки тѣсной толпой стояли ея обитатели, позѣвывая и почесываясь.

— Итакъ, не хотите знакомиться?.. Невѣжливо!..— смѣялся Аристидъ Кувалда.

Петунниковъ досталъ изъ кармана кошелекъ, порылся въ немъ, вытащилъ два пятака и, крестясь, положилъ ихъ въ ноги покойника.

— Господи благослови... на погребеніе грѣшнаго праха...

— Что-о?—гаркнулъ ротмистръ.—Ты на погребеніе? Возьми прочь! Прочь возьми, я тебѣ говорю... мер-рзавецъ! Ты смѣешь давать на погребеніе честнаго человѣка твои воровскіе гроши... разражу!

— Ваше благородіе!—испуганно крикнулъ купецъ, хватая пристава за локти. Докторъ и слѣдователь выскочили вонъ, приставъ громко звалъ:

— Сидоровъ, сюда!

Бывшіе люди стали въ дверяхъ стѣной и съ интересомъ, оживлявшимъ ихъ смятыя рожи, смотрѣли и слушали.

Кувалда, потрясая кулакомъ надъ головою Петунникова, ревѣлъ, звѣрски вращая налитыми кровью глазами.

— Подлецъ и воръ! Возьми деньги! Гнусная тварь— бери, говорю... а то я въ зенки твои вобью эти пятаки, бери!

Петунниковъ протянулъ дрожащую руку къ своей лептѣ и, защищаясь другой рукой отъ кулака Кувалды, говорилъ:

— Будьте свидѣтелемъ, господинъ приставъ, и вы, добрые люди.

— Мы, купецъ, недобрые люди,—раздался дребезжащій голосъ Объѣдка.

Приставъ, надувъ лицо, какъ пузырь, отчаянно свистѣлъ, а другую руку держалъ въ воздухѣ надъ головою Петунникова, извивавшагося передъ нимъ такъ, точно онъ хотѣлъ влѣзть ему въ животъ.

— Хочешь, я заставлю тебя, ехидна подлая, ноги цѣловать у этого трупа? Х-хочешь?

И вцѣпившись въ воротъ Петунникова, Кувалда швырнулъ его, какъ котенка, къ двери.

Бывшіе люди быстро разступились, чтобы дать купцу мѣсто для паденія. И онъ растянулся у ихъ ногъ, испуганно и бѣшено воя:

— Убиваютъ! Караулъ... убили-и!

Мартьяновъ медленно поднялъ свою ногу, прицѣливаясь ею въ голову купца. Объѣдокъ со сладострастнымъ выраженіемъ на своей физіономіи плюнулъ въ лицо Петунникова. Купецъ сжался въ маленькій комокъ и, упираясь въ землю ногами и руками, покатился на дворъ, поощряемый хохотомъ. А на дворѣ уже появились двое полицейскихъ, и приставъ, указывая имъ на Кувалду, торжествуя, кричалъ:

— Арестовать! Связать!

— Вяжите его, голубчики!—умолялъ Петунниковъ.

— Не смѣть! Я не бѣгу... я самъ пойду, куда надо...—говорилъ Кувалда, отмахиваясь отъ городовыхъ, подбѣжавшихъ къ нему.

Бывшіе люди исчезали одинъ по одному. Телѣга въѣхала во дворъ. Какіе-то унылые оборванцы уже тащили изъ ночлежки учителя.

— Я т-тебя, голубчикъ... погоди!—грозилъ приставъ Кувалдѣ.

— Что, атаманъ!—ехидно спрашивалъ Петунниковъ, возбужденный и счастливый при видѣ врага, которому вязали руки.—Что? Попалъ? Погоди! То ли еще будетъ!..

Но Кувалда молчалъ. Онъ стоялъ между двухъ полицейскихъ, страшный и прямой, и смотрѣлъ, какъ учителя взваливали на телѣгу. Человѣкъ, державшій трупъ подъ мышки, былъ низенькаго роста и не могъ положить головы учителя въ тотъ моментъ, когда ноги его уже были брошены въ телѣгу. Съ минуту учитель былъ въ такой позѣ, точно онъ хотѣлъ кинуться съ телѣги внизъ головой и спрятаться въ землѣ отъ всѣхъ этихъ злыхъ и глупыхъ людей, не дававшихъ ему покоя.

— Веди его,—скомандовалъ приставъ, указывая на ротмистра.

Кувалда, не протестуя, молчаливый и насупившійся, двинулся со двора и, проходя мимо учителя, наклонилъ голову, но не взглянулъ на него. Мартьяновъ съ своимъ окаменѣлымъ лицомъ пошелъ за нимъ. Дворъ купца Петунникова быстро пустѣлъ.

— Н-но, поѣхали!—взмахнулъ извозчикъ вожжами надъ крупомъ лошади.

Телѣга тронулась, затряслась по неровной землѣ двора. Учитель, покрытый какимъ-то тряпьемъ, вытянулся на ней вверхъ грудью и животъ его дрожалъ. Казалось, что учитель тихо и довольно смѣется, обрадованный тѣмъ, что вотъ, наконецъ, онъ уѣзжаетъ изъ ночлежки и болѣе ужъ не воротится въ нее, никогда не воротится... Петунниковъ, провожая его взглядомъ благочестиво перекрестился и потомъ тщательно началъ обивать своимъ картузомъ пыль и соръ, приставшіе къ его одеждѣ. И по мѣрѣ того, какъ пыль исчезала съ его поддевки, на лицѣ его являлось спокойное выраженіе довольства собой и увѣренности въ себѣ. Со двора ему видно было, какъ по улицѣ въ гору шелъ ротмистръ Аристидъ Ѳомичъ Кувалда, съ прикрученными на спинѣ руками, высокій, сѣрый, въ фуражкѣ съ краснымъ околышкомъ, похожимъ на полосу крови.

Петунниковъ улыбнулся улыбкой побѣдителя и пошелъ къ ночлежкѣ, но вдругъ остановился, вздрогнувъ. Въ дверяхъ противъ него стоялъ съ палкой въ рукѣ и съ большимъ мѣшкомъ за плечами страшный старикъ, ершистый отъ лохмотьевъ, прикрывавшихъ его длинное тѣло, согнутый тяжестью ноши и наклонившій голову на грудь такъ, точно онъ хотѣлъ броситься на купца.

— Ты что?—крикнулъ Петунниковъ.—Ты кто?

— Человѣкъ...—раздался глухой хрипъ.

Петунникова этотъ хрипъ обрадовалъ и успокоилъ. Онъ даже улыбнулся.

— Человѣкъ! Ахъ ты... такіе развѣ люди бываютъ?

И посторонившись, онъ пропустилъ мимо себя старика, который шелъ прямо на него и глухо ворчалъ:

— Разные бываютъ... какъ Богъ захочетъ... Есть хуже меня... еще хуже есть... да!

Хмурое небо молча смотрѣло на грязный дворъ и на чистенькаго человѣка съ острой сѣдой бородкой, ходившаго по землѣ, что-то измѣряя своими шагами и острыми глазками. На крышѣ стараго дома сидѣла ворона и торжественно каркала, вытягивая шею и покачиваясь.

Въ сѣрыхъ, строгихъ тучахъ, сплошь покрывшихъ небо, было что-то напряженное и неумолимое, точно онѣ, собираясь разразиться ливнемъ, твердо рѣшили смыть всю грязь съ этой несчастной, измученной, печальной земли.



ОЗОРНИКЪ.

(1897)

По большой, свѣтлой комнатѣ редакціи „N-ской Газеты“ нервно бѣгалъ взволнованный, гнѣвный редакторъ и, тискал въ рукахъ свѣжій номеръ изданія, отрывисто кричалъ и ругался. Это была маленькая фигурка съ острымъ худымъ лицомъ, украшеннымъ бородкой и золотыми очками. Громко топая тонкими ножками въ сѣрыхъ брюкахъ, онъ такъ и кружился подлѣ длиннаго стола, стоявшаго среди комнаты и заваленнаго скомканными газетами, корректурными гранками и клочьями рукописей. У стола, облокотясь на него одной рукой, а другой потирая лобъ, стоялъ издатель—высокій, полный блондинъ среднихъ лѣтъ, и, съ тонкой усмѣшкой на бѣломъ сытомъ лицѣ, слѣдилъ за редакторомъ веселыми, свѣтлыми глазами. Метранпажъ, угловатый человѣкъ съ желтымъ лицомъ и впалой грудью, въ коричневомъ сюртукѣ, очень грязномъ и не по росту длинномъ, робко жался къ стѣнѣ. Онъ поднималъ брови кверху и таращилъ глаза въ потолокъ, какъ-бы что-то вспоминая или обдумывая, а черезъ минуту разочарованно потягивалъ носомъ и уныло опускалъ голову на грудь. Въ дверяхъ торчала фигура редакціоннаго разсыльнаго; то и дѣло отталкивая его, входили и снова исчезали какіе-то люди съ озабоченными и недовольными лицами. Голосъ редактора—злой, раздраженный и звонкій, иногда поднимался до взвиз-

гиваній и заставлялъ издателя морщиться, а метранпажа—испуганно вздрагивать.

— Нѣтъ... это такая подлость! Я уголовное преслѣдованіе возбужу противъ этого мерзавца... Корректоръ пришелъ? Чортъ возьми,—я спрашиваю—пришелъ корректоръ? Собрать сюда всѣхъ наборщиковъ! Сказали? Нѣтъ, вы только сообразите, что теперь будетъ! Всѣ газеты подхватятъ... Ср-рамъ! На всю Россію... Я не спущу этому мерзавцу!

И поднявъ руки съ газетой къ головѣ, редакторъ замеръ на мѣстѣ, какъ бы желая обернуть газетой голову и тѣмъ защитить ее отъ ожидаемаго срама.

— Вы прежде найдите его...—сухо усмѣхаясь, посовѣтовалъ издатель.

— Н-найду-съ! Н-найду! — сверкнулъ глазами редакторъ, снова пускаясь въ бѣгъ, и, прижавъ газету къ груди, началъ ожесточенно теребить ее. — Найду и упеку... Да что же этотъ корректоръ?... Ага... Вотъ... Ну-съ, прошу пожаловать, милостивые государи! Гм!.. Смиренные командиры свинцовыхъ армій... ха-ха! Проходите-съ...

Одинъ за другимъ въ залу входили наборщики. Они уже знали, въ чемъ дѣло, и каждый изъ нихъ приготовился къ роли обвиняемаго, въ виду чего они единодушно изображали на своихъ чумазыхъ лицахъ, пропитанныхъ свинцовою пылью, полную неподвижность и какое-то деревянное спокойствіе. Они столпились въ углу залы въ тѣсную кучку. Редакторъ остановился передъ ними, закинувъ руки съ газетой за спину. Онъ былъ ниже ихъ ростомъ и ему пришлось поднять голову кверху, чтобы взглянуть имъ въ лица. Онъ сдѣлалъ это движеніе слишкомъ быстро, и очки вдругъ вскочили ему на лобъ; думая, что они падаютъ, онъ взмахнулъ въ воздухѣ рукой, ловя ихъ, но въ этотъ моментъ они снова упали на переносье.

— Чортъ васъ...—скрипнулъ онъ зубами.

На чумазыхъ рожахъ наборщиковъ засіяли счастливыя улыбки. Кто-то подавленно засмѣялся.

— Я васъ призвалъ сюда не затѣмъ, чтобы вы зубы ваши показывали мнѣ! — озлобленно крикнулъ редакторъ, блѣднѣя.—Кажется, достаточно оскандалили газету... Если среди васъ есть честный человѣкъ, который понимаетъ — что такое газета, пресса... онъ скажетъ, кто это устроилъ... Въ передовой статьѣ... — Редакторъ сталъ нервно развертывать газету.

— Да въ чемъ дѣло-то?—раздался голосъ, въ которомъ не слышно было ничего, кромѣ простого любопытства.

— А! Вы не знаете? Ну вотъ извольте... вотъ... „Наше фабричное законодательство всегда служило для прессы предметомъ горячаго обсужденія... т. е. говоренія глупой ерунды и чепухи!...“ Вотъ! вы довольны? Не угодно ли будетъ тому, кто добавилъ эти „говоренія“... — и главное — говоренія! какъ это грамотно и остроумно!—ну-съ, кто же изъ васъ авторъ этой „глупой ерунды и чепухи“?..

— Статья-то чья? Ваша? Ну, вы и авторъ всего, что въ ней нагорожено,—раздался тотъ же спокойный голосъ, который и раньше спрашивалъ редактора.

Это было дерзостью, и всѣ невольно предположили, что виновникъ событія найденъ. Въ залѣ произошло движеніе; издатель подошелъ ближе къ группѣ, редакторъ поднялся на цыпочки, желая взглянуть черезъ головы наборщиковъ въ лицо говорившему. Наборщики раздвинулись. Предъ редакторомъ стоялъ коренастый малый, въ синей блузѣ съ рябымъ лицомъ и вьющимися кверху вихрами на лѣвомъ вискѣ. Онъ стоялъ, глубоко засунувъ руки въ карманы штановъ, и, равнодушно уставивъ на редактора сѣрые, злые глаза, чуть-чуть улыбался изъ курчавой русой бороды. Всѣ смотрѣли на него: — издатель сурово нахмурилъ брови, редакторъ съ изумленіемъ и гнѣвомъ, метранпажъ —

сдержанно улыбаясь. Лица наборщиковъ изображали и плохо скрытое удовольствіе, и испугъ, и любопытство...

— Это... вы и есть?—спросилъ, наконецъ, редакторъ, указывая пальцемъ на рябого наборщика, и многообѣщающе сжалъ губы.

— Я...—отвѣтилъ тотъ, усмѣхнувшись какъ-то особенно просто и обидно.

— А-а!.. весьма пріятно! такъ это вы? Зачѣмъ же вы вставили, позвольте узнать...

— Да я развѣ сказалъ, что вставилъ? — и наборщикъ посмотрѣлъ на своихъ товарищей.

— Это онъ, навѣрное, Митрій Павловичъ,—обратился къ редактору метранпажъ.

— Ну я, такъ я,—не безъ нѣкотораго добродушія согласился наборщикъ и, махнувъ рукой, снова улыбнулся.

Опять всѣ замолчали. Никто не ожидалъ такого скораго и спокойнаго признанія, и оно подѣйствовало на всѣхъ, какъ неожиданность. Даже гнѣвъ редактора смѣнился на минуту изумленіемъ. Пространство вокругъ рябого стало шире, метранпажъ быстро отошелъ къ столу, наборщики разступились...

— Ты вѣдь это нарочно, съ намѣреніемъ?—спросилъ издатель, улыбаясь и оглядывая рябого круглыми глазами.

— Извольте отвѣчать!—крикнулъ редакторъ, взмахивая смятой газетой.

— Не кричите... не боюсь. Многіе на меня кричали, да безъ толку все!..—и въ глазахъ наборщика сверкнулъ ухарскій, наглый огонекъ.—Точно...—продолжалъ онъ, переступивъ съ ноги на ногу и обращаясь уже къ издателю,—я это съ намѣреніемъ подставилъ слова...

— Слышите?—обратился редакторъ къ публикѣ.

— Да что же ты такое въ самомъ дѣлѣ, чортова ты кукла!—взбѣсился вдругъ издатель.—Понимаешь ли ты, сколько ты вреда мнѣ сдѣлалъ?

— Вамъ-то ничего... еще, чай, розничную продажу

увеличилъ. А вотъ господину редактору — дѣйствительно... не особенно по губѣ этакая штучка.

Редакторъ точно окаменѣлъ отъ негодованія; онъ стоялъ передъ этимъ спокойнымъ и злымъ человѣкомъ и молча сверкалъ глазами, не находя словъ для выраженія волновавшихъ его чувствъ.

— А вѣдь тебѣ за это, братъ, худо будетъ!.. — злорадно протянулъ издатель и вдругъ, смягчившись, ударилъ себя рукой по колѣну.

Въ сущности, онъ былъ доволенъ и происшествіемъ, и дерзкимъ отвѣтомъ рабочаго: редакторъ относился къ нему всегда нѣсколько высокомѣрно, не стараясь скрывать сознаніе своего умственнаго превосходства, и вотъ теперь онъ, этотъ самолюбивый и самоувѣренный человѣкъ, поверженъ во прахъ...—и кѣмъ?

— За эту твою дерзость мы тебѣ, душа, воздадимъ!..— добавилъ онъ.

— Да вѣдь ужъ навѣрно такъ не спустите,—согласился наборщикъ.

Этотъ тонъ и эти слова опять произвели впечатлѣніе. Наборщики переглянулись другъ съ другомъ, метранпажъ поднялъ брови и какъ-то съёжился, редакторъ отступилъ къ столу и, оперишсь на него руками, болѣе растерянный и обиженный, чѣмъ гнѣвный, пристально смотрѣлъ на своего врага.

— Зовутъ тебя какъ?—спросилъ издатель, вынувъ изъ кармана записную книжку.

— Николка Гвоздевъ, Василій Ивановичъ!—быстро объявилъ метранпажъ.

— А ты, лакей Іуды Предателя, молчи, когда тебя не спрашиваютъ, — сурово взглянувъ на метранпажа, сказалъ наборщикъ.—У меня свой языкъ есть, я самъ за себя отвѣчу... Зовутъ меня Николай Семеновичъ Гвоздевъ... Жительство...

— Найдемъ!—пообѣщалъ издатель.—А теперь убирайся къ чорту! Всѣ идите!..

Громко топая, наборщики молча пошли вонъ. Гвоздевъ шелъ сзади всѣхъ.

— Постой... позволь...—сказалъ редакторъ тихо, но ясно, и протянулъ руку вслѣдъ Гвоздеву.

Гвоздевъ обернулся къ нему, лѣнивымъ движеніемъ прислонился къ косяку двери и, покручивая бородку, уставился въ лицо редактора своими дерзкими глазами.

— Я тебя вотъ о чемъ спрошу,—началъ редакторъ. Онъ хотѣлъ быть спокойнымъ, но это не удавалось ему: голосъ его срывался, переходилъ въ крикъ.—Ты сознался... что, дѣлая этотъ скандалъ... имѣлъ въ виду меня. Да? Значитъ, это что же?—месть мнѣ? Я тебя спрашиваю—за что? Ты понимаешь это? Можешь ты мнѣ отвѣтить?

Гвоздевъ передернулъ плечами, скривилъ губы и, опустивъ голову, помолчалъ съ минуту. Издатель нетерпѣливо притоптывалъ ногой, метранпажъ вытянулъ впередъ шею, а редакторъ кусалъ губы и нервно хрустѣлъ пальцами. Всѣ ждали.

— Я, пожалуй, скажу... Только, какъ я необразованный человѣкъ, то, пожалуй, непонятно будетъ... Ну, ужъ извините тогда!.. Вотъ, стало быть, въ чемъ дѣло. Вы пишите разныя статьи, человѣколюбіе всѣмъ совѣтуете и прочее такое... Не умѣю я сказать вамъ все это подробно—грамоту плохо знаю... Вы, чай, сами знаете, про что рѣчи ведете каждый день... Ну, вотъ, я и читаю эти ваши статьи. Вы про нашего брата рабочаго толкуете... а я все читаю... И противно мнѣ читать, потому что все это пустяки одни. Одни слова безстыжія, Митрій Павлычъ!.. потому что вы пишете—не грабь, а въ типографіи-то у васъ что? Кирьяковъ на прошлой недѣлѣ работалъ три съ половиной дня, выработалъ три восемь гривенъ и захворалъ. Жена приходитъ въ контору за деньгами, а управляющій ей говоритъ, что не ей дать, а съ нея нужно рубль двадцать получить—штрафу. Вотъ-те и не грабь! Вы что же про эти порядки

не пишете? И какъ управляющій лается и мальчишекъ дуетъ за всякую малость?.. Вамъ этого нельзя писать, потому что вы и сами-то этой же политики держитесь... Пишите, что людямъ плохо жить на свѣтѣ—и потому вы, я вамъ скажу, все это пишете, что ничего больше дѣлать не умѣете. Вотъ и все... И потому подъ носомъ у себя вы никакихъ звѣрствъ не видите, а про турецкія звѣрства очень хорошо разсказываете. Развѣ это не пустяки—статьи-то ваши? Давно ужъ мнѣ хотѣлось, стыда вашего ради, истинныя слова въ ваши статьи вклеить. И не такъ бы еще надо.

Гвоздевъ гордо выпятилъ грудь, высоко поднялъ голову и, не скрывая своего торжества, въ упоръ смотрѣлъ на редактора. А редакторъ плотно прижался къ столу, вцѣпившись въ него руками, откинулся назадъ и то блѣднѣлъ, то краснѣлъ и все улыбался презрительно и смущенно, зло и болѣзненно. Широко открытые глаза его часто моргали.

— Соціалистъ?—съ боязнью и интересомъ спросилъ издатель, вполголоса обращаясь къ редактору. Тотъ болѣзненно улыбнулся, но ничего не отвѣтилъ и склонилъ голову.

Метранпажъ ушелъ къ окну, гдѣ стояла кадка съ громаднымъ филодендрономъ, бросавшая на полъ комнаты тѣневой узоръ, сталъ за кадку и смотрѣлъ оттуда на всѣхъ маленькими черными и подвижными, какъ у мыши, глазами. Въ нихъ было какое-то нетерпѣливое ожиданіе и порой вспыхивалъ радостный огонекъ. Издатель смотрѣлъ на редактора. Тотъ почувствовалъ это, поднялъ голову и съ безпокойнымъ блескомъ въ глазахъ, съ нервной дрожью въ лицѣ крикнулъ вслѣдъ уходившему Гвоздеву:

— Позвольте.... постойте! Вы оскорбили меня. Но вы не въ правѣ... я надѣюсь, вы это чувствуете? Я благодаренъ вамъ за... в-вашу... прямоту, съ которой вы высказались, но, повторяю...

Онъ хотѣлъ говорить съ ироніей, но вмѣсто ироніи въ словахъ его звучало что-то блѣдное и фальшивое, и онъ сдѣлалъ паузу, желая настроить себя къ отпору, достойному и его, и этого судьи, о правѣ котораго судить его, редактора, онъ никогда еще не думалъ.

— Извѣстно! — качнулъ головой Гвоздевъ. — Тотъ только и правъ, кто много сказать можетъ.

И, стоя въ дверяхъ, онъ оглянулся вокругъ себя съ такимъ выраженіемъ на лицѣ, которое ясно показывало его нетерпѣливое желаніе уйти отсюда.

— Нѣтъ, позвольте! — повышая тонъ и поднимая руку кверху, заявилъ редакторъ.—Вы выдвинули противъ меня обвиненіе, а раньше этого самовольно наказали меня за мою яко бы вину предъ вами... Я имѣю право защищаться и я прошу васъ слушать...

— Да вамъ какое до меня дѣло? Вы передъ издателемъ защищайтесь, коли нужно. А со мной-то о чемъ говорить? Обидѣлъ я васъ, такъ къ мировому тащите. А то—защищаться! Прощайте!—онъ круто поворотился и, заложивъ руки за спину, пошелъ изъ залы.

На ногахъ у него были тяжелые сапоги съ большими каблуками, онъ громко стучалъ ими, и шаги его гулко раздавались въ большой, сараеобразной комнатѣ редакціи.

— Вотъ такъ исторія съ географіей!—воскликнулъ издатель, когда Гвоздевъ захлопнулъ за собою дверь.

— Василій Ивановичъ, я тутъ не при чемъ, въ этомъ дѣлѣ... — заговорилъ метранпажъ, виновато разводя руками, и осторожными коротенькими шагами подошелъ къ издателю. — Я верстаю наборъ и никакъ не могу знать, что мнѣ туда дежурный сунетъ. Я-съ цѣлую ночь на ногахъ... нахожусь здѣсь, а дома у меня жена хвораетъ, дѣти безъ присмотра... трое... Я, можно сказать, кровью истекаю за тридцать рублей въ мѣсяць-то... А Федору Павловичу, когда они нанимали Гвоздева, я говорилъ: „Федоръ Павловичъ, говорю, я

Николку съ мальчишекъ знаю и долженъ вамъ сказать, что Николка озорникъ и воръ, безъ совѣсти человѣкъ. Его ужъ у мирового судили, говорю, сидѣлъ въ тюрьмѣ даже...

— За что сидѣлъ?—задумчиво спросилъ редакторъ, не глядя на разсказчика.

— За голубей-съ... т.-е. не за голубей, а за взломы замковъ. Въ семи голубятняхъ сломалъ замки въ одну ночь-съ... и всѣ охоты выпустилъ на волю—всю птицу разогналъ-съ! И у меня тоже пара смурыхъ, одинъ турманъ съ игрой, да скобарь такъ и пропали. Очень цѣнныя птицы.

— Укралъ?—любопытно освѣдомился издатель.

— Нѣтъ, этимъ не балуется. Судился и за воровство, да оправдали. Такъ онъ—озорникъ... Распустилъ птицу и радъ, и надсмѣхается надъ нами, охотниками... Били ужъ его не однажды. Разъ послѣ битья въ больницѣ даже лежалъ... А вышелъ—у кумы моей въ печи чертей развелъ.

— Чертей?—изумился издатель.

— Чушь какая! — пожалъ плечами редакторъ, наморщивъ лобъ, и, снова кусая губы, задумался.

— Это совершенная истина, только сказалъ не такъ,—сконфузился метранпажъ. — Онъ, видите, печникъ, Николка-то. Онъ на всѣ руки: по литографской части смекаетъ, граверъ, водопроводчикомъ былъ тоже... Такъ вотъ кума—у нея свой домъ, она изъ духовнаго званія—и наняла его печь переложить. Ну, онъ переложилъ все, какъ слѣдуетъ; но только, подлый человѣкъ, въ стѣну-то печи вмазалъ бутылку со ртутью и съ иголками... и еще чего-то кладется тамъ. Отъ этого происходитъ звукъ—особый этакій, знаете, какъ бы стонъ и вздохъ, и тогда говорятъ — черти въ домѣ завелись. Печь-то вытопятъ, ртуть въ бутылкѣ нагрѣется и пойдетъ тамъ бродить. А иголки по стеклу скребутъ, точно зубомъ кто скрипитъ. Кромѣ иголокъ, еще разныя же-

лѣзины въ ртуть кладутъ, и отъ нихъ тоже разные звуки — иголка по-своему, гвоздь по-своему, и выходитъ этакая чертовская музыка... Кума даже продать хотѣла домъ, да никто не покупаетъ,—кому понравится съ чертями-съ? Три молебна съ водосвятіемъ служила— не помогаетъ. Реветъ женщина, дочь у нея невѣста, куръ головъ до ста, двѣ коровы, хорошее хозяйство... и вдругъ черти! Билась, билась, смотрѣть жалко. Николка же ее и спасъ, можно сказать. Давай, говоритъ, пятьдесятъ цѣлковыхъ—выгоню чертей! Она ему сначала четвертную дала, а потомъ—какъ онъ вытащилъ бутылку, да дознались, въ чемъ дѣло — ну и прощай! Очень сообразительная женщина, въ судъ хотѣла подать, но ей отсовѣтовали... И еще за нимъ многія художества водятся.

— И за одно изъ этихъ милыхъ „художествъ" съ завтрашняго дня я буду расплачиваться. Я?! — нервно воскликнулъ редакторъ и, сорвавшись съ мѣста, снова началъ метаться по комнатѣ.—О, Боже мой! Какъ глупо, грубо, пошло все это...

— Ну-у, очень ужъ вы! — успокоительно сказалъ издатель. — Сдѣлаете поправку, объясните, почему это вышло... Малый-то больно интересный, прахъ его возьми. Чертей въ печку насажалъ, ха-ха! Нѣтъ, ей Богу! Проучить мы его проучимъ, но мерзавецъ съ умомъ и возбуждаетъ къ себѣ что-то этакое... знаете! — издатель щелкнулъ надъ головой пальцами и кинулъ взглядъ въ потолокъ.

— Васъ это занимаетъ, да?—рѣзко крикнулъ редакторъ.

— Ну, такъ что? Развѣ не смѣшно? И васъ онъ довольно основательно расписалъ. Съ умомъ, бестія! — отплатилъ издатель редактору за окрикъ. — По какой статьѣ вы съ нимъ считаться-то намѣрены?

Редакторъ быстро подбѣжалъ вплоть къ издателю.

— Считаться я съ нимъ не буду-съ! Не могу-съ,

Василій Ивановичъ, потому что этотъ фабрикантъ чертей правъ! У васъ въ типографіи чортъ знаетъ что творится, вы слышали? А мы!.. а я играю дурака по вашей милости. Онъ тысячу разъ правъ!

— И въ томъ добавленіи, которое внесъ въ вашу статейку?—ѣдко спросилъ издатель и иронически поджалъ губы.

— Ну такъ что жъ? И въ этомъ, да! Вы поймите, Василій Ивановичъ, мы вѣдь либеральная газета...

— Печатаемая въ двухъ тысячахъ экземпляровъ, считая безплатные и обмѣнные, — сухо вставилъ издатель. — А нашъ конкурентъ въ девяти тысячахъ расходится!

— Н-ну-съ?

— Больше ничего.

Редакторъ безнадежно махнулъ рукой и снова съ потускнѣвшими глазами сталъ ходить взадъ и впередъ по залѣ.

— Прелестное положеніе!—бормоталъ онъ, пожимая плечами.—Какая-то универсальная травля! Всѣ собаки на одну, а эта въ намордникѣ. Ха-ха! И этотъ несчастный р-рабочій! О, Боже мой!

— Да плюньте, батенька, не волнуйтесь! — посовѣтовалъ вдругъ Василій Ивановичъ, добродушно усмѣхаясь, какъ бы утомившись волненіями и пререканіями. — Пришло и пройдетъ, и честь свою вновь возстановите. Дѣло гораздо больше смѣшное, чѣмъ драматическое.

Онъ миролюбиво протянулъ редактору свою пухлую руку и пошелъ-было изъ залы въ контору.

Вдругъ дверь въ контору растворилась и на порогѣ явился Гвоздевъ. Онъ былъ въ картузѣ и не безъ нѣкоторой любезности улыбался.

— Я пришелъ сказать вамъ, господинъ редакторъ, что ежели вы хотите со мной судиться, то скажите—потому я отсюдова уѣду, ну а по этапу возвращаться неохота.

— Убирайся вонъ! — чуть не рыдая отъ бѣшенства, взвылъ редакторъ и бросился въ глубину комнаты.

— Значитъ, квитъ, — сказалъ Гвоздевъ, поправилъ на головѣ картузъ и, спокойно обернувшись на порогѣ, исчезъ.

— О-о, бестія! — съ восхищеніемъ выдохнулъ изъ себя Василій Ивановичъ вслѣдъ Гвоздеву и, блаженно улыбаясь, не спѣша сталъ надѣвать пальто.

Дня черезъ два послѣ описаннаго, Гвоздевъ въ синей блузѣ, подпоясанной ремнемъ, въ брюкахъ навыпускъ, въ ярко начищенныхъ ботинкахъ, въ бѣломъ картузѣ, надѣтомъ набекрень и на затылокъ, и съ суковатой палкою въ рукѣ, степенно гулялъ по „Горѣ“.

Гора представляла собою пологій спускъ къ рѣкѣ. Въ давнія времена на спускѣ этомъ стояла густая роща. Теперь почти вся она была вырублена и лишь кое-гдѣ могучіе, корявые дубы и вязы, поломанные грозами, вздымали къ небу свои старые дуплистые стволы, широко раскинувъ узловатые сучья. У корней ихъ вилась молодая поросль, кустарники льнули къ стволамъ, и всюду среди зелени гуляющая публика протоптала извилистыя тропы, сползавшія внизъ къ рѣкѣ, облитой сіяніемъ солнца. Горизонтально пересѣкая „Гору“, шла широкая аллея — заброшенный почтовый трактъ — и по ней-то, главнымъ образомъ, гуляла публика, расхаживая въ два ряда, одинъ навстрѣчу другому.

Гвоздеву всегда очень нравилось бродить взадъ и впередъ по этой аллеѣ вмѣстѣ съ публикой и чувствовать себя такимъ же, какъ и всѣ, такъ же свободно вдыхать воздухъ, напитанный запахомъ листвы, такъ же свободно и лѣниво двигаться, быть частью чего-то большого и чувствовать себя равнымъ со всѣми.

Въ этотъ день онъ былъ чуть-чуть навеселѣ, и его рѣшительное рябое лицо смотрѣло добродушно и общи-

тельно. Съ лѣваго виска его вились кверху русые вихры. Красиво оттѣняя ухо, они лежали на околышѣ фуражки, придавая Гвоздеву ухарскій видъ молодчины мастерового, который доволенъ собой, хоть сейчасъ готовъ спѣть, поплясать и подраться и во всякую минуту непрочь выпить. Этими характерными вихрами сама природа точно желала рекомендовать всѣмъ Николая Гвоздева, какъ малаго съ огонькомъ и знающаго себѣ цѣну. Одобрительно поглядывая вокругъ себя прищуренными сѣрыми глазами, Гвоздевъ миролюбиво толкалъ публику, безъ претензіи сносилъ ея толчки, наступая дамамъ на шлейфы, вѣжливо извинялся, глоталъ вмѣстѣ со всѣми густую пыль и чувствовалъ себя прекрасно.

Сквозь листву деревьевъ видно было, какъ за рѣкой въ лугахъ садилось солнце. Небо было тамъ пурпурное, теплое и ласковое, манившее туда, гдѣ оно касалось краемъ темной зелени луговъ. Подъ ноги гуляющимъ ложились узорныя тѣни, и толпа людей наступала на нихъ, не замѣчая ихъ красоты. Франтовато засунувъ въ лѣвый уголъ губъ папиросу и лѣниво выпуская изъ праваго струйки дыма, Гвоздевъ присматривался къ публикѣ, очущая въ себѣ настоятельное желаніе потолковать съ кѣмъ-нибудь за парой пива въ ресторанѣ, внизу „Горы“. Знакомыхъ никого не встрѣчалось, а свести новое знакомство не было подходящаго случая; публика, несмотря на праздникъ и ясный весенній день, была почему-то хмурая и не отвѣчала на его общительное настроеніе, хотя онъ уже не разъ заглядывалъ въ лица людей, шедшихъ рядомъ съ нимъ, съ добродушной улыбкой и съ выраженіемъ полной готовности вступить въ бесѣду. Вдругъ передъ его глазами, въ массѣ затылковъ мелькнулъ хорошо знакомый гладко остриженный и плоскій, точно стесанный, затылокъ редактора—Дмитрія Павловича Истомина. Гвоздевъ улыбнулся, вспомнивъ, какъ онъ отдѣлалъ этого человѣка, и съ

удовольствіемъ сталъ смотрѣть на сѣрую низенькую шляпу Дмитрія Павловича. Иногда шляпа редактора скрывалась за другими шляпами, и это почему-то безпокоило Гвоздева; онъ приподнимался на носки, высматривая ее, находилъ и снова улыбался.

Такъ, слѣдя за редакторомъ, онъ шелъ и вспоминалъ о томъ времени, когда онъ, Гвоздевъ, былъ Николкой слесаревымъ, а редакторъ — Митькой дьяконицынымъ. У нихъ былъ еще товарищъ Мишка, прозванный ими Сахарницей. Былъ еще Васька Жуковъ, чиновниковъ сынъ изъ крайняго въ улицѣ дома. Хорошій домъ былъ—старый, весь поросшій мхомъ, весь облѣпленный пристройками. У Васькина отца была прекрасная голубиная охота. На дворѣ дома ловко было играть въ прятки, потому что Васькинъ отецъ скупой былъ и берегъ на дворѣ всякій хламъ — какія-то изломанныя кареты бочки, ящики. Теперь Васька врачомъ въ уѣздѣ, а на мѣстѣ стараго дома стоятъ желѣзнодорожные пакгаузы... Были и еще товарищи, все мальчишки лѣтъ по восьми—десяти. Всѣ они обитали тогда на окраинѣ города, въ Задней Мокрой улицѣ, жили дружно между собой и въ постоянной враждѣ съ мальчишками другихъ улицъ. Опустошали сады и огороды, играли въ бабки, въ шаръ-мазло и другія игры, учились въ приходскомъ училищѣ... Съ той поры прошло лѣтъ двадцать...

Было время и—прошло, были мальчишки—такіе же озорные и чумазые, какъ и Николка слесаревъ, — и стали теперь важными людьми. А Николка слесаревъ застрялъ въ Задней Мокрой. Они, кончивъ приходское училище, въ гимназію попали,—онъ не попалъ... А что если заговорить съ редакторомъ? Поздороваться и начать разговоръ? Начать съ того, что извиниться за скандалъ, и потомъ поговорить — такъ, вообще, про жизнь...

Шляпа редактора все мелькала передъ глазами Гвоздева, какъ бы подманивая его къ себѣ, и Гвоздевъ рѣ-

шился. Какъ разъ въ это время редакторъ шелъ одинъ въ свободномъ пространствѣ, образовавшемся среди публики. Онъ шагалъ своими тонкими ногами въ свѣтлыхъ брюкахъ, голова то и дѣло повертывалась изъ стороны въ сторону, близорукіе глаза щурились, разсматривая публику. Гвоздевъ почти поровнялся съ нимъ и сбоку любезно заглядывалъ ему въ лицо, ожидая удобнаго момента, чтобы поздороваться, и въ то же время ощущая острое желаніе знать, какъ отнесется къ нему редакторъ.

— Здравствуйте, Митрій Павловичъ!

Редакторъ обернулся къ нему, одной рукой приподнялъ шляпу, другой поправилъ очки на носу, разглядѣлъ Гвоздева и нахмурился.

Но это не обезкуражило Николая Гвоздева,—напротивъ, онъ пріятнѣйшимъ манеромъ нагнулся къ редактору и, обдавъ его запахомъ водки, спросилъ:

— Прогуливаетесь?

Редакторъ на секунду остановился; губы и ноздри его брезгливо дрогнули, и онъ сухо кинулъ Гвоздеву:

— Что вамъ угодно?

— Мнѣ? Ничего! Такъ я это... хорошо сегодня! И очень желательно мнѣ поговорить съ вами насчетъ этого происшествія.

— Я не желаю съ вами ни о чемъ говорить! — заявилъ редакторъ, ускоряя шагъ.

Гвоздевъ сдѣлалъ то же.

— Не желаете? Понимаю... Вы въ вашемъ правѣ, я это очень хорошо понимаю... Какъ я васъ сконфузилъ, то, конечно, вы должны имѣть противъ меня зубъ...

— Вы, просто... вы пьяны...—снова остановился редакторъ.—И если вы не оставите меня въ покоѣ, я полицію приглашу.

Гвоздевъ ласково засмѣялся:

— Ну, зачѣмъ же?

Редакторъ искоса посмотрѣлъ на него тоскливымъ

взглядомъ человѣка, попавшаго въ непріятное положеніе и не знающаго, какъ изъ него выйти. Публика уже смотрѣла на нихъ съ любопытствомъ. Истоминъ безсильно оглядывался вокругъ.

Гвоздевъ замѣтилъ это.

— Давайте свернемъ,—сказалъ онъ,—и, не дожидаясь согласія, ловко оттеръ Истомина плечомъ въ сторону съ широкой аллеи на узкую тропу, спускавшуюся между кустарниковъ внизъ по горѣ.

Редакторъ не выразилъ протеста противъ этого маневра, — можетъ быть, потому, что не успѣлъ, а можетъ — потому, что внѣ публики, одинъ на одинъ, надѣялся скорѣе и проще избавиться отъ своего собесѣдника. Онъ тихонько, осторожно упираясь палкой въ землю, шелъ внизъ по тропинкѣ, а Гвоздевъ слѣдовалъ за нимъ и дышалъ ему на шляпу.

— Вотъ тутъ близко есть одно дерево упавшее, мы и сядемъ... Вы, Митрій Павловичъ, не сердитесь на меня за этотъ мой поступокъ. Извините! Я вѣдь это со зла... Нашего брата иногда такое зло разбираетъ, что и виномъ не зальешь... Ну, въ такую вотъ пору и созорничаешь надъ кѣмъ-нибудь: прохожему въ рыло дашь или что другое... Я не каюсь — что сдѣлано, то сдѣлано, но, можетъ, я даже очень хорошо понимаю, что сдѣлалъ-то не совсѣмъ въ мѣру... Перехватилъ.

Тронуло-ли редактора это искреннее объясненіе и личность Гвоздева возбудила въ немъ любопытство, или онъ понялъ, что ему не отдѣлаться отъ этого человѣка, но онъ спросилъ Гвоздева:

— О чемъ же вы хотите говорить?

— А такъ... обо всемъ! Скорбитъ душа у меня, потому что обиду я чувствую себѣ... Вотъ тутъ сядемте.

— Мнѣ некогда...

— Знаю я... газета! Уѣстъ она вамъ половину жизни, все здоровье на нее просадите. Я вѣдь понимаю! Онъ, издатель-то, что? У него въ газетѣ деньги, а у

васъ—кровь! Глаза-то вы ужъ прописали себѣ... Садитесь!

Предъ ними вдоль тропы лежалъ большой пень—полусгнившій остатокъ когда-то могучаго дуба. Вѣтви орѣшника наклонились надъ деревомъ, образуя зеленый навѣсъ; сквозь вѣтви просвѣчивало небо, уже облеченное въ краски заката; пряный запахъ свѣжей листвы наполнялъ воздухъ. Гвоздевъ сѣлъ и, обращаясь къ редактору, который все еще стоялъ, нерѣшительно оглядываясь, опять заговорилъ:

— Выпилъ я сегодня немного... Скучно мнѣ жить, Митрій Павловичъ! Отъ своихъ товарищей рабочихъ отсталъ я какъ-то, совсѣмъ у меня другое направленіе мысли. Увидалъ я сегодня васъ и вспомнилъ, что вѣдь и вы товарищемъ мнѣ были... ха, ха!

Онъ засмѣялся, потому что редакторъ смотрѣлъ на него съ такой быстрой смѣной выраженій на лицѣ, которая дѣлала его дѣйствительно смѣшнымъ.

— Товарищемъ? Когда?

— А давно ужъ, Митрій Павловичъ... Тогда мы еще въ Задней Мокрой существовали... помните? Черезъ дворъ другъ отъ друга. А противъ насъ Мишка Сахарница—по нынѣшнимъ временамъ Михаилъ Ефимовичъ Хрулевъ, слѣдователь судебный—изволили имѣть мѣсто жительства при своемъ строгомъ батюшкѣ... Помните Ефимыча? Часто онъ насъ съ вами за вихры трясъ... Да вы сядьте!

Редакторъ утвердительно кивнулъ головой и сѣлъ рядомъ съ Гвоздевымъ. Онъ смотрѣлъ на него напряженнымъ взглядомъ человѣка, вспоминающаго нѣчто давно и прочно забытое, и теръ себѣ лобъ.

А Гвоздевъ увлекался воспоминаніями.

— Житье было у насъ тогда! И почему только человѣкъ на всю жизнь ребенкомъ не остается? Растетъ... зачѣмъ? Потомъ врастаетъ въ землю. Несетъ всю свою жизнь несчастія разныя... озлится, озвѣрѣетъ... чепуха!

Живетъ, живетъ и—въ концѣ всей жизни одни пустяки... Гробъ и... больше ничего... А тогда мы, бывало, жили безъ всякой темной мысли, весело,—птички — и все тутъ! Порхали черезъ заборы по чужіе плоды трудовъ... Помните, я вамъ однажды въ огородѣ у Петровны на воровскомъ дѣлѣ въ носъ огурцомъ закатилъ? Вы крикъ подняли, а я—драла... Вы съ мамашей къ моему отцу приходили съ жалобой, и отецъ меня выпоролъ, какъ слѣдуетъ быть... А Мишка, Михаилъ Ефимовичъ...

Редакторъ слушалъ и, помимо воли, улыбался. Ему хотѣлось бы сохранить серьезность и достоинство предъ этимъ человѣкомъ, проявлявшимъ наклонность къ фамильярничанью. Но въ этихъ разсказахъ о ясныхъ дняхъ дѣтства было что-то трогательное и въ тонѣ Гвоздева пока еще не особенно рѣзко звучали ноты, угрожавшія самолюбію Дмитрія Павловича. Да и кругомъ было хорошо. Гдѣ-то вверху шаркали ноги гуляющей публики по песку дорожки, чуть доносились голоса, иногда звучалъ смѣхъ; но вздыхалъ вѣтеръ—и всѣ эти слабые звуки тонули въ меланхоличномъ шорохѣ листвы. А когда шорохъ замиралъ, были моменты полной тишины, точно все кругомъ чутко прислушивалось къ словамъ Николая Гвоздева, сбивчиво разсказывавшаго повѣсть о юности...

— Помните Варьку, маляра Колокольцова дочь? Теперь она замужемъ за типографщикомъ Шапошниковымъ. Такая барыня—мимо идти страшно... Тогда она дѣвчурочка хворая была... Помните, пропала она однажды, и всѣ мы мальчишки со всей улицы по полю да по оврагамъ искали ее! Въ лагеряхъ нашли и вели ее полемъ домой... Шуму было — страсть! Колокольцовъ пряниками угостилъ, а Варька, увидавши мать свою, сказала: „а я была у барыни офицеровой, и она меня въ дочки къ себѣ зоветъ!“ Хе, хе!... Въ дочки!.. Славная дѣвчурка была...

Съ рѣки доносились какіе-то звуки, словно тихо охала чья-то могучая, тоскующая грудь. Пароходъ шелъ и въ воздухѣ плылъ шумъ воды, разбиваемой его колесами. Небо было розовое, а вокругъ Гвоздева съ редакторомъ сгущался сумракъ. Медленно наступала весенняя ночь. Тишина становилась полной, глубокой, и, какъ бы подчиняясь ей, Гвоздевъ понизилъ голосъ... Редакторъ молча слушалъ его, вызывая въ своей памяти смутныя картины давно минувшаго. Все это было...

— Такъ вотъ, Митрій Павловичъ, значитъ, оно и выходитъ, что я одного съ вами гнѣзда птица... Да! А полеты у насъ разные... И какъ вспомню я, что вѣдь вся разница между мной и моими товарищами бывшими только въ томъ, что не сидѣлъ я въ гимназіи за книгами,—горько мнѣ и тошно бываетъ... Развѣ въ этомъ человѣкъ? Въ душѣ онъ, въ чувствахъ къ ближнему своему, какъ сказано... Ну вотъ — вы мои ближній, а какую я цѣну имѣю для васъ? Никакой — вѣрно?

Редакторъ, увлеченный своими мыслями, не разслышалъ, должно быть, вопроса своего собесѣдника.

— Вѣрно!—сказалъ онъ тономъ искреннимъ и разсѣяннымъ.

Но Гвоздевъ захохоталъ, и онъ спохватился:

— Т.-е. позвольте? Что, собственно, вѣрно?

— Вѣрно, что я для васъ — пустое мѣсто... Есть я или нѣтъ меня, вамъ все равно — наплевать. Зачѣмъ вамъ душа моя? Живу я одинъ на свѣтѣ и всѣмъ людямъ, меня знающимъ, очень надоѣлъ. Потому—у меня характеръ злой, и очень я люблю разные фокусы выкидывать. Однако, у меня чувства вѣдь тоже есть и умъ есть... Я чувствую обиду въ моемъ положеніи. Чѣмъ я хуже васъ? Только моимъ занятіемъ...

— Д-да... это печально!—сказалъ редакторъ, наморщивъ лобъ, сдѣлалъ паузу и продолжалъ какимъ-то

успокоивающимъ тономъ:—Но видите ли, тутъ нужно примѣнить другую точку зрѣнія...

— Митрій Павловичъ! Зачѣмъ точка зрѣнія? Ни съ точки зрѣнія человѣкъ человѣку вниманіе долженъ оказывать, а по движенію сердца. Что такое точка зрѣнія? Я говорю про несправедливость жизни. Развѣ можно меня съ какой-нибудь точки забраковать? А я забракованъ въ жизни — нѣтъ мнѣ въ ней хода... Почему-съ? Потому, что не ученъ? Такъ вѣдь ежели бы вы, ученую, не съ точекъ зрѣнія разсуждали, а какъ-нибудь иначе — должны вы меня, вашего поля ягоду, не забыть и извлечь вверхъ къ вамъ снизу, гдѣ я гнію въ невѣжествѣ и озлобленіи моихъ чувствъ? Или — съ точки зрѣнія — не должны?

Гвоздевъ прищурилъ глазъ и торжествуя посмотрѣлъ въ лицо своего собесѣдника. Онъ чувствовалъ себя въ ударѣ и выпускалъ изъ себя всю свою философію, придуманную въ долгіе годы своей трудовой, безалаберной и безплодной жизни. Редакторъ былъ смущенъ натискомъ своего собесѣдника и старался одновременно опредѣлить—что это за человѣкъ и что ему возразить на его рѣчь. А Гвоздевъ въ упоеніи самимъ собой продолжалъ:

— Вы люди умные, сто отвѣтовъ мнѣ дадите, и все будетъ — нѣтъ, не должны! А я говорю — должны! Почему? Потому что я и вы люди изъ одной улицы и одного происхожденія... Вы не настоящіе господа жизни, не дворяне... Съ тѣхъ нашему брату взятки гладки. Тѣ скажутъ: „пшелъ къ чорту!“ — и пойдешь. Потому — они издревле аристократы, а вы потому аристократы, что грамматику знаете и прочее... Но вы — свой братъ, и я могу требовать съ васъ указанія пути моей жизни. Я мѣщанинъ, и Хрулевъ тоже, и вы — дьяконовъ сынъ...

— Но, позвольте... — просительно сказалъ редакторъ, — развѣ я отрицаю ваше право требовать?..

Но Гвоздеву совсѣмъ не интересно было знать, что отрицаетъ и что признаетъ редакторъ; ему нужно было высказаться, и онъ чувствовалъ себя въ этотъ моментъ способнымъ сказать все, что когда-либо волновало его.

— Нѣтъ, вы позвольте! — уже какимъ-то таинственнымъ шопотомъ говорилъ онъ, близко склоняясь къ редактору и блестя возбужденными глазами.—Какъ вы думаете, легко мнѣ теперь работать на моихъ товарищей, которымъ я встарину носы расквашивалъ? Легко мнѣ съ господина судебнаго слѣдователя Хрулева, у котораго я съ годъ тому назадъ ватерклозетъ устанавливалъ, сорокъ копеекъ на чай получить? Вѣдь онъ человѣкъ одного со мною ранга... и было его имя Мишка Сахарница... у него зубы гнилые и посейчасъ, какъ тогда были...

Редакторъ задумчиво смотрѣлъ на него сбоку и молча соображалъ,—что же сказать этому парню? Нужно сказать что-нибудь хорошее, правдивое и искреннее. Но у Дмитрія Павловича Истомина ничего нужнаго въ данный моментъ не нашлось ни въ головѣ, ни въ сердцѣ. Давно уже всякіе идейные и выспренніе разговоры по „вопросамъ“ вызывали въ немъ чувство скуки и утомленія. Онъ вышелъ сегодня отдохнуть, нарочно избѣгалъ встрѣчъ съ знакомыми—и вдругъ этотъ человѣкъ со своими рѣчами. Конечно, въ его рѣчахъ, какъ и во всемъ, что говорятъ люди, есть нѣкоторая доля правды. Онѣ любопытныя и могли бы послужить очень интересной темой для фельетона...

— Все, что вы сказали, — не ново, знаете, — началъ онъ. — О несправедливости отношеній человѣка къ человѣку давно идетъ рѣчь... Но, пожалуй, эти ваши рѣчи являются новостью—въ томъ смыслѣ, что раньше ихъ говорили люди иного сорта... Вы нѣсколько односторонне и невѣрно формулируете ваши думы... но...

— Опять ваша точка зрѣнія! — усмѣхнулся Гвоздевъ. — Эх-ма, господа, господа! Умомъ-то вы награ-

ждены, а сердце-то видно померло... Вы мнѣ скажите что-нибудь такое, чтобы сразу по недугу мнѣ пришлось... вотъ!

Онъ сказалъ это и, опустивъ голову, ждалъ отвѣта.

Истоминъ снова посмотрѣлъ на него, наморщивъ лобъ и ощущая сильное желаніе уйти. Ему казалось, что Гвоздевъ пьянѣетъ и оттого такъ раскисъ послѣ своихъ возбужденныхъ рѣчей. Онъ смотрѣлъ на бѣлую фуражку, съѣхавшую на затылокъ, на рябую щеку и задорный вихоръ Гвоздева, смѣрилъ взглядомъ всю его сильную жилистую фигуру и подумалъ про него, что это очень типичный рабочій, и если бъ...

— Такъ что же?—спросилъ Гвоздевъ.

— Да что же я могу вамъ сказать? Откровенно говоря, я не совсѣмъ ясно представляю себѣ, что именно хотѣли бы вы...

— То-то вотъ и есть!.. Ничего вы мнѣ не можете отвѣтить,—усмѣхнулся Гвоздевъ.

Редакторъ облегченно вздохнулъ, справедливо предполагая, что разговоръ оконченъ и Гвоздевъ уже не будетъ больше къ нему приставать съ вопросами... И вдругъ онъ подумалъ:

— А что, какъ онъ побьетъ меня? Онъ такой злой.

Ему вспомнилось выраженіе лица Гвоздева тамъ, въ редакціи, во время этой глупой сцены. И онъ подозрительно покосился на него.

Было уже темно. Тишина прерывалась звуками пѣсни, долетавшей издалека съ рѣки. Пѣли хоромъ, и теноровые голоса слышались совсѣмъ ясно. Большіе жуки, металлически звеня, носились въ воздухѣ. Сквозь листву деревьевъ видны были звѣзды... Иногда та или другая вѣтка надъ головами отчего-то вздрагивала, и слышалось тихое трепетаніе листьевъ.

— А вѣдь роса будетъ...—сказалъ редакторъ съ осторожностью.

Гвоздевъ вздрогнулъ и поворотился къ нему.

— Что вы сказали?

— Роса будетъ, говорю, вредно это...

— А-а!

Помолчали. На рѣкѣ раздался крикъ:

— Эй-й! На-а баржѣ-ѣ!...

— Я думаю идти. До свиданья!..

— А не распить ли намъ пару пива?—предложилъ вдругъ Гвоздевъ и, усмѣхаясь, добавилъ: — Окажите честь!

— Нѣтъ, извините, я въ это время не могу. И потомъ пора мнѣ, знаете...

Гвоздевъ всталъ съ дерева и угрюмо посмотрѣлъ на редактора.

Тотъ протягивалъ ему руку, тоже вставъ.

— Не желаете, значитъ, пить пива со мной?! Ну и чортъ съ вами!—отрубилъ Гвоздевъ, нахлобучивая свою фуражку рѣзкимъ жестомъ.—Аристократія! На грошъ пара! Я и одинъ напьюсь...

Редакторъ храбро повернулся спиной къ своему собесѣднику и пошелъ вверхъ по тропинкѣ, не говоря ни слова. Проходя мимо Гвоздева, онъ странно втянулъ голову въ плечи, точно боялся задѣть ею за что-нибудь. Гвоздевъ крупными шагами пошелъ внизъ по горѣ.

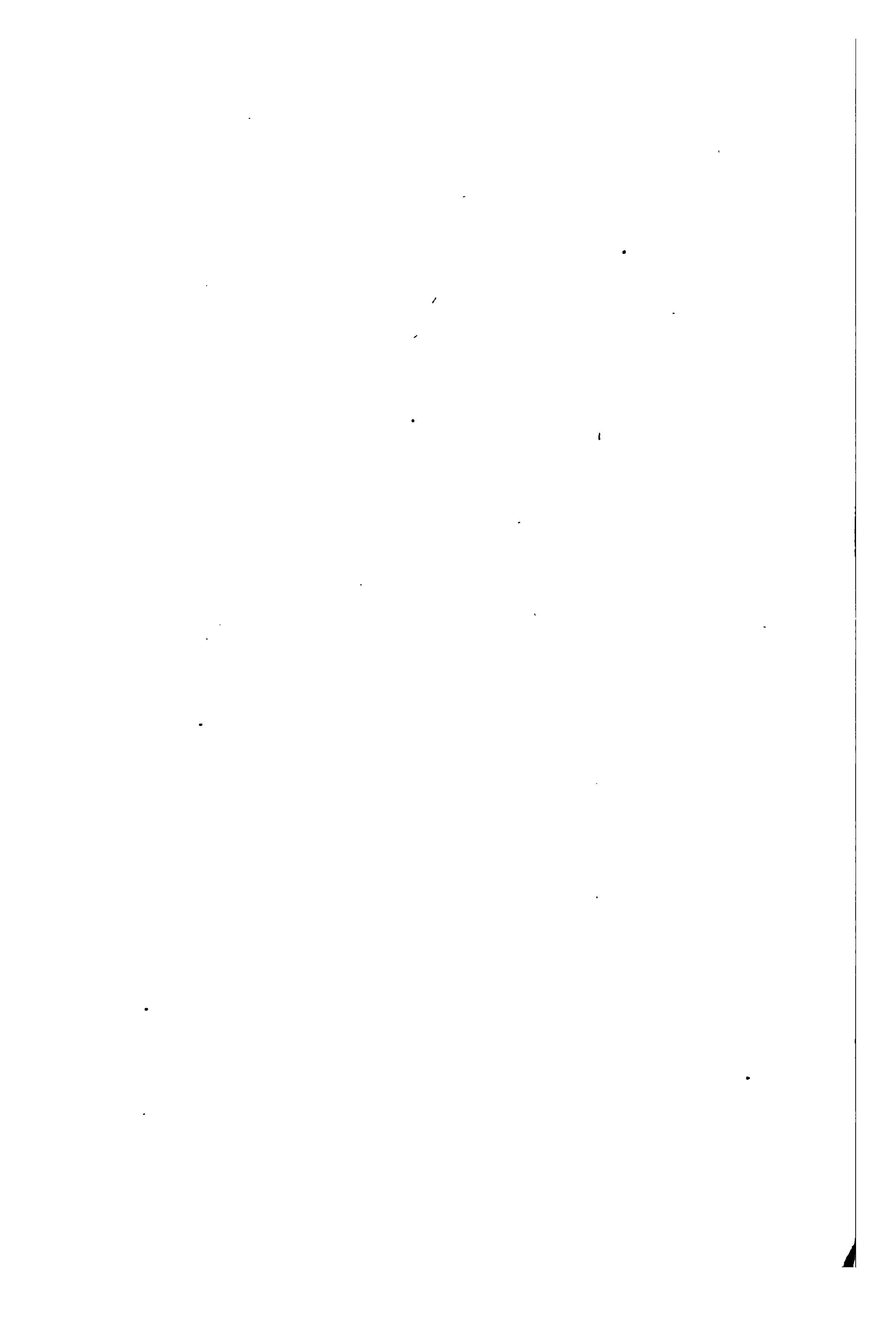
Съ рѣки доносился надрывавшійся голосъ:

— На баржѣ-ѣ! Черти-и! Да-а-вай лодку-у-у!

И среди деревьевъ разносилось тихое эхо:

— О-у-у-у!..





ВАРЕНЬКА ОЛЕСОВА.

(1897)

I.

...Черезъ нѣсколько дней послѣ назначенія приватъ-доцентомъ въ одинъ изъ провинціальныхъ университетовъ, Ипполитъ Сергѣевичъ Полкановъ получилъ телеграмму отъ сестры изъ ея имѣнія въ далекомъ лѣсномъ уѣздѣ, на Волгѣ.

Телеграмма кратко сообщала:

„Мужъ умеръ, ради Бога немедленно пріѣзжай помочь мнѣ. Елизавета“.

Этотъ тревожный призывъ непріятно взволновалъ Ипполита Сергѣевича, нарушая его намѣренія и настроеніе. Онъ уже рѣшилъ уѣхать на лѣто въ деревню къ одному изъ товарищей и много работать тамъ, чтобы съ честью приготовиться къ лекціямъ, а теперь вотъ нужно ѣхать за тысячу слишкомъ верстъ отъ Петербурга и отъ мѣста назначенія, чтобъ утѣшать женщину, потерявшую мужа, съ которымъ, судя по ея же письмамъ, ей жилось не сладко.

Послѣдній разъ онъ видѣлъ сестру года четыре тому назадъ, переписывался съ нею рѣдко, и между ними давно уже установились тѣ чисто формальныя отношенія, которыя такъ обычны между двумя родственниками, разъединенными разстояніемъ и несходствомъ

жизненныхъ интересовъ. Телеграмма вызвала у него воспоминаніе о мужѣ сестры. Это былъ добродушный и полный человѣкъ, любившій выпить и покушать. Лицо у него было круглое, покрытое сѣтью красныхъ жилокъ, а глазки веселые и маленькіе; онъ плутовато прищуривалъ лѣвый глазъ и, сладко улыбаясь, пѣлъ на сквернѣйшемъ французскомъ языкѣ:

„Regardez par ci, regardez par là..."

И Ипполиту Сергѣевичу было какъ-то неловко вѣрить, что этотъ веселый малый умеръ, потому что люди пошлые обыкновенно долго живутъ.

Сестра относилась къ слабостямъ этого человѣка съ полупрезрительнымъ снисхожденіемъ; какъ женщина не глупая, она понимала, что въ камень стрѣлять — только стрѣлы терять. И едва ли она сильно огорчена его смертью.

Но тѣмъ не менѣе отказать ей въ просьбѣ было бы неудобно. Работать можно и у нея не хуже, чѣмъ гдѣ-нибудь...

Ипполитъ Сергѣевичъ рѣшилъ ѣхать и недѣли черезъ двѣ, теплымъ іюньскимъ вечеромъ, утомленный сорокаверстнымъ путешествіемъ на лошадяхъ отъ пристани до деревни, онъ уже сидѣлъ за столомъ противъ сестры на террасѣ, выходившей въ паркъ, и пилъ вкусный чай.

У перилъ террасы пышно разрослись кусты сирени и акацій; косые лучи солнца, пробиваясь сквозь ихъ листву, дрожали въ воздухѣ тонкими золотыми лентами. Узорчатыя тѣни лежали на столѣ, тѣсно уставленномъ деревенскими яствами; воздухъ былъ полонъ запахомъ липы, сирени и влажной, согрѣтой солнцемъ земли. Въ паркѣ шумно щебетали птицы, иногда на террасу влетала пчела или оса и озабоченно жужжала, кружась надъ столомъ. Елизавета Сергѣевна брала въ руки салфетку и, досадливо размахивая ею въ воздухѣ, изгоняла пчелъ и осъ въ паркъ.

Ипполитъ Сергѣевичъ уже успѣлъ замѣтить, что сестра не особенно огорчена смертью мужа, что она смотритъ на него, брата, испытующе и, говоря съ нимъ, что-то скрываетъ отъ него. Онъ привыкъ думать о ней, какъ о женщинѣ, всецѣло поглощенной заботами о хозяйствѣ, разбитой неурядицами своей брачной жизни, и ожидалъ увидѣть ее нервной, блѣдной, утомленной. Но теперь, глядя на ея овальное лицо, покрытое здоровымъ загаромъ, спокойное, увѣренное и оживленное умнымъ блескомъ большихъ свѣтлыхъ глазъ, онъ чувствовалъ, что пріятно ошибся, и, слѣдя за ея рѣчами, старался подслушать и понять въ нихъ то, о чемъ она молчала.

— Я была подготовлена къ этому, — говорила она высокимъ и спокойнымъ контральто, и ея голосъ красиво вибрировалъ на верхнихъ нотахъ.—Послѣ второго удара онъ почти каждый день жаловался на колотья въ сердцѣ, перебои, безсонницу... Говорятъ, онъ тамъ очень волновался, кричалъ... а наканунѣ онъ ѣздилъ въ гости къ Олесову—тутъ есть одинъ помѣщикъ, полковникъ въ отставкѣ, пьяница и циникъ, разбитый подагрой. Кстати, у него есть дочь, — вотъ сокровище, я тебѣ скажу!.. Ты познакомишься съ ней...

— Если нельзя избѣжать этого, — вставилъ Ипполитъ Сергѣевичъ, съ улыбкой взглянувъ на сестру.

— Нельзя! Она часто бываетъ здѣсь... а теперь, конечно, будетъ еще чаще,—отвѣтила она ему улыбкой же.

— Ищетъ жениха? Я не гожусь для этой роли.

Сестра пристально посмотрѣла въ его лицо, овальное, худое, съ острой черной бородкой и высокимъ бѣлымъ лбомъ.

— Почему же не годишься? Я, конечно, говорю вообще, безъ всякой мысли объ этой Олесовой — ты поймешь почему, когда увидишь ее... но вѣдь ты думаешь же о женитьбѣ?..

— Пока еще нѣтъ,—кратко отвѣтилъ онъ, поднявъ

отъ стакана свои глаза, свѣтлосѣрые съ сухимъ блескомъ.

— Да,—задумчиво сказала Елизавета Сергѣевна,— въ тридцать лѣтъ дѣлать этотъ шагъ для мужчины и поздно, и рано...

Ему нравилось, что она перестала говорить о смерти мужа, но зачѣмъ же, однако, она такъ пугливо позвала его къ себѣ?

— Нужно жениться въ двадцать лѣтъ или въ сорокъ,—задумчиво говорила она, — такъ меньше риска обмануться самому и обмануть другого человѣка... а если и обманешь, то въ первомъ случаѣ платишь ему за это свѣжестью своего чувства, во второмъ же... хотя бы внѣшнимъ положеніемъ, которое почти всегда солидно у мужчины въ сорокъ лѣтъ.

Ему казалось, что она говоритъ это больше для себя, чѣмъ для него, и онъ не перебивалъ ея, откинувшись въ кресло и глубоко вдыхая въ себя ароматный воздухъ.

— Такъ я говорила—наканунѣ онъ былъ у Олесова и, конечно, пилъ тамъ. Ну и вотъ... — Елизавета Сергѣевна печально тряхнула головой.—Теперь я... осталась одна... хотя я уже съ третьяго года жизни съ нимъ почувствовала себя внутренно одинокой. Но теперь такое странное положеніе! Мнѣ двадцать-восемь лѣтъ, я не жила, а состояла при мужѣ и дѣтяхъ... дѣти умерли. И я... что я теперь? Что мнѣ дѣлать и какъ жить? Я продала бы это имѣніе и поѣхала за границу, но его братъ претендуетъ на наслѣдство, возможенъ процессъ. Я не хочу уступать своего безъ законныхъ къ тому основаній и не вижу ихъ въ претензіи его брата. Какъ ты объ этомъ думаешь?

— Ты знаешь, я не юристъ,—усмѣхнулся Ипполитъ Сергѣевичъ.—Но... ты разскажи мнѣ все это... посмотримъ. Этотъ братъ... онъ писалъ тебѣ?

— Да... и довольно грубо. Онъ—жуиръ, разоренны,

сильно опустившійся... мужъ не любилъ его, хотя въ нихъ много общаго.

— Посмотримъ! — сказалъ Ипполитъ Сергѣевичъ и довольно потеръ руки. Ему было пріятно узнать, зачѣмъ онъ нуженъ сестрѣ, онъ не любилъ ничего неяснаго и неопредѣленнаго. Онъ заботился прежде всего о сохраненіи внутренняго равновѣсія, и если нѣчто неяспое нарушало это равновѣсіе — въ душѣ его поднималось смутное безпокойство и раздраженіе, тревожно побуждавшее его поскорѣе объяснить это непонятное, уложить его въ рамки своего міропониманія и... забыть о немъ.

— Говоря откровенно, — тихо и не глядя на брата объяснила Елизавета Сергѣевна, — меня испугала эта нелѣпая претензія. Я такъ утомлена, Ипполитъ, такъ хочу отдохнуть... а тутъ опять что-то начинается.

Она тяжело вздохнула и, взявъ его стаканъ, продолжала унылымъ голосомъ, непріятно щекотавшимъ нервы ея брата:

— Восемь лѣтъ жизни съ такимъ человѣкомъ, какъ покойный мужъ, мнѣ кажется, даютъ право на отдыхъ. Другая на моемъ мѣстѣ — женщина съ менѣе развитымъ чувствомъ долга и порядочности—давно бы порвала эту тяжелую цѣпь, а я несла ее, хотя изнемогала подъ ея тяжестью. А смерть дѣтей... ахъ, Ипполитъ, если бы ты зналъ, что я переживала, теряя ихъ!

Онъ смотрѣлъ въ лицо ей съ выраженіемъ сочувствія, но ея жалобы не трогали его души. Ему не нравился ея языкъ, какой-то книжный, не свойственный человѣку, глубоко чувствующему, а свѣтлые глаза ея странно бѣгали изъ стороны въ сторону, рѣдко останавливаясь на чемъ-либо. Жесты у нея были мягкіе, осторожные, и отъ всей ея стройной фигуры вѣяло внутреннимъ холодомъ.

На перила террасы сѣла какая-то веселая птичка, попрыгала по нимъ и упорхнула. Братъ и сестра, проводивъ ее глазами, нѣсколько секундъ молчали.

— Бываетъ у тебя кто-нибудь? Читаешь ты?—спросилъ братъ, закуривая папиросу и думая о томъ, какъ хорошо было бы въ этотъ славный тихій вечеръ молчать, сидя въ покойномъ креслѣ тутъ на террасѣ, слушая тихій шелестъ листвы и ожидая ночь, которая придетъ, погаситъ звуки и зажжетъ звѣзды.

— Бываетъ Варенька, потомъ изрѣдка заѣзжаетъ Банарцева... помнишь ее? Людмила Васильевна... она тоже плохо живетъ со своимъ супругомъ... но она умѣетъ не обижать себя. У мужа много бывало мужчинъ, но интересныхъ — ни одного! Положительно, не съ кѣмъ словомъ перекинуться... хозяйство, охота, земскія дрязги, сплетни—вотъ и все, о чемъ они говорятъ... Впрочемъ, одинъ есть... кандидатъ на судебныя должности Бенковскій... молодой и очень образованный. Ты помнишь Бенковскихъ? Подожди! Кажется, ѣдетъ.

— Кто ѣдетъ... этотъ Бенковскій?—спросилъ Ипполитъ Сергѣевичъ.

Его вопросъ почему-то разсмѣшилъ сестру; смѣясь, она встала со стула и сказала какимъ-то новымъ голосомъ:

— Варенька!

— А!

— Посмотримъ, что ты о ней скажешь... Здѣсь она всѣхъ побѣдила. Но какой же это уродъ съ духовной стороны! А впрочемъ — вотъ самъ увидишь!

— Не хотѣлъ бы,—равнодушно заявилъ онъ, потягиваясь въ своемъ креслѣ.

— Я сейчасъ вернусь,—сказала Елизавета Сергѣевна, уходя изъ комнаты.

— А она безъ тебя явится, — обезпокоился онъ. — Не уходи, пожалуйста, лучше я уйду!

— Да я сейчасъ же! — крикнула ему сестра изъ комнатъ.

Онъ поморщился и остался въ своемъ креслѣ, глядя въ паркъ. Откуда-то доносился быстрый топотъ лошади и шорохъ колесъ о землю.

Передъ глазами Ипполита Сергѣевича стояли ряды старыхъ корявыхъ липъ, кленовъ и дубовъ, окутанные сумракомъ вечера. Ихъ узловатыя вѣтви переплелись другъ съ другомъ, образовали вверху густой навѣсъ пахучей зелени, и всѣ они, дряхлые отъ времени, съ потрескавшейся корой, съ обломанными сучьями, казались живой и дружной семьей существъ, тѣсно сплоченныхъ стремленіемъ вверхъ, къ свѣту. Но кора ихъ стволовъ была сплошь покрыта желтымъ налетомъ плѣсени, у корней густо разросся молодятникъ и отъ этого на старыхъ мощныхъ деревьяхъ было много засохшихъ вѣтвей, висѣвшихъ въ воздухѣ безжизненными скелетами.

Ипполитъ Сергѣевичъ смотрѣлъ на нихъ и чувствовалъ желаніе уснуть тутъ въ креслѣ, подъ дыханіемъ стараго парка.

Между стволовъ и вѣтвей просвѣчивали багровыя пятна горизонта и на его яркомъ фонѣ деревья казались еще болѣе мрачными, истощенными. По аллеѣ, уходившей отъ террасы въ сумрачную даль, медленно двигались густыя тѣни и съ каждой минутой росла тишина, навѣвая какія-то смутныя фантазіи. Воображеніе Ипполита Сергѣевича, поддаваясь чарамъ вечера, рисовало изъ тѣней силуэтъ одной знакомой женщины и его самого рядомъ съ ней. Они молча шли вдоль по аллеѣ туда, вдаль, она прижималась къ нему, и онъ чувствовалъ теплоту ея тѣла.

— Здравствуйте!—раздался густой грудной голосъ.

Онъ вскочилъ на ноги и оглянулся, немного смущенный.

Предъ нимъ стояла дѣвушка средняго роста въ сѣромъ платьѣ, на головѣ у нея было накинуто что-то бѣлое и воздушное, какъ фата невѣсты — это все, что онъ замѣтилъ въ первое мгновеніе.

Она протягивала ему руку, спрашивая:

— Ипполитъ Сергѣевичъ, да? Олесова... я уже знала,

что вы пріѣдете сегодня, и явилась посмотрѣть, какой вы. Никогда не видала ученыхъ и... не знала, что они могутъ быть такіе.

Его руку крѣпко пожимала сильная и горячая маленькая ручка, а онъ, немного растерявшись подъ этимъ неожиданнымъ натискомъ, молча кланялся ей, сердился на себя за свое смущеніе и думалъ, что когда онъ взглянетъ ей въ лицо, то на немъ увидитъ откровенное и грубое кокетство. Но взглянувъ, онъ увидалъ большіе, темные глаза, они простодушно и ласково улыбались, освѣщая красивое лицо. Ипполитъ Сергѣевичъ вспомнилъ, что такое же лицо, гордое здоровой красотой, онъ видѣлъ на одной старой итальянской картинѣ. Такой же маленькій ротъ съ пышными губками, такой же лобъ, выпуклый и высокій, и огромные глаза подъ нимъ.

— Позвольте... я скажу, чтобъ дали огня... пожалуйста, садитесь, — попросилъ онъ ее.

— Да вы не безпокойтесь, я вѣдь здѣсь какъ дома... — сказала она, садясь въ его кресло.

Онъ сталъ у стола противъ нея и смотрѣлъ на нее, чувствуя, что это неловко и что ему нужно говорить. Но она, нимало не смущаясь подъ его пристальнымъ взглядомъ, говорила сама. Она спрашивала его, какъ онъ доѣхалъ, нравится ли ему деревня, долго ли онъ тутъ проживетъ; онъ односложно отвѣчалъ ей, и въ головѣ его мелькали какія-то отрывочныя мысли. Онъ былъ точно оглушенъ ударомъ, и умъ его, всегда ясный, теперь смутился передъ силой внезапно и хаотически взволнованныхъ чувствъ. Восхищеніе предъ ней боролось въ немъ съ раздраженіемъ на себя и любопытство— съ чѣмъ-то близкимъ къ боязни. А эта цвѣтущая здоровьемъ дѣвушка сидѣла противъ него, откинувшись на спинку кресла, плотно обтянутая матеріей своего костюма, позволявшаго видѣть пышныя формы ея плечъ и груди, и звучнымъ голосомъ, полнымъ властныхъ

нотъ, говорила ему какіе-то пустяки, обычные при первой встрѣчѣ незнакомыхъ людей. Ея темно-каштановые волосы красиво вились, а глаза и брови были темнѣе волосъ. На смуглой шеѣ около розоваго и прозрачнаго уха трепетала кожа, обнаруживая быстрое движеніе крови въ ея жилахъ, на подбородкѣ являлась ямка всякій разъ, когда улыбка открывала ея бѣлые мелкіе зубы, и отъ каждой складки ея платья вѣяло раздражающимъ соблазномъ. Было нѣчто хищное въ изгибѣ ея носа и въ мелкихъ зубахъ, блестѣвшихъ изъ-за сочныхъ губъ, а ея поза, полная непринужденной прелести, напоминала о граціи сытыхъ и избалованныхъ кошекъ.

Ипполиту Сергѣевичу казалось, что онъ раздвоился: одна половина его существа поглощена этой чувственной красотой и рабски созерцаетъ ее, другая механически отмѣчаетъ состояніе первой и чувствуетъ, что утратила власть надъ ней. Онъ отвѣчалъ на вопросы этой дѣвушки и самъ о чемъ-то спрашивалъ ее, будучи не въ состояніи оторвать глазъ отъ ея соблазнительной фигуры. Онъ уже назвалъ ее про-себя роскошной самкой и внутренно усмѣхнулся надъ собой, но это не уничтожило его раздвоенія.

Такъ продолжалось до той поры, пока на террасѣ не явилась его сестра съ возгласомъ:

— Скажите, какая ловкая! Я ее ищу тамъ, а она уже...

— Я обошла паркомъ...

— Познакомились?

— О, да! Я думала, что Ипполитъ Сергѣевичъ по крайней мѣрѣ лысый!

— Налить тебѣ чаю?

— Пожалуй, налей.

Ипполитъ Сергѣевичъ отошелъ въ сторону отъ нихъ и сталъ у лѣстницы, спускавшейся въ паркъ. Онъ провелъ рукой по лицу и потомъ пальцами по глазамъ,

точно стиралъ пыль съ лица и глазъ. Ему стало стыдно передъ собой за то, что онъ поддался взрыву чувства, а этотъ стыдъ скоро уступилъ мѣсто раздраженію противъ дѣвушки. Онъ назвалъ про-себя сцену съ ней казацкой атакой на жениха, и ему захотѣлось заявить ей о себѣ, какъ о человѣкѣ, вполнѣ равнодушномъ къ ея вызывающей красотѣ.

— Я ночую у тебя и завтра пробуду весь день... — говорила она его сестрѣ.

— А какъ же Василій Степановичъ? — удивленно спросила сестра.

— У насъ гоститъ тётя Лучицкая, она съ нимъ и повозится... Ты знаешь, папа очень любитъ ее...

— Извините меня,—сухо сказалъ Ипполитъ Сергѣевичъ,—я очень утомленъ и пойду отдохну...

Онъ поклонился и пошелъ, а вслѣдъ ему раздалось одобрительное восклицаніе Вареньки:

— Вамъ давно слѣдовало это сдѣлать!

Въ тонѣ ея восклицанія онъ услыхалъ только добродушіе, но опредѣлилъ его, какъ заискивающее, фальшивое.

Для него была приготовлена комната, служившая кабинетомъ мужу сестры. Среди нея стоялъ тяжелый и неуклюжій письменный столъ, передъ нимъ дубовое кресло, у одной изъ стѣнъ, почти во всю длину ея, развалился широкій и обтрепаный турецкій диванъ, у другой—фисгармонія и два шкапа съ книгами. Нѣсколько большихъ мягкихъ стульевъ, курительный столикъ у дивана и шахматный у окна дополняли меблировку комнаты. Потолокъ комнаты былъ низокъ и закопченъ, со стѣнъ смотрѣли темныя пятна какихъ-то картинъ и гравюръ въ грубыхъ золоченыхъ рамахъ— все было тяжело, старо и издавало непріятный запахъ.

На столѣ стояла большая лампа подъ голубымъ колпакомъ и свѣтъ отъ нея падалъ на полъ.

Ипполитъ Сергѣевичъ остановился на границѣ этого

свѣтлаго круга и, испытывая непріятное чувство смутной тревоги, смотрѣлъ на окна комнаты. Ихъ было два и за ними въ сумракѣ вечера рисовались темные силуэты деревьевъ. Онъ подошелъ и растворилъ оба окна. Тогда комната наполнилась запахомъ цвѣтущей липы и вмѣстѣ съ нимъ влетѣлъ веселый взрывъ здороваго грудного смѣха.

На диванѣ ему приготовлена была постель, она занимала немного больше половины дивана. Онъ посмотрѣлъ на нее и сталъ развязывать галстукъ, но потомъ рѣзкимъ движеніемъ толкнулъ кресло къ окну и сѣлъ, нахмурившись.

Ощущеніе непонятной тревоги смущало его умъ и раздражало его. Чувство недовольства собой рѣдко являлось въ немъ, но и являясь, никогда не охватывало его сильно и надолго—онъ умѣлъ быстро справляться съ нимъ. Онъ былъ увѣренъ, что человѣкъ долженъ и можетъ понимать свои эмоціи и развивать или уничтожать ихъ, и когда при немъ говорили о таинственной сложности психической жизни человѣка, онъ, иронически усмѣхаясь, называлъ такія сужденія метафизикой. Тѣмъ хуже было для него теперь чувствовать себя вступившимъ въ кругъ какихъ-то непонятныхъ волненій.

Онъ спрашивалъ себя: неужели встрѣча съ этой здоровой и красивой дѣвушкой—должно быть, очень чувственной и глупой, — неужели эта встрѣча могла такъ странно повліять на него? И, тщательно просмотрѣвъ порядокъ впечатлѣній этого дня, онъ долженъ былъ отвѣтить себѣ утвердительно. Да, это такъ, потому что она застала врасплохъ его умъ, потому что онъ сильно утомленъ путешествіемъ и находился въ непривычномъ ему настроеніи мечтательности въ моментъ ея появленія предъ нимъ.

Его нѣсколько успокоило это размышленіе, и тотчасъ же она явилась предъ его глазами въ своей пышной

дѣвственной красотѣ. Онъ созерцалъ ее, закрывъ глаза и нервозно вдыхая дымъ своей папиросы, но, созерцая, критиковалъ.

— Въ сущности она,—думалъ онъ,—вульгарна: слишкомъ много крови и мускуловъ въ ея здоровомъ, стройномъ тѣлѣ и мало нервовъ. Ея наивное лицо не интеллигентно, а гордость, сверкающая въ открытомъ взглядѣ ея глубокихъ темныхъ глазъ,—это гордость женщины, убѣжденной въ своей красотѣ и избалованной поклоненіемъ мужчинъ. Сестра говорила, что эта Варенька всѣхъ побѣждаетъ... Конечно, она попытается побѣдить и его. Но онъ пріѣхалъ сюда работать, а не шалить, и она скоро пойметъ это.

— А не много ли я думаю о ней для первой встрѣчи?—мелькнуло у него въ головѣ.

Дискъ луны, огромный и кроваво-красный, поднимался гдѣ-то далеко за деревьями парка: онъ смотрѣлъ изъ тьмы, какъ глазъ чудовища, рожденнаго ею. Неясные звуки носились въ воздухѣ, долетая со стороны деревни. Подъ окномъ въ травѣ порой раздавался шорохъ: должно быть кротъ или ежъ шли на охоту. Гдѣто пѣлъ соловей. И луна такъ медленно поднималась на небо, точно роковая необходимость ея движенія была понятна ей и утомляла ее.

Выбросивъ за окно угасшую папиросу, Ипполитъ Сергѣевичъ всталъ, раздѣлся и погасилъ лампу. Тогда въ комнату изъ сада хлынула тьма, деревья подвинулись къ окнамъ, точно желая заглянуть въ нихъ, на полъ легли двѣ полосы луннаго свѣта, еще слабаго и мутнаго.

Пружины дивана писклико скрипнули подъ тѣломъ Ипполита Сергѣевича и, охваченный пріятной свѣжестью полотнянаго бѣлья, онъ вытянулся и замеръ, лежа на спинѣ. Скоро онъ уже дремалъ и слышалъ подъ окномъ у себя чьи-то осторожные шаги и густой шопотъ:

— Ма-арья... Ты тутъ? а?

Улыбаясь, онъ заснулъ.

И утромъ, проснувшись въ яркомъ сіяніи солнца, наполнявшемъ комнату, онъ тоже улыбался при воспоминаніи о вчерашнемъ вечерѣ и о дѣвушкѣ. Къ чаю онъ явился тщательно одѣтый, сухой и серьезный, какъ и подобало ученому; но, когда онъ увидалъ, что за столомъ сидитъ одна сестра, у него невольно вырвалось:

— А гдѣ же...

Лукавая улыбка сестры остановила его раньше, чѣмъ онъ окончилъ свой вопросъ, и онъ, замолчавъ, сѣлъ къ столу. Елизавета Сергѣевна подробно осмотрѣла его костюмъ, не переставая улыбаться и не обращая вниманія на его невольно сдвинутыя брови. Его злила эта многозначительная улыбка.

— Она давно уже встала, мы съ ней ходили купаться, а теперь она навѣрное въ паркѣ... и должна скоро явиться,—объясняла Елизавета Сергѣевна.

— Какъ ты подробно,—усмѣхнулся онъ.—Пожалуйста,—вели сейчасъ же послѣ чая распаковать мои вещи.

— И вынуть ихъ?

— Нѣтъ, нѣтъ, этого не надо. Я самъ, а то все перепутаютъ... Тамъ есть для тебя конфеты и книги.

— Спасибо! Это мило... А вотъ и Варенька!

Она явилась въ дверяхъ въ легкомъ бѣломъ платьѣ, пышными складками падавшемъ съ ея плечъ къ ногамъ. Костюмъ ея былъ похожъ на дѣтскую блузу, и сама она въ немъ смотрѣла ребенкомъ. Остановившись на секунду въ дверяхъ, она спросила:

— А развѣ вы ждали меня?—и безшумно, какъ облако, подошла къ столу.

Ипполитъ Сергѣевичъ молча поклонился ей и, пожимая ея руку, обнаженную до локтя, ощутилъ нѣжный ароматъ фіалокъ, исходившій отъ нея.

— Вотъ надушилась!—воскликнула Елизавета Сергѣевна.

— Развѣ больше, чѣмъ всегда? Вы любите духи, Ипполитъ Сергѣевичъ? Я—ужасно! Когда есть фіалки, я каждое утро послѣ купанья рву ихъ и растираю въ рукахъ, это я научилась еще въ прогимназіи... А вамъ нравятся фіалки?

Онъ пилъ чай и не смотрѣлъ на нее, но чувствовалъ ея глаза на своемъ лицѣ.

— Я, правда, никогда не думалъ надъ тѣмъ, нравятся онѣ мнѣ или нѣтъ,—пожавъ плечами, сухо сказалъ онъ, но взглянувъ на нее, невольно улыбнулся.

Оттѣненное снѣжно-бѣлой матеріей ея платья, лицо у нея горѣло пышнымъ румянцемъ и глубокіе глаза сверкали ясной радостью. Здоровьемъ, свѣжестью, безсознательнымъ счастьемъ вѣяло отъ нея. Она была хороша, какъ ясный майскій день на сѣверѣ.

— Не думали?—воскликнула она. — Но какъ же,— вѣдь вы ботаникъ.

— А не цвѣтоводъ,—кратко пояснилъ онъ и, недовольно подумавъ, что, пожалуй, это грубо, отвелъ глаза свои въ сторону отъ ея лица.

— А ботаника и цвѣтоводство не одно и то же?— спросила она, помолчавъ.

Его сестра, не стѣсняясь, засмѣялась. А онъ вдругъ почувствовалъ, что этотъ смѣхъ почему-то коробитъ его, и съ сожалѣніемъ воскликнулъ про-себя:

— Да она глупа!

Но потомъ, поясняя ей разницу между ботаникой и цвѣтоводствомъ, онъ смягчилъ свой приговоръ—она только невѣжда. Слушая его толковую и серьезную рѣчь, дѣвушка смотрѣла на него глазами внимательной ученицы, и это нравилось ему.

— Да-а,—протянула Варенька, — вотъ какъ это! А что, ботаника интересная наука?

— Гмъ! Видите ли, на науки нужно смотрѣть съ

точки зрѣнія той пользы, которую онѣ приносятъ людямъ,—объяснилъ онъ со вздохомъ. Ея неразвитость при ея красотѣ все усиливала въ немъ сожалѣніе къ ней. А она, задумчиво постукивая ложкой по краю своей чашки, спрашивала его:

— Какая же можетъ быть польза отъ того, что вы узнаете, какъ растетъ репей?

— Та же, которую мы извлекаемъ, изучая явленія жизни въ какомъ-нибудь одномъ человѣкѣ.

— Человѣкъ и репей...—улыбнулась она.—Развѣ одинъ человѣкъ живетъ, какъ всѣ?

Ему было странно, что этотъ неинтересный разговоръ не утомляетъ его.

— Развѣ я ѣмъ и пью такъ же, какъ мужики?—серьезно, сдвигая брови, продолжала она.—И развѣ многіе живутъ такъ, какъ я?

— А какъ вы живете?—спросилъ онъ, предчувствуя, что этотъ вопросъ измѣнитъ тему разговора.

— Какъ я живу?—вскричала дѣвушка.—Хорошо!—и она даже закрыла глаза отъ удовольствія. Знаете, я просыпаюсь утромъ и, если день ясный, мнѣ становится сразу же ужасно весело! Точно мнѣ подарили что-то дорогое и красивое, такое, что я давно хотѣла имѣть... Бѣгу купаться—у насъ рѣка на ключахъ—вода холодная, такъ и щиплетъ тѣло! Есть очень глубокія мѣста, и я туда прямо съ берега внизъ головой—бухъ! Такъ всю и обожжетъ... летишь въ воду, какъ въ пропасть, и въ головѣ шумитъ... Вынырнешь, вырвешься изъ воды, а солнце смотритъ на тебя и смѣется. Потомъ иду лѣсомъ домой, наберу цвѣтовъ, надышусь лѣснымъ воздухомъ допьяна; приду—чай готовъ!—Пью чай, а предо мной стоятъ цвѣты... и солнце на меня смотритъ... Ахъ, если бы вы знали, какъ я люблю солнце! Потомъ наступаетъ день и начинаются хлопоты по хозяйству... у насъ всѣ меня любятъ, сразу понимаютъ, слушаются,—и все кружится колесомъ

вплоть до вечера... потомъ солнце заходитъ, луна, звѣзды являются... до чего это все хорошо и какъ ново всегда! Вы понимаете! Я не умѣю понятно сказать... почему такъ хорошо жить... Но, можетъ быть, вы чувствуете это и сами, да? Вѣдь вамъ понятно, почему жизнь такая хорошая, интересная?

— Да... конечно!—подтвердилъ онъ, готовый рукой стереть съ лица сестры тонкую, насмѣшливую улыбку.

Онъ посмотрѣлъ на Вареньку и не мѣшалъ себѣ любоваться ею, трепетавшей отъ желанія передать ему силу наполняющаго ея существо ликованія.

— А зима? Любите вы зиму? Она вся бѣлая, здоровая, задорная, вызывающая бороться съ ней...

Рѣзкій звонокъ перебилъ ея рѣчь. Звонила Елизавета Сергѣевна, и когда въ комнату влетѣла высокая дѣвушка съ круглымъ добрымъ лицомъ и плутоватыми глазами, она сказала ей утомленнымъ голосомъ:

— Убирайте посуду, Маша.

Потомъ озабоченно начала ходить по комнатѣ, громко шаркая ногами.

Все это нѣсколько отрезвило увлеченную дѣвушку; она повела плечами, какъ бы стряхивая съ нихъ что-то, и немножко смущенная, спросила Ипполита Сергѣевича:

— Я надоѣла вамъ своими разсказнями?

— Ну, что это вы!—протестовалъ онъ.

— Нѣтъ, серьезно,—я показалась вамъ глупой?—добивалась она.

— Но почему же?!—воскликнулъ Ипполитъ Сергѣевичъ и удивился, что это у него вышло такъ горячо и искренно.

— Я дикая... т.-е. необразованная... — извинялась она.—Но я очень рада говорить съ вами... потому что вы ученый и такой... не такой, какимъ я васъ себѣ представляла.

— А вы какъ представляли себѣ меня?—освѣдомился онъ, улыбаясь.

— Я думала, вы все будете говорить разныя мудрости... отчего, да какъ, да это не такъ, а вотъ этакъ, и всѣ глупы, а я одинъ умница... У папы гостилъ товарищъ, тоже полковникъ, какъ и папа, и тоже ученый, какъ вы. Но онъ военный ученый... какъ это?.. генеральнаго штаба... и онъ былъ ужасно надутый... по-моему, онъ даже ничего и не зналъ, а просто хвастался...

— Вы и меня такимъ же представляли?—спросилъ Ипполитъ Сергѣевичъ.

Она сконфузилась, покраснѣла и, вскочивъ со стула, смѣшно забѣгала по комнатѣ, растерянно говоря:

— Ахъ, какъ вы... ну, развѣ я могла...

— Ну, вотъ что, милыя мои дѣти...—глядя на нихъ прищуренными глазами, заявила Елизавета Сергѣевна,—я пойду кое-чѣмъ заняться по хозяйству, а васъ ужъ... оставлю на волю Божію!

И, засмѣявшись, она исчезла, шумя юбками. Ипполитъ Сергѣевичъ укоризненно посмотрѣлъ ей вслѣдъ и подумалъ, что нужно будетъ поговорить съ ней о ея манерѣ держаться по отношенію къ этой, въ сущности, очень милой, только неразвитой дѣвушкѣ.

— Знаете что—хотите кататься въ лодкѣ? Доѣдемъ до лѣса, тамъ пойдемъ гулять и къ обѣду вернемся. Идетъ? Я ужасно рада, что сегодня такой ясный день и я не дома... А то у папы опять разыгралась подагра и мнѣ пришлось бы возиться съ нимъ. А папа капризный, когда боленъ...

Онъ, удивленный ея откровеннымъ эгоизмомъ, не сразу отвѣтилъ ей согласіемъ, а когда отвѣтилъ, то вспомнилъ то намѣреніе, которое возникло у него вчера, съ которымъ онъ вышелъ сегодня поутру изъ своей комнаты. Но пока вѣдь она не даетъ основаній для того, чтобы заподозрить ее въ желаніи побѣдить его сердце? Въ ея рѣчахъ можно видѣть все, кромѣ кокетства. И, наконецъ, почему же не провести одинъ день съ такой... несомнѣнно оригинальной дѣвушкой?

— А вы умѣете грести? Плохо... это ничего, я буду сама, я сильная. А лодка легкая такая. Идемте!

Они вышли на террасу и спустились въ паркъ. Рядомъ съ его длинной и худой фигурой она казалась ниже ростомъ и полнѣе. Онъ предложилъ было ей руку, но она отказалась.

— Зачѣмъ? Это хорошо, когда устанешь, а такъ только мѣшаетъ идти...

Онъ улыбался, глядя на нее черезъ свои очки, и шелъ, соразмѣряя свои шаги съ ея шагами, что ему очень нравилось. Походка у нея была легкая и красивая,—ея бѣлое платье плыло вокругъ ея стана, не колыхаясь ни одной складкой. Въ одной рукѣ она держала зонтъ, другой свободно и красиво жестикулировала, разсказывая ему о красотѣ окрестностей деревни. Эта рука, по локоть обнаженная, сильная и смуглая, покрытая золотистымъ пухомъ, двигаясь въ воздухѣ, заставляла глаза Ипполита Сергѣевича внимательно слѣдить за ней... И опять у него въ темной глубинѣ души трепетала непонятная, смутная тревога предъ чѣмъ-то. Онъ старался уничтожить ее, спрашивая себя: что побуждаетъ его идти за этой дѣвушкой? и отвѣчалъ себѣ:—любопытство, спокойное и чистое желаніе созерцать ея красоту.

— Вотъ и рѣка! Идите и садитесь въ лодку, а я сейчасъ достану вёсла...

И она исчезла среди деревьевъ, прежде чѣмъ онъ успѣлъ попросить ее указать ему, гдѣ можно найти вёсла.

Въ неподвижной, холодной водѣ рѣки отражались деревья внизъ вершинами; онъ сѣлъ въ лодку и смотрѣлъ на нихъ. Эти призраки были пышнѣе и красивѣе живыхъ деревьевъ, стоявшихъ на берегу, осѣняя воду своими изогнутыми и корявыми вѣтвями. Отраженіе облагораживало ихъ, стушевывая уродливое и создавая въ водѣ яркую и гармоничную фантазію на мотивахъ убогой, изуродованной временемъ дѣйствительности.

Любуясь призрачной картиной, окруженный тишиной и блескомъ еще не жаркаго солнца, вдыхая вмѣстѣ съ воздухомъ пѣсни жаворонковъ, полныя счастья жить, Ипполитъ Сергѣевичъ ощущалъ въ себѣ возникновеніе новаго для него и пріятнаго чувства покоя, ласкавшаго умъ, усыпляя его постоянное и мятежное стремленіе понимать и объяснять. Тихій миръ царилъ вокругъ, листъ не трепеталъ на деревѣ, и въ этомъ мірѣ неустанно совершалось безмолвное творчество природы, беззвучно созидалась жизнь, всегда поражаемая смертью, но непобѣдимая, и тихо работала смерть, все поражая, но не одерживая побѣды. А голубое небо сіяло торжественной красотой.

На фонѣ картины въ водѣ рѣки явилась бѣлая красавица съ ласковой улыбкой на лицѣ. Она стояла тамъ съ веслами въ рукахъ, точно приглашая идти къ ней, молчаливая, прекрасная и казалась отраженной съ неба.

Ипполитъ Сергѣевичъ зналъ, что это вышла изъ парка Варенька и что она смотритъ на него, но ему не хотѣлось разрушать свое очарованіе ни звукомъ, ни движеніемъ.

— Скажите, какой вы мечтатель!—раздалось въ воздухѣ удивленное восклицаніе.

Тогда онъ, съ сожалѣніемъ отвернувшись отъ воды, взглянулъ на дѣвушку, живую и плавно спускавшуюся къ берегу по крутой дорожкѣ изъ парка.

И его сожалѣніе исчезло при взглядѣ на нее, ибо эта дѣвушка и въ дѣйствительности была чарующе-хороша.

— Вотъ ужъ нельзя подумать, что вы любите мечтать! У васъ лицо такое строгое, серьезное... Вы будете править; хорошо? Мы поѣдемъ вверхъ по теченію... тамъ красивѣе... и вообще противъ теченія интереснѣе ѣхать, потому что гребешь, двигаешься, чувствуешь себя...

Оттолкнутая отъ берега лодка лѣниво закачалась

па сонной водѣ, но сильный ударъ вёселъ сразу поставилъ ее вдоль берега, и перевалившись съ борта на бортъ подъ вторымъ ударомъ, она легко скользнула впередъ.

— Мы поѣдемъ подъ горнымъ берегомъ, потому что тутъ тѣнь... — говорила дѣвушка, разбивая воду ловкими ударами.—Только здѣсь слабое теченіе... а вотъ на Днѣпрѣ — у тёти Лучицкой тамъ имѣніе — тамъ, я вамъ скажу, ужасъ! Такъ и рветъ вёсла изъ рукъ... Вы не видали пороговъ на Днѣпрѣ?..

— Только пороги дверей... — попытался сострить Ипполитъ Сергѣевичъ.

— Я ѣздила черезъ нихъ,—смѣясь, говорила она.— Хорошо! Однажды чуть не разбила лодку, непремѣнно утонула бы тогда...

— Ну, это ужъ было бы не хорошо,— серьезно сказалъ Ипполитъ Сергѣевичъ.

— А что же? Я нисколько не боюсь смерти... хотя и люблю жить. Можетъ быть, и тамъ тоже интересно, какъ на землѣ...

— А можетъ быть, тамъ ничего нѣтъ... — съ любопытствомъ взглянувъ на нее, сказалъ онъ.

— Ну, какъ же нѣтъ!—убѣжденно воскликнула она.— Конечно, есть!

Она сидѣла противъ него, упираясь маленькими ножками въ перекладину, прибитую ко дну лодки, и съ каждымъ ударомъ веселъ отклоняла свой корпусъ назадъ. Тогда подъ легкой матеріей ея платья рельефно обрисовывалась дѣвичья грудь, высокая, упругая, вздрагивавшая отъ движеній.

— Она не носитъ корсета, — подумалъ Ипполитъ Сергѣевичъ, опуская глаза внизъ. Но тамъ они остановились на ея ножкахъ. Упираясь въ дно лодки, онѣ напрягались и тогда были видны ихъ контуры до колѣнъ.

— Что она — нарочно, что ли, надѣла это дурацкое

платье?—съ раздраженіемъ подумалъ онъ и отвернулся, разсматривая высокій берегъ.

Паркъ миновали и теперь плыли подъ крутымъ обрывомъ; съ него свѣшивались кудрявые стебли гороха, плети тыквъ съ ихъ бархатными листьями, большіе желтые круги подсолнуховъ, стоя на краю обрыва, смотрѣли въ воду. Другой берегъ, низкій и ровный, тянулся куда-то вдаль, къ зеленымъ стѣнамъ лѣса и былъ густо покрытъ травой, сочной и яркой; изъ нея ласково смотрѣли на лодку милые, какъ дѣтскіе глазки, голубые и синіе цвѣты. А впереди стоялъ темно-зеленый лѣсъ—и рѣка вонзалась въ него, какъ кусокъ холодной стали.

— Вамъ не жарко?—спросила Варенька.

Онъ взглянулъ на нее и почувствовалъ себя сконфуженнымъ: — на лбу у нея подъ короной вьющихся волосъ блестѣли капельки пота, а грудь поднималась часто и высоко.

— Простите, пожалуйста!—съ раскаяніемъ воскликнулъ онъ. — Я засмотрѣлся... вы утомились... дайте же мнѣ вёсла!

— Вотъ ужъ не дамъ! Вы думаете, я устала? Это даже обидно мнѣ! Мы и двухъ верстъ не проѣхали... Нѣтъ, ужъ вы сидите... сейчасъ пристанемъ и пойдемъ гулять.

По лицу ея было видно, что съ ней безполезно спорить, и онъ, досадливо пожавъ плечами, замолчалъ, съ неудовольствіемъ думая про-себя:

— Очевидно, она считаетъ меня слабымъ.

— Видите—вотъ это къ намъ дорога,—указала она ему на берегъ кивкомъ головы. — Здѣсь бродъ черезъ рѣку, и до насъ отсюда четырнадцать верстъ. У насъ тоже хорошо, красивѣе, чѣмъ въ вашей Полкановкѣ.

— Вы и зиму живете въ деревнѣ? — спросилъ онъ.

— А какъ же? Вѣдь я веду все хозяйство, папа не встаетъ съ кресла... Его возятъ по комнатамъ.

— Но, должно быть, скучно вамъ жить такъ?

— Почему же? У меня ужасно много дѣла... а помощникъ одинъ — Никонъ, денщикъ папы. Онъ уже старикъ и тоже пьетъ, но страшный силачъ и знаетъ свое дѣло. Мужики его боятся... онъ бьетъ ихъ и они тоже разъ какъ-то сильно побили его... очень сильно! Онъ замѣчательно честенъ и преданъ намъ съ папой... любитъ насъ, какъ собака! Я тоже его люблю. Вы, можетъ быть, читали одинъ романъ, гдѣ есть герой, арабскій офицеръ, графъ Луи Граммонъ, и у него тоже денщикъ Сади-Коко?

— Не читалъ,—скромно сознался молодой ученый.

— Прочитайте непремѣнно—это хорошій романъ,—увѣренно посовѣтовала она ему.—Я Никона, когда онъ угодитъ мнѣ, называю Сади-Коко. Сначала онъ сердился на меня за это, но я однажды прочитала ему этотъ романъ, и теперь онъ знаетъ, что для него лестно быть похожимъ на Сади-Коко.

Ипполитъ Сергѣевичъ смотрѣлъ на нее такъ, какъ европеецъ смотритъ на тонко выполненную, но фантастически-уродливую статуэтку китайца—со смѣсью удивленія, сожалѣнія и любопытства. А она съ жаромъ разсказывала ему о подвигахъ Сади-Коко, полныхъ беззавѣтной преданности къ графу Луи Граммону.

— Простите, Варвара Васильевна,—перебилъ онъ ея рѣчь,—а романы русскихъ авторовъ вы читали?

— О, да! Но я не люблю ихъ — скучные они, прескучные! И пишутъ все такое, что я сама знаю не хуже ихъ. Они не умѣютъ выдумывать ничего интереснаго и у нихъ почти все правда.

— А развѣ вы не любите правды?—ласково спросилъ Ипполитъ Сергѣевичъ.

— Ахъ, да нѣтъ же! Я всѣмъ говорю правду въ глаза и...

Она замолчала, подумала и спросила:

— А что же тутъ любить? Это моя привычка, какъ же ее любить?

Онъ ничего не успѣлъ сказать ей на это, потому что она быстро и громко командовала ему:

— Правьте налѣво... скорѣе! Вонъ къ этому дубу... Ай, какой вы неловкій!

Лодка не слушалась его руки и шла къ берегу бортомъ, хотя онъ съ напряженіемъ ворочалъ воду своимъ весломъ.

— Ничего, ничего,—говорила она и, вдругъ поднявшись на ноги, прыгнула черезъ бортъ.

Ипполитъ Сергѣевичъ глухо вскрикнулъ, бросивъ весло и простирая за ней руки, но она невредима стояла на берегу, держа цѣпь лодки въ рукахъ и виновато спрашивая его:

— Я испугала васъ?

— Я думалъ, что вы упадете въ воду, — тихо сказалъ онъ.

— Да развѣ можно тутъ упасть? И къ тому же тутъ не глубоко, — оправдывалась она, подводя лодку къ берегу. А онъ, сидя на кормѣ, думалъ, что это нужно бы сдѣлать ему.

— Видите, какой лѣсъ? — говорила она, когда онъ вышелъ на берегъ и сталъ рядомъ съ ней. — Хорошо вѣдь? Тамъ около Петербурга нѣтъ такихъ красивыхъ лѣсовъ?

Передъ ними лежала узкая дорога, огражденная съ обѣихъ сторонъ стволами разнородныхъ деревьевъ. Подъ ногами у нихъ простирались узловатые корни, избитые колесами телѣгъ, а надъ ними — густой шатеръ изъ вѣтвей и гдѣ-то высоко голубые клочья неба. Лучи солнца, тонкіе, какъ струны, трепетали въ воздухѣ, пересѣкая наискось этотъ узкій, зеленый коридоръ. Запахъ перегнившихъ листьевъ, грибовъ и березы окружалъ ихъ. Мелькали птицы, нарушая важную тишину лѣса оживленными пѣснями и хлопотливымъ щебетаньемъ. Гдѣ-то стучалъ дятелъ, жужжала пчела и, какъ будто указывая имъ дорогу, въ воздухѣ, впереди

ихъ, порхали два мотылька, преслѣдуя одинъ другого.

Они шли медленно. Ипполитъ Сергѣевичъ молчалъ, не мѣшая Варенькѣ искать слова для выраженія ея мыслей, а она горячо говорила ему:

— Я не люблю читать о мужикахъ; что можетъ быть интереснаго въ ихъ жизни? Я знаю ихъ, живу съ ними и вижу, что о нихъ пишутъ невѣрно, неправду. Они такими жалкими описываются, а они просто подлые, и ихъ совсѣмъ не за что жалѣть. Они только одного и хотятъ—надуть васъ, украсть у васъ что-нибудь. Клянчатъ всегда, ноютъ, гадкіе, грязные... и они вѣдь умные, о! они даже очень хитрые; какъ они мучатъ меня иногда, если бъ вы знали!

Теперь она горячилась и на лицѣ ея выразилось озлобленіе и скука. Очевидно, мужики занимали въ ея жизни много мѣста; она доходила до ненависти, рисуя ихъ. Ипполитъ Сергѣевичъ былъ изумленъ силой ея волненія, но, не желая слушать эти барскія выходки, перебилъ дѣвушку:

— Вы говорили о французскихъ писателяхъ...

— Ахъ, да! То-есть о русскихъ—поправила она его, успокоиваясь.—Вы спрашиваете — почему русскіе пишутъ хуже,—это ясно! потому что они не выдумываютъ ничего интереснаго. У французовъ герои настоящіе, они и говорятъ не такъ, какъ всѣ люди, и поступаютъ иначе. Они всегда храбрые, влюбленные, веселые... а у насъ герои — простые человѣчки, безъ смѣлости, безъ пылкихъ чувствъ, какіе-то некрасивые, жалкенькіе — самые настоящіе люди и больше ничего! Почему они герои? Никогда въ русской книжкѣ не поймешь этого. Русскій герой какой-то глупый и мѣшковатый, всегда ему тошно, всегда онъ думаетъ о чемъ-то непонятномъ и всѣхъ жалѣетъ, а самъ-то жалкій-прежалкій! Подумаетъ, поговоритъ, пойдетъ объясняться въ любви, потомъ опять думаетъ, пока не женится... а женится—

наговоритъ женѣ кислыхъ глупостей и броситъ ее... Что въ этомъ интереснаго? Меня даже злитъ это, потому что похоже на обманъ — вмѣсто героя всегда какое-то чучело торчитъ въ романѣ! И никогда, читая русскую книжку, не забудешь о настоящей жизни, — развѣ это хорошо? А читаешь сочиненіе француза — дрожишь за героевъ, жалѣешь ихъ, ненавидишь, хочешь драться, когда они дерутся, плачешь, когда погибаютъ... страстно ждешь, когда кончится романъ, а когда прочтешь его—чуть не плачешь съ досады, что уже все. Тутъ—живешь, а въ русскихъ книжкахъ совсѣмъ непонятно—зачѣмъ живутъ люди? Зачѣмъ писать книжки, если не можешь сказать ничего необыкновеннаго? Странно, право!

— На это многое можно возразить вамъ, Варвара Васильевна,—остановилъ онъ потокъ ея рѣчей.

— Что же, возражайте! —разрѣшила она съ улыбкой.—Вы, конечно, разнесете меня.

— Постараюсь. Прежде всего, какихъ вы русскихъ авторовъ читали?

— Разныхъ... впрочемъ, всѣ они одинаковые. Вотъ, напримѣръ, Сальясъ... онъ подражаетъ французамъ, но плохо. Впрочемъ, и у него русскіе герои, а развѣ о нихъ можно писать интересно? Еще многихъ читала—Тургенева, Маркевича, Пазухина, кажется—вы смотрите, даже по одной фамиліи уже видно, что онъ не можетъ хорошо писать! Вы его не читали? А читали ли вы Фортюнэ-де-Буагобэя? Понсонъ-де-Терайля? Арсена Гуссэ? Пьера Законнэ? Дюма, Габоріо, Борна? Какъ хорошо, Боже мой! Подождите... знаете что? Мнѣ въ романахъ больше всего нравятся злодѣи, тѣ, которые такъ ловко плетутъ разныя ехидныя сѣти, убиваютъ, отравляютъ... умные они, сильные... и когда, наконецъ, ихъ ловятъ—меня зло беретъ, даже до слезъ дохожу. Всѣ ненавидятъ злодѣя, всѣ идутъ противъ него—онъ одинъ противъ всѣхъ! Вотъ — герой! А тѣ, другіе, добродѣтель-

ные, становятся гадки, когда они побѣждаютъ... И вообще, знаете, мнѣ люди до той поры нравятся, пока они сильно хотятъ чего-нибудь, куда-нибудь идутъ, ищутъ чего-то, мучатся... но если они дошли до цѣли своей и остановились, тутъ они уже не интересны... и даже пошлы!

Возбужденная и, должно быть, гордая тѣмъ, что сказала ему, она медленно шла рядомъ съ нимъ, красиво поднявъ голову и сверкая глазами.

Онъ смотрѣлъ ей въ лицо и, нервозно покручивая бородку, искалъ такихъ возраженій, которыя сразу сорвали бы съ ея ума эту грубую пелену пыли, покрывавшую его. Но, чувствуя себя обязаннымъ возразить ей, онъ хотѣлъ еще слушать ея наивную и своеобразную болтовню, еще видѣть ее увлеченной своими сужденіями и искренно раскрывающей предъ нимъ свою душу. Онъ никогда не слыхалъ такихъ рѣчей; онѣ были уродливы и невозможны въ его глазахъ, но въ то же время все, что говорила она, какъ нельзя болѣе гармонировало съ ея немного хищной красотой. Предъ нимъ былъ умъ неотшлифованный, оскорблявшій его своею грубостью, и женщина, соблазнительно прекрасная, раздражавшая его чувственность. Эти двѣ силы давили на него всей энергіей своей непосредственности, и нужно было что-нибудь противопоставить имъ, иначе, онъ чувствовалъ—онѣ могли выбить его изъ привычной ему колеи тѣхъ взглядовъ и настроеній, съ которыми онъ спокойно жилъ до встрѣчи съ ней. У него была ясная логика и онъ хорошо спорилъ съ людьми своего круга. Но какъ говорить съ ней и что нужно сказать ей для того, чтобъ вызвать умъ ея на правильный путь и облагородить ея душу, изуродованную глупыми романами и обществомъ мужиковъ, этого солдата, пьяницы-отца?

— Ухъ, какъ я заговорилась! — воскликнула она, вздыхая.—Надоѣло вамъ, да?

— Нѣтъ, но...

— Я, видите ли, рада очень вамъ. Мнѣ до васъ не съ кѣмъ было поговорить. Ваша сестра, я знаю, не любитъ меня и все сердится на меня... должно быть, за то, что я даю водки отцу, и за то, что побила Никона...

— Вы?! Побили! Э... какъ это вы?—изумился Ипполитъ Сергѣевичъ.

— Очень просто, отхлестала его папашиной нагайкой, вотъ и все! Понимаете, молотьба, страшная горячка, а онъ, скотъ, пьянъ! Я разсердилась! развѣ онъ смѣетъ напиваться, когда кипитъ работа и вездѣ нуженъ его глазъ? Эти мужики, они...

— Но, послушайте же, Варвара Васильевна,—убѣдительно и какъ только могъ мягче заговорилъ онъ,—развѣ это хорошо бить слугу? Благородно ли это? подумайте! Развѣ тѣ герои, предъ которыми вы преклоняетесь, бьютъ своихъ преданныхъ... Сади-Коко?

— О, еще какъ! Графъ Луи однажды такую пощечину влѣпилъ Коко, что мнѣ даже жалко стало бѣднаго солдатика. И что же я могу дѣлать съ ними, какъ не бить? Хорошо еще, что могу... я вѣдь сильная! Пощупайте, какіе у меня мускулы!

Согнувъ свою руку въ локтѣ, она гордо протянула ее къ нему. Онъ положилъ ладонь на ея тѣло выше локтя и крѣпко сжалъ пальцы, но тотчасъ же опомнился и смущенный, съ краской на лицѣ, оглянулся вокругъ. Всюду безмолвно стояли деревья и только...

Онъ вообще не былъ скроменъ съ женщинами, но эта своей простотой и довѣрчивостью дѣлала его такимъ, хотя и разжигала въ немъ опасное для него чувство.

— У васъ завидное здоровье, — сказалъ онъ, пристально и задумчиво разсматривая маленькую загорѣлую кисть ея руки.—И я думаю, что у васъ очень хорошее сердце,—неожиданно для себя вырвалось у него.

— Не знаю! — отозвалась она, качнувъ головой. — Едва ли,—у меня нѣтъ характера: иногда я жалѣю людей, даже тѣхъ, которыхъ не люблю.

— Иногда только?—усмѣхнулся онъ.—Но вѣдь они всегда достойны сожалѣнія и состраданія.

— За что?—спросила она, тоже улыбаясь.

— Развѣ вы не видите, какъ они несчастны? Хотя бы эти ваши мужики. Какъ тяжело имъ живется и сколько несправедливости, горя, мученій въ ихъ жизни?

Это вырвалось у него горячо, и она внимательно взглянула въ лицо ему, говоря:

— Вы, должно быть, очень добрый, если такъ говорите. Но вѣдь вы не знаете мужиковъ, не жили въ деревнѣ. Они несчастны—это вѣрно, но кто же въ этомъ виноватъ? Они вѣдь хитрые и никто имъ не мѣшаетъ сдѣлаться счастливыми.

— Но вѣдь у нихъ даже хлѣба нѣтъ настолько, чтобъ быть сытыми!

— Еще бы! Ихъ вонъ какъ много...

— Да, ихъ много! Но и земли много... ибо есть люди, которые имѣютъ десятки тысячъ десятинъ. У васъ, напримѣръ, сколько?

— Пятьсотъ семьдесятъ три...—Ну, такъ что же? Неужели... ну, слушайте! Неужели имъ отдать?

Она смотрѣла на него взглядомъ взрослаго на ребенка и тихо смѣялась. Его смущалъ и злилъ этотъ смѣхъ. Въ немъ разгоралось желаніе убѣдить ее въ заблужденіяхъ ея ума.

И раздѣльно, даже рѣзко произнося слова, онъ началъ говорить ей о несправедливомъ распредѣленіи богатствъ, о безправіи большинства людей, о роковой борьбѣ за мѣсто въ жизни и за кусокъ хлѣба, о силѣ богатыхъ и безсиліи бѣдныхъ и объ умѣ—руководителѣ жизни, подавленномъ вѣковой неправдой и тьмой предразсудковъ, выгодныхъ сильному меньшинству людей.

Идя рядомъ съ нимъ, она молча, съ любопытствомъ и удивленіемъ смотрѣла на него.

Вокругъ нихъ царила сумрачная тишина лѣса, та тишина, по которой звуки какъ бы скользятъ, не нару-

шая ея меланхоличной гармоніи. Листья осинъ нервно трепетали, точно дерево нетерпѣливо ожидало чего-то страстно желаемаго.

— Обязанность каждаго честнаго человѣка,—убѣдительно говорилъ Ипполитъ Сергѣевичъ, — внести въ борьбу за порабощенныхъ, за ихъ право жить — весь свой умъ и все сердце, стараясь или сокращать мученія борьбы, или ускорять ея ходъ. Вотъ на что нуженъ истинный героизмъ, и именно въ этой борьбѣ вы должны искать его. Внѣ ея—нѣтъ героизма. Герои этой борьбы одни достойны удивленія и подражанія... и вамъ, Варвара Васильевна, нужно именно сюда обратить ваше вниманіе, здѣсь искать героевъ, сюда отдать ваши силы .. изъ васъ, мнѣ кажется, вышла бы замѣчательно-стойкая защитница правды! Но прежде всего вамъ нужно много читать, учиться понимать жизнь въ ея неприкрашенномъ фантазіями видѣ... нужно бросить всѣ эти глупые романы въ печку...

Онъ замолчалъ и, вытирая потъ со лба, утомленный своей длинной лекціей,—ждалъ, что она скажетъ.

Она смотрѣла вдаль предъ собой, сузивъ свои глаза, и на лицѣ ея дрожали какія-то тѣни. Минутъ пять молчанія разрѣшились ея тихимъ возгласомъ:

— Какъ вы хорошо говорите!.. Неужели въ университетѣ всѣ могутъ такъ говорить?

Молодой ученый безнадежно вздохнулъ, и ожиданіе ея отвѣта смѣнилось у него глухимъ раздраженіемъ противъ нея и жалостью къ самому себѣ. Почему она не воспринимаетъ того, что такъ логически ясно для всякаго хоть немного мыслящаго существа? Чего именно не хватаетъ въ его рѣчахъ, почему ея чувство не задѣваютъ онѣ?

— Очень хорошо говорите вы! — вздохнула она, не дожидаясь его отвѣта, и въ глазахъ ея онъ читалъ истинное удовольствіе.

— Но вѣрно ли я говорю?—спросилъ онъ.

— Нѣтъ!—не задумываясь, отвѣтила дѣвушка.—Вы хотя и ученый, но я съ вами поспорю. Вѣдь и я тоже что-нибудь понимаю!.. Вы говорите такъ, что выходитъ... какъ будто люди строятъ домъ и всѣ они въ этой работѣ равны. И даже не они, а все:—и кирпичи, и плотники, и деревья, и хозяинъ дома—все это у васъ равно одно другому. Но развѣ это можно? Мужикъ—онъ долженъ работать, вы должны учить, а губернаторъ смотрѣть—всѣ ли дѣлаютъ то, что нужно. И потомъ вы сказали, что жизнь борьба... ну, гдѣ же это? Напротивъ, люди очень мирно живутъ. А если ужъ борьба, значитъ—нужны побѣжденные. А общая польза—это я совсѣмъ не понимаю. Вы говорите, что общая польза въ равенствѣ всѣхъ людей. Но это же не вѣрно! Мой папа полковникъ—какъ же онъ равенъ Никону или мужику? И вы—вы ученый, но развѣ вы ровня нашему учителю русскаго языка, который пилъ водку... рыжій, глупый и сморкался громко, какъ мѣдная труба?

Считая свои доводы неотразимыми, она ликовала, а онъ любовался ея радостнымъ волненіемъ и былъ доволенъ собой за то, что далъ ей эту радость.

Но умъ его старался разрѣшить — почему нетронутая анализомъ, цѣльная мысль, разбуженная имъ, работала въ направленіи, прямо противоположномъ тому, на которое онъ ее толкалъ?

— Вы нравитесь мнѣ, а другой не нравится... гдѣ же равенство?

— Я вамъ нравлюсь? — какъ-то вдругъ спросилъ Ипполитъ Сергѣевичъ.

— Да... очень!—утвердительно кивнула она головой и тотчасъ же спросила:

— А что?

Онъ испугался за себя предъ бездной наивности, смотрѣвшей на него яснымъ взглядомъ.

— Неужели же это ея манера кокетничать?—подумалъ онъ.

— Почему вы спрашиваете объ этомъ?—допытывалась она, глядя въ его лицо любопытными глазами.

Его смущалъ ея взглядъ.

— Почему?—пожалъ онъ плечами. — Это, я думаю, естественно. Вы женщина... я мужчина... — какъ могъ, спокойно объяснилъ онъ.

— Ну, такъ что же? Все-таки не зачѣмъ вамъ знать. Вѣдь вы не собираетесь жениться на мнѣ!

Она такъ просто сказала это, что онъ даже и не смутился. Ему только показалось, что нѣкая сила, съ которой безполезно бороться въ виду ея слѣпой стихійности, перемѣщаетъ работу его мозга съ одного направленія на другое. И онъ съ оттѣнкомъ игривости сказалъ ей:

— Кто знаетъ?.. И потомъ — желаніе нравиться и желаніе жениться или выйти замужъ—не одно и то же... какъ вы, навѣрное, знаете.

Она вдругъ громко расхохоталась, а онъ сразу охладѣлъ подъ ея смѣхомъ и безмолвно проклялъ и себя, и ее. Ея грудь трепетала отъ сочнаго искренняго смѣха, весело сотрясавшаго воздухъ, а онъ молчалъ, виновато ожидая отповѣди за свою игривость.

— Охъ! ну какая... какая же я... была бы жена вамъ! Вотъ смѣшно... какъ страусъ и пчела! Ха, ха, ха!

И онъ тоже засмѣялся, — не надъ ея курьезнымъ сравненіемъ, а надъ своимъ непониманіемъ тѣхъ пружинъ, которыя управляли движеніемъ ея души.

— Милая вы дѣвушка!—искренно вырвалось у него.

— Дайте-ка мнѣ руку... вы очень медленно идете, я потащу васъ! Намъ пора назадъ... очень пора! Мы уже часа четыре гуляемъ... и Елизавета Сергѣевна будетъ нами недовольна, потому что къ обѣду мы опоздали...

Они пошли назадъ. Ипполитъ Сергѣевичъ сознавалъ себя обязаннымъ возвратиться къ выясненію ея заблужденій, не позволявшихъ ему чувствовать себя рядомъ съ ней такъ свободно, какъ хотѣлось бы. Но прежде этого

нужно было подавить въ себѣ то неясное безпокойство, которое глухо бродило въ немъ, стѣсняя его намѣреніе спокойно слушать и рѣшительно опровергать ея доводы. Ему было бы такъ легко срѣзать уродливый наростъ съ ея мозга холодной логикой своего ума, если бъ не мѣшало это странное, обезсиливающее ощущеніе, не имѣющее имени. Что это? Оно похоже на нежеланіе вводить въ душевный міръ этой дѣвушки понятія, чуждыя ей... Но такое уклоненіе отъ своей обязанности было бы постыдно для человѣка, стойкаго въ своихъ принципахъ. А онъ считалъ себя такимъ и былъ глубоко увѣренъ въ силѣ ума и въ главенствѣ его надъ чувствомъ.

— Сегодня вторникъ?—говорила она.—Ну, конечно. Значитъ, черезъ три дня пріѣдетъ черненькій господинчикъ...

— Кто и куда пріѣдетъ, сказали вы?

— Черненькій господинчикъ, Бенковскій, пріѣдетъ къ намъ въ субботу.

— Зачѣмъ же?

Она разсмѣялась, пытливо глядя на него.

— Развѣ вы не знаете? Онъ—чиновникъ...

— А! Да, сестра говорила мнѣ...

— Говорила?—оживилась Варенька.—Ну и что же... скажите, скоро они обвѣнчаются?

— Т.-е. это какъ? Почему же они должны обвѣнчаться?—растерянно спросилъ Ипполитъ Сергѣевичъ.

— Почему?—изумилась Варенька, сильно краснѣя.— Да я не знаю. Такъ принято! Но, Господи! Развѣ же вы этого не знали?

— Ничего я не знаю!—рѣшительно произнесъ Ипполитъ Сергѣевичъ.

— А я вамъ сказала!—съ отчаяніемъ воскликнула она.—Какъ это хорошо! Пожалуйста, миленькій Ипполитъ Сергѣевичъ, пусть вы и теперь не знаете этого... будто бы я не говорила ничего!

— Очень хорошо! Но, позвольте; вѣдь я и въ самомъ дѣлѣ ничего не знаю. Я понялъ одно—сестра выходитъ замужъ за господина Бенковскаго... да?

— Ну, да! Т.-е., если она сама вамъ этого не говорила... то, можетъ быть, этого и не будетъ. Вы не скажете ей про это?

— Не скажу, конечно!—пообѣщалъ онъ.—Я ѣхалъ сюда на похороны, а попалъ, кажется, на свадьбу? Это пріятно!

— Пожалуйста, ни слова о свадьбѣ!—умоляла она его.—Вы ничего не знаете.

— Совершенно вѣрно! Но что такое г. Бенковскій? Можно спросить?

— О немъ можно! Онъ—черненькій, сладенькій и тихонькій. У него есть глазки, усики, губки, ручки и скрипочка. Онъ любитъ нѣжныя пѣсенки и вареньице. Мнѣ всегда хочется потрепать его по мордочкѣ.

— Однако, вы его не любите!—воскликнулъ Ипполитъ Сергѣевичъ, ощущая жалость къ г. Бенковскому при такой характеристикѣ его наружности.

— И онъ меня не любитъ! Я... я терпѣть не могу мужчинъ маленькихъ, сладкихъ, скромныхъ. Мужчина долженъ быть высокъ, силенъ; онъ говоритъ громко, глаза у него большіе, огненные, а чувства смѣлыя, незнающія никакихъ препятствій. Пожелалъ и сдѣлалъ—вотъ мужчина!

— Кажется, такихъ больше нѣтъ,—сухо усмѣхаясь, сказалъ Ипполитъ Сергѣевичъ, чувствуя, что ея идеалъ мужчины противенъ ему и раздражаетъ его.

— Должны быть!—увѣренно воскликнула она.

— Да вѣдь вы же, Варвара Васильевна, какого-то звѣря изобразили! Что привлекательнаго въ такомъ чудищѣ?

— И совсѣмъ не звѣря, а сильнаго мужчину! Сила—вотъ и привлекательное. Теперешніе мужчины и родятся съ ревматизмомъ, съ кашлемъ, съ разными

болѣзнями—это хорошо? Интересно мнѣ, напримѣръ, имѣть мужемъ какого-нибудь сударя съ прыщами на лицѣ, какъ земскій начальникъ Коковичъ? Или красивенькаго господинчика, какъ Бенковскій? Или сутулую и худую дылду, какъ судебный приставъ Мухинъ? Или Гришу Чернонебова, купеческаго сына, большого, жирнаго, съ одышкой, лысиной и краснымъ носомъ? Какія дѣти могутъ быть отъ такихъ дрянныхъ мужей? Вѣдь объ этомъ надо думать... какъ же? Вѣдь дѣти—это... очень важно! А они—они не думаютъ... Они ничего не любятъ. Никуда они не годятся, и я... я била бы мужа, если бы вышла замужъ за котораго-нибудь изъ этихъ!

Ипполитъ Сергѣевичъ остановилъ ее, доказывая, что ея сужденіе о мужчинѣ вообще не правильно, потому что она слишкомъ мало видѣла людей. И названные ею люди не должны быть разсматриваемы только съ внѣшней стороны—это несправедливо. У человѣка можетъ быть скверный носъ, но хорошая душа, прыщи на лицѣ, но свѣтлый умъ. Ему скучно и трудно было говорить эти азбучныя истины; до встрѣчи съ ней онъ такъ рѣдко вспоминалъ о нихъ существованіи, что теперь всѣ онѣ и самому ему казались затхлыми и изношенными. Онъ чувствовалъ, что все это не идетъ къ ней и не будетъ воспринято ею...

— Вотъ и рѣка! — воскликнула она съ радостью, перебивая его рѣчь.

А Ипполитъ Сергѣевичъ подумалъ:

— Она радуется тому, что я замолчалъ.

Снова они поплыли по рѣкѣ, сидя другъ противъ друга. Варенька завладѣла веслами и гребла торопливо, сильно; вода подъ лодкой недовольно журчала, маленькія волны бѣжали къ берегамъ. Ипполитъ Сергѣевичъ смотрѣлъ, какъ навстрѣчу лодкѣ двигаются берега, и чувствовалъ себя утомленнымъ всѣмъ, что онъ говорилъ и слышалъ за время этой прогулки.

— Смотрите, какъ быстро идетъ лодка!—сказала ему Варенька.

— Да,—кратко отвѣтилъ онъ, не обращая на нее глазъ. Все равно—и не видя ея онъ представлялъ себѣ, какъ соблазнительно изгибается ея корпусъ и колышется грудь.

Показался паркъ... Скоро они шли по его аллеѣ, а навстрѣчу имъ, многозначительно улыбаясь, двигалась стройная фигура Елизаветы Сергѣевны. Она держала въ рукахъ какія-то бумаги и говорила:

— Однако, вы загулялись!

— Долго? Зато у меня такой аппетитъ, что я — у! съѣмъ васъ!

И Варенька, обнявъ талію Елизаветы Сергѣевны, легко завертѣла ее вокругъ себя, смѣясь надъ ея криками.

Обѣдъ былъ невкусный и скучный, потому что Варенька была увлечена процессомъ насыщенія и молчала, а Елизавета Сергѣевна сердила брата, то и дѣло ловившаго на своемъ лицѣ ея пытливые взгляды. Вскорѣ послѣ обѣда Варенька уѣхала домой, а Ипполитъ Сергѣевичъ пошелъ въ свою комнату, легъ тамъ на диванъ и задумался, подводя итогъ впечатлѣніямъ дня. Онъ вспоминалъ мельчайшія подробности прогулки и чувствовалъ, какъ изъ нихъ образуется мутный осадокъ, разъѣдавшій привычное ему устойчивое равновѣсіе чувства и ума. Онъ даже и физически ощущалъ новизну своего настроенія въ формѣ странной тяжести, сжимавшей ему сердце—точно кровь его сгустилась за это время и обращалась въ немъ медленнѣе, чѣмъ всегда. Это походило на утомленіе, располагало къ мечтательности и было какъ бы предисловіемъ къ какому-то еще не образовавшемуся желанію. И это было непріятно только потому, что оставалось безымяннымъ ощущеніемъ, несмотря на усилія Ипполита Сергѣевича дать ему имя.

— Нужно подождать съ анализомъ до поры, пока броженіе уляжется...—рѣшилъ онъ.

Но явилось чувство остраго недовольства собой, и онъ одновременно упрекнулъ себя въ утратѣ способности управлять своими эмоціями и въ томъ, что онъ велъ себя сегодня недостойно для серьезнаго человѣка. Наединѣ самъ съ собой онъ всегда былъ стоекъ и строгъ къ себѣ болѣе, чѣмъ при людяхъ. И вотъ онъ сосредоточенно началъ разсматривать себя.

Безспорно, что эта дѣвушка ошеломляюще красива, но увидать ее и сразу же войти въ темный кругъ какихъ-то смутныхъ ощущеній—это уже слишкомъ много для нея и постыдно для него, ибо это распущенность, недостатокъ выдержки. Она сильно волнуетъ чувственность,—да, но съ этимъ нужно бороться.

— Нужно ли? — вдругъ вспыхнулъ въ его головѣ краткій, уколовшій его вопросъ.

Онъ поморщился, относясь къ этому вопросу такъ, какъ будто онъ былъ поставленъ кѣмъ-то извнѣ его.

Во всякомъ случаѣ, то, что творится въ немъ, не есть начало увлеченія женщиной, скорѣе это протестъ ума, оскорбленнаго столкновеніемъ, изъ котораго онъ не вышелъ побѣдителемъ, хотя его противникъ и былъ по-дѣтски слабъ. Нужно было говорить съ этой дѣвушкой образами, ибо очевидно, что она не понимаетъ логическаго довода. Его обязанность — уничтожить ея дикія понятія, разрушить всѣ эти грубыя и глупыя фантазіи, впитанныя ея мозгомъ. Нужно обнажить ея умъ отъ всѣхъ этихъ заблужденій, очистить, опустошить ея душу, и тогда она будетъ способна воспринять и вмѣстить въ себя истину.

— Могу ли я сдѣлать это? — снова вспыхнулъ въ немъ посторонній вопросъ. И снова онъ обошелъ его... Какова она будетъ тогда, когда воспримется въ себя нѣчно новое и противоположное тому, что въ ней есть? И ему казалось, что, когда ея душа, освобожденная имъ изъ плѣна заблужденія, проникнется стройнымъ

ученіемъ, чуждымъ всего неяснаго и омрачающаго,— эта дѣвушка будетъ вдвойнѣ прекрасна.

Когда его позвали пить чай, онъ уже твердо рѣшилъ перестроить ея міръ, вмѣняя это рѣшеніе въ прямую обязанность себѣ. Теперь онъ встрѣтитъ ее холодно и спокойно и придастъ своему отношенію къ ней характеръ строгой критики всего, что она скажетъ, всего, что сдѣлаетъ.

— Ну, что, какъ тебѣ нравится Варенька?—спросила его сестра, когда онъ вышелъ на террасу.

— Очень милая дѣвушка,— сказалъ онъ, поднявъ брови.

— Да? Вотъ какъ... Я думала, что тебя поразитъ ея неразвитость.

— Пожалуй, я немного удивленъ этой стороной въ ней,—согласился онъ.—Но, откровенно говоря, она во многомъ лучше дѣвушекъ развитыхъ и рисующихся этимъ.

— Да, она красива... И выгодная невѣста... пятьсотъ десятинъ прекрасной земли, около сотни—строевой лѣсъ. Да еще наслѣдуетъ послѣ тётки солидное имѣніе. И оба не заложены...

Онъ видѣлъ, что сестра намѣренно не поняла его, но не хотѣлъ объяснять себѣ, зачѣмъ это ей нужно.

— Съ этой стороны я не смотрю на нее,—сказалъ онъ.

— Такъ посмотри... я серьезно совѣтую.

— Благодарю.

— Ты немного не въ духѣ, кажется?

— Напротивъ. А что?

— Такъ. Хочу знать это, какъ заботливая сестра.

Она мило и немножко заискивающе улыбнулась. Эта улыбка напомнила ему о господинѣ Бенковскомъ, и онъ тоже улыбнулся ей.

— Ты что смѣешься?—спросила она.

— А ты?

— Мнѣ весело.

— Мнѣ тоже весело, хотя я и не схоронилъ жены двѣ недѣли тому назадъ,—сказалъ онъ, смѣясь.

А она сдѣлала серьезное лицо и, вздохнувъ, заговорила:

— Можетъ быть, ты въ душѣ осуждаешь меня за недостатокъ чувства къ покойному, думаешь, что я эгоистична? Но, Ипполитъ, ты знаешь, что такое мой мужъ, я писала тебѣ, какъ мнѣ жилось. И я часто думала:—Боже мой! неужели я создана затѣмъ только, чтобъ услаждать грубыя вожделѣнія Николая Степановича Варыпаева, когда онъ напивается пьянъ настолько, что уже не можетъ различить жены отъ простой деревенской бабы или уличной женщины.

— Но неужели?.. — съ недовѣріемъ воскликнулъ Ипполитъ Сергѣевичъ, вспоминая ея письма, въ которыхъ она много говорила о безхарактерности мужа, о его страсти къ вину, о лѣни, о всѣхъ порокахъ, кромѣ разврата.

— Ты сомнѣваешься?—съ укоромъ спросила она и вздохнула.—А между тѣмъ это фактъ; онъ часто бывалъ въ такомъ состояніи... я не утверждаю, что онъ измѣнялъ мнѣ, но допускаю это. Развѣ онъ могъ сознавать— я предъ нимъ или другая, если онъ окна принималъ за двери? Да... и такъ я жила годы...

Она долго и скучно говорила ему о своей печальной жизни, а онъ слушалъ и ждалъ, когда она скажетъ ему то, что хочетъ сказать. И невольно ему думалось, что Варенька едва ли когда-нибудь будетъ жаловаться на свою жизнь, какъ бы она ни сложилась у нея.

— Мнѣ кажется, что судьба должна вознаградить меня за долгіе годы горя... Можетъ быть, оно близко— это вознагражденіе.

Елизавета Сергѣевна замолчала и, вопросительно взглянувъ на брата, немного покраснѣла.

— Что ты хочешь сказать?—спросилъ онъ ласково, наклонясь къ ней.

— Видишь ли... я, быть можетъ, снова... выйду замужъ!

— И прекрасно сдѣлаешь! Поздравляю... Но почему ты такъ смущаешься?

— Право, не знаю!

— Кто же онъ?

— Я, кажется, говорила тебѣ о немъ... Бенковскій... будущій прокуроръ... а пока поэтъ и мечтатель... Можетъ быть, ты встрѣчалъ его стихи? Онъ печатается...

— Стиховъ не читаю. Хорошій человѣкъ? Впрочемъ, конечно, хорошій.

— Я не скажу утвердительно—да; но, кажется, могу, не самообольщаясь, сказать, что онъ способенъ будетъ вознаградить меня за прошлое... Онъ любитъ меня... У меня сложилась маленькая философія... можетъ быть, она покажется тебѣ нѣсколько жесткой.

— Философствуй безбоязненно, это теперь въ модѣ...—шутилъ Ипполитъ Сергѣевичъ.

— Мужчины и женщины—два племени, вѣчно враждующія...—мягко говорила женщина.—Довѣріе, дружба и прочія чувства этого порядка едва ли возможны между мной и мужчиной. Но возможна любовь... а любовь—это побѣда того, кто любитъ меньше, надъ тѣмъ кто любитъ больше... Я была однажды побѣждена и поплатилась за это... теперь я побѣдила и воспользуюсь плодами побѣды...

— А это довольно свирѣпая философія...—прервалъ ее Ипполитъ Сергѣевичъ, съ удовольствіемъ чувствуя, что Варенька не можетъ такъ философствовать.

— Ее жизнь подсказала мнѣ... Видишь ли, онъ на четыре года моложе меня... только что кончилъ университетъ. Я знаю, что это опасно для меня... и, какъ это сказать?.. Я хотѣла бы устроить дѣло съ нимъ такъ, чтобъ мои имущественныя права не подвергались никакому риску.

— Да... и что же?—спросилъ Ипполитъ Сергѣевичъ, становясь внимательнымъ.

— Такъ вотъ ты мнѣ посовѣтуй, какъ все это устроить. Я не хочу давать ему никакихъ юридическихъ правъ на мое имущество... и не дала бы права на личность, если бы это было можно.

— Это, мнѣ кажется, достижимо въ гражданскомъ бракѣ. Впрочемъ...

— Нѣтъ, гражданскій бракъ я отрицаю.

Онъ посмотрѣлъ на нее и думалъ съ чувствомъ брезгливости:

— Однако, она умная! Если Богъ и создалъ людей, то жизнь такъ легко пересоздаетъ ихъ, что они навѣрное давно стали Ему противны.

А сестра убѣдительно выяснила свою точку зрѣнія на бракъ.

— Бракъ долженъ быть разумной сдѣлкой, исключающей всякій рискъ. Именно такъ и думаю я поставить съ Бенковскимъ. Но, прежде чѣмъ сдѣлать этотъ шагъ, я хотѣла бы выяснить законность претензіи этого досаднаго брата. Пожалуйста, пересмотри всѣ бумаги.

— Ты позволишь мнѣ заняться этимъ дѣломъ завтра?—спросилъ онъ.

— Конечно, когда хочешь.

Она еще долго развивала предъ нимъ свои идеи, потомъ много разсказывала ему о Бенковскомъ. О немъ она говорила снисходительно, съ улыбкой, блуждавшей на ея губахъ, и зачѣмъ-то прищуривая глаза. Ипполитъ слушалъ ее и самъ удивлялся отсутствію въ немъ всякаго участія къ ея судьбѣ, интереса къ рѣчамъ.

Уже солнце сѣло, когда они разошлись: онъ—усталый отъ нея, въ свою комнату; она—оживленная бесѣдой, съ увѣреннымъ блескомъ въ глазахъ,—хлопотать по хозяйству.

Придя къ себѣ, Ипполитъ Сергѣевичъ зажегъ лампу, досталъ книгу и хотѣлъ читать; но съ первой же стра-

ницы онъ понялъ, что ему будетъ не менѣе пріятно, если онъ закроетъ книгу. Сладко потянувшись, онъ закрылъ ее и повозился въ креслѣ, ища удобной позы, но кресло было жесткое; тогда онъ перебрался на диванъ и легъ на немъ. Сначала ему ни о чемъ не думалось, потомъ онъ съ досадой вспомнилъ, что скоро придется познакомиться съ г. Бенковскимъ, и сейчасъ же улыбнулся, припоминая характеристику, данную Варенькой этому господину.

И скоро одна она занимала его мысль и воображеніе. Между прочимъ, онъ подумалъ:

— А что, если бы жениться на такомъ миломъ чудовищѣ? Пожалуй, это была бы очень интересная жена... хотя бы уже по одному тому, что изъ ея устъ не услышишь копеечной мудрости популярныхъ книжекъ...

Но, разсмотрѣвъ всесторонне свое положеніе въ роли мужа Вареньки, онъ засмѣялся и категорически отвѣтилъ себѣ:

— Никогда!

И вслѣдъ затѣмъ ему стало грустно.

II.

Утро субботы началось для Ипполита Сергѣевича маленькой непріятностью: одѣваясь, онъ свалилъ со столика на полъ лампу, она разлетѣлась вдребезги, и нѣсколько капель керосина изъ разбитаго резервуара попало ему въ одну изъ ботинокъ, еще не надѣтыхъ имъ на ноги. Ботинки, конечно, вычистили, но Ипполиту Сергѣевичу стало казаться, что отъ чая, хлѣба, масла и даже отъ красиво причесанныхъ волосъ сестры струится въ воздухѣ противный маслянистый запахъ.

Это портило ему настроеніе.

— Сними ботинку и поставь ее на солнце, тогда керосинъ испарится,—совѣтовала ему сестра. — А пока надѣнь туфли мужа, есть однѣ совершенно новенькія.

— Пожалуйста, не безпокойся. Это скоро исчезнетъ.

— Очень нужно ждать, когда исчезнетъ. Въ самомъ дѣлѣ, я скажу, чтобъ дали туфли?

— Нѣтъ, не надо. Брось ихъ.

— Зачѣмъ? Туфли хорошія, бархатныя... Годятся.

Ему хотѣлось спорить, керосинъ раздражалъ его.

— Куда онѣ могутъ годиться? Не будешь же ты носить.

— Я, конечно, нѣтъ, но Александръ будетъ.

— Это кто?

— А Бенковскій.

— Ага!—онъ сухо усмѣхнулся.—Это очень трогательная вѣрность туфлямъ умершаго мужа. И практично.

— Ты сегодня золъ?

Она смотрѣла на него немножко обиженно, но очень пытливо, и онъ, поймавъ въ ея глазахъ это выраженіе, непріязненно подумалъ:

— Навѣрно она воображаетъ, что я раздраженъ отсутствіемъ Вареньки.

— Къ обѣду Бенковскій пріѣдетъ, вѣроятно,—сообщила она, помолчавъ.

— Очень радъ, — откликнулся онъ, соображая просебя:

— Желаетъ, чтобъ я былъ любезенъ съ будущимъ зятемъ.

И его раздраженіе усилилось чувствомъ томительной скуки. А Елизавета Сергѣевна говорила, тщательно намазывая тонкій слой масла на хлѣбъ:

— Практичность, по-моему, очень похвальное свойство. Особенно въ настоящее время, когда бремя оскудѣнія такъ давитъ нашу братію, живущую отъ плодовъ земли. Почему бы Бенковскому не носить туфель покойнаго мужа?..

— И саванъ покойника, если ты и саванъ съ него сняла и хранишь,—язвительно подумалъ Ипполитъ Сер-

гѣевичъ, сосредоточенно занимаясь переселеніемъ пѣнокъ изъ сливочника въ свой стаканъ.

— И вообще послѣ мужа остался очень обширный и приличный гардеробъ. А Бенковскій не избалованъ. Ты вѣдь знаешь, сколько ихъ—трое юношей, помимо Александра, да дѣвицъ пять. А имѣніе заложено чуть ли не по десяти закладнымъ. Знаешь, я очень выгодно купила у нихъ библіотеку;—есть весьма цѣнныя вещи. Ты посмотри, можетъ быть, найдешь что-либо нужное тебѣ... Александръ существуетъ на жалованье очень мизерное.

— Ты давно его знаешь?—спросилъ онъ ее;—нужно было говорить о Бенковскомъ, хотя говорить не хотѣлось ни о чемъ.

— Въ общемъ, года четыре, а такъ... близко—мѣсяцевъ семь—восемь. Ты увидишь, онъ очень милый. Нѣжный такой, легко возбуждающійся, идеалистъ и немножко, кажется, декадентъ. Впрочемъ, теперь молодежь вся склонна къ декадентству... Одни падаютъ въ сторону идеализма, другіе къ матеріализму... — и тѣ, и другіе не кажутся мнѣ умными.

— Есть еще люди, исповѣдующіе „скептицизмъ во сто лошадиныхъ силъ“, какъ опредѣляетъ это настроеніе одинъ мой товарищъ,—заявилъ Ипполитъ Сергѣевичъ, наклоняя лицо надъ столомъ.

Она засмѣялась, говоря:

— Это остроумно, хотя и грубовато. Я, пожалуй, тоже близка къ скептицизму, знаешь, здравому скептицизму, который связываетъ крылья всевозможныхъ увлеченій и кажется мнѣ необходимымъ для... усвоенія правильныхъ взглядовъ на жизнь людей.

Онъ поторопился выпить свой чай и ушелъ, заявивъ, что ему нужно разобрать привезенныя имъ книги. Но въ комнатѣ у него, несмотря на открытыя двери, стоялъ запахъ керосина. Онъ поморщился и, взявъ книгу, ушелъ въ паркъ. Тамъ, въ тѣсно сплоченной семьѣ старыхъ

деревьевъ, утомленныхъ бурями и грозами, царила меланхолическая тишина, обезсиливающая умъ, и онъ шелъ, не открывая книги, вдоль по главной аллеѣ, ни о чемъ не думая, ничего не желая.

Вотъ рѣка и лодка. Здѣсь онъ видѣлъ Вареньку отраженной въ водѣ и ангельски-прекрасной въ этомъ отраженіи.

— Ну, я точно гимназистъ! -воскликнулъ онъ просебя, ощущая, что воспоминаніе о ней пріятно ему.

Постоявъ съ минуту у рѣки, онъ вошелъ въ лодку, сѣлъ на корму и сталъ смотрѣть на ту картину въ водѣ, что такъ хороша была три дня тому назадъ. Она и сегодня была такъ же хороша, но сегодня на ея прозрачномъ фонѣ не являлась бѣлая фигура дѣвушки. Полкановъ закурилъ папиросу и тотчасъ же бросилъ ее въ воду, думая, что, пожалуй, онъ глупо сдѣлалъ, пріѣхавъ сюда. Въ сущности, зачѣмъ онъ тутъ нуженъ? Кажется, только затѣмъ, чтобъ охранять доброе имя сестры, проще говоря, чтобъ дать сестрѣ возможность, не смущаясь приличіями, принимать у себя господина Бенковскаго. Роль не важная... А этотъ Бенковскій, должно быть, не очень уменъ, если дѣйствительно любитъ сестру, пожалуй, слишкомъ умную.

Просидѣвъ часа три въ состояніи полусозерцанія, въ какомъ-то разслабленіи мысли, скользившей по предметамъ, не обсуждая ихъ, онъ всталъ и медленно пошелъ въ домъ, негодуя на себя за это безполезно потраченное время и твердо рѣшивъ скорѣе приняться за работу. Подходя къ террасѣ, онъ увидалъ стройнаго юношу въ бѣлой блузѣ, подпоясанной ремнемъ. Юноша стоялъ спиной къ аллеѣ и разсматривалъ что-то, наклонясь надъ столомъ. Ипполитъ Сергѣевичъ замедлилъ шаги, соображая—неужели это и есть Бенковскій? Вотъ юноша выпрямился, красивымъ жестомъ откинулъ со лба назадъ длинныя пряди вьющихся черныхъ волосъ и обернулся лицомъ къ аллеѣ.

— Да это пажъ средневѣковый!—воскликнулъ про себя Ипполитъ Сергѣевичъ.

Лицо у Бенковскаго было овальное, матово-блѣдное и казалось измученнымъ отъ напряженнаго блеска большихъ, миндалевидныхъ и черныхъ глазъ, глубоко ввалившихся въ орбиты. Красиво очерченный ротъ оттѣнялся маленькими черными усами, а выпуклый лобъ— прядями небрежно спутанныхъ, вьющихся волосъ. Онъ былъ маленькій, ниже средняго роста, но его гибкая фигура, сложенная изящно и пропорціонально, скрадывала этотъ недостатокъ. Онъ смотрѣлъ на Ипполита Сергѣевича такъ, какъ смотрятъ близорукіе, и въ блѣдномъ лицѣ его было что-то очень симпатичное, но болѣзненное. Въ беретѣ и въ костюмѣ изъ бархата онъ дѣйствительно былъ бы пажомъ, убѣжавшимъ съ картины, изображающей средневѣковый дворъ.

— Бенковскій!—глухо сказалъ онъ, протягивая Ипполиту Сергѣевичу, взошедшему на ступеньки террасы, бѣлую руку съ тонкими и длинными пальцами музыканта.

Молодой ученый крѣпко пожалъ руку.

Съ минуту оба неловко молчали, потомъ Ипполитъ Сергѣевичъ заговорилъ о красотѣ парка. Юноша отвѣчалъ ему кратко, заботясь, очевидно, только о соблюденіи вѣжливости и не проявляя никакого интереса къ собесѣднику.

Скоро явилась Елизавета Сергѣевна въ свободномъ бѣломъ платьѣ, съ черными кружевами на воротникѣ и подпоясанная длиннымъ чернымъ шнуромъ съ кистями на концахъ. Этотъ костюмъ хорошо гармонировалъ съ ея спокойнымъ лицомъ, придавая величавое выраженіе его мелкимъ, но правильнымъ чертамъ. На щекахъ ея игралъ румянецъ удовольствія и холодные глаза смотрѣли оживленно.

— Сейчасъ будемъ обѣдать,—объявила она.—Я васъ угощу мороженымъ. А вы, Александръ Петровичъ, почему такой скучный? Да! вы не забыли Шуберта?

— Привезъ и Шуберта, и книги, — отвѣтилъ онъ, откровенно и мечтательно любуясь ею.

Ипполитъ Сергѣевичъ видѣлъ выраженіе его лица и чувствовалъ себя неловко, понимая, что этотъ милый юноша, должно быть, далъ себѣ обѣтъ не признавать его существованія.

— Прекрасно!—воскликнула Елизавета Сергѣевна, улыбаясь Бенковскому. — Послѣ обѣда мы съ вами играемъ?

— Если вамъ будетъ угодно!—и онъ склонилъ предъ ней голову.

Это вышло у него граціозно, но все-таки заставило внутренно усмѣхнуться Ипполита Сергѣевича.

— Мнѣ очень угодно, — кокетливо объявила его сестра.

— А вы любите Шуберта? — спросилъ Ипполитъ Сергѣевичъ.

— Прежде всего Бетховенъ — Шекспиръ музыки,— отвѣтилъ Бенковскій, повернувъ къ нему свое лицо въ профиль.

Ипполитъ Сергѣевичъ слыхалъ и раньше, что Бетховена называютъ Шекспиромъ музыки, и разница между Шубертомъ и имъ составляла для него одну изъ тѣхъ тайнъ, которыя его совершенно не интересовали. Но его интересовалъ этотъ мальчикъ, и онъ серьезно спросилъ:

— Почему же вы ставите именно Бетховена прежде всего?

— Потому что онъ идеалистъ болѣе, чѣмъ всѣ творцы музыки, взятые вмѣстѣ.

— Да? Вы тоже принимаете за истинное это міровоззрѣніе.

— Несомнѣнно. И знаю, что вы крайній матеріалистъ. Читалъ ваши статьи,— объяснился Бенковскій, и глаза его странно сверкнули.

— Онъ хочетъ спорить!—подумалъ Ипполитъ Сер-

гѣевичъ.—А онъ хорошій малый, прямой и, должно быть, свято-честный.

И его симпатія къ этому идеалисту, осужденному носить туфли покойника, увеличилась.

— Значитъ, мы съ вами враги?—улыбаясь, спросилъ онъ.

— Какъ мы можемъ быть друзьями? — горячо воскликнулъ Бенковскій.

— Господа!— крикнула имъ Елизавета Сергѣевна изъ комнаты.— Не забывайте, что вы только-что познакомились...

Горничная Маша, гремя посудой, накрывала на столъ и исподлобья посматривала на Бенковскаго глазами, въ которыхъ сверкало простодушное восхищеніе. Ипполитъ Сергѣевичъ тоже смотрѣлъ на него, думая, что къ этому юношѣ слѣдуетъ относиться со всей возможной деликатностью и что было бы хорошо избѣжать „идейныхъ“ разговоровъ съ нимъ, потому что онъ, навѣрное, въ спорахъ волнуется до бѣшенства. Но Бенковскій смотрѣлъ на него съ горячимъ блескомъ въ глазахъ и нервной дрожью на лицѣ. Очевидно, ему страстно хотѣлось говорить и онъ съ трудомъ сдерживалъ это желаніе. Ипполитъ Сергѣевичъ рѣшилъ замкнуться въ рамки чисто-официіальной вѣжливости.

Его сестра, уже сидя за столомъ, красиво бросала то тому, то другому незначительныя фразы въ шутливомъ тонѣ; мужчины кратко отвѣчали на нихъ—одинъ съ фамильярной небрежностью родственника, другой съ уваженіемъ влюбленнаго. И всѣ трое были охвачены чувствомъ какой-то неловкости и стѣсненія, заставлявшимъ ихъ слѣдить другъ за другомъ и каждаго за собой.

Маша внесла на террасу первое блюдо.

— Пожалуйте, господа!—пригласила Елизавета Сергѣевна, вооружаясь разливательной ложкой. — Вы выпьете водки?

— Я, да!—сказалъ Ипполитъ Сергѣевичъ

— Я не буду, если позволите,—заявилъ Бенковскій.

— Позволяю и охотно. Но вѣдь вы пьете?

— Не хочу...

„Чокнуться съ матеріалистомъ“, подумалъ Ипполитъ Сергѣевичъ.

Вкусный супъ съ пирожками или корректное поведеніе Ипполита Сергѣевича какъ будто нѣсколько охладили и смягчили суровый блескъ черныхъ глазъ юноши, и когда подали второе, онъ заговорилъ:

— Можетъ быть, вамъ показалось вызывающимъ мое восклицаніе въ отвѣтъ на вашъ вопросъ—враги ли мы? Можетъ быть, это и невѣжливо, но я полагаю, что отношенія людей другъ къ другу должны быть свободны отъ ихъ офиціальной лжи, всѣми принятой за правило.

— Вполнѣ согласенъ съ вами,—улыбнулся ему Ипполитъ Сергѣевичъ. — Чѣмъ проще, тѣмъ лучше. И ваше прямое заявленіе только понравилось мнѣ, если позволите такъ выразиться.

Бенковскій грустно усмѣхнулся, говоря:

— Мы дѣйствительно непріятели въ сферѣ идей, и это опредѣляется сразу, само собой. Вотъ вы говорите: проще—лучше, я тоже такъ думаю, но я влагаю въ эти слова одно содержаніе, вы—другое...

— Развѣ?—спросилъ Ипполитъ Сергѣевичъ.

— Несомнѣнно, если вы пойдете прямымъ путемъ логики отъ взглядовъ, изложенныхъ въ вашей статьѣ.

— Я, конечно, сдѣлаю это...

— Вотъ видите... И съ моей точки зрѣнія ваше понятіе о простотѣ будетъ грубо. Но оставимъ это... Скажите – представляя себѣ жизнь только механизмомъ, вырабатывающимъ все и въ томъ числѣ идеи, неужели вы не ощущаете внутренняго холода и нѣтъ въ душѣ у васъ ни капли сожалѣнія о всемъ таинственномъ и чарующе-красивымъ, что низводится вами до простого химизма, до перемѣщенія частицъ матеріи?

— Гмъ... этого холода я не ощущаю, ибо мнѣ ясно мое мѣсто въ великомъ механизмѣ жизни, болѣе поэтическомъ, чѣмъ всѣ фантазіи... Что же касается до метафизическихъ броженій чувства и ума, то вѣдь это, знаете, дѣло вкуса. Пока еще никто не знаетъ, что такое красота? Во всякомъ случаѣ, слѣдуетъ полагать, что это ощущеніе физіологическое.

Одинъ говорилъ глухимъ голосомъ, полнымъ задушевности и скорбныхъ нотъ сожалѣнія къ заблуждающемуся противнику; другой—спокойно, съ сознаніемъ своего умственнаго превосходства и съ желаніемъ не употреблять тѣхъ словъ, колющихъ самолюбіе противника, которыхъ всегда такъ много въ спорѣ двухъ людей о томъ, чья истина ближе къ истинѣ. Елизавета Сергѣевна, тонко улыбаясь, слѣдила за игрой ихъ физіономій и спокойно кушала, тщательно обгладывая косточки дичи. Изъ-за дверей выглядывала Маша и, очевидно, хотѣла понять то, что говорятъ господа, потому что лицо у нея было напряжено и глаза стали круглыми, утративъ свойственное имъ выраженіе хитрости и ласки.

— Вы говорите—дѣйствительность, но что она, когда все вокругъ насъ и мы сами только химизмъ и механизмъ, неустанно работающій? Всюду движеніе и все движеніе, нѣтъ ни одной сотой секунды покоя.—Какъ же я уловлю дѣйствительность, какъ познаю ее, если самъ я въ каждый данный моментъ не то, чѣмъ былъ, и не то, чѣмъ буду въ слѣдующій? Вы, я—мы только матерія? Но однажды мы будемъ лежать подъ образами, наполняя воздухъ сквернымъ запахомъ гніенія... Отъ насъ останутся на землѣ, быть можетъ, только выцвѣтшія фотографіи, и онѣ никогда никому ничего не скажутъ о радостяхъ и мукахъ нашего бытія, поглощенныхъ неизвѣстностью. Неужели не страшно вѣрить въ то, что всѣ мы, думающіе и страдающіе, живемъ лишь для того, чтобы сгнить?

Ипполитъ Сергѣевичъ внимательно слушалъ его рѣчь и думалъ про себя:

— Если бы ты былъ убѣжденъ въ истинѣ твоей вѣры — ты былъ бы спокоенъ. А ты вотъ кричишь. И не потому ты, братъ, кричишь, что ты идеалистъ, а потому, что у тебя скверные нервы.

А Бенковскій, глядя въ лицо ему пылающими глазами, все говорилъ:

— Вы говорите—наука,—прекрасно! — преклоняюсь предъ ней, какъ предъ могучимъ усиліемъ ума разрѣшить узы оковывающей меня тайны... Но я вижу себя при свѣтѣ ея тамъ же, гдѣ стоялъ мой далекій предокъ, непоколебимо вѣрившій въ то, что громъ гремитъ по милости пророка Иліи. Я не вѣрю въ Илію, я знаю—это дѣйствіе электричества, но чѣмъ оно яснѣе Иліи? Тѣмъ, что сложнѣе? Оно такъ же необъяснимо, какъ и движеніе и всѣ другія силы, которыми безуспѣшно пытаются замѣнить одну. И порой мнѣ кажется, что дѣло науки цѣликомъ сводится къ усложненію понятій—только! Я думаю, что хорошо вѣрить; надо мной смѣются, мнѣ говорятъ: нужно не вѣрить, а знать. Я хочу знать: что такое матерія, и мнѣ отвѣчаютъ буквально такъ: „матерія—это содержимое того мѣста пространства, въ которомъ мы объективируемъ причину воспринятаго нами ощущенія“. Зачѣмъ такъ говорить? Развѣ можно выдавать это за отвѣтъ на вопросъ? Это насмѣшка надъ тѣмъ, кто страстно и искренно ищетъ отвѣтовъ на тревожные запросы своего духа... Я хочу знать цѣль бытія — это стремленіе моего духа тоже осмѣивается. А вѣдь я живу, это не легко и даетъ мнѣ право категорически требовать отъ монополистовъ мудрости отвѣта—зачѣмъ я живу?

Ипполитъ Сергѣевичъ исподлобья смотрѣлъ въ пылающее волненіемъ лицо Бенковскаго и сознавалъ, что этому юношѣ нужно возражать словами, равными его словамъ по силѣ вложеннаго въ нихъ буйнаго чувства.

Но, сознавая это, онъ чувствовалъ въ себѣ желаніе возражать. А огромные глаза поэта стали еще больше,— въ нихъ горѣла страстная тоска. Онъ задыхался, и бѣлая, изящная кисть его правой руки быстро мелькала въ воздухѣ, то судорожно сжатая въ кулакъ и угрожающая, то какъ бы ловя что-то въ пространствѣ и безсильная поймать.

— Но ничего не давая, какъ много взяли вы у жизни! На это возражаете съ презрѣніемъ... А въ немъ звучитъ — что? Невозможность возразить съ увѣренностью и еще—ваше неумѣніе жалѣть людей. Вѣдь у васъ хлѣба духовнаго просятъ, а вы камень отрицанія предлагаете! Ограбили вы душу жизни, и если нѣтъ въ ней великихъ подвиговъ любви и страданія — въ этомъ вы виноваты, ибо, рабы разума, вы отдали душу во власть его, и вотъ охладѣла она и умираетъ больная и нищая! А жизнь все такъ же мрачна, и ея муки, ея горе требуютъ героевъ... Гдѣ они?

„Да онъ припадочный какой-то!"—восклицалъ просебя Ипполитъ Сергѣевичъ, съ непріятнымъ содроганіемъ глядя на этотъ клубокъ нервовъ, дрожавшій предъ нимъ въ тоскливомъ возбужденіи.—Онъ пытался остановить бурное краснорѣчіе своего будущаго зятя, но это было безуспѣшно, ибо, охваченный вдохновеніемъ своего протеста, юноша ничего не слышалъ и, кажется, не видѣлъ. Онъ, должно быть, долго носилъ въ себѣ всѣ эти жалобы, лившіяся изъ его души, и былъ радъ, что можетъ высказаться предъ однимъ изъ тѣхъ людей, которые, по его мнѣнію, испортили жизнь.

Елизавета Сергѣевна любовалась имъ, прищуривъ свѣтлые глаза, и въ нихъ сверкала искорка сладострастнаго вожделѣнія.

— Во всемъ, что вы такъ сильно и красиво сказали,—размѣренно и ласково заговорилъ Ипполитъ Сергѣевичъ, воспользовавшись невольной паузой утомлен-

наго оратора и желая успокоить его;—во всемъ этомъ звучитъ безспорно много искренняго чувства, пытливаго ума...

„Что бы ему сказать этакое охлаждающее и примиряющее?"—усиленно думалъ онъ, сплетая сѣть комплиментовъ.

Но его выручила изъ затруднительнаго положенія сестра. Она уже насытилась и сидѣла, откинувшись на спинку кресла. Темные волосы ея были причесаны старомодно, но эта прическа въ формѣ короны очень шла властному выраженію ея лица. Ея губы, вздрогнувшія отъ улыбки, открыли бѣлую и тонкую, какъ лезвее ножа, полоску зубовъ, и, красивымъ жестомъ остановивъ брата, она сказала:

— Позвольте и мнѣ слово! Я знаю одно изреченіе какого-то мудреца, и оно гласитъ: „Не правы тѣ, которые говорятъ—вотъ истина, но не правы и тѣ, которые возражаютъ имъ—это ложь, а правъ только Саваоѳъ и только Сатана, въ существованіе которыхъ я не вѣрю, но которые гдѣ-нибудь должны быть, ибо это они устроили жизнь такой двойственной и это она создала ихъ. Вы не понимаете? А вѣдь я говорю тѣмъ же человѣческимъ языкомъ, что и вы. Но всю мудрость вѣковъ я сжимаю въ одну фразу, для того, чтобы вы видѣли ничтожество вашей мудрости".

Кончивъ свою рѣчь, она съ очаровательно ясной улыбкой спросила у мужчинъ:

— Какъ вы это находите?

Ипполитъ Сергѣевичъ молча пожалъ плечами,—его возмущали слова сестры, но онъ былъ доволенъ тѣмъ, что она укротила Бенковскаго.

А съ Бенковскимъ произошло что-то странное. Когда Елизавета Сергѣевна заговорила,—его лицо вспыхнуло восторгомъ и, блѣднѣя съ каждымъ ея словомъ, выражало уже нѣчто близкое къ ужасу въ тотъ моментъ, когда она поставила свой вопросъ. Онъ хотѣлъ что-то

отвѣтить ей, его губы нервно вздрагивали, но слова не сходили съ нихъ. Она же, великолѣпная въ своемъ спокойствіи, слѣдила за игрой его лица и, должно быть, ей нравилось видѣть дѣйствіе своихъ словъ на немъ ибо въ глазахъ ея сверкало удовольствіе.

— Мнѣ, по крайней мѣрѣ, кажется, что въ этихъ словахъ дѣйствительно весь итогъ огромныхъ фоліантовъ философіи,—сказала она, помолчавъ.

— Ты права до извѣстной степени,—криво усмѣхнулся Ипполитъ Сергѣевичъ,—но все же...

— Такъ неужели человѣку нужно гасить послѣднія искры Прометеева огня, еще горящія въ душѣ его, облагораживая ея стремленія?—съ тоской глядя на нее, воскликнулъ Бенковскій.

— Зачѣмъ же, если они даютъ нѣчто положительное... пріятное вамъ!—улыбаясь, сказала она.

— Ты, кажется, берешь очень опасный критерій для опредѣленія положительнаго,—сухо замѣтилъ ей братъ.

— Елизавета Сергѣевна! Вы—женщина, скажите:—великое идейное движеніе женщинъ какіе отзвуки будитъ въ вашей душѣ?—спрашивалъ вновь разгоравшійся Бенковскій.

— Оно интересно.

— Только?

— Но я думаю, что это... какъ вамъ сказать?.. это стремленіе лишнихъ женщинъ. Онѣ остались за бортомъ жизни, потому что некрасивы или потому, что не сознаютъ силы своей красоты, не знаютъ вкуса власти надъ мужчиной... Онѣ лишнія по массѣ причинъ!.. Но— нужно есть мороженое.

Онъ молча взялъ зеленую вазочку изъ ея рукъ и, поставивъ ее передъ собой, сталъ упорно смотрѣть на холодную, бѣлую массу, нервно потирая свой лобъ рукой, дрожащей отъ сдерживаемаго волненія.

— Вотъ видите, философія портитъ не только вкусъ

къ жизни, но и аппетитъ, — шутила Елизавета Сергѣевна.

А братъ смотрѣлъ на нее и думалъ, что она играетъ въ скверную игру съ этимъ мальчикомъ. Въ немъ весь этотъ разговоръ вызвалъ ощущеніе нарождающейся скуки, и, хотя ему жалко было Бенковскаго, эта жалость не вмѣщала въ себѣ сердечной теплоты и потому лишена была энергіи.

— Sic visum Veneri! — рѣшилъ онъ, вставая изъ-за стола и закуривая папиросу.

— Будемъ играть?—спросила Елизавета Сергѣевна Бенковскаго.

И когда онъ, въ отвѣтъ на ея слово, покорно склонилъ голову, они ушли съ террасы въ комнаты, откуда вскорѣ раздались аккорды рояля и звуки настраиваемой скрипки. Ипполитъ Сергѣевичъ сидѣлъ въ удобномъ креслѣ у перилъ террасы, скрытой отъ солнца кружевной завѣсой дикаго винограда, всползавшаго съ земли до крыши по натянутымъ бечевкамъ, и слышалъ все, что говорятъ сестра и Бенковскій. Окна гостиной, закрытыя только зеленью цвѣтовъ, выходили въ паркъ.

— Вы написали что-нибудь за это время?—спрашивала Елизавета Сергѣевна, давая тонъ скрипкѣ.

— Да, маленькую пьеску.

— Прочитайте!

— Право, не хочется.

— Хотите, чтобъ я просила васъ?

— Хочу ли? Нѣтъ... Но хотѣлъ бы прочитать тѣ стихи, которые теперь слагаются у меня...

— Пожалуйста!

— Да, я прочту... Но они только-что явились... и вы ихъ вызвали къ жизни...

— Какъ мнѣ пріятно слышать это!

— Не знаю... Можетъ быть, вы говорите искренно... не знаю...

„Пожалуй, мнѣ нужно уйти?“ —подумалъ Ипполитъ Сергѣевичъ. Но ему лѣнь было двигаться, и онъ остался, успокоивъ себя тѣмъ, что имъ должно быть извѣстно его присутствіе на террасѣ.

Твоей спокойной красоты
Холодный блескъ меня тревожитъ...

раздался глухой голосъ Бенковскаго.

Ты осмѣешь мои мечты?
Ты не поймешь меня, быть можетъ?

тоскливо спрашивалъ юноша.

„Боюсь я, что ужъ поздно тебѣ спрашивать объ этомъ“,—скептически улыбаясь, подумалъ Ипполитъ Сергѣевичъ.

Въ твоихъ очахъ—участья нѣтъ,
Въ словахъ—холодный смѣхъ мнѣ слышенъ...
И чуждъ тебѣ безумный бредъ
Моей души...

Бенковскій замолчалъ отъ волненія или недостатка риѳмы.

А онъ такъ пышенъ!
Въ немъ пѣсенъ вихрь, въ немъ жизнь моя!
Онъ весь проникнутъ буйной страстью
Рѣшить загадку бытія,
Найти для всѣхъ дорогу къ счастью...

— Надо уйти!--рѣшилъ Ипполитъ Сергѣевичъ, невольно поднятый на ноги истерическими стонами юноши, въ которыхъ звучало одновременно и трогательное — прости! миру его души и отчаянное—помилуй!—обращенное къ женщинѣ.

Твой рабъ,—воздвигъ тебѣ я тронъ
Въ безумствахъ сердца моего...
И жду...

— Своей гибели, ибо — sic visum Veneri! — докончилъ стихи Ипполитъ Сергѣевичъ, идя по аллеѣ парка.

Онъ удивлялся сестрѣ: она не казалась настолько красивой, чтобъ возбудить такую любовь въ юношѣ.

Навѣрное она достигла этого тактикой сопротивленія. Тогда нужно признать за ней стойкую выдержку, ибо Бенковскій красивъ... Быть можетъ, ему, какъ брату и порядочному человѣку, слѣдуетъ поговорить съ ней объ истинномъ характерѣ ея отношеній къ этому раскаленному страстью мальчику? А къ чему можетъ повести такой разговоръ теперь? И не настолько онъ компетентенъ въ дѣлахъ Амура и Венеры, чтобъ вмѣшиваться въ эту исторію... Но все-таки нужно указать Елизаветѣ на вѣроятную гибель этого господина, если онъ при ея помощи не успѣетъ во-время угасить въ себѣ пламя своихъ порывовъ и не научится болѣе нормально чувствовать и здраво разсуждать.

— А что было бы, если бъ этотъ факелъ страсти пылалъ предъ сердцемъ Вареньки?

Поставивъ себѣ такой вопросъ, Ипполитъ Сергѣевичъ, однако, не сталъ рѣшать его, а задумался о томъ, чѣмъ занята въ данный моментъ эта дѣвушка? Быть можетъ, она бьетъ по щекамъ своего Никона или катаетъ по комнатѣ кресло съ больнымъ отцомъ. И представивъ себѣ ее за такими занятіями, онъ почувствовалъ обиду за нее. Нѣтъ, необходимо нужно открыть глаза этой дѣвушки на дѣйствительность, ознакомить ее съ умственными теченіями современности. Какъ жалко, что она живетъ далеко и нельзя видѣть ее чаще, чтобы день за днемъ расшатывать все то, что ограждаетъ ея разумъ отъ воздѣйствія логики!

Паркъ былъ полонъ тишины и душистой прохлады, изъ дома неслись пѣвучіе звуки скрипки и нервныя ноты рояля. Одна за другой въ паркѣ рождались фразы сладостныхъ моленій, нѣжнаго призыва, бурнаго восторга.

Съ неба тоже лилась музыка—тамъ пѣли жаворонки. Взъерошенный и черный, какъ кусокъ угля, на сучкѣ липы сидѣлъ скворецъ и, пощипывая себѣ перья на грудкѣ, многозначительно посвистывалъ, косясь на задумчиваго человѣка, который медленно шагалъ по ал-

леѣ, заложивъ руки назадъ и глядя куда-то далеко улыбавшимися глазами.

Вечеромъ за чаемъ Бенковскій былъ болѣе сдержанъ и не такъ похожъ на безумнаго; Елизавета Сергѣевна казалась тоже согрѣтой чѣмъ-то.

Замѣтивъ это, Ипполитъ Сергѣевичъ почувствовалъ себя гарантированнымъ отъ возникновенія отвлеченныхъ разговоровъ и менѣе стѣсненнымъ.

— Ты ничего не разсказываешь о Петербургѣ, Ипполитъ,—сказала Елизавета Сергѣевна.

— Что о немъ сказать? Это очень большой и живой городъ... Погода въ немъ сырая, а...

— А люди сухіе,—перебилъ Бенковскій.

— Далеко не всѣ. Есть много совершенно размякшихъ, покрытыхъ плѣсенью очень древнихъ настроеній; вездѣ люди довольно разнообразны!

— Слава Богу, что это такъ! — воскликнулъ Бенковскій.

— Да, жизнь была бы невыносимо скучна, если бы этого не было! — подтвердила Елизавета Сергѣевна. — А что, въ какомъ фаворѣ у молодежи деревня? Продолжаютъ играть на пониженіе?

— Да, понемножку разочаровываются.

— Это явленіе очень характерно для интеллигенціи нашихъ дней,—усмѣхаясь, заявилъ Бенковскій.—Когда она была, въ большинствѣ, дворянской, оно не имѣло мѣста. А теперь, когда всякій сынъ кулака, купца или чиновника, прочитавшій двѣ-три популярныя книжки, есть уже интеллигентъ—деревня не можетъ возбуждать интереса у такой интеллигенціи. Развѣ она ее знаетъ? Развѣ она для нихъ можетъ быть чѣмъ-то инымъ, кромѣ мѣста, гдѣ хорошо пожить лѣтомъ? Для нихъ деревня— это дача... да и вообще они дачники по существу ихъ душъ. Они явились, поживутъ и исчезнутъ, оставивъ за собой въ жизни разныя бумажки, обломки, обрывки — обычные слѣды своего пребыванія, всегда остав-

ляемые дачниками на поляхъ деревни. Придутъ за ними другіе и уничтожатъ этотъ соръ, а съ нимъ и память объ интеллигенціи позорныхъ, бездушныхъ и безсильныхъ девяностыхъ годовъ.

— Эти другіе—реставрированные дворяне? — щуря глаза, спросилъ Ипполитъ Сергѣевичъ.

— Вы меня, кажется, поняли... очень не лестно для васъ, извините!—вспыхнулъ Бенковскій.

— Я спросилъ только, кто эти будущіе?—пожалъ плечами Ипполитъ Сергѣевичъ.

— Они—молодая деревня! Пореформенное поколѣніе ея, люди ужъ и теперь съ развитымъ чувствомъ человѣческаго достоинства, жаждущіе знаній, пытливые и сильные, готовые заявить о себѣ.

— Привѣтствую ихъ заранѣе,—равнодушно сказалъ Ипполитъ Сергѣевичъ.

— Да, нужно сознаться, что деревня начинаетъ производить на свѣтъ нѣчто новое,—примиряюще заговорила Елизавета Сергѣевна.—У меня тутъ есть очень интересные ребята—Иванъ. и Григорій Шаховы, прочитавшіе почти половину моей библіотеки, и Акимъ Мозыревъ, человѣкъ „все понимающій“, какъ онъ заявляетъ. Дѣйствительно, блестящія способности! Я провѣряла его—дала ему физику—прочитай и объясни законъ рычага и равновѣсія, такъ онъ черезъ недѣлю съ такимъ эффектомъ сдалъ мнѣ экзаменъ, просто я была поражена! Да еще говоритъ, отвѣчая на мои похвалы: „что жъ? Вы это понимаете, значитъ и мнѣ никѣмъ не заказано — книжки сочиняются для всѣхъ!“ Каковъ? А вотъ... ихъ пониманіе своего достоинства пока еще развилось только до дерзостей и грубостей. Эти новорожденныя свойства они примѣняютъ даже ко мнѣ, но я терплю и не жалуюсь земскому начальнику, понимая, что на этой почвѣ могутъ расцвѣсти такіе огненные цвѣты... пожалуй, въ одно прекрасное утро проснешься только на пеплѣ своей усадьбы.

Ипполитъ Сергѣевичъ улыбнулся. Бенковскій взглянулъ на эту женщину съ грустью.

Поверхностно задѣвая темы и не особенно сильно самолюбіе другъ друга, они побесѣдовали часовъ до десяти, и тогда Елизавета Сергѣевна съ Бенковскимъ снова пошли играть, а Ипполитъ Сергѣевичъ простился съ ними и ушелъ къ себѣ, замѣтивъ, что его будущій зять не сдѣлалъ даже и маленькаго усилія скрыть то удовольствіе, которое онъ чувствовалъ, провожая брата своей возлюбленной.

...Узнаешь то, что хочешь узнать, и какъ бы въ видѣ вознагражденія за пытливость является скука. Именно это обезсиливающее ощущеніе почувствовалъ Ипполитъ Сергѣевичъ, когда сѣлъ за столъ въ своей комнатѣ съ намѣреніемъ написать нѣсколько писемъ знакомымъ. Онъ понималъ мотивы своеобразныхъ отношеній сестры къ Бенковскому, понималъ и свою роль въ ея игрѣ. Все это было не хорошо, но, въ то же время, все это было какъ-то чуждо ему, и душа его не возмущалась разыгравшейся предъ нимъ пародіей на исторію Пигмаліона и Галатеи, хотя умомъ онъ осуждалъ сестру. Меланхолически постучавъ ручкой пера по столу, онъ уменьшилъ огонь лампы и, когда комната погрузилась въ сумракъ, сталъ смотрѣть въ окна.

Мертвая тишина царила въ паркѣ, освѣщенномъ луной, и сквозь стекла оконъ луна казалась зеленоватой.

Подъ окнами мелькнула какая-то тѣнь и исчезла, оставивъ за собой тихій звукъ шороха вѣтвей, задрожавшихъ отъ ея прикосновенія. Ипполитъ Сергѣевичъ, подойдя къ окну, открылъ его и посмотрѣлъ,—за деревьями мелькнуло бѣлое платье горничной Маши.

— Что же?—подумалъ онъ улыбаясь,—пусть хоть горничная любитъ, если барыня только играетъ въ любовь.

Медленно исчезали дни—капли времени въ безграничномъ океанѣ вѣчности—и всѣ они были утомительно однообразны. Впечатлѣній почти не было, а работалось съ трудомъ, ибо знойный блескъ солнца, наркотическіе ароматы парка и задумчивыя лунныя ночи—все это возбуждало въ душѣ мечтательную лѣнь.

Ипполитъ Сергѣевичъ спокойно наслаждался чисто-растительной жизнью, со дня на день откладывая свое рѣшеніе серьезно приняться за работу. Иногда ему становилось скучно, онъ укорялъ себя въ бездѣятельности, недостаткѣ воли, но все это не возбуждало у него желанія работать, и онъ объяснялъ себѣ свою лѣнь стремленіемъ организма къ накопленію энергіи. По утрамъ, просыпаясь послѣ здороваго, крѣпкаго сна, онъ, съ наслажденіемъ потягиваясь, отмѣчалъ, какъ упруги его мускулы, эластична кожа и какъ свободно и глубоко дышатъ его легкія.

Прискорбная привычка философствовать, слишкомъ часто проявлявшаяся у его сестры, первое время раздражала его, но постепенно онъ помирился съ этимъ недостаткомъ Елизаветы Сергѣевны и умѣлъ такъ ловко и безобидно доказать ей безполезность философіи, что она стала сдержаннѣе. Ея стремленіе обо всемъ разсуждать производило на него непріятное впечатлѣніе:—онъ видѣлъ, что сестра разсуждаетъ не изъ естественной склонности уяснить себѣ свое отношеніе къ жизни, а лишь изъ предусмотрительнаго желанія разрушать и опрокидывать все то, что такъ или иначе могло бы смутить холодный покой ея души. Она выработала себѣ схему практики, а теоріи лишь постольку интересовали ее, поскольку могли сгладить предъ нимъ ея сухое, скептическое и даже ироничное отношеніе къ жизни и людямъ. Понимая все это, Ипполитъ Сергѣевичъ, однако, не чувствовалъ въ себѣ ни малѣйшаго желанія упрекнуть и пристыдить сестру; онъ осуждалъ ее въ умѣ, но въ немъ не было чего-то, что позволяло бы

ему высказать вслухъ свое сужденіе, ибо, въ сущности, его сердце было не горячѣе сердца сестры.

Такъ, почти каждый разъ послѣ визита Бенковскаго, Ипполитъ Сергѣевичъ давалъ себѣ слово поговорить съ сестрой объ ея отношеніяхъ къ этому юношѣ, и не исполнялъ своего слова, незамѣтно для себя отказываясь отъ вмѣшательства въ эту исторію. Вѣдь еще неизвѣстно, кто будетъ страдающей стороной, когда здравый смыслъ проснется въ этомъ воспаленномъ господинѣ. А это будетъ—юноша слишкомъ сильно горитъ для того, чтобъ не угаснуть. Сестра же твердо помнитъ, что онъ моложе ея, о ней нечего заботиться. А если она будетъ наказана — что же? Такъ и слѣдуетъ, если жизнь справедлива...

Варенька бывала часто. Они катались по рѣкѣ вдвоемъ или втроемъ съ сестрой, но никогда съ Бенковскимъ; гуляли по лѣсу, однажды ѣздили въ монастырь верстъ за двадцать. Дѣвушка продолжала нравиться ему и возмущать его своими дикими рѣчами, но съ нею всегда было пріятно. Ея наивность его смѣшила и сдерживала въ немъ мужчину; цѣльность ея натуры вызывала у него удивленіе, но простодушная прямота, съ которой она отталкивала отъ себя все, чѣмъ онъ хотѣлъ поколебать миръ ея души, оскорбляла его самолюбіе.

И все чаще онъ спрашивалъ себя:

— Но развѣ у меня нѣтъ столько энергіи, сколько нужно для того, чтобъ выбить изъ ея головы всѣ эти заблужденія и глупости?

Не видя ея, онъ ясно чувствовалъ необходимость освободить ея мысль изъ уродливыхъ путъ, возводилъ эту необходимость въ обязанность, но Варенька являлась—и онъ не то, чтобы совершенно забывалъ о своемъ рѣшеніи, но никогда не ставилъ его на первое мѣсто въ отношеніяхъ къ ней. Иногда онъ замѣчалъ за собой, что слушаетъ ее такъ, точно желаетъ чему-то

научиться у нея, и сознавалъ, что въ ней есть нѣчто, стѣсняющее свободу его ума. Случалось, что онъ, имѣя уже готовымъ возраженіе, которое, ошеломивъ ее своей ясностью и силой, убѣдило бы въ очевидности ея заблужденій,—пряталъ это возраженіе въ себѣ, какъ бы боясь сказать его. Поймавъ себя на этомъ, онъ думалъ:

— Неужели это у меня отъ недостатка увѣренности въ своей правдѣ?

И, конечно, убѣждалъ себя въ противномъ. Ему трудно было говорить съ ней еще и потому, что она почти не знала даже азбуки общепринятыхъ взглядовъ. Нужно было начинать съ основъ, и ея настойчивые вопросы: почему? и зачѣмъ? постоянно заводили его въ дебри отвлеченностей, гдѣ она уже совершенно не понимала ничего. Однажды она, утомленная его противорѣчіями, изложила ему свою философію въ такихъ словахъ:

— Богъ меня создалъ, какъ всѣхъ, по образу и подобію своему... — значитъ, все, что я дѣлаю, я дѣлаю по Его волѣ и живу — какъ нужно Ему... Вѣдь Онъ знаетъ, какъ я живу? Ну, вотъ и все, и вы напрасно ко мнѣ придираетесь!

Все чаще она раздражала въ немъ жгучее чувство самца, но онъ слѣдилъ за собой и быстрыми усиліями, требовавшими отъ него все болѣе и болѣе сознанія, гасилъ въ себѣ эти чувственныя вспышки, даже старался скрывать ихъ отъ себя, когда же не могъ скрыть, то говорилъ самъ себѣ, виновато усмѣхаясь:

— Что же?—это естественно... при ея красотѣ... А я мужчина и мой организмъ съ каждымъ днемъ становится все крѣпче подъ вліяніемъ этого солнца и воздуха... Это естественно, но ея странности вполнѣ гарантируютъ отъ увлеченія ею...

Разсудокъ становится невѣроятно дѣятеленъ и гибокъ, когда чувству человѣка нужна маска, чтобы скрыть за ней грубую истину своихъ запросовъ. По

существу своему прямое и правдивое, какъ всякая сила, чувство, когда оно разбито жизнью или изломано чрезмѣрными усиліями сдержать его порывы холодной уздой разума, лишается и правдивости, и прямоты, оставаясь только грубымъ. И тогда, нуждаясь въ прикрытіи своей слабости и грубости, оно обращается за помощью къ великой способности разсудка придавать лжи физіономію истины. Эта способность была хорошо развита у Ипполита Сергѣевича, и при помощи ея онъ успѣшно придавалъ своему влеченію къ Варенькѣ характеръ чистаго отъ всякихъ побужденій интереса къ ней. У него не было бы силъ любить ее, онъ это зналъ, но въ глубинѣ его ума вспыхивала надежда обладать ею; втайнѣ отъ себя онъ ожидалъ, что она увлечется имъ. И разсуждая съ самимъ собой о всемъ, что не унижало его въ своихъ глазахъ, онъ удачно скрывалъ въ себѣ все, что могло бы вызвать у него сомнѣніе въ своей порядочности...

Однажды за вечернимъ чаемъ сестра объявила ему:

— Знаешь, завтра день рожденія Вареньки Олесовой. Нужно ѣхать. Мнѣ хочется прокатиться... Да и лошадямъ это будетъ полезно.

— Поѣзжай... и поздравь ее отъ моего имени,—сказалъ онъ, чувствуя, что и ему тоже хочется ѣхать туда.

— А ты не хочешь поѣхать? — съ любопытствомъ глядя на него, спросила она.

— Я? Не знаю, хочу ли... Кажется, не хочу. Но могу и поѣхать.

— Это не обязательно!—заявила Елизавета Сергѣевна и опустила вѣки, скрывая улыбку, сверкнувшую въ ея глазахъ.

— Я знаю,—съ неудовольствіемъ сказалъ онъ.

Наступила длинная пауза, въ теченіе которой Ипполитъ Сергѣевичъ сдѣлалъ себѣ строгое замѣчаніе за то, что онъ такъ ведетъ себя по отношенію къ этой

дѣвушкѣ, точно боится, что его самообладаніе не устоитъ противъ ея чаръ.

— Она мнѣ говорила, эта Варенька, что у нихъ тамъ прекрасная мѣстность,—сказалъ онъ и покраснѣлъ зная, что сестра поняла его. Но она ничѣмъ не выдала этого, а напротивъ—стала его уговаривать.

— Да поѣдемъ, пожалуйста! Посмотришь, у нихъ дѣйствительно славно. И мнѣ будетъ болѣе ловко съ тобой... Мы не надолго, хорошо?

Онъ согласился, но настроеніе у него было испорчено.

— Зачѣмъ это мнѣ было нужно лгать? Что постыднаго или противоестественнаго въ томъ, что я хочу еще разъ видѣть красивую дѣвушку?—зло спрашивалъ онъ себя. И не отвѣчалъ на эти вопросы.

На слѣдующее утро онъ проснулся рано, и первые звуки дня, пойманные его слухомъ, были слова сестры:

— ...удивится Ипполитъ!

Ихъ сопровождалъ громкій смѣхъ — такъ смѣяться могла только Варенька. Ипполитъ Сергѣевичъ, приподнявшись на постели, сбросилъ съ себя простыню и слушалъ, улыбаясь. То, что сразу вторглось въ него и наполнило его душу, едва ли можно было бы назвать радостью, скорѣе это было ласково-щекотавшее нервы предчувствіе близкой радости. И, вскочивъ съ постели, онъ началъ одѣваться съ быстротой, которая и смущала, и смѣшила его. Что тамъ случилось? Неужели она, въ день своего рожденія, пріѣхала звать къ себѣ его и сестру? Вотъ милая дѣвушка!

Когда онъ вошелъ въ столовую, Варенька комически-виновато опустила передъ нимъ глаза и, не принимая его протянутой къ ней руки, заговорила робкимъ голосомъ:

— Я боюсь, что вы...

— Представь себѣ! — воскликнула Елизавета Сергѣевна,—она сбѣжала изъ дома!

— Т.-е. это какъ? - спросилъ у нея братъ.

— Потихоньку,—объяснила Варенька.

— Ха, ха, ха!—смѣялась Елизавета Сергѣевна.

— Но... зачѣмъ же?—допрашивалъ Ипполитъ.

— Отъ жениховъ... — призналась дѣвушка и тоже расхохоталась.—Представьте, какія у нихъ будутъ рожицы! Тётя Лучицкая—ей ужасно хочется вытурить меня замужъ!—разослала имъ торжественныя приглашенія и наварила и напекла для нихъ столько, точно ихъ у меня—сто! И я помогала ей въ этомъ... а сегодня проснулась и верхомъ — маршъ сюда! Имъ оставила записку, что я поѣхала къ Щербаковымъ... понимаете? совсѣмъ въ другую сторону на двадцать три версты!

Онъ смотрѣлъ на нее и смѣялся смѣхомъ, отъ котораго въ груди у него рождалась ласкающая теплота. Она опять была въ бѣломъ широкомъ платьѣ, складки котораго нѣжными струями падали отъ плечъ до ногъ, окутывая ея тѣло какъ бы туманомъ. Ясный смѣхъ дрожалъ въ глазахъ ея и на лицѣ игралъ румянецъ оживленія.

— Вамъ это не нравится?—спрашивала она у него.

— Что?—кратко спросилъ онъ.

— Что я такъ сдѣлала? Вѣдь это невѣжливо, я понимаю, — сдѣлавшись серьезной, сказала она и тотчасъ же снова расхохоталась.

— Воображаю я ихъ! Разодѣтые, надушеные... напьются они съ горя—Боже мой, какъ!

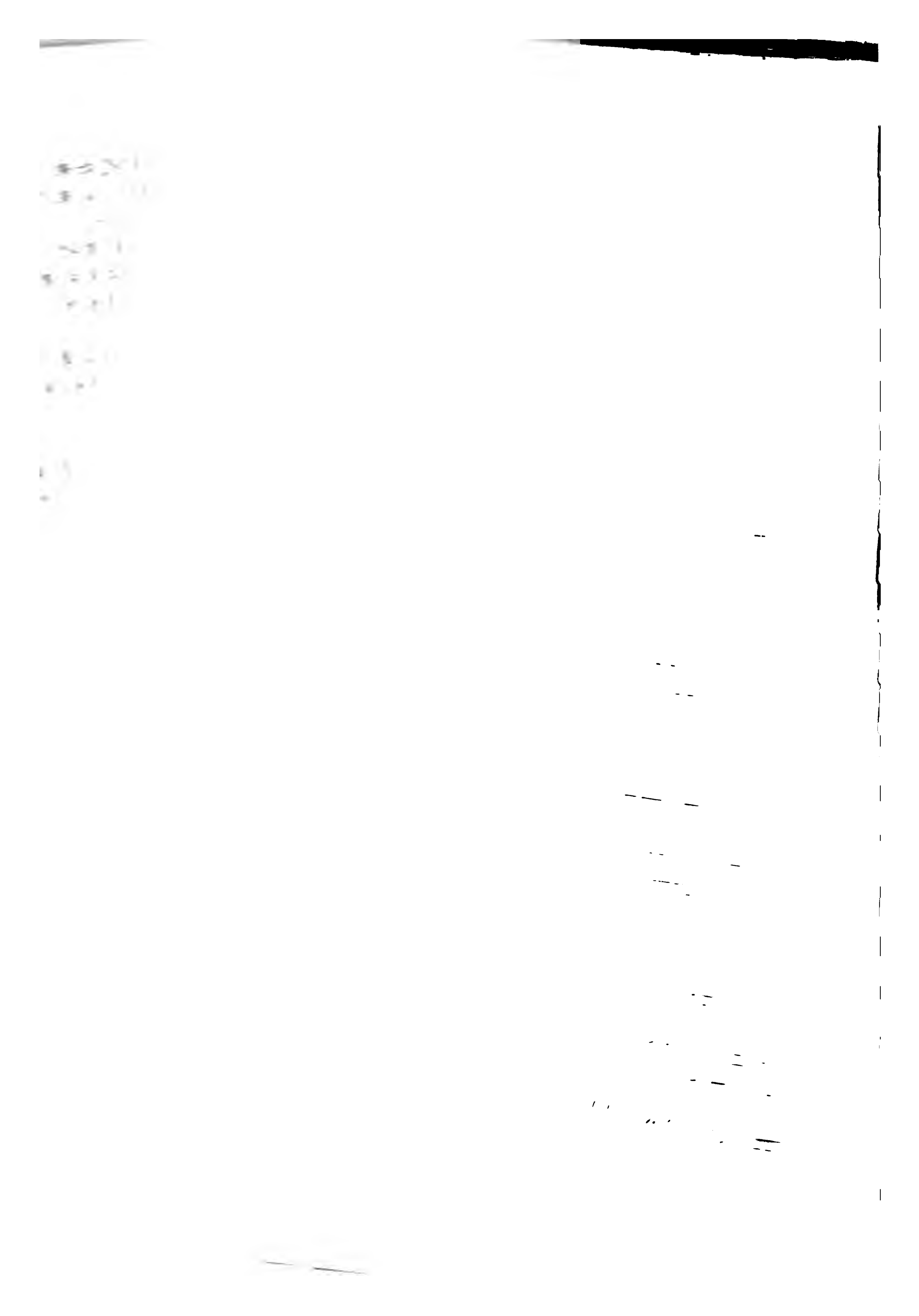
— И много?—спросилъ Ипполитъ Сергѣевичъ.

— Четверо...

— Чай налитъ!—объявила Елизавета Сергѣевна.

— Тебѣ придется поплатиться за эту выходку, Варя... Ты думаешь объ этомъ?

— Нѣтъ... и не хочу!—рѣшительно отвѣтила она, усаживаясь за столъ.—Это будетъ—когда я ворочусь къ нимъ... значитъ, вечеромъ, потому что я пробуду у васъ весь день. Зачѣмъ же я буду съ утра думать о томъ, что будетъ еще только вечеромъ? И кто, и что



- А кто же будетъ обѣдать? Ты поѣдешь къ Бен-
кимъ, мы не вернемся до вечера.

- Хорошо, бери и Машу...

Варенька умчалась куда-то. Ипполитъ Сергѣевичъ,
ривъ папироску, вышелъ на террасу и сталъ ходить
ней взадъ и впередъ. Ему улыбалась эта прогулка,
Григорій и Маша казались излишними. Они будутъ
снять его — это несомнѣнно, при нихъ невозможно
бодно говорить.

Не прошло получаса, какъ уже Ипполитъ Сергѣе-
чъ и Варя стояли у лодки, глядя, какъ около нея
зился Григорій — рыжій и голубоглазый парень съ
снушками на лицѣ и орлинымъ носомъ. Маша, укла-
вая въ лодкѣ самоваръ и разные узелки, говорила
му:

— А ты, рыжій, скорѣй возись; видишь — господа
ожидаются.

— Сейчасъ будетъ готово,—высокимъ теноромъ от-
вѣчалъ парень, укрѣпляя уключины для веселъ и под-
мигивая Машѣ.

Ипполитъ Сергѣевичъ увидалъ это и догадался,
кто по ночамъ шмыгаетъ мимо его оконъ.

— Вы знаете,—говорила Варя, уже сидя въ лодкѣ
и кивкомъ головы указывая на Григорія,—онъ у насъ
тутъ тоже за ученаго слыветъ... Законникъ.

— Ужъ вы скажете, Варвара Васильевна, — усмѣх-
нулся Григорій, показывая крѣпкіе зубы. — Законникъ!

— Серьезно, Ипполитъ Сергѣевичъ, — онъ знаетъ
всѣ русскіе законы...

— Въ самомъ дѣлѣ, Григорій? — поинтересовался
Ипполитъ Сергѣевичъ.

— Это они шутятъ... гдѣ же! Всѣ-то ихъ, Варвара
Васильевна, никто не знаетъ.

— А тотъ, кто писалъ?

— Господинъ Сперанскій? Они давнымъ-давно по-
мерліи...

— Что же вы читаете? — спросилъ Ипполитъ Сергѣевичъ, присматриваясь къ смышленому орлиному лицу парня, легко бросавшаго весла въ воду.

— А вотъ законы, какъ они говорятъ,—указалъ Григорій на Варю бойкими глазами.—Попалъ мнѣ случаемъ X-ый томъ... я посмотрѣлъ—вижу интересное и нужное. Сталъ читать... А теперь имѣю томъ первый... Первая статья въ немъ такъ прямо и говоритъ: „никто, говоритъ, не можетъ отговариваться незнаніемъ законовъ“. Ну, я такъ думаю, что никто ихъ не знаетъ, да и знать ихъ... не всѣ надо... Вотъ еще скоро учитель мнѣ положеніе о крестьянахъ достанетъ;—очень интересно почитать— что оно такое?

— Видите какой?—спрашивала Варенька.

— А много вы читаете? — допытывался Ипполитъ Сергѣевичъ, вспоминая о Петрушкѣ Гоголя.

— Читаю, когда время есть. Здѣсь книжекъ много... у одной Елизаветы Сергѣевны до тысячи, чай, будетъ. Только у нея все романы да повѣсти разныя...

Лодка ровно шла противъ теченія, навстрѣчу ей двигались берега и вокругъ было упоительно хорошо: свѣтло, тихо, душисто. Ипполитъ Сергѣевичъ смотрѣлъ въ лицо Вареньки, съ любопытствомъ обращенное къ широкогрудому гребцу, а онъ, мѣрно разбивая веслами гладь рѣки, говорилъ о своихъ литературныхъ вкусахъ, довольный тѣмъ, что его такъ охотно слушаетъ ученый баринъ. Въ глазахъ Маши, слѣдившихъ за нимъ изъ-подъ опущенныхъ рѣсницъ, свѣтились любовь и гордость.

— Не люблю читать про то, какъ солнце садилось или всходило... и вообще про природу. Восходы эти я, можетъ, не одну тысячу разъ видѣлъ... Лѣса и рѣки тоже мнѣ извѣстны; зачѣмъ мнѣ читать про нихъ? А это въ каждой книжкѣ... и, по-моему, совсѣмъ лишнее... Всякъ по-своему заходъ солнца понимаетъ... И у всякаго свои глаза есть на это. А вотъ про жизнь людей— интересно. Читаешь, такъ думаешь:—а какъ бы ты самъ

сдѣлалъ, коли бы тебя на эту линію поставить? Хоть и знаешь, что все это неправда.

— Что неправда?—спросилъ Ипполитъ Сергѣевичъ.

— А книжки. Выдумано. Про крестьянъ, напримѣръ... Развѣ они такіе, какъ въ книжкахъ? Про нихъ все съ жалостью пишутъ, да этакими дурачками ихъ дѣлаютъ... не хорошо! Люди читаютъ—думаютъ и въ самомъ дѣлѣ такъ и не могутъ по-настоящему понять крестьянина.. потому что въ книжкѣ-то онъ больно ужъ... глупъ да плохъ...

Варенькѣ, должно быть, стали скучны эти рѣчи, и она запѣла вполголоса, разсматривая берегъ потускнѣвшими глазами.

— Вотъ что,—давайте мы съ вами, Ипполитъ Сергѣевичъ, встанемъ и пойдемъ пѣшкомъ по лѣсу. А то сидимъ мы и печемся на солнцѣ,—развѣ такъ гуляютъ? А Григорій съ Машей поѣдутъ до Савёловой балки, тамъ пристанутъ, приготовятъ намъ чай и встрѣтятъ насъ... Григорій, приставай къ берегу. Ужасно я люблю пить и ѣсть въ лѣсу, на воздухѣ, на солнцѣ... Чувствуешь себя какой-то бродягой свободной...

— Вотъ видите,—оживленно говорила она, выпрыгнувъ изъ лодки на песокъ берега,—коснешься земли, сразу же и есть что-то... этакое бунтующее душу. Вотъ я насыпала себѣ песку полныя ботинки... а одну ногу обмочила въ водѣ... Это непріятно и пріятно, значитъ— хорошо, потому что заставляетъ чувствовать себя... Смотрите, какъ быстро пошла лодка!

Рѣка лежала у ногъ ихъ и, взволнованная лодкой, тихо плескалась о берегъ. Лодка стрѣлой летѣла къ лѣсу, оставляя за собой длинный слѣдъ, блестѣвшій на солнцѣ, какъ серебро. Видно было, что Григорій смѣялся, глядя на Машу, а она грозила ему кулакомъ.

— Это влюбленные, — сообщила Варенька, улыбаясь;—Маша уже просила у Елизаветы Сергѣевны позволенія выйти замужъ за Григорія. Но Елизавета Сер-

гѣевна пока не разрѣшила ей этого; она не любитъ замужней и женатой прислуги. А вотъ у Григорія осенью кончится срокъ службы, и тогда онъ стащитъ Машу у васъ... Они славные оба. Григорій проситъ меня продать ему одинъ клокъ земли въ разсрочку... или отдать въ долгосрочную аренду... десять десятинъ хочетъ. Но я не могу, пока папа живъ, и это жалко... Я знаю, что онъ выплатилъ бы мнѣ все и очень аккуратно... онъ вѣдь на всѣ руки... и слесарь, и кузнецъ, и вотъ младшимъ кучеромъ служитъ у васъ... Коковичъ—земскій начальникъ и мой женихъ—говоритъ мнѣ про него такъ:—„эт-тё, знаитё, опасное бестіе—не поважаетъ начальстве!

— Кто онъ, этотъ Коковичъ? Полякъ? — спросилъ Ипполитъ Сергѣевичъ, любуясь ея гримасами.

— Мордвинъ, чувашъ—я не знаю! У него ужасно длинный и толстый языкъ, онъ не помѣщается во рту и мѣшаетъ ему говорить... Ухъ! Какая грязь!

Имъ преграждала дорогу лужа воды, покрытая зеленой плѣсенью и окруженная чернымъ бордюромъ жирной грязи. Ипполитъ Сергѣевичъ посмотрѣлъ себѣ на ноги, говоря:

— Нужно обойти стороной.

— Вы развѣ не перепрыгнете? Я думала, что она высохла уже...—съ негодованіемъ, топая ножкой, воскликнула Варенька.—Стороной идти далеко... и потомъ оборвусь я тамъ... Попробуйте перепрыгнуть! Это легко, смотрите—р-разъ!

Она подпрыгнула и бросилась впередъ: ему показалось, что это платье сорвалось съ плечъ ея и полетѣло по воздуху. Но она стояла па той сторонѣ лужи и съ сожалѣніемъ восклицала:

— Ай, какъ я испачкалась! Нѣтъ, вы идите стороной... фи, какая гадость!

Онъ смотрѣлъ на нее и блѣдно улыбался, ловя въ себѣ какую-то дразнившую его темную мысль и чув-

ствуя, что его ноги погружаются въ вязкую сырость. По ту сторону грязи Варенька встряхивала свое платье, оно издавало мягкій шумъ, и Ипполитъ Сергѣевичъ при его колебаніяхъ видѣлъ тонкіе, полосатые чулки на стройныхъ ножкахъ. На мигъ ему показалось, что грязь, раздѣлявшая ихъ другъ отъ друга, имѣетъ смыслъ предостереженія ему или ей. Но онъ грубо оборвалъ себя, назвавъ глупымъ мальчишествомъ этотъ уколъ въ сердце, и торопливо пошелъ въ сторону съ дороги, въ кусты, окаймлявшіе ее, гдѣ все-таки ему пришлось шагать по водѣ, скрытой травою. Съ мокрыми ногами и съ какимъ-то еще неяснымъ ему рѣшеніемъ, онъ вышелъ къ ней, и она, съ гримасой указывая ему на свое платье, сказала:

— Смотрите—хорошо? Бя!

Онъ смотрѣлъ,—крупныя черныя пятна рѣзали глаза, торжествующе красуясь на бѣлой матеріи.

— Я люблю и привыкъ видѣть тебя такой свято-чистой, что даже пятно грязи на твоемъ платьѣ бросаетъ черную тѣнь на мою душу... — медленно выговорилъ Ипполитъ Сергѣевичъ и, замолчавъ, сталъ смотрѣть въ удивленное лицо Вареньки съ блуждающей улыбкой на своихъ губахъ.

Ея глаза вопросительно стояли на лицѣ его, а онъ чувствовалъ, что его грудь какъ бы наполняется жгучей пѣной, и вотъ она сейчасъ превратится въ чудесныя слова, которыми онъ еще никогда и ни съ кѣмъ не говорилъ, ибо не зналъ ихъ до сей поры.

— Что такое вы сказали?—настойчиво спрашивала Варенька.

Онъ вздрогнулъ, ибо вопросъ ея звучалъ строго, и, стараясь быть спокойнымъ, сталъ серьезно объяснять ей:

— Я сказалъ стихи... по-русски они выходятъ прозой... но вы все же слышите вѣдь, что это стихи? Это, кажется, итальянскіе стихи... не помню, право... А впрочемъ, это, можетъ быть, и проза изъ какого-нибудь

романа... Мнѣ это какъ-то такъ пришло въ голову...

— Какъ это, ну те-ка, скажите еще?—попросила она его, вдругъ задумавшись надъ чѣмъ-то.

— Я люблю...—онъ остановился, потирая себѣ лобъ рукой.—Повѣрите ли? Вѣдь я забылъ, какъ сказалъ. Честное слово—забылъ!

— Ну... пойдемте! — и она рѣшительно двинулась впередъ.

Нѣсколько минутъ Ипполитъ Сергѣевичъ старался понять и объяснить себѣ эту странную сцену, старался и не могъ ничего добиться отъ себя, кромѣ сознанія неловкости предъ Варенькой. Она шла рядомъ съ нимъ, молча, и, наклонивъ голову, не смотрѣла на него.

Ея молчаніе подавляло; ему казалось, что она думаетъ о немъ, нехорошо думаетъ. И не находя никакого объясненія своей выходкѣ, онъ вдругъ напряженно-весело замѣтилъ:

— Знали бы ваши женихи, какъ вы проводите время.

Она посмотрѣла на него такъ, точно онъ своими словами призвалъ ее откуда-то издалека, но постепенно ея лицо стало изъ серьезнаго простымъ и по-дѣтски милымъ.

— Да! Это бы ихъ... обидѣло! Но они узнаютъ, о! узнаютъ! И... можетъ быть, такое подумаютъ обо мнѣ...

— Вы боитесь этого?

— Я? Ихъ?—тихо, но гнѣвно спросила она.

— Простите меня за вопросъ.

— Ничего... Вы вѣдь не знаете меня... не знаете, какъ всѣ они противны мнѣ! Иногда мнѣ хочется свалить ихъ себѣ подъ ноги и ходить по ихъ лицамъ... наступая имъ на губы, чтобы они не могли ничего говорить. У! они всѣ подлые!

Злоба и безсердечіе сверкали въ ея глазахъ такъ ярко, что ему стало непріятно смотрѣть на нее, и онъ отвернулся, говоря ей:

— Какъ грустно, что вамъ приходится жить среди ненавистныхъ вамъ людей... Неужели между ними нѣтъ ни одного, который... казался бы вамъ порядочнымъ...

— Нѣтъ! Знаете, ужасно мало на свѣтѣ интересныхъ людей... Всѣ такіе пришибленные, неодушевленные, противные...

Онъ улыбнулся надъ ея жалобой и сказалъ съ оттѣнкомъ ироніи, самому ему непонятной:

— Такъ говорить вамъ рано еще. А вотъ подождите немножко и встрѣтите человѣка, который удовлетворитъ васъ... Онъ будетъ всячески интересенъ для васъ...

— Это кто?—быстро спросила она и даже остановилась.

— Вашъ будущій мужъ.

— Но кто онъ?

— Какъ же я могу это знать! — пожалъ плечами Ипполитъ Сергѣевичъ, ощущая недовольство при живости ея вопросовъ.

— А говорите!—вздохнула она и пошла.

Они шли среди кустарника, едва доходившаго до ихъ плечъ; дорога лежала среди него, какъ потерянная лента, вся въ капризныхъ изгибахъ. Теперь предъ ними явился густой лѣсъ.

— А вамъ хочется выйти замужъ?—спросилъ Ипполитъ Сергѣевичъ.

— Да... не знаю! Не думается объ этомъ...—просто отвѣтила она. Взглядъ ея красивыхъ глазъ, устремленный вдаль, былъ такъ сосредоточенъ, точно она вспомнила что-то далекое и дорогое ей.

— Вамъ нужно пожить зиму въ городѣ — тамъ ваша красота обратитъ на васъ всеобщее вниманіе и вы скоро найдете то, что хотите... Потому что многіе и сильно пожелаютъ назвать васъ своей женой, — задумчиво разсматривая ея фигуру, негромко и медленно говорилъ онъ.

— Нужно, чтобъ я позволила это!

— Какъ вы можете запретить желать?

— Ахъ, да! Конечно... пусть желаютъ.

Они прошли нѣсколько шаговъ въ молчаніи.

Она, задумчиво разсматривая даль, все вспоминала что-то, онъ же зачѣмъ-то считалъ пятна грязи спереди ея платья... Ихъ было семь: три большія, похожія на звѣзды, два—какъ запятыя и одно—точно мазокъ кистью. Своимъ чернымъ цвѣтомъ и формой расположенія на матеріи они что-то значили для него. Но что—онъ не зналъ.

— Вы влюблялись? — вдругъ раздался ея голосъ, серьезный и пытливый.

— Я? — вздрогнулъ Ипполитъ Сергѣевичъ. — Да... только давно уже, когда былъ юношей...

— Я тоже давно...—сообщила она.

— А... кто онъ?—спросилъ Полкановъ, не чувствуя неловкости вопроса, и сорвавъ попавшуюся подъ руку вѣтку, далеко отбросилъ ее отъ себя.

— Онъ-то? Онъ конокрадъ... Три года прошло съ той поры, какъ я видѣла его. Семнадцать лѣтъ тогда было мнѣ... Его однажды поймали, избили и привезли къ намъ на дворъ. Онъ лежалъ, скрученный веревками, и молчалъ, глядя на меня... а я стояла на крыльцѣ дома. Помню, утро было такое ясное — это было рано утромъ и всѣ у насъ еще спали...

Она замолчала, вспоминая.

— Подъ телѣгой была лужа крови — жирная такая лужа—и въ нее падали тяжелыя капельки изъ него... Его звали—Сашка Ремезовъ. Мужики пришли на дворъ и, глядя на него, ворчали, какъ собаки. У всѣхъ у нихъ глаза были злые, а онъ, этотъ Сашка, смотрѣлъ на всѣхъ спокойно... И я чувствовала, что онъ—хотя и избитый, и связанный—считаетъ себя лучше всѣхъ. Онъ такъ ужъ смотрѣлъ... глаза у него были большіе каріе. Мнѣ было жалко его и страшно предъ нимъ... Я пошла въ ...ъ и налила ему стаканъ водки... Потомъ вышла и

подаю ему. А у него руки связаны и онъ не можетъ выпить... и онъ сказалъ мнѣ, поднявъ немного свою голову, всю въ крови: „Дайте, барышня, ко рту". Я поднесла ему... онъ выпилъ такъ медленно, медленно и сказалъ: „Спасибо вамъ, барышня! Дай Боже вамъ счастья!"—Тогда я вдругъ какъ-то шепнула ему: „убѣгите!" А онъ громко отвѣтилъ: — „Если живъ буду — непремѣнно убѣгу! Ужъ повѣрьте!"—и мнѣ ужасно понравилось, что онъ сказалъ это такъ громко, что всѣ слышали на дворѣ. Потомъ онъ говоритъ: „Барышня! велите вымыть мнѣ лицо!" Я сказала Дунѣ, и она обмыла... хотя лицо осталось синее и опухшее отъ побоевъ... да! Скоро его увезли, и когда телѣга съѣзжала со двора, я смотрѣла на него, а онъ мнѣ кланялся и улыбался глазами... хотя онъ очень сильно былъ избитъ... Сколько я плакала о немъ! Какъ я молилась Богу за то, чтобъ онъ убѣжалъ...

— Вы что же...—иронически перебилъ ее Ипполитъ Сергѣевичъ,—можетъ быть, вы ждете, что онъ убѣжитъ и явится къ вамъ и... тогда за него вы выйдете замужъ?

Она не услышала или не поняла ироніи, ибо просто отвѣтила:

— Ну, зачѣмъ онъ сюда явится?

— А если бы явился—вы вышли бы?

— За мужика?.. не знаю... нѣтъ, я думаю!

Полкановъ разсердился.

— Испортили вы себѣ голову вашими романами, вотъ что я вамъ скажу, Варвара Васильевна...—строго заговорилъ онъ.

При звукѣ его сухого голоса она съ удивленіемъ взглянула въ лицо ему и стала молча и внимательно слушать его суровыя, почти карающія слова. А онъ доказывалъ ей, какъ развращаетъ умъ и душу эта, излюбленная ею, литература, всегда искажающая дѣйствительность, чуждая облагораживающихъ идей, равнодушная къ печальной правдѣ жизни, къ желаніямъ и

мукамъ людей. Голосъ его рѣзко звучалъ въ тишинѣ окружавшаго ихъ лѣса и часто въ придорожныхъ вѣтвяхъ раздавался тревожный шорохъ — кто-то прятался тамъ. Изъ листвы на дорогу смотрѣлъ пахучій сумракъ, порой по лѣсу проносился протяжный звукъ, похожій на подавленный вздохъ, и листва трепетала слабо, какъ во снѣ.

— Нужно читать только тѣ книги, которыя учатъ понимать смыслъ жизни, понимать желанія людей и истинные мотивы ихъ поступковъ. Нужно знать, какъ плохо живутъ люди и какъ хорошо они могли бы жить, если бъ были болѣе умны и болѣе уважали права другъ друга. А тѣ книги, которыя вы читаете, не занимаются такими задачами... онѣ просто лгутъ и лгутъ грубо. Вотъ онѣ внушили вамъ... дикое представленіе о героизмѣ... И что же? Теперь вы будете искать въ жизни такихъ людей, каковы они въ этихъ книжкахъ...

— Нѣтъ, конечно, не буду! — серьезно сказала дѣвушка.—Я знаю—такихъ нѣтъ. Но тѣмъ-то книжки и хороши, что онѣ изображаютъ то, чего нѣтъ. Обыкновенное вездѣ... вся жизнь обыкновенная... Ужъ очень много говорятъ о страданіяхъ... Это навѣрное неправда, а если это неправда—какъ не хорошо говорить много о томъ, чего на самомъ дѣлѣ меньше! Вотъ вы говорите, что въ книгахъ нужно искать... примѣрныхъ чувствъ и мыслей... и что всѣ люди заблуждаются и не понимаютъ себя... Такъ вѣдь книги пишутъ люди же! И почемъ я знаю, во что нужно вѣрить и которое лучше? А въ тѣхъ книжкахъ, на которыя вы нападаете, очень много благороднаго...

— Вы не поняли меня... — съ раздраженіемъ воскликнулъ онъ.

— Да? И вы на меня сердитесь за это?—виноватымъ голосомъ спросила она.

— Нѣтъ! Конечно, я не сержусь...

— Вы сердитесь, я знаю, я знаю! Я вѣдь и сама

сержусь всегда, когда не соглашаются со мной! Но зачѣмъ вамъ нужно, чтобъ я согласилась съ вами? И мнѣ тоже... Зачѣмъ вообще всѣ люди всегда спорятъ и хотятъ, чтобъ съ ними согласились? Вѣдь тогда и говорить нельзя будетъ ни о чемъ.

Она засмѣялась и сквозь смѣхъ закончила:

— Точно всѣ хотятъ, чтобы отъ всѣхъ словъ осталось только одно—да! Ужасно весело!

— Вы спрашиваете, зачѣмъ мнѣ нужно...

— Нѣтъ, я понимаю; вы привыкли учить, и для васъ ужъ необходимо, чтобъ вамъ не мѣшали возраженіями.

— Вовсе не такъ! — съ огорченіемъ воскликнулъ Полкановъ.—Я хочу вызвать у васъ критику... всего, что творится вокругъ васъ и въ вашей душѣ.

— Зачѣмъ? — спросила она, наивно взглянувъ въ его глаза.

— Боже мой! Какъ это—зачѣмъ? Чтобы вы умѣли провѣрять свои чувства, думы, поступки... чтобы разумно относились къ жизни и себѣ самой.

— Ну, это... должно быть, трудно. Провѣрять себя, критиковать себя... какъ это? Я вѣдь одна... И что же... какъ же? на двое расколоться мнѣ, что ли? Вотъ не понимаю! У насъ выходитъ такъ, что правда только вамъ извѣстна... Положимъ, это и у меня... и у всѣхъ... Но, значитъ, всѣ и ошибаются! Потому что вѣдь вы говорите—правда одна для всѣхъ, да?.. А смотрите — какая красивая поляна!

Онъ смотрѣлъ, не возражая на ея слова. Въ немъ бушевало чувство недовольства собой. Онъ привыкъ считать глупыми людей, не соглашавшихся съ нимъ; въ лучшемъ случаѣ онъ признавалъ ихъ лишенными способности развиться дальше той точки, на которой стоялъ ихъ умъ, — и къ такимъ людямъ онъ всегда относился съ презрѣніемъ, смѣшаннымъ съ жалостью. Но эта дѣвушка не казалась ему глупой и не возбуждала его обычныхъ чувствъ къ оппонентамъ. Почему

же это и что она такое? И онъ отвѣчалъ себѣ: „Несомнѣнно только потому, что она такъ подавляюще-красива... Ея дикія рѣчи можно, пожалуй, не ставить въ вину ей... уже потому, что онѣ оригинальны, а оригинальность вообще встрѣчается крайне рѣдко, тѣмъ болѣе въ женщинѣ“.

Какъ человѣкъ высокой культуры, онъ внѣшне относился къ женщинѣ, какъ къ существу умственно равному, но въ глубинѣ души, какъ всѣ мужчины, думалъ о женщинѣ скептически и съ ироніей. Въ сердцѣ человѣка есть много мѣста вѣрѣ, но убѣжденію въ немъ тѣсно.

Они медленно шли по широкой, почти правильно круглой полянѣ. Дорога двумя черными линіями колеи рѣзала ее поперекъ и снова скрывалась въ лѣсу. Среди поляны стояла маленькая толпа стройныхъ молодыхъ березокъ, бросая кружевныя тѣни на стебли скошенной травы. Недалеко отъ нихъ склонился къ землѣ полуразрушенный шалашъ изъ вѣтвей; внутри его виднѣлось сѣно, а на немъ сидѣли двѣ галки. Ипполиту Сергѣевичу онѣ казались совершенно ненужными и нелѣпыми среди этой маленькой и красивой пустыни, окруженной со всѣхъ сторонъ темными стѣнами таинственно молчавшаго лѣса. Галки же бокомъ смотрѣли на людей, шедшихъ по дорогѣ, и въ ихъ позахъ было что-то безбоязненное и увѣренное,—точно, онѣ, сидя на шалашѣ, охраняли входъ въ него и сознавали это, какъ свою обязанность.

— Вы не устали? — спросилъ Полкановъ, съ чувствомъ, близкимъ къ гнѣву, разсматривая галокъ, важныхъ и суровыхъ въ своей неподвижности.

— Я? Гуляя—устать? Это даже обидно слушать! Къ тому жъ до мѣста, гдѣ насъ ждутъ, осталось не болѣе версты... вотъ сейчасъ войдемъ въ лѣсъ и дорога пойдетъ подъ гору.

— Лѣсъ тамъ сосновый, онъ стоитъ на высокомъ

пригоркѣ и называется Савёлова Грива. Сосны — громадныя и стволы у нихъ безъ вѣтвей, только тамъ, вверху каждой, темно-зеленый зонтъ. Тихо въ этомъ лѣсу, жутко, вся земля усыпана хвоей и лѣсъ кажется подметеннымъ. Когда я гуляю въ немъ, мнѣ почему-то всегда думается о Богѣ... вокругъ Его престола, должно быть, такъ же жутко... ангелы не славословятъ Его—это неправда! Зачѣмъ Ему слава? Развѣ Онъ Самъ не знаетъ, какъ Онъ великъ?

Въ умѣ Ипполита Сергѣевича сверкнула яркая мысль:

„Что, если я воспользуюсь авторитетомъ догмата, чтобъ поднять цѣлину ея души?"

Но онъ тотчасъ же гордо отвергъ это невольное признаніе въ своей слабости предъ нею. Было бы не честно дѣйствовать силой, въ существованіе которой не вѣришь.

— Вы... не вѣрите въ Бога?—какъ бы ловя его мысль, спросила она.

— Почему вы такъ думаете?

— Да... всѣ ученые не вѣрятъ...

— Ужъ и всѣ!—усмѣхнулся онъ, не желая говорить съ ней на эту тему. Но она не отступала отъ него.

— Развѣ не всѣ? Но какъ же они не вѣрятъ? Пожалуйста, разскажите о тѣхъ, которые совсѣмъ не вѣрятъ въ Него... Я не понимаю, какъ же это можно? Откуда же все явилось?

Онъ помолчалъ, будя свой умъ, сладко дремавшій подъ звуки ея рѣчей. Потомъ заговорилъ о происхожденіи міра такъ, какъ онъ понималъ его:

— Могучія невѣдомыя силы вѣчно движутся, сталкиваются и великое движеніе ихъ рождаетъ видимый нами міръ, въ которомъ жизнь мысли и былинки подчинены однимъ и тѣмъ же законамъ. Это движеніе не имѣло начала и не будетъ имѣть конца...

Дѣвушка внимательно слушала его и часто просила

объяснить ей то или другое. Онъ объяснялъ съ удовольствіемъ, видя напряженіе мысли на ея лицѣ. Она думаетъ, думаетъ! Но когда онъ кончилъ, она, помолчавъ съ минуту, простодушно спросила его:

— Но вѣдь тутъ начато не съ начала! А въ началѣ былъ Богъ. Какъ же это? Тутъ о Немъ просто не говорится, а развѣ это и значитъ не вѣрить въ Него?

Онъ хотѣлъ возражать ей, но по выраженію ея лица понялъ, что теперь это безполезно. Она вѣрила — объ этомъ свидѣтельствовали ея глаза, горѣвшіе мистическимъ огнемъ. Тихо, съ боязнью она говорила ему что-то странное.

— Когда видишь людей и какъ все это гадко у нихъ и потомъ вспомнишь о Богѣ и страшномъ судѣ— даже сердце сожмется! Потому что вѣдь Онъ можетъ всегда—сегодня, завтра, черезъ часъ —потребовать отвѣтовъ... И знаете, иногда мнѣ кажется — это будетъ скоро! Днемъ это будетъ... и сначала погаснетъ солнце... а потомъ вспыхнетъ новое пламя и въ немъ явится Онъ.

Ипполитъ Сергѣевичъ слушалъ ея бредъ и думалъ:

— Въ ней есть все, кромѣ того, чему необходимо слѣдовало бы быть...

Ея рѣчи вызвали блѣдность на ея лицѣ и испугъ былъ въ глазахъ у нея. Въ этомъ подавленномъ состояніи она шла долго, такъ что любопытство, съ которымъ Ипполитъ Сергѣевичъ слушалъ ее, начало исчезать у него, замѣняясь утомленіемъ.

Но ея бредъ исчезъ вдругъ, когда до нихъ донесся громкій смѣхъ, звучавшій гдѣ-то близко.

— Слышите? Это Маша... вотъ мы и пришли!

Она ускорила шаги и крикнула:

— Маша, ау!

Вышли на берегъ рѣки; онъ полого спускался къ водѣ и по нему были капризно разбросаны веселыя группы березъ и осинъ. А на противоположномъ бе-

регу стояли у самой воды высокія, молчаливыя сосны, наполняя воздухъ густымъ, смолистымъ запахомъ. Тамъ все было хмуро, неподвижно, однообразно и пропитано суровой важностью, а здѣсь—граціозныя березы качали гибкими вѣтвями, нервно дрожала серебристая листва осины, калинникъ и орѣшникъ стоялъ пышными купами, отражаясь въ водѣ; тамъ желтѣлъ песокъ, усѣянный рыжеватой хвоей; здѣсь подъ ногами зеленѣла атава, чуть пробивавшаяся среди срѣзанныхъ стеблей, и отъ разбросанныхъ между деревьевъ копенъ пахло свѣжимъ сѣномъ. Рѣка, спокойная и холодная, отражала какъ зеркало два берега, такъ не похожіе другъ на друга.

Въ тѣни одной группы березъ былъ разостланъ яркій коверъ, на немъ стоялъ самоваръ, испуская струйки пара и голубой дымъ, а около него, присѣвъ на корточки, возилась Маша съ чайникомъ въ рукѣ. Лицо у нея было красное, счастливое, волосы на головѣ мокрые.

— Ты купалась?—спрашивала у нея Варенька. — А гдѣ Григорій?

— Тоже купаться поѣхалъ. Скоро ужъ вернется.

— Да мнѣ его не нужно. Я хочу ѣсть, пить и... ѣсть и пить! Вотъ какъ! А вы, Ипполитъ Сергѣевичъ?

— Не откажусь, знаете ли,—усмѣхнулся онъ.

— Маша, живо!

— Что сначала прикажете? Цыплятъ, паштетъ...

— Все сразу давай и можешь исчезнуть! Можетъ быть, тебя ждетъ кто-нибудь?

— Ровно бы некому,—тихонько засмѣялась Маша, благодарными глазами взглядывая на нее...

— Ну, ладно, притворяйся!

„Какъ это у нея просто все выходитъ",—думалъ Ипполитъ Сергѣевичъ, принимаясь за цыплятъ.

А Варенька со смѣхомъ вышучивала смущеніе Маши, стоявшей предъ нею, потупивъ глаза и съ улыбкой счастья на лицѣ.

— Погоди, онъ тебя заберетъ въ руки! — грозила она.

— Ка-акъ же! Такъ я ему и дамся!.. Я, знаете, я его...—и она, закрывъ лицо передникомъ, закачалась на ногахъ въ приступѣ неудержимаго смѣха.—Дорогой въ воду ссунула!

— Ну? Молодецъ ты! А какъ же онъ?

— Плылъ за лодкой... и... и все упрашивалъ, чтобъ я его... впустила... а я ему... веревку бросила съ кормы!

Заразительный смѣхъ двухъ женщинъ принудилъ и Ипполита Сергѣевича громко расхохотаться. Онъ смѣялся не потому, что представлялъ себѣ Григорія плывущимъ за лодкой, а потому, что хорошо ему было. Чувство свободы отъ самого себя наполняло его, и порой онъ точно откуда-то издали удивлялся себѣ, замѣчая, что никогда раньше онъ не былъ такъ просто веселъ, какъ въ этотъ моментъ. Потомъ Маша исчезла, и они снова остались вдвоемъ.

Варенька полулежала на коврѣ и пила чай, а Ипполитъ Сергѣевичъ смотрѣлъ на нее какъ бы сквозь дымку дремы. Вокругъ нихъ было тихо, лишь самоваръ пѣлъ задумчивую мелодію, да порой что-то шуршало въ травѣ.

— Вы что же молчаливый такой? — спросила Варенька, заботливо глядя на него.—Вамъ, можетъ быть, скучно?

— Нѣтъ, мнѣ хорошо,—медленно сказалъ онъ,—а говорить не хочется.

— Вотъ и я тоже такъ, — оживилась дѣвушка, — когда тихо, я ужасно не люблю говорить. Вѣдь словами не много скажешь, потому что бываютъ чувства, для которыхъ и нѣтъ совсѣмъ словъ. И когда говорятъ—тишина, то это напрасно—о тишинѣ нельзя говорить, не уничтожая ея... да?

Она помолчала, посмотрѣла на сосновый лѣсъ и, указавъ на него рукой, спросила, тихо улыбаясь:

— Посмотрите, сосны точно прислушиваются къ чему-то. Тамъ среди нихъ тихо-тихо. Мнѣ иногда кажется, что лучше всего жить вотъ такъ, въ тишинѣ. Но хорошо и въ грозу... ахъ, какъ хорошо! Небо черное, молніи злыя, темнота, вѣтеръ воетъ... въ это время выйти въ поле и стоять тамъ и пѣть—громко пѣть, или бѣжать подъ дождемъ, противъ вѣтра. Такъ и зимой. Вы знаете, однажды во вьюгу я заблудилась и чуть не замерзла.

— Разскажите, какъ это?—попросилъ онъ. Ему было пріятно слышать ее,—казалось, что она говоритъ на языкѣ новомъ для него, хотя и понятномъ.

— Я ѣхала изъ города, поздно ночью,—придвигаясь къ нему и остановивъ тихо улыбающіеся глаза на его лицѣ, начала она.—Кучеромъ былъ Яковъ, старый такой, строгій мужикъ. И вотъ началась вьюга, страшной силы вьюга и прямо въ лицо намъ. Рванетъ вѣтеръ и броситъ въ насъ цѣлую тучу снѣга такъ, что лошади попятятся назадъ и Яковъ покачнется на козлахъ. Вокругъ все кипитъ точно въ котлѣ, и мы въ холодной пѣнѣ. Ѣхали, ѣхали, потомъ Яковъ, вижу я, снялъ шапку съ головы и крестится. Что ты? — „Молитесь, барышня, Господу и Варварѣ великомученицѣ, она помогаетъ отъ нечаянной смерти". Онъ говорилъ просто и безъ страха, такъ что я не испугалась; спрашиваю— заплутались?—„Да", говоритъ. Но, можетъ быть, выѣдемъ?—„Гдѣ ужъ, говоритъ, выѣхать въ такую вьюгу! Вотъ я отпущу вожжи, авось кони сами пойдутъ, а вы все-таки про Бога-то вспомните!" Онъ очень набожный, этотъ Яковъ. Кони стали и стоятъ, и насъ заноситъ. Холодно! Лицо рѣжетъ снѣгомъ. Яковъ сѣлъ съ козелъ ко мнѣ, чтобы намъ обоимъ теплѣе было, и мы съ головой закрылись ковромъ, что былъ въ саняхъ. На коверъ наносило снѣгъ и онъ становился тяжелымъ. Я сидѣла и думала: вотъ и пропала я! И не съѣмъ тѣхъ конфектъ, что везла изъ города... Но

страшно мнѣ не было, потому что Яковъ разговаривалъ все время. Помню, онъ говорилъ: „Жалко мнѣ васъ, барышня! Зачѣмъ вы-то погибнете?“—Да, вѣдь, и ты тоже замерзнешь?—„Я-то ничего, я ужъ пожилъ, а вотъ вамъ...“ и все обо мнѣ. Онъ меня очень любитъ, даже ругаетъ иногда, знаете, ворчитъ на меня, сердито такъ: — „ахъ, ты безбожница, сорви-голова, безстыжая вертушка!..“

Она сдѣлала суровую мину и говорила густымъ басомъ, растягивая слова. Воспоминаніе о Яковѣ отвлекло ее отъ своего разсказа, и Ипполитъ Сергѣевичъ долженъ былъ спросить ее:

— Какъ же вы нашли путь?

— А кони озябли и пошли сами, шли-шли и дошли до деревни, на тринадцать верстъ въ сторону отъ нашей. Вы знаете, наша деревня здѣсь близко, версты четыре, пожалуй. Вотъ если идти такъ вдоль берега и потомъ по тропѣ, въ лѣсу направо, тамъ будетъ ложбина и уже видно усадьбу. А дорогой отсюда верстъ десять.

Какія-то смѣлыя птички порхали вокругъ нихъ и, садясь на вѣтки кустовъ, бойко щебетали, точно дѣлясь другъ съ другомъ впечатлѣніями отъ этихъ двухъ людей, одинокихъ среди лѣса. Издали доносился смѣхъ, говоръ и плескъ веселъ, должно быть Григорій и Маша катались на рѣкѣ.

— Позовемъ ихъ и переѣдемъ на ту сторону въ сосны?—предложила Варенька.

Онъ согласился, и, приставивъ руку ко рту рупоромъ, она стала кричать:

— Плывите сюда-а!

Отъ крика ея грудь напряглась, а Ипполитъ Сергѣевичъ молча любовался ею. Ему о чемъ-то нужно было подумать—о чемъ-то очень серьезномъ, чувствовалъ онъ,—но думать не хотѣлось, и этотъ слабый позывъ ума не мѣшалъ ему спокойно и свободно отдаваться болѣе сильному повелѣнію чувства.

Явилась лодка. У Григорія лицо было лукавое и немного виноватое, у Маши — притворно-сердитое; но Варенька, садясь въ лодку, посмотрѣла на нихъ и засмѣялась, тогда и они оба засмѣялись, сконфуженные и счастливые.

„Венера и рабы ея, обласканные ею“, — подумалъ Ипполитъ Сергѣевичъ.

Въ сосновомъ лѣсу было торжественно и тихо, какъ въ храмѣ, и могучіе, стройные стволы стояли, какъ колонны, поддерживая тяжелый сводъ изъ темной зелени. Теплый и густой запахъ смолы наполнялъ воздухъ, а подъ ногами тихо хрустѣла сухая хвоя. Впереди, позади, съ боковъ—всюду стояли красноватыя сосны и лишь кое-гдѣ у корней ихъ сквозь пластъ хвои пробивалась какая-то блѣдная зелень. Въ тишинѣ и молчаніи двое людей медленно бродили среди этой безмолвной жизни, свертывая то вправо, то влѣво предъ деревьями, заграждавшими имъ путь.

— Мы не заплутаемся?—спросилъ Ипполитъ Сергѣевичъ.

— Я заплутаюсь?—удивилась Варенька.—Я вездѣ найду нужное мнѣ направленіе... стоитъ только посмотрѣть на солнце.

Онъ не спрашивалъ ея о томъ, какъ солнце указываетъ ей путь, ему совершенно не хотѣлось говорить, хотя иногда онъ чувствовалъ, что много могъ бы сказать ей. Но это были внутренніе взрывы желаній, вспыхивавшіе на поверхности его спокойнаго настроенія и въ секунду угасавшіе, не волнуя его. Варенька шла рядомъ съ нимъ и онъ видѣлъ на лицѣ ея отраженіе тихаго восторга.

— Хорошо?—изрѣдка спрашивала она его, и ласковая улыбка заставляла вздрагивать ея губы.

— Да, очень,—кратко отвѣчалъ онъ, и снова они молчали, идя по лѣсу. Ему казалось, что онъ—юноша, благоговѣйно влюбленъ, чуждъ грѣшныхъ помысловъ

и всякой внутренней борьбы съ самимъ собой. Но каждый разъ, когда глаза ловили пятно грязи на ея платьѣ, на душу ему падала тревожная тѣнь. И онъ не понималъ, какъ это случилось, что вдругъ, въ моментъ, когда такая тѣнь окутала его сознаніе, онъ, глубоко вздохнувъ, точно сбрасывая съ себя тяжесть, сказалъ:

— Какая вы красавица!

Она удивленно взглянула на него.

— Что это вы? Молчали, молчали—и вдругъ!

Ипполитъ Сергѣевичъ слабо засмѣялся, обезсиленный ея спокойствіемъ.

— Такъ, знаете... хорошо здѣсь! Лѣсъ хорошъ... а вы въ немъ какъ фея... или—вы богиня и лѣсъ—вашъ храмъ.

— Нѣтъ...—улыбаясь возразила она,—это не мой лѣсъ, это казенный, а нашъ лѣсъ въ ту сторону, внизъ по рѣкѣ.

И она указала рукой куда-то вбокъ.

— Шутитъ она или... не понимаетъ? — подумалъ Ипполитъ Сергѣевичъ, и въ немъ стало разгораться настойчивое желаніе говорить ей о ея красотѣ. Но она была задумчива, спокойна, и это сдерживало его.

Гуляли они еще долго, но говорили уже мало, ибо мягкія и мирныя впечатлѣнія этого дня овѣяли ихъ души сладкимъ утомленіемъ, въ которомъ уснули всѣ желанія, кромѣ желанія молча думать о чемъ-то невыразимомъ словами.

Воротясь домой, они узнали, что Елизаветы Сергѣевны еще нѣтъ, и стали пить чай, быстро приготовленный Машей. Сейчасъ же послѣ чая Варенька уѣхала домой, взявъ съ него слово пріѣхать къ нимъ въ усадьбу вмѣстѣ съ Елизаветой Сергѣевной. Онъ проводилъ ее и когда пришелъ на террасу, то поймалъ себя на тоскливомъ ощущеніи утраты чего-то необходимаго ему. Сидя за столомъ, на которомъ стоялъ остывшій стаканъ

его чая, онъ попробовалъ уничтожить всю эту игру раздраженныхъ за день чувствъ, но въ немъ явилась жалость къ самому себѣ и онъ отказался отъ всякихъ операцій надъ собой.

— Зачѣмъ?—думалъ онъ—развѣ все это серьезно? Это не вредитъ ей, не можетъ повредить, если бъ я и хотѣлъ. Это нѣсколько мѣшаетъ мнѣ жить... но тутъ столько юнаго и красиваго...

Потомъ, снисходительно улыбаясь самому себѣ, онъ вспомнилъ свое твердое рѣшеніе развить ея умъ и свои неудачныя попытки сдѣлать это.

— Нѣтъ, очевидно, съ ней нужно говорить иными словами. Эти цѣлостныя натуры скорѣе склонны поступиться своей непосредственностью предъ метафизикой... защищаясь противъ логики броней слѣпого, примитивнаго чувства... Странная дѣвушка!

Въ думахъ о ней его застала сестра. Она явилась шумной и оживленной,—такой онъ еще не видалъ ея. Приказавъ Машѣ подогрѣть самоваръ, она усѣлась противъ брата и начала ему разсказывать о Бенковскихъ.

— Изо всѣхъ щелей ихъ стараго дома смотрятъ жесткіе глаза нищеты, торжествующей побѣду надъ этимъ семействомъ. Въ домѣ, кажется, нѣтъ ни копейки денегъ и никакихъ запасовъ; къ обѣду посылали въ деревню за яйцами. Обѣдъ безъ мяса, и поэтому старикъ Бенковскій говоритъ о вегетаріанствѣ и о возможности моральнаго перерожденія людей на этой почвѣ. У нихъ пахнетъ разложеніемъ, и всѣ они злые— отъ голода, должно быть. Она ѣздила къ нимъ съ предложеніемъ продать ей клокъ земли, врѣзавшійся въ ея влад[illegible]я.

[illegible] это?—полюбопытствовалъ Ипполитъ Сер-[illegible]ичъ.

— Ну, тебѣ едва ли могутъ быть доступны соображенія, которыя я преслѣдую. Представь, что это ради

моихъ будущихъ дѣтей,—смѣясь сказала она.—Ну, а ты какъ провелъ время?

— Пріятно.

Она помолчала, исподлобья посмотрѣвъ на него.

— Извини за вопросъ... ты не боишься немножко увлечься Варенькой?

— Чего же тутъ бояться? — съ непонятнымъ ему интересомъ спросилъ онъ.

— Возможности увлечься сильно?

— Ну, это едва ли я сумѣю...—скептически отвѣтилъ онъ и вѣрилъ, что говоритъ правду.

— А если такъ, то и прекрасно. Немножко—это хорошо, а то ты нѣсколько сухъ... слишкомъ серьезенъ... для твоихъ лѣтъ. И я, право, буду рада, если она расшевелитъ тебя... Быть можетъ, ты хотѣлъ бы видѣть ее чаще?..

— Она взяла съ меня слово пріѣхать къ нимъ и просила тебя объ этомъ... — сообщилъ Ипполитъ Сергѣевичъ.

— Когда ты хочешь поѣхать?

— Все равно... Какъ ты найдешь удобнымъ. Ты сегодня хорошо настроена.

— Это очень замѣтно?—засмѣялась она. — Что же? Я провела хорошо день. Вообще... боюсь, это покажется тебѣ цинизмомъ... но право, со дня похоронъ мужа я чувствую, что возрождаюсь... Я эгоистична — конечно! Но это радостный эгоизмъ человѣка, выпущеннаго изъ тюрьмы на свободу... Суди, но будь справедливъ.

— Сколько оговорокъ для такой маленькой рѣчи! Рада и—радуйся...—ласково засмѣялся Ипполитъ Сергѣевичъ.

— И ты сегодня добръ и милъ, — сказала она. — Видишь, — немножко счастья — и человѣкъ сразу же становится лучше, добрѣе. А нѣкоторые слишкомъ мудрые люди находятъ, что насъ очищаютъ страданія... Желала бы я, чтобъ жизнь, примѣняя къ нимъ эту ...рію, очистила ихъ умы отъ заблужденія...

— А если Вареньку заставить страдать... что было бы изъ нея? — спросилъ самъ себя Ипполитъ Сергѣевичъ.

Скоро они разошлись. Она стала играть, а онъ, уйдя въ свою комнату, легъ тамъ и задумался,—какое представленіе о немъ сложилось у этой дѣвушки? Считаетъ она его красивымъ? Или умнымъ? Что можетъ нравиться ей въ немъ? Что-то привлекаетъ ее къ нему— это очевидно для него. Но едва ли онъ имѣетъ въ ея глазахъ цѣну какъ умный, ученый человѣкъ; она такъ легко отбрасываетъ отъ себя всѣ его теоріи, взгляды, поученія. Вѣроятнѣе, что онъ нравится ей просто, какъ мужчина.

И дойдя до этого заключенія, Ипполитъ Сергѣевичъ вспыхнулъ отъ гордой радости. Закрывъ глаза, онъ съ улыбкой удовольствія представлялъ себѣ эту дѣвушку покорной ему, побѣжденной имъ, готовой на все для него, робко умоляющей его взять ее и научить думать, жить, любить.

III.

Когда кабріолетъ Елизаветы Сергѣевны остановился у крыльца дома полковника Олесова, на крыльцѣ явилась длинная и худая фигура женщины въ сѣрой блузѣ и раздался басовый голосъ, рѣзко выдѣлявшій звукъ „р“.

— А-а! Какой пріятный сюрпризъ!

Ипполитъ Сергѣевичъ даже вздрогнулъ отъ этого привѣтствія, похожаго на рычаніе.

— Мой братъ Ипполитъ... — представила Елизавета Сергѣевна, поцѣловавшись съ женщиной.

— Маргарита Лучицкая.

Пять холодныхъ и цѣпкихъ костей сжали пальцы Ипполита Сергѣевича; сверкающіе сѣрые глаза остановились на его лицѣ, и тётя Лучицкая пробасил-

внятно отчеканивая каждый слогъ, точно она считала ихъ, боясь сказать что-то лишнее:

— Очень рада быть знакомой съ вами.

Затѣмъ она отодвинулась въ сторону и ткнула рукой на дверь въ комнаты.

— Прошу!

Ипполитъ Сергѣевичъ шагнулъ черезъ порогъ, а навстрѣчу ему откуда-то донесся хриплый кашель и раздраженный возгласъ:

— Чортъ возьми твою глупость! Ступай, посмотри и скажи, кто-о пріѣхалъ...

— Иди, иди... — поощрила Елизавета Сергѣевна брата, замѣтивъ, что онъ нерѣшительно остановился.— Это полковникъ кричитъ... Мы пріѣхали, полковникъ!

Среди большой, съ низкимъ потолкомъ комнаты, стояло массивное кресло, а въ него было втиснуто большое рыхлое тѣло съ краснымъ дряблымъ лицомъ, поросшимъ сѣдымъ мхомъ. Верхняя часть этой массы тяжело ворочалась, издавая удушливый храпъ. За кресломъ возвышались плечи какой-то высокой и дородной женщины, смотрѣвшей въ лицо Ипполита Сергѣевича тусклыми глазами.

— Радъ васъ видѣть... вашъ братъ?.. Полковникъ Василій Олесовъ... билъ турокъ и текинцевъ, а нынѣ самъ разбитъ болѣзнями... хо-хо-хо! Радъ васъ видѣть... Мнѣ Варвара все лѣто барабанитъ въ уши о вашей учености и умѣ, и прочее такое... Прошу сюда, въ гостиную... Ѳекла,—вези!

Пронзительно завизжали колеса кресла, полковникъ качнулся впередъ, откинулся назадъ и разразился хриплымъ кашлемъ, такъ болтая головой, точно желалъ, чтобъ она у него оторвалась.

— Когда баринъ кашляетъ — стой! Не говорила я тебѣ этого тысячу разъ?

И тётя Лучицкая, схвативъ Ѳеклу за плечо, вдавила ее въ полъ.

Полкановы стояли и ждали, когда откашляется грузно колыхавшееся тѣло Олесова.

Наконецъ, двинулись впередъ и очутились въ маленькой комнатѣ, гдѣ было душно, темно и тѣсно отъ обилія мягкой мебели въ парусиновыхъ чехлахъ.

— Разсаживайтесь... Ѳекла—за барышней!—скомандовала тётя Лучицкая.

— Елизавета Сергѣевна, голубушка, я вамъ радъ!—заявилъ полковникъ, глядя на гостью изъ-подъ сѣдыхъ бровей, сросшихся на переносьѣ, круглыми, какъ у филина, глазами. Носъ у полковника былъ комически великъ и конецъ его, сизый и блестящій, уныло прятался въ сѣдой щетинѣ усовъ.

— Я знаю, что вы рады мнѣ такъ же, какъ и я рада видѣть васъ...—ласково сказала гостья.

— Хо-хо-хо! Это,—пардонъ!—вы врете! Какое удовольствіе видѣть старика, разбитаго подагрой и болящаго отъ неумолимой жажды выпить водки? Лѣтъ двадцать пять тому назадъ можно было дѣйствительно радоваться при видѣ Васьки Олесова... и много женщинъ радовались... а теперь ни вы мнѣ, ни я вамъ совершенно не нужны... Но при васъ мнѣ дадутъ водки,—и я радъ вамъ!

— Не говори много, опять закашляешь... — предупредила его Маргарита Родіоновна.

— Слышали?—обратился полковникъ къ Ипполиту Сергѣевичу.— Я не долженъ говорить—вредно, пить—вредно, ѣсть, сколько хочу—вредно! Все вредно, чортъ возьми! И я вижу — мнѣ жить вредно! Хо-хо-хо! Отжилъ... не желаю вамъ сказать когда-нибудь этакое про себя... А впрочемъ, вы навѣрное скоро умрете... схватите чахотку—у васъ невозможно узкая грудь...

Ипполитъ Сергѣевичъ смотрѣлъ то на него, то на тётю Лучицкую и думалъ о Варенькѣ:

— Однако, среди какихъ монстровъ она живетъ!

Онъ никогда не пытался представлять себѣ

новку ея жизни и теперь былъ подавленъ тѣмъ, что видѣлъ. Суровая и угловатая худоба тёти Лучицкой колола ему глаза; онъ не могъ видѣть ея длинной шеи, обтянутой желтой кожей, и всякій разъ, какъ она говорила,—ему становилось чего-то боязно, точно онъ ждалъ, что басовые звуки, исходившіе изъ широкой, но плоской, какъ доска, груди этой женщины,—разорвутъ ей грудь. И шелестъ юбокъ тёти Лучицкой казался ему треніемъ ея костей. Отъ полковника пахло какимъ-то спиртомъ, пòтомъ и сквернымъ табакомъ. Судя по блеску его глазъ, онъ, должно быть, часто раздражался, и Ипполитъ Сергѣевичъ, воображая его раздраженнымъ, почувствовалъ отвращеніе къ этому старику. Въ комнатахъ было неуютно, обои на стѣнахъ закоптѣли, а изразцы печи испещрялись трещинами, что, впрочемъ, придавало имъ сходство съ мраморомъ. Краска съ пола была стерта колесами кресла, рамы въ окнахъ кривы, стёкла тусклы; отовсюду вѣяло стариной, разрушающейся отъ утомленія жизнью.

— А сегодня душно... — говорила Елизавета Сергѣевна.

— Будетъ дождь... — категорически объявила Лучицкая.

— Неужели?—усомнилась гостья.

— Вѣрьте Маргаритѣ, — захрипѣлъ старикъ. — Ей извѣстно все, что будетъ... Она ежедневно увѣряетъ меня въ этомъ... Ты, говоритъ, умрешь, а Варьку ограбятъ и сломятъ ей голову...—видите? Я спорю: — дочь полковника Олесова не позволитъ кому-нибудь сломить ей голову... она сама это сдѣлаетъ! А что я умру — это правда... т.-е. такъ должно быть. А вы, господинъ ученый, какъ себя здѣсь чувствуете? Тощища въ кубѣ, не правда ли?

— Нѣтъ, почему же? Красивая лѣсная мѣстность...— любезно откликнулся Ипполитъ Сергѣевичъ.

— Красивая мѣстность... здѣсь-то? Пхе! Это значитъ,

что вы не видали красиваго на землѣ. Красивое — это долина Казанлыка въ Болгаріи... красиво въ Хорасанѣ... на Мургабѣ есть мѣста какъ рай... А! Мое драгоцѣнное дѣтище!..

Варенька внесла ароматъ свѣжести въ затхлый воздухъ гостиной. Фигура ея была окутана въ какую-то хламиду изъ сарпинки свѣтло-сиреневаго цвѣта. Въ рукахъ она держала большой букетъ только что срѣзанныхъ цвѣтовъ и ея лицо сіяло удовольствіемъ.

— Какъ хорошо, что вы пріѣхали именно сегодня!— восклицала она, здороваясь съ гостями.—Я уже собиралась къ вамъ... они меня загрызли!

И широкимъ жестомъ руки она указала на отца и Маргариту Родіоновну, сидѣвшую рядомъ съ гостьей до того нестественно-прямо, точно у нея позвоночникъ окаменѣлъ и не сгибался.

— Варвара! Ты говоришь вздоръ!—сурово окрикнула она дѣвушку, сверкнувъ глазами.

— Не кричите! А то я начну разсказывать Ипполиту Сергѣевичу о поручикѣ Яковлевѣ и его пылкомъ сердцѣ...

— Хо, хо, хо! Варька—смирно! Я самъ разскажу...

— Куда я попалъ?—соображалъ Ипполитъ Сергѣевичъ, съ удивленіемъ посматривая на сестру.

Но ей, очевидно, было знакомо все это, и хотя въ углахъ ея губъ дрожала улыбка пренебреженія, она смотрѣла и слушала спокойно.

— Иду распорядиться чаемъ!—объявила Маргарита Родіоновна, не сгибая корпуса, вытянулась кверху и исчезла, окинувъ полковника укоризненнымъ взглядомъ.

Варенька сѣла на ея мѣсто и начала что-то говорить на ухо Елизаветѣ Сергѣевнѣ.

— Что у нея за страсть къ широкимъ одеждамъ?— думалъ Ипполитъ Сергѣевичъ, искоса поглядывая на ея фигуру, въ красивой позѣ склоненную къ сестрѣ.

А полковникъ гудѣлъ, какъ разбитый контрабасъ:

— Вы, конечно, знаете, что Маргарита—жена моего

товарища подполковника Лучицкаго, убитаго при Эски-Загрѣ? Она съ нимъ дѣлала походъ, да! Энергичная, знаете, женщина. Ну и вотъ, былъ у насъ въ полку поручикъ Яковлевъ, этакая нѣжная барышня... ему редифъ разбилъ грудь прикладомъ, травматическая чахотка и... конецъ! И вотъ онъ болѣлъ, а она за нимъ ухаживала пять мѣсяцевъ! а? каково? И, знаете, дала ему слово не выходить замужъ. Молодая она была, красива... очень эффектна. За ней ухаживали, серьезно ухаживали достойные люди... капитанъ Шмурло, очень милый хохолъ, даже спился и бросилъ службу. Я—тоже... то-есть тоже предлагалъ: — Маргарита! иди за меня замужъ!... Не пошла... очень глупо, но, конечно, благородно. А вотъ когда меня разбила подагра, она явилась и говоритъ: ты одинъ, я одна... и прочее такое. Трогательно и свято. Дружба навѣкъ и всегда грыземся. Она пріѣзжаетъ каждое лѣто, даже хочетъ продать имѣніе и переселиться навсегда, т.-е. до моей смерти. Я цѣню, но смѣшно все это—да? Хо-хо-хо! Потому что была женщина съ огнемъ и, видите, какъ онъ ее высушилъ? Не шути съ огнемъ... хо! Она, знаете, злится, когда разсказываешь эту поэзію ея жизни, какъ она выражается. Не смѣй, говоритъ, оскорблять гнуснымъ языкомъ святыню моего сердца! а! Хо-хо-хо! А въ существѣ дѣла—какая святыня? Заблужденіе ума... мечты институтки... Жизнь проста, не такъ ли? Наслаждайся и умри въ свое время, вотъ и вся философія! Но... умри въ свое время! А я вотъ пропустилъ срокъ, это скверно, не желаю вамъ этого...

У Ипполита Сергѣевича кружилась голова отъ разсказа и запаха, который распространялъ полковникъ. А Варенька, не обращая на него вниманія, вполголоса разговаривала съ Елизаветой Сергѣевной, слушавшей ее внимательно и серьезно.

— Приглашаю чай пить!—раздался въ дверяхъ басъ Маргариты Родіоновны.—Варвара, вези отца!

Ипполитъ Сергѣевичъ облегченно вздохнулъ и пошелъ сзади Вареньки, легко катившей предъ собой тяжелое кресло.

Чай былъ приготовленъ по-англійски съ массой холодныхъ закусокъ. Громадный кровавый ростбифъ окружали бутылки вина, и это вызвало довольный хохотъ у полковника. Казалось, что и его полумертвыя ноги, окутанныя медвѣжьей шкурой, дрогнули отъ предвкушенія удовольствія. Онъ ѣхалъ къ столу и, простирая къ бутылкамъ дрожащія пухлыя руки, поросшія темной шерстью, хохоталъ, сотрясая воздухъ большой столовой, обставленной плетеными изъ прутьевъ стульями.

Чаепитіе продолжалось мучительно долго, и все время полковникъ съ хрипомъ разсказывалъ военные анекдоты, Маргарита Родіоновна кратко и басомъ вставляла свои замѣчанія, а Варенька тихо, но оживленно разговаривала съ Елизаветой Сергѣевной.

— О чемъ она?—съ тоской думалъ Ипполитъ Сергѣевичъ, предоставленный въ жертву полковнику.

Ему казалось, что сегодня она слишкомъ мало обращаетъ на него вниманія. Что это — кокетство? И онъ чувствовалъ, что готовъ разсердиться на нее.

Но вотъ она взглянула въ его сторону и звонко засмѣялась.

— Это сестра обратила ея вниманіе на меня! — недовольно хмуря брови, сообразилъ Полкановъ.

— Ипполитъ Сергѣевичъ! Вы кончили чай? — спросила Варенька.

— Да, уже...

— Гулять? Я покажу вамъ славныя мѣстечки!

— Пойдемте. А ты, Лиза, идешь?

— Я—нѣтъ! Мнѣ пріятно посидѣть съ Маргаритой Родіоновной и полковникомъ.

— Хо-хо-хо! Пріятно постоять на краю могилы, куда сваливается полумертвое тѣло мое! — хохоталъ полковникъ.—Зачѣмъ такъ говорить?

— Сейчасъ она спроситъ у меня — вамъ скучно у насъ? — думалъ Ипполитъ Сергѣевичъ, выйдя съ Варенькой изъ комнатъ въ садъ. Но она спросила его:

— Какъ вамъ нравится папа?

— О!—тихо воскликнулъ Ипполитъ Сергѣевичъ. — Онъ возбуждаетъ почтеніе!

— Ага!—довольно отозвалась Варенька.—Вотъ и всѣ такъ. Онъ ужасно храбрый! Знаете, онъ не говоритъ о себѣ самъ, но тётя Лучицкая,—она вѣдь одного полка съ нимъ,—разсказывала, что подъ Горнымъ Дубнякомъ у его лошади разбили пулей ноздрю и она понесла его прямо на турокъ. А турки наступали; онъ какъ-то свернулъ и поскакалъ вдоль фронта; лошадь, конечно, убили, онъ упалъ и видитъ—на него бѣгутъ четверо... Вотъ наскочилъ одинъ и замахнулся на него прикладомъ, а папа—цапъ! его за ногу! Свалилъ и прямо въ лицо изъ револьвера—бацъ! И ногу изъ-подъ лошади вытащилъ, а тутъ еще трое бѣгутъ, а тамъ еще за ними, и наши солдатики тоже мчатся навстрѣчу съ Яковлевымъ... это вы знаете кто?... Папа схватилъ ружье убитаго, вскочилъ на ноги—впередъ! Но онъ ужасно сильный былъ, это чуть не погубило его; онъ ударилъ по головѣ турка и ружье сломалось, осталась сабля, но она была скверная и тупая, а ужъ турокъ хочетъ бить его штыкомъ въ грудь. Тогда папа поймалъ рукой ремень ружья, да и побѣжалъ навстрѣчу своимъ, таща за собой турка. Въ это время его ранили въ бокъ пулей и въ шею штыкомъ. Онъ понялъ, что погибъ, обернулся лицомъ къ непріятелю, вырвалъ ружье у турка и на нихъ—ура! А тутъ Яковлевъ съ солдатиками прибѣжалъ и они такъ дружно взялись, что турки отступили. Папѣ дали за это Георгія, но онъ разсердился на то, что не дали Георгія одному унтеру его полка, который въ этой свалкѣ два раза спасъ Яковлева и разъ—папу, и отказался отъ креста. А когда дали унтеру—и онъ взялъ.

— Вы такъ разсказываете объ этой свалкѣ, точно

сами въ ней участвовали...—замѣтилъ Ипполитъ Сергѣевичъ, перебивая ея рѣчь.

— Да-а...—протянула она, вздыхая и щуря глаза.— Мнѣ нравится война... И я уйду въ сестры милосердія, если будутъ воевать...

— А я тогда поступлю въ солдаты...

— Вы?—спросила она, оглядывая его фигуру.—Ну, это вы шутите... изъ васъ вышелъ бы плохой солдатъ... слабый вы, худой такой...

Его задѣло это.

— Я достаточно силенъ, повѣрьте...—заявилъ онъ, точно предостерегая ее.

— Ну, гдѣ же?—спокойно не вѣрила ему Варенька.

Въ немъ вспыхнуло бѣшеное желаніе схватить ее въ объятія и что есть силы прижать къ себѣ — такъ, чтобъ слезы брызнули у нея изъ глазъ. Онъ быстро оглянулся вокругъ, поводя плечами, и тотчасъ устыдился своего желанія.

Они шли садомъ по дорожкѣ, обсаженной правильными рядами яблонь, и сзади нихъ въ концѣ дорожки смотрѣло имъ въ спины окно дома. Съ деревьевъ падали яблоки, глухо ударяясь о землю, и гдѣ-то вблизи раздавались голоса. Одинъ спрашивалъ:

— Онъ, стало-быть, тоже въ женихи къ намъ?

А другой угрюмо ругался.

— Подождите...—остановила Варенька своего спутника, взявъ его за рукавъ,—послушаемъ, это они про васъ говорятъ...

Онъ сухо взглянулъ на нее и сказалъ:

— Я не охотникъ подслушивать разговоры слугъ.

— А я люблю...—объявила Варенька, — сами съ собой они всегда очень интересно говорятъ про насъ, господъ...

— Можетъ быть, интересно, но едва ли хорошо...— усмѣхнулся Ипполитъ Сергѣевичъ.

— Почему же? Про меня они всегда хорошо говорятъ.

— Поздравляю васъ...

Онъ былъ во власти злого желанія говорить съ ней рѣзко, грубо, оскорблять ее. Сегодня его возмущало ея поведеніе:—тамъ, въ комнатахъ, она долго не обращала на него вниманія, точно не понимая, что онъ пріѣхалъ ради нея и къ ней, а не къ ея безногому отцу и высушенной тёткѣ. Потомъ, признавъ его слабымъ, она стала смотрѣть на него какъ-то снисходительно.

— Что все это значитъ?—думалъ онъ.—Если я не нравлюсь ей съ внѣшней стороны и не интересенъ съ внутренней—что же влекло ее ко мнѣ? Новое лицо и—только?

Онъ вѣрилъ въ ея тяготѣніе къ нему и снова думалъ, что имѣетъ дѣло съ кокетствомъ, ловко скрытымъ подъ маской наивности и простодушія.

— Быть можетъ, она считаетъ меня глупымъ... и надѣется, что я поумнѣю...

— А тётя права—дождь будетъ!—сказала Варенька, глядя вдаль,—смотрите, какая туча... и становится душно, какъ всегда передъ грозой...

— Это непріятно...—сказалъ Ипполитъ Сергѣевичъ.—Нужно воротиться и предупредить сестру...

— Зачѣмъ же?

— Чтобъ до дождя возвратиться домой...

— Кто васъ отпуститъ? Да и не успѣете вы доѣхать до начала грозы... Нужно переждать здѣсь.

— А если дождь затянется до ночи?

— Ночевать у насъ... — категорически сказала Варенька.

— Нѣтъ, это неудобно... — протестовалъ Ипполитъ Сергѣевичъ.

— Господи! Развѣ ужъ такъ трудно провести одну ночь неудобно.

— Я не свои удобства имѣю въ виду...

— А о другихъ не безпокойтесь — всякій умѣетъ самъ о себѣ заботиться.

Они спорили и шли впередъ, а навстрѣчу имъ по небу быстро ползла темная туча и уже гдѣ-то далеко глухо ворчалъ громъ. Тяжелая духота разливалась въ воздухѣ, точно надвигавшаяся туча, сгущая весь зной этого дня, гнала его предъ собой. И въ жадномъ ожиданіи освѣжающей влаги листья на деревьяхъ замерли.

— Воротимтесь?—предложилъ Ипполитъ Сергѣевичъ.

— Да, потому что душно... Какъ я не люблю время предъ чѣмъ-нибудь... предъ грозой, предъ праздниками. Сама гроза или праздники—хорошо, но ожидать, когда это будетъ—скучно. Вотъ если бъ все дѣлалось сразу... ложишься спать — зима, морозъ; проснешься — весна, цвѣты, солнце... или — солнце сіяетъ и вдругъ тьма, громъ и ливень.

— Можетъ быть, вы хотите, чтобъ и человѣкъ измѣнялся также вдругъ и неожиданно?—усмѣхаясь спросилъ Ипполитъ Сергѣевичъ.

— Человѣкъ всегда долженъ быть интересенъ...— сентенціозно сказала она.

— Да что же значитъ быть интереснымъ? — съ досадой воскликнулъ Ипполитъ Сергѣевичъ.

— Что значитъ? А... это трудно сказать... Я думаю, что люди были бы всѣ интересны, если бы они были... живѣе... да, живѣе! Больше бы смѣялись, пѣли, играли... были бы болѣе смѣлыми, сильными... даже дерзкими... даже грубыми.

Онъ внимательно слушалъ ея опредѣленія и спрашивалъ себя:

— Это она рекомендуетъ мнѣ программу желательныхъ отношеній къ ней?..

— Быстроты нѣтъ въ людяхъ... а нужно, чтобы все дѣлалось быстро, для того, чтобы жилось интересно...— пояснила она съ серьезнымъ лицомъ.

— Кто знаетъ? можетъ быть, вы и правы... — тихо замѣтилъ Ипполитъ Сергѣевичъ... — Т.-е., конечно, не совсѣмъ правы...

— Да не отговаривайтесь!—засмѣялась она. — Какъ это не совсѣмъ? Или ужъ совсѣмъ, или не права... или хорошая, или дурная... или красивая, или уродъ... вотъ какъ надо разсуждать! А то говорятъ: порядочная, миленькая... это просто изъ трусости такъ говорятъ... боятся правды потому что!

— Ну, знаете, съ однимъ этимъ дѣленіемъ на два вы ужъ черезчуръ многихъ обидите!

— Чѣмъ это?

— Несправедливостью...

— Вотъ далась человѣку эта справедливость! Точно въ ней вся жизнь и безъ нея никакъ не обойдешься. А кому она нужна?

Она восклицала съ сердцемъ и капризно, а глаза у нея то и дѣло щурились и метали искры.

— Всѣмъ людямъ, Варвара Васильевна! Всѣмъ, отъ мужика... до васъ...—внушительно сказалъ Ипполитъ Сергѣевичъ, наблюдая ея волненіе и стараясь объяснить его себѣ.

— Мнѣ никакой справедливости не нужно!—рѣшительно отвергла она и даже сдѣлала движеніе рукой, точно отталкивая отъ себя что-то. — А понадобится—я сама себѣ найду ее... Чего вы всегда о всѣхъ людяхъ безпокоитесь? И... просто вы говорите это для того, чтобъ злить меня... потому что вы сегодня важный, надутый...

— Я? злить васъ? Зачѣмъ же?—изумился Ипполитъ Сергѣевичъ.

— Почемъ я знаю? Скуки ради, должно быть... Но — лучше бросьте! Я и безъ васъ... ухъ, какъ заряжена! Меня изъ-за жениховъ цѣлую недѣлю кормили разными рацеями... обливали всякимъ ядомъ... и грязными подозрѣніями... благодарю васъ!

Ея глаза вспыхивали фосфорическимъ блескомъ, ноздри вздрагивали и вся она трепетала отъ волненія, вдругъ охватившаго ее. Ипполитъ Сергѣевичъ съ ту-

маномъ въ глазахъ и съ быстрымъ біеніемъ сердца сталъ горячо оправдываться предъ нею.

— Я не хотѣлъ злить васъ...

Но въ этотъ моментъ надъ ними гулко грянулъ громъ—точно захохоталъ кто-то чудовищно-огромный и грубо-добродушный. Оглушенные могучимъ звукомъ они оба вздрогнули и остановились на мигъ, но сейчасъ же быстро пошли къ дому. Листва дрожала на деревьяхъ и тѣнь падала на землю отъ тучи, разстилавшейся по небу мягкимъ бархатнымъ пологомъ.

— Какъ мы, однако, заспорились... — сказала Варенька на ходу.—Я и не видала, какъ она подкралась.

На крыльцѣ дома стояли Елизавета Сергѣевна и тётя Лучицкая въ большой соломенной шляпѣ на головѣ, что придавало ей сходство съ подсолнухомъ.

— Будетъ страшная гроза, — объявила она своимъ внушительнымъ басомъ прямо въ лицо Ипполиту Сергѣевичу, точно считала своей прямой обязанностью увѣрить его въ приближеніи грозы. Потомъ она сказала:

— Полковникъ уснулъ...—и исчезла.

— Какъ это тебѣ нравится? — спросила Елизавета Сергѣевна, кивкомъ головы указывая на небо.—Пожалуй, намъ придется ночевать здѣсь.

— Если мы никого не стѣснимъ.

— Вотъ человѣкъ!—воскликнула Варенька, смотря на него съ удивленіемъ и чуть ли не съ жалостью. — Все боится стѣснить, быть несправедливымъ... ахъ, ты Господи! Ну и скучно же вамъ, должно быть, жить... всегда въ удилахъ! А по-моему — хочется вамъ стѣснить — стѣсните, хочется быть несправедливымъ — будьте!..

— А Богъ самъ разберетъ, кто правъ... — перебила ее Елизавета Сергѣевна, улыбаясь ей съ сознаніемъ своего превосходства. — Я думаю, нужно спрятаться подъ крышу... а вы?

— Мы будемъ здѣсь смотрѣть грозу—да? — обратилась дѣвушка къ Ипполиту Сергѣевичу.

Онъ изъявилъ ей свое согласіе поклономъ.

— Ну, я не охотница до грандіозныхъ явленій природы... если они могутъ вызвать лихорадку или насморкъ. Къ тому же можно наслаждаться грозой и сквозь стекло окна... ай!

Сверкнула молнія; разорванная ею тьма вздрогнула и, на мигъ открывъ поглощенное ею, вновь слилась. Секунды двѣ царила подавляющая тишина, потомъ, какъ выстрѣлъ, грохнулъ громъ, и его раскаты понеслись надъ домомъ. Откуда-то бѣшено рванулся вѣтеръ, подхватилъ пыль и соръ съ земли и все поднятое имъ закружилось, столбомъ поднимаясь кверху. Летѣли соломинки, бумажки, листья; стрижи съ испуганнымъ пискомъ пронизывали воздухъ, глухо шумѣла листва деревьевъ, на желѣзо крыши дома сыпалась пыль, рождая гулкій шорохъ.

Варенька смотрѣла на эту игру бури изъ-за косяка двери, а Ипполитъ Сергѣевичъ, морщась отъ пыли, стоялъ сзади ея. Крыльцо представляло собою коробку, въ которой было темно, но, когда вспыхивали молніи, стройная фигура дѣвушки освѣщалась голубоватымъ призрачнымъ свѣтомъ.

— Смотрите... смотрите, — вскрикивала Варенька, когда молнія рвала тучу... — видѣли? Туча точно улыбается—не правда ли? Это очень похоже на улыбку... есть такіе люди угрюмые и молчаливые... молчитъ, молчитъ такой человѣкъ и вдругъ улыбнется:—глаза загорятся, зубы сверкнутъ... А вотъ онъ—дождь!

По крышѣ барабанили тяжелыя, крупныя капли, сначала рѣдко, потомъ все чаще, наконецъ съ какимъ-то воющимъ гуломъ.

— Уйдемте... — сказалъ Ипполитъ Сергѣевичъ... — васъ замочитъ.

Ему было неловко стоять такъ близко къ ней въ

этой тѣсной темнотѣ, неловко и пріятно. И онъ думалъ, глядя на ея шею:

— Что, если я поцѣлую ее?

Сверкнула молнія, озаривъ полнеба, и при блескѣ ея Ипполитъ Сергѣевичъ увидалъ, что Варенька съ восклицаніемъ восторга взмахнула руками и стоитъ, откинувшись назадъ, точно подставляя свою грудь молніямъ. Онъ схватилъ ее сзади за талію и, почти положивъ свою голову на плечо ей, спросилъ ее задыхаясь:

— Что... что... съ вами?

— Да ничего! — воскликнула она съ досадой, освобождаясь изъ его рукъ гибкимъ и сильнымъ движеніемъ корпуса.—Боже мой, какъ вы пугаетесь... а еще мужчина!

— Я испугался за васъ,—глухо сказалъ онъ, отступая въ уголъ.

Прикосновеніе къ ней точно обожгло ему руки и наполнило грудь его неукротимымъ огнемъ желанія обнять ее, обнять до боли крѣпко. Онъ терялъ самообладаніе, и ему хотѣлось сойти съ крыльца и стать подъ дождь, тамъ, гдѣ крупныя капли хлестали по деревьямъ, какъ бичи.

— Я иду въ комнаты,—сказалъ онъ.

— Идемте, — недовольно согласилась Варенька и, безшумно скользнувъ мимо него, вошла въ двери.

— Хо-хо-хо! — встрѣтилъ ихъ полковникъ. — Что? По распоряженію командующаго стихіями арестованы впредь до отмѣны приказа? Хо-хо-хо!

— Ужасный громъ,—совершенно серьезно сообщила тётя Лучицкая, пристально разсматривая блѣдное лицо гостя.

— Вотъ не люблю этихъ безумствъ въ природѣ! — говорила Елизавета Сергѣевна съ гримасой пренебреженія на холодномъ лицѣ. — Грозы, вьюги; — къ чему эта безполезная трата такой массы энергіи?

Ипполитъ Сергѣевичъ, подавляя свое волненіе, едва нашелъ въ себѣ силы спокойно спросить сестру:

— Какъ ты думаешь, надолго это?

— На всю ночь, — отвѣтила ему Маргарита Родіоновна.

— Пожалуй что, — подтвердила сестра.

— Ужъ вы отсюда не вырветесь! — со смѣхомъ заявила Варенька.

Полкановъ вздрогнулъ, чувствуя что-то фатальное въ ея смѣхѣ.

— Да, придется ночевать,—заявила Елизавета Сергѣевна. — Ночью мы не проѣдемъ Камовымъ перелѣскомъ, не изуродовавъ экипажа... въ счастливомъ случаѣ...

— Здѣсь достаточно комнатъ! — изрекла тётя Лучицкая.

— Тогда... я попросилъ бы... извините, пожалуйста!.. гроза дѣйствуетъ на меня отвратительно!.. Я бы желалъ знать... гдѣ я помѣщусь... пойти туда на нѣсколько минутъ.

Его слова, сказанныя глухимъ и прерывающимся голосомъ, произвели общій переполохъ.

— Нашатырный спиртъ!—октавой прогудѣла Маргарита Родіоновна и, вскочивъ съ мѣста, исчезла.

Варенька суетилась по комнатѣ съ изумленіемъ на лицѣ и говорила ему:

— Сейчасъ я покажу вамъ... отведу... тамъ тихо...

Елизавета Сергѣевна была спокойнѣе всѣхъ и, улыбаясь, спрашивала его:

— Закружилась голова?

А полковникъ хрипѣлъ:

— Ерунда! Пройдетъ. Мой товарищъ маіоръ Горталовъ, заколотый турками во время вылазки, былъ молодчина! О! На рѣдкость! Храбрый малый! Подъ Систовымъ лѣзъ на штыки впереди солдатъ такъ спокойно, точно танцами дирижировалъ: — билъ, рубилъ, оралъ,

сломалъ шашку, схватилъ какую-то дубину и бьетъ ею турокъ. Храбрецъ, какихъ не много! Но тоже въ грозу нервничалъ, какъ женщина... это было смѣшно! Вотъ такъ же, какъ вы, блѣднѣетъ, шатается, ахъ, охъ! Пьяница, жуиръ, двѣнадцать вершковъ,—вообразите, какъ это къ нему шло?

Ипполитъ Сергѣевичъ смотрѣлъ, слушалъ, извинялся, успокоивалъ всѣхъ и проклиналъ себя. У него дѣйствительно кружилась голова, и когда Маргарита Родіоновна сунула ему подъ носъ какой-то флаконъ и скомандовала:

— Нюхайте!—

онъ схватилъ спиртъ и началъ усердно втягивать ноздрями его ѣдкій запахъ, чувствуя, что вся эта сцена комична и унижаетъ его въ глазахъ Вареньки.

А въ окно гнѣвно барабанилъ дождь, заглядывали молніи, громъ заставлялъ стёкла испуганно дребезжать, и все это будило у полковника воспоминанія о шумѣ битвъ.

— Въ послѣднюю турецкую кампанію... не помню гдѣ... но вотъ такой же гвалтъ былъ. Гроза, ливень, молніи, пальба залпами изъ орудій, пѣхота бьетъ вразсыпную...поручикъ Вяхиревъ вынулъ бутылку коньяку, горлышко въ губы—буль-буль-буль! А пуля трахъ по бутылкѣ--вдребезги! Поручикъ смотритъ на горло бутылки въ своей рукѣ и говоритъ: чортъ возьми, они воюютъ съ бутылками! хо-хо-хо! А я ему: вы ошибаетесь, поручикъ, турки стрѣляютъ по бутылкамъ, а воюете съ бутылками—вы! Хо-хо-хо! Остроумно, а?

— Лучше вамъ? — спрашивала тётя Лучицкая у Ипполита Сергѣевича.

Онъ, стиснувъ зубы, благодарилъ ее, глядя на всѣхъ тоскливо-злыми глазами и замѣчая, что Варенька недовѣрчиво и удивленно улыбается подъ шопотъ его сестры, склонившейся къ ея уху. Наконецъ, ему удалось уйти отъ этихъ людей, и въ маленькой комнаткѣ, о-

веденной ему, онъ, подъ шумъ дождя, сталъ приводить въ порядокъ свои чувства.

Безсильный гнѣвъ на себя боролся въ немъ съ желаніемъ понять, какъ это случилось, что онъ утратилъ способность самообладанія,—неужели настолько глубоко въ немъ увлеченіе этой дѣвушкой? Но ему не удавалось остановиться на чемъ-либо одномъ и довести свою мысль до конца; въ немъ бушевалъ бѣшеный вихрь возмущеннаго чувства. Сначала онъ рѣшилъ сегодня объясниться съ ней и тотчасъ же откинулъ это рѣшеніе, вспоминая, что за нимъ стоитъ нежелательная ему обязанность вступить съ Варенькой въ опредѣленныя отношенія, а вѣдь невозможно же жениться на этомъ красивомъ уродѣ! Онъ обвинялъ себя въ томъ, что зашелъ такъ далеко въ своемъ увлеченіи ею и въ томъ, что недостаточно смѣлъ въ отношеніяхъ къ ней. Ему казалось, что она вполнѣ готова сдаться ему и что она холодно играетъ съ нимъ, играетъ, какъ кокетка. Онъ называлъ ее глупой, животной, безсердечной и возражалъ себѣ, оправдывая ее. А въ окно угрожающе стучалъ дождь и домъ весь вздрагивалъ отъ ударовъ грома.

Наконецъ ему удалось сжать себя въ тискахъ разсудочности, и всѣ его взволнованныя чувства, отхлынувъ куда-то глубоко въ его сердце, уступили мѣсто обидѣ на самого себя.

Дѣвушка, непоправимо испорченная уродливой средой, недоступная внушеніямъ здраваго смысла, непоколебимо твердая въ своихъ заблужденіяхъ,—эта странная дѣвушка въ теченіе какихъ-то трехъ мѣсяцевъ превратила его почти въ животное! И онъ чувствовалъ себя подавленнымъ позоромъ факта. Онъ сдѣлалъ не меньше того, сколько могъ сдѣлать, чтобъ очеловѣчить ее; если же у него не было возможности сдѣлать больше—не онъ виноватъ въ этомъ. Но, сдѣлавъ то, что могъ, онъ долженъ былъ уйти отъ нея, и онъ виновенъ

въ томъ, что своевременно не ушелъ, а позволилъ ей возбудить въ себѣ постыдный взрывъ чувственности.

— Человѣкъ менѣе порядочный, чѣмъ я, въ данномъ случаѣ былъ бы, пожалуй, умнѣе меня. Тутъ его больно кольнула одна неожиданная мысль:

— Порядочность ли удерживаетъ меня. Быть можетъ, только безсиліе чувства? Что, если не чувство, а похоть такъ волнуетъ меня? Могу ли я любить вообще... могу ли я быть мужемъ, отцомъ... есть ли во мнѣ то, что нужно для этихъ обязанностей? Живъ ли я?—Думая въ этомъ направленіи, онъ ощущалъ внутри себя холодъ и что-то пугливое, унижавшее его.

Вскорѣ его позвали ужинать.

Варенька встрѣтила его любопытнымъ взглядомъ и ласковымъ вопросомъ:—Прошла головка?

— Да, благодарю васъ...—сухо отвѣтилъ онъ, садясь вдали отъ нея и думая про-себя:

— Даже говорить не умѣетъ: „прошла головка"?

Полковникъ дремалъ, покачивая головой и иногда всхрапывая, дамы сидѣли всѣ три рядомъ на диванѣ и говорили о какихъ-то пустякахъ. Шумъ дождя за окнами сталъ тише, но этотъ негромкій настойчивый звукъ явно свидѣтельствовалъ о твердомъ рѣшеніи дождя обливать землю безконечно долго.

Въ окна смотрѣла тьма, въ комнатѣ было душно, и запахъ керосина отъ трехъ зажженныхъ лампъ, смѣшиваясь съ запахомъ полковника, увеличивалъ духоту и нервное настроеніе Ипполита Сергѣевича. Онъ смотрѣлъ на Вареньку и размышлялъ:

— Не подходитъ ко мнѣ... почему бы? Ужъ не сообщила ли ей Елизавета... что-нибудь глупое... сдѣлавъ выводъ изъ своихъ наблюденій за мной?

Въ столовой тяжело возилась дородная Ѳекла. Ея большіе глаза то и дѣло заглядывали въ гостиную на Ипполита Сергѣевича, молча курившаго папиросу.

— Барышня! Готово для ужина...—со вздохомъ за-

явила она, медленно вставивъ свою фигуру въ двери гостиной.

— Идемте ѣсть... Ипполитъ Сергѣевичъ, пожалуйста. Тётя, не надо тревожить папу, пусть останется тутъ и дремлетъ... а тамъ онъ снова будетъ пить.

— Это благоразумно... — замѣтила Елизавета Сергѣевна.

А тётя Лучицкая изрекла вполголоса и пожимая плечами:

— Теперь уже поздно все это... будетъ пить—скорѣе умретъ, зато больше получитъ удовольствія, не будетъ пить—проживетъ годомъ больше, но хуже.

— И это тоже благоразумно...—засмѣялась Елизавета Сергѣевна.

За столомъ Ипполитъ Сергѣевичъ сидѣлъ рядомъ съ Варенькой и подмѣчалъ за собой, что близость дѣвушки снова возбуждаетъ въ немъ смятеніе. Ему очень хотѣлось подвинуться къ ней такъ близко, чтобы можно было прикоснуться къ ея платью. И по обыкновенію, слѣдя за собой, онъ подумалъ, что въ его влеченіи къ ней есть много упрямства плоти, но нѣтъ силы духа...

— Вялое сердце!—съ горечью воскликнулъ онъ просебя. И вслѣдъ затѣмъ почти съ гордостью отмѣтилъ, что вотъ онъ не боится сказать правду о самомъ себѣ и умѣетъ понять каждое колебаніе своего „я“.

Занятый собой, онъ молчалъ.

Варенька сначала обращалась къ нему часто, но получая въ отвѣтъ слова сухія и односложныя, очевидно, утратила желаніе бесѣдовать съ нимъ. Лишь послѣ ужина, когда они случайно остались одинъ на одинъ, она просто спросила у него:

— Вы почему такой унылый? Вамъ скучно или вы недовольны мной?

Онъ отвѣтилъ, что не чувствуетъ ни унынія, ни, тѣмъ болѣе, недовольства ею.

— Такъ что же съ вами?—допрашивала она.

— Кажется, ничего особеннаго...—впрочемъ... иногда излишекъ вниманія къ человѣку утомляетъ его.

— Излишекъ вниманія? — заботливо переспросила Варенька.—Чьего же,—папина? Тётя вѣдь не говорила съ вами.

Онъ чувствовалъ, что краснѣетъ предъ этимъ неуязвимымъ простодушіемъ или безнадежной глупостью. А она, не дожидая его отвѣта, съ улыбкой предложила ему:

— Не будьте такимъ, а? Пожалуйста! Я ужасно не люблю хмурыхъ людей... Знаете что? Давайте играть въ карты... вы умѣете?

— Я плохо играю... и, признаюсь, не люблю этотъ видъ безполезной траты времени...—заявилъ Ипполитъ Сергѣевичъ, чувствуя, что примиряется съ ней.

— И я тоже не люблю... но что же дѣлать? Вы видите, какая у насъ скука! — огорченно заявила дѣвушка.—Я знаю, что вы стали такой именно оттого, что скучно.

Онъ началъ увѣрять ее въ противномъ и чѣмъ болѣе говорилъ, тѣмъ горячѣе у него становились слова, пока, наконецъ, онъ незамѣтно для себя не закончилъ:

— Если вы захотите, съ вами и въ пустынѣ не будетъ скучно...

— Что же я должна сдѣлать для этого?—подхватила она, и онъ видѣлъ, что ея желаніе развеселить его вполнѣ искренно.

— Ничего не должны вы дѣлать,—отвѣтилъ онъ, глубоко пряча въ себѣ то, что хотѣлъ бы отвѣтить.

— Нѣтъ, право,—вы пріѣхали сюда отдыхать, у васъ такъ много трудной работы, вамъ нужны силы, и передъ вашимъ пріѣздомъ мнѣ Лиза говорила: — вотъ мы съ тобой поможемъ ученому отдохнуть и развлечься... А мы... что я могу сдѣлать? Право... Я... если бъ отъ этого скука ушла... расцѣловала бы васъ!

У него помутилось въ глазахъ, и вся кровь такъ

бурно хлынула ему къ сердцу, что онъ даже пошатнулся.

— Попробуйте... поцѣлуйте... поцѣлуйте... — глухо говорилъ онъ, стоя передъ ней и не видя ея.

— Ого! Ишь вы какой!—засмѣялась Варенька, исчезая.

Онъ шагнулъ за ней и остановился, схватившись за косякъ двери, и все въ немъ рвалось за ней.

Черезъ нѣсколько секундъ онъ увидалъ полковника: — старикъ спалъ, склонивъ голову на плечо, и сладко всхрапывалъ. Этотъ звукъ и привлекъ вниманіе Ипполита Сергѣевича. Потомъ ему нужно было убѣдить себя въ томъ, что монотонное и жалобное стенаніе раздается не въ его груди, а за окнами, и что это плачетъ дождь, а не его обиженное сердце. Тогда въ немъ вспыхнула злоба.

— Ты играешь... ты такъ играешь?—твердилъ онъ про-себя, стиснувъ зубы, и грозилъ ей какой-то унизительной карой. Въ груди у него было жарко, а ноги и голову точно острыя льдинки кололи.

Весело смѣясь надъ чѣмъ-то, вошли дамы и, при видѣ ихъ, Ипполитъ Сергѣевичъ внутренно подтянулся. Тётя Лучицкая смѣялась такъ глухо, что, казалось, у нея въ груди лопаются какіе-то пузыри. Лицо Вареньки было оживлено плутоватой улыбкой, а смѣхъ Елизаветы Сергѣевны былъ снисходительно-сдержаннымъ.

— Быть можетъ, это они надо мной! — подумалъ Ипполитъ Сергѣевичъ.

Предложенная Варенькой игра въ карты не состоялась, и это дало возможность Ипполиту Сергѣевичу уйти въ свою комнату, извинившись недомоганіемъ. Уходя изъ гостиной, онъ чувствовалъ на своей спинѣ три взгляда и зналъ, что всѣ они выражаютъ недоумѣніе.

Теперь въ груди у него было что-то неустранимое и тяжелое и ему одновременно хотѣлось и не хотѣлось опредѣлить это странное, почти болѣзненное ощущеніе.

— Да будутъ прокляты безымянныя чувства!—восклицалъ онъ про себя.

А капли воды, падая откуда-то на полъ, монотонно отчеканивали:

— Такъ... такъ...

Просидѣвъ съ часъ въ состояніи борьбы съ самимъ собой, въ безуспѣшномъ стремленіи понять то, что оставалось непонятнымъ и было сильнѣе всего понятаго имъ, онъ рѣшилъ лечь и заснуть съ тѣмъ, чтобъ завтра уѣхать свободнымъ отъ всего, что такъ ломало и унижало его. Но лежа на постелѣ, онъ невольно представлялъ себѣ Вареньку такой, какъ видѣлъ ее на крыльцѣ, съ руками, поднятыми какъ бы для объятій, съ грудью, трепещущей отъ удовольствія при блескѣ молній. И снова думалъ о томъ, что если бъ онъ былъ смѣлѣе съ ней... и обрывалъ себя, доканчивая эту мысль такъ:— то навязалъ бы себѣ на шею безспорно очень красивую, но страшно неудобную, тяжелую, глупую любовницу, съ характеромъ дикой кошки и съ грубѣйшей чувственностью, это ужъ навѣрное!..

Но вдругъ среди этихъ думъ, озаренный одной догадкой или предчувствіемъ, онъ вздрогнулъ всѣмъ тѣломъ, быстро вскочилъ на ноги и, подбѣжавъ къ двери своей комнаты, отперъ ее. Потомъ, улыбаясь, снова легъ въ постель и сталъ смотрѣть на дверь, думая про-себя съ надеждой и восторгомъ:

— Это бываетъ... бываетъ...

Онъ читалъ гдѣ-то, какъ однажды это было: она вошла среди ночи и отдалась, ни о чемъ не спрашивая, ничего не требуя, просто для того, чтобы пережить моментъ. Варенька,—вѣдь въ ней есть что-то общее съ героиней разсказа,—она можетъ поступить такъ. Въ ея миломъ возгласѣ: „Ишь вы какой!“—можетъ быть, въ немъ звучало обѣщаніе, не разслышанное имъ? И вотъ— вдругъ она придетъ, въ бѣломъ, вся трепещущая отъ стыда и желанія!

Онъ нѣсколько разъ вставалъ съ постели, прислушиваясь къ тишинѣ въ домѣ, къ шуму дождя за окнами и охлаждая свое горячее тѣло. Но все было тихо и не раздавалось въ тишинѣ желаннаго звука осторожныхъ шаговъ.

— Какъ она войдетъ?—думалъ онъ и представлялъ ее себѣ на порогѣ двери съ лицомъ рѣшительнымъ и гордымъ.—Конечно, она гордо отдастъ ему свою красоту! Это подарокъ царицы. А можетъ быть, она остановится предъ нимъ съ опущенной головой, смущенная, стыдливая, со слезами на глазахъ. Или, вдругъ, явится со смѣхомъ, съ тихимъ смѣхомъ надъ его муками, которыя она знаетъ, всегда замѣчала, но не показывала ему, что замѣчаетъ, чтобы помучить его, потѣшить себя.

Въ этомъ состояніи, близкомъ къ бреду безумія, рисуя въ воображеніи сладострастныя картины и ими все болѣе раздражая себѣ нервы, Ипполитъ Сергѣевичъ не замѣчалъ, что дождь прекратился и въ окна его комнаты съ яснаго неба смотрѣли звѣзды. Онъ ждалъ звука шаговъ, шаговъ женщины, несущей ему наслажденіе. Но они не раздавались въ сонной тишинѣ. Порой, и только на краткій мигъ, надежда обнять дѣвушку гасла въ немъ; тогда онъ слышалъ въ учащенномъ біеніи своего сердца упрекъ себѣ и сознавалъ, что состояніе, переживаемое имъ, чуждо ему, позорно для него, болѣзненно и гадко. Но внутренній міръ человѣка слишкомъ сложенъ и разнообразенъ для того, чтобъ нѣчто одно всегда стойко удерживало въ равновѣсіи всѣ стремленія, а потому въ жизни каждаго есть пропасть, въ которую онъ непредотвратимо упадетъ, когда наступитъ время для этого. И осторожные, по горькой ироніи инстинкта, глубже падаютъ и больнѣе разбиваются.

До утра бредилъ онъ, мучимый страстью, и уже когда солнце взошло—шаги раздались. Онъ сѣлъ на

постели, дрожащій, съ воспаленными глазами и ждалъ, и чувствовалъ, что когда явится она—онъ не въ силахъ будетъ даже и одно слово благодарности сказать ей. А шаги приближались къ двери медленные, тяжелые...

И вотъ дверь тихо отворилась... Ипполитъ Сергѣевичъ безсильно откинулся на подушку и, закрывъ глаза, замеръ.

— Али я васъ разбудила? Сапоги мнѣ надо бы ваши... и брюки...—соннымъ голосомъ говорила толстая Ѳекла, медленно, какъ волъ, идя къ постели. Вздыхая, зѣвая и двигая мебель, она забрала его платье и ушла, оставивъ за собою запахъ кухни.

Онъ долго лежалъ, разбитый и уничтоженный, равнодушно отмѣчая въ себѣ медленное исчезновеніе осколковъ тѣхъ образовъ, которые всю ночь истязали его нервы.

Опять пришла баба съ вычищеннымъ платьемъ, положила его и ушла, тяжело вздохнувъ. Онъ сталъ одѣваться, не представляя себѣ, зачѣмъ это нужно такъ рано. Потомъ, не думая, онъ рѣшилъ пойти выкупаться къ рѣкѣ, и это нѣсколько оживило его. Осторожно ступая по полу, онъ прошелъ мимо комнаты, въ которой гудѣлъ храпъ полковника, потомъ еще мимо затворенной двери въ какую-то комнату. Онъ на мигъ остановился передъ ней, но, внимательно взглянувъ на нее, почувствовалъ, что это не та. И, наконецъ, въ полуснѣ, вышелъ въ садъ и пошелъ узкой дорожкой, зная, что она приведетъ его къ рѣкѣ.

Было свѣтло и свѣжо, лучи солнца еще не утратили розовыхъ красокъ восхода. Скворцы оживленно болтали другъ съ другомъ, ощипывая вишни. На листьяхъ дрожали капли дождя, какъ брилліанты; радостными, сверкающими слезами падая на землю, онѣ исчезали. Земля была сырая, но она поглотила всю влагу, упавшую за ночь, и нигдѣ не видно было ни грязи, ни лужъ.—Все

кругомъ было чисто, свѣжо и ново—точно все родилось въ эту ночь, и все было тихо и неподвижно, какъ будто еще не освоилось съ жизнью на землѣ и, первый разъ видя солнце, молча изумлялось его дивной красотѣ.

Ипполитъ Сергѣевичъ смотрѣлъ вокругъ себя, а пелена грязи, одѣвшая его умъ и душу за эту ночь, понемногу освобождала его, уступая чистому вѣянію новорожденнаго дня, полному сладкихъ и освѣжающихъ запаховъ.

Вотъ рѣка, еще розоватая и золотая въ лучахъ солнца. Вода, немного мутная отъ дождя, слабо отражаетъ прибрежную зелень въ своихъ волнахъ. Гдѣ-то близко плещется рыба, и этотъ плескъ, да пѣніе птицъ — всѣ звуки, нарушающіе тишину утра. Если бъ не было сыро, можно бы лечь на землю, здѣсь у рѣки, подъ навѣсомъ зелени, и лежать, пока душа не успокоится отъ пережитыхъ волненій.

Ипполитъ Сергѣевичъ шелъ по берегу, причудливо изрѣзанному песчаными мысами и маленькими заливами, окруженными зеленью, и почти каждые пять шаговъ открывали предъ нимъ новую картину. Безшумно шагая около самой воды, онъ такъ и зналъ, что впереди его ждетъ все новое и новое. И онъ подробно разсматривалъ очертанія каждаго залива и фигуры деревьевъ, склоненныхъ надъ нимъ, точно желая твердо знать, чѣмъ именно разнится эта деталь картины отъ той, что осталась сзади его.

И вдругъ, ослѣпленный, онъ остановился.

Предъ нимъ, по поясъ въ водѣ, стояла Варенька, наклонивъ голову и выжимая руками мокрые волосы. Ея тѣло было розовое отъ холода и лучей солнца, на немъ блестѣли капли воды, какъ серебряная чешуя. Онѣ, медленно стекая по ея плѣчамъ и груди, падали въ воду, и передъ тѣмъ какъ упасть, каждая капля долго блестѣла на солнцѣ, какъ будто ей не хотѣлось разстаться съ тѣломъ, омытымъ ею. И изъ волосъ ея

лилась вода, проходя между розовыхъ пальцевъ дѣвушки, лилась съ нѣжнымъ ласкающимъ ухо звукомъ.

Онъ смотрѣлъ съ восторгомъ, съ благоговѣніемъ, какъ на что-то святое—такъ чиста и гармонична была красота этой дѣвушки, цвѣтущей силой юности, и онъ не чувствовалъ иныхъ желаній, кромѣ желанія смотрѣть на нее. Надъ головой его на вѣткѣ орѣшника пѣлъ и рыдалъ соловей, но для него весь свѣтъ солнца и всѣ звуки были въ этой дѣвушкѣ среди волнъ. И волны тихо гладили ея тѣло, безшумно и ласково обходя его въ своемъ мирномъ теченіи.

Но хорошее такъ же кратко, какъ рѣдко красивое, и то, что видѣлъ онъ—онъ видѣлъ нѣсколько секундъ ибо дѣвушка вдругъ подняла голову и съ гнѣвнымъ крикомъ быстро опустилась въ воду по шею.

Это ея движеніе отразилось въ его сердцѣ—оно тоже, вздрогнувъ, какъ бы упало въ холодъ, стѣснившій его. Дѣвушка смотрѣла на него сверкающими глазами, а ея лобъ разрѣзала злая складка, исказившая лицо испугомъ, презрѣніемъ и гнѣвомъ. Онъ слышалъ ея негодующій голосъ:

— Прочь... идите прочь! Что вы? Какъ не стыдно!...

Ея слова долетали до него откуда-то издалека, неясныя, ничего не запрещавшія ему. И онъ наклонялся къ водѣ, простирая впередъ руки, едва держась на ногахъ, дрожавшихъ отъ усилія сдержать его неестественно-изогнутое тѣло, горѣвшее въ пыткѣ страсти. Весь онъ, каждымъ фибромъ своего существа, стремился къ ней, и вотъ, наконецъ, онъ упалъ на колѣни, почти коснувшись ими воды.

Она гнѣвно вскрикнула, сдѣлала движеніе, чтобы плыть, но остановилась, глухо и тревожно говоря:

— Уходите!..

— Я не могу...—хотѣлъ онъ отвѣтить, но его дрожащія губы не выговорили этихъ словъ, ибо не имѣли силы сказать что-либо.

— Берегись... ты! Прочь иди!—крикнула дѣвушка.— Подлый! Низкій...

Что ему были эти крики? Онъ смотрѣлъ ей въ глаза своими сухо горящими глазами и, стоя на колѣняхъ, ждалъ ее. И ждалъ бы, если бъ зналъ, что надъ его головой нѣкто замахнулся топоромъ, чтобы разбить ему черепъ.

— О! ты... гадкій песъ... ну, я тебя... — съ отвращеніемъ прошептала дѣвушка и вдругъ бросилась изъ воды къ нему.

Она росла на его глазахъ, росла, сверкая своей красотой, — вотъ вся она до пальцевъ ногъ предъ нимъ, прекрасная и гнѣвная; онъ видѣлъ это и ждалъ ее съ жаднымъ трепетомъ. Вотъ она наклонилась къ нему... онъ взмахнулъ руками, но обнялъ воздухъ.

И въ то же время ударъ по лицу чѣмъ-то мокрымъ и тяжелымъ ослѣпилъ его и покачнулъ назадъ.

Онъ быстро сталъ протирать глаза—мокрый песокъ и грязь были подъ его пальцами, а на его голову, плечи, щёки сыпались удары. Но удары—не боль, а что-то другое будили въ немъ, и, закрывая голову руками, онъ дѣлалъ это скорѣе машинально, чѣмъ сознательно. Онъ слышалъ злыя рыданія... Наконецъ, опрокинутый сильнымъ ударомъ въ грудь, онъ упалъ на спину. Его не били больше. Раздался шорохъ кустовъ и замеръ...

Невѣроятно длинны были секунды угрюмаго молчанія, наступившаго послѣ того, какъ замеръ этотъ звукъ. Человѣкъ все лежалъ вверхъ лицомъ неподвижный, раздавленный своимъ позоромъ и, полный инстинктивнаго стремленія спрятаться отъ стыда, жался къ землѣ. Открывая глаза, онъ увидѣлъ голубое небо, безконечно-глубокое, и ему казалось, что оно быстро уходитъ отъ него выше, выше...

...Такъ пролежалъ онъ до поры, пока ему не стало холодно; когда онъ открылъ глаза, то увидалъ Вареньку,

наклонившуюся надъ нимъ. Сквозь ея пальцы на лицо ему струилась вода. Онъ слышалъ ея голосъ:

— ...Что,—хорошо?... Какъ вы придете въ домъ такой?... весь скверный, грязный, мокрый, оборванный... Эхъ, вы!... Скажите хоть, что въ воду съ берега сорвались... Не стыдно ли?.. Вѣдь я могла бы убить... если бъ въ руки попало что другое.

И еще много она говорила ему, но все это нисколько не уменьшало и не увеличивало того, что онъ чувствовалъ. И онъ ничего не отвѣчалъ на ея слова до поры, пока она не сказала ему, что уходитъ. Тогда онъ тихонько спросилъ:

— Вы... больше... я не увижу васъ?

И когда спросилъ это, то вспомнилъ и понялъ, что ему нужно было сказать ей:

— Простите меня...

Но онъ не успѣлъ сказать этого, потому что она, махнувъ рукой на него, быстро скрылась за деревьями.

Онъ сидѣлъ, прислонясь спиною къ стволу дерева или къ чему-то другому, и тупо смотрѣлъ, какъ у ногъ его текла мутная вода рѣки.

А она текла медленно... медленно... медленно...



ТОВАРИЩИ.

(1897)

I.

Горячее солнце іюля ослѣпительно блестѣло надъ Смолкиной, обливая ея старыя избы щедрымъ потокомъ яркихъ лучей. Особенно много солнца было на крышѣ старостиной избы, недавно перекрытой заново гладко выстроганнымъ тёсомъ, желтымъ и пахучимъ. Было воскресенье, и почти все населеніе деревни вышло на улицу, густо поросшую травой и усѣянную кочками засохшей грязи. Передъ старостиной избой собралась большая группа мужиковъ и бабъ: иные сидѣли на завалинѣ избы, иные прямо на землѣ, другіе стояли; среди нихъ гонялись другъ за другомъ ребятишки, то и дѣло получая отъ взрослыхъ сердитые окрики и щелчки.

Центромъ толпы служилъ высокій человѣкъ съ большими, опущенными внизъ усами. По его коричневому лицу, покрытому густой сивой щетиной и сѣтью глубокихъ морщинъ, по сѣдымъ клочьямъ волосъ, выбившимся изъ-подъ грязной соломенной шляпы,—этому человѣку можно было дать лѣтъ пятьдесятъ. Онъ смотрѣлъ въ землю, и ноздри его большого, хрящеватаго носа вздрагивали, а когда онъ поднималъ голову, бросая взглядъ на окна старостиной избы, видны были его глаза большіе, печальные, даже мрачные,—они глу-

боко ввалились въ орбиты, а густыя брови кидали отъ себя тѣнь на темные зрачки. Одѣтъ онъ былъ въ коричневый, рваный подрясникъ монастырскаго послушника, едва закрывавшій ему колѣни и подпоясанный веревкой. За спиной у него была котомка, въ правой рукѣ длинная палка съ желѣзнымъ наконечникомъ, лѣвую онъ держалъ за пазухой. Окружавшіе осматривали его подозрительно, насмѣшливо, съ презрѣніемъ и, наконецъ, съ явной радостью, что имъ удалось поймать волка раньше, чѣмъ онъ успѣлъ нанести вредъ ихъ стаду. Онъ проходилъ черезъ деревню и, подойдя къ окну старосты, попросилъ напиться. Староста далъ ему квасу и заговорилъ съ нимъ. Но прохожій отвѣчалъ, противъ обыкновенія странниковъ, очень неохотно. Староста спросилъ у него документъ, а документа не оказалось. И прохожаго задержали, рѣшивъ отправить въ волость. Староста выбралъ въ конвоиры ему сотскаго и теперь, въ избѣ у себя, напутствовалъ его, оставивъ арестанта среди толпы, потѣшающейся надъ нимъ.

Арестантъ, какъ былъ остановленъ у ствола ветлы, такъ и стоялъ, прислонясь къ нему своей сутулой спиной.

Но вотъ на крыльцѣ избы явился подслѣповатый старикъ съ лисьимъ лицомъ и сѣдой, клинообразной бородкой. Онъ степенно опускалъ ноги въ сапогахъ со ступени на ступень, и круглый его животикъ солидно колыхался подъ длинной ситцевой рубахой. А изъ-за его плеча высовывалось бородатое четырехугольное лицо сотскаго.

— Понялъ, Ефимушка? — спросилъ староста у сотскаго.

— Чего тутъ не понять? Все понялъ. Обязанъ, значитъ, я проводить этого человѣка къ становому и — больше никакихъ! — проговоривъ свою рѣчь раздѣльно и съ комической важностью, сотскій подмигнулъ публикѣ.

— А бумага?

— А бумага—она за пазухой у меня живетъ.

— Ну то-то!—вразумительно сказалъ староста и добавилъ, крѣпко почесавъ себѣ бокъ:

— Съ Богомъ, значитъ, айдате!

— Пошли! Шагаемъ что ли, отче?—улыбнулся сотскій арестанту.

— Вы бы хоть подводу дали,—глухо отвѣтилъ тотъ на предложеніе сотскаго. Староста ухмыльнулся.

— Подво-оду? Ишь ты! Вашего брата, проходимца, много тутъ шныряетъ по полямъ, по деревнямъ... лошадей про всѣхъ не хватитъ. Прошагаешь и пѣхтурой, Такъ-то!

— Ничего, отецъ, идемъ!—ободряюще заговорилъ сотскій.—Ты думаешь далече намъ? Дай Богъ, два десятка верстъ! Да, поди-ка, не будетъ. Мы съ тобой, отче, живо докатимъ. А тамъ ты и отдохнешь...

— Въ холодной,—пояснилъ староста.

— Это ничего,—торопливо заявилъ сотскій...—человѣку, который ежели усталъ, и въ тюрьмѣ отдыхъ. А потомъ—холодная-то—она прохладная... послѣ жаркаго дня—въ ней куда хорошо!

Арестантъ сурово оглянулъ своего конвоира—тотъ улыбался весело и открыто

— Ну-ка, айда, отецъ честной! Прощай, Василь Гаврилычъ! Пошли!

— Съ Господомъ, Ефимушка!.. Смотри въ оба.

— А зри—въ три!—подкинулъ сотскому какой-то молодой парень изъ толпы.

— Н-ну! Малый я ребенокъ, али что?

И они пошли, держась близко къ избамъ, чтобы идти по полосѣ тѣни. Человѣкъ въ рясѣ шелъ впереди, развинченной, но скорой походкой привычнаго къ ходьбѣ существа. Сотскій, со здоровой палкой въ рукѣ, шелъ сзади его.

Ефимушка былъ мужичокъ низенькаго роста, коре-

настый, съ широкимъ добрымъ лицомъ въ рамѣ русой свалявшейся въ клочья бороды, начинавшейся отъ его сѣрыхъ, ясныхъ глазъ. Онъ всегда почти улыбался чему-то, показывая здоровые желтые зубы и такъ наморщивая переносье—точно онъ хотѣлъ чихать. Одѣтъ онъ былъ въ азямъ, заткнувъ его полы за поясъ, чтобъ онѣ не путались въ ногахъ, на головѣ у него торчалъ темнозеленый картузъ безъ козырька, напоминая арестантскую фуражку.

Его спутникъ шелъ, какъ бы совсѣмъ не чувствуя его сзади себя. Шли они по узкой проселочной дорогѣ; она вьюномъ вилась въ волнистомъ морѣ ржи, и тѣни путниковъ ползли по золоту колосьевъ.

На горизонтѣ синѣла грива лѣса, влѣво, безконечно далеко вглубь, разстилались засѣянныя поля; среди нихъ лежало темное пятно деревни, за ней опять поля, тонувшія въ голубоватой мглѣ.

Справа, изъ-за купы ветелъ, вонзился въ синее небо обитый жестью и еще не выкрашенный шпиль колокольни—онъ такъ ярко блестѣлъ на солнцѣ, что на него было больно смотрѣть.

Въ небѣ звенѣли жаворонки, во ржи улыбались васильки и было жарко—почти душно. Изъ-подъ ногъ путниковъ взлетала пыль.

Ефимушка, отхаркнувшись, затянулъ фальцетомъ:

Ге-эхъ-да-и съ чего й-то-о-о..

Д' и съ чего й-то тоска сердце мое ѣстъ?

— Не хватаитъ голосу-то, дуй его горой! Н-да... а бывало пѣлъ я... Вишенскій учитель скажетъ — ну-ка, Ефимушка, заводи! И зальемся мы съ нимъ! Правильный парень былъ онъ...

— Кто онъ? — глухимъ басомъ спросилъ человѣкъ въ рясѣ.

— А вишенскій учитель...

— Вишенскій—фамилія?

— Вишенки—это, братъ, село. А то учитель Павлъ

Михалычъ. Первый сортъ—человѣкъ былъ. Померъ въ третьемъ году...

— Молодой?

— Тридцати годовъ не было...

— Съ чего померъ-то?

— Съ огорченія, надо полагать.

Собесѣдникъ Ефимушки искоса взглянулъ на него и усмѣхнулся...

— Дѣло, видишь-ты, милый человѣкъ, такое вышло— училъ онъ, училъ годовъ семь кряду, ну и началъ кашлять. Кашлялъ, кашлялъ, да и затосковалъ... Ну, а съ тоски, извѣстно, началъ пить водку. А отецъ Алексѣй не любилъ его, и какъ запилъ онъ, отецъ-отъ Алексѣй въ городъ бумагу и спосылалъ — такъ, молъ, и такъ — пьетъ учитель-то, дескать это соблазнъ. А изъ города въ отвѣтъ тоже бумагу прислали и учительшу. Длинная такая, костлявая, носъ большущій. Ну, Павлъ Михалычъ видитъ—дѣло швахъ. Огорчился, дескать, училъ я, училъ... ахъ вы, черти! Отправился изъ училища прямо въ больницу да черезъ пять дёнъ и отдалъ душу Богу... Только и всего...

Нѣкоторое время шли молча. Лѣсъ все приближался къ путникамъ съ каждымъ шагомъ, выростая на ихъ глазахъ и изъ синяго становясь зеленымъ.

— Лѣсомъ пойдемъ? — спросилъ Ефимушкинъ спутникъ.

— Краюшекъ захватимъ, съ полверсты этакъ. А что? А? Ишь ты! Гусь ты, отецъ честной, погляжу я на тебя!

И Ефимушка засмѣялся, качая головой...

— Ты чего?—спросилъ арестантъ.

— Да такъ, ничего. Ахъ ты! Лѣсомъ, говоритъ, пойдемъ? Простъ ты, милый человѣкъ, другой бы не спросилъ, который поумнѣе ежели. Тотъ бы прямо пришелъ въ лѣсъ да и того...

— Чего?

— Ничего! Я, братъ, тебя насквозь вижу. Эхъ ты, душа ты моя, тонка дудочка! Нѣтъ,—ты эту думу—насчетъ лѣсу — брось! Али ты со мной сладишь? Да я троихъ такихъ уберу, а на тебя на одну лѣвую руку выйду... *) Понялъ?

— Понялъ! Дуракъ ты! — кротко и выразительно сказалъ арестантъ.

— Что? Угадалъ я тебя? — торжествовалъ Ефимушка.

— Чучело! Чего ты угадалъ? — криво усмѣхнулся арестантъ.

— Насчетъ лѣсу... Понимаю я! Дескать, я—это ты-то,—какъ придемъ въ лѣсъ, тяпну тамъ его—меня-то, значитъ, — тяпну, да и зальюсь по полямъ, да по лѣсамъ? Такъ ли?

— Глупый ты...—пожалъ плечами угаданный человѣкъ.—Ну куда я пойду?

— Ну ужъ, куда хочешь,—это твое дѣло...

— Да куда? — Ефимушкинъ спутникъ не то сердился, не то очень ужъ желалъ услышать отъ своего конвоира указаніе, куда именно онъ могъ бы идти.

— Я-тѣ говорю, куда хочешь! — спокойно заявилъ Ефимушка.

— Некуда мнѣ, братъ, бѣжать, некуда! — тихо сказалъ его спутникъ.

— Н-ну!—недовѣрчиво произнесъ конвоиръ и даже махнулъ рукой. — Бѣжать всегда есть куда. Земля-то, она велика. Одному человѣку на ней всегда мѣсто будетъ.

— Да тебѣ что? Хочется что ли, чтобъ я убѣжалъ?—полюбопытствовалъ арестантъ, усмѣхаясь.

— Ишь ты! Больно ты хорошъ! Развѣ это порядокъ?

---

*) „Выйти на одну руку“ — значитъ драться съ противникомъ одной рукой, въ то время какъ другая плотно привязана кушакомъ къ туловищу бойца. Противникъ же дѣйствуетъ обѣими руками.

Ты убѣжишь, а замѣсто тебя кого въ острогъ сажать будутъ? Меня тогда посадятъ. Нѣтъ, я такъ это, для разговору...

— Блаженный ты... а впрочемъ кажется хорошій мужикъ,—сказалъ вздохнувъ Ефимушкинъ спутникъ. Ефимушка не замедлилъ согласиться съ нимъ.

— Это точно, называютъ меня блаженнымъ нѣкоторые люди... и что хорошій я мужикъ—это тоже вѣрно. Простой я, главная причина. Иные люди говорятъ все съ подходцемъ да съ хитрецой, а мнѣ чего? Я человѣкъ одинъ на свѣтѣ. Хитровать будешь — умрешь и правдой жить будешь—умрешь. Такъ я все напрямки больше.

— Это ты хорошо!—равнодушно замѣтилъ спутникъ Ефимушки.

— А какъ же? Для че я стану кривить душой, коли я одинъ, весь тутъ. Я, братокъ, свободный человѣкъ. Какъ желаю, такъ и живу, по своему закону прохожу жизнь... Н-да... А тебя какъ звать-то?

— Какъ? Ну... хоть Иванъ Ивановъ...

— Такъ! Изъ духовныхъ, что ли?

— Н-нѣтъ...

— Ну? А я думалъ—изъ духовныхъ...

— Это по одеждѣ-то, что ли?

— Вотъ, вотъ! Совсѣмъ ты вродѣ какъ бы бѣглый монахъ, а то разстриженный попъ... А вотъ лицо у тебя не подходящее, съ лица ты вродѣ какъ бы солдатъ... Богъ тебя знаетъ, что ты за человѣкъ?—И Ефимушка окинулъ странника любопытнымъ взглядомъ. Тотъ вздохнулъ, поправилъ шляпу на головѣ, вытеръ потный лобъ и спросилъ сотскаго:

— Табакъ куришь?

— Ахъ ты, сдѣлай милость! Конечно, курю!

Онъ вытащилъ изъ-за пазухи засаленный кисетъ и, наклонивъ голову, но не останавливаясь, сталъ набивать табакъ въ глиняную трубку.

— На-ко, закуривай!—Арестантъ остановился и, наклонясь къ зажженной конвоиромъ спичкѣ, втянулъ въ себя щёки. Синій дымокъ поплылъ въ воздухѣ.

— Такъ изъ какихъ ты будешь-то? Мѣщанинъ, что ли?

— Дворянинъ...—кратко сказалъ арестантъ и сплюнулъ въ сторону на колосья хлѣба, уже подернутые золотымъ блескомъ.

— Э-э! Ловко! Какъ же это ты безъ пачпорта гуляешь?

— А такъ и гуляю.

— Ну-ну! Дѣла! Не свычна, чай, этакая волчья жизнь для твоего дворянства? Э-эхъ ты горюнъ!

— Ну ладно ужъ... будетъ болтать-то,—сухо сказалъ горюнъ.

Но Ефимушка съ возрастающимъ любопытствомъ и участіемъ оглядывалъ безпаспортнаго человѣка и, задумчиво качая головой, продолжалъ:

— А-яй! Какъ судьба съ человѣкомъ-то играетъ, ежели подумать! Вѣдь оно, пожалуй, и вѣрно, что ты изъ дворянъ, потому осанка у тебя этакая великолѣпная. Давно ты живешь въ такомъ образѣ?

Человѣкъ съ великолѣпной осанкой сумрачно взглянулъ на Ефимушку и отмахнулся отъ него рукой, какъ отъ назойливой осы.

— Брось, говорю! Что ты присталъ, какъ баба?

— А ты не сердись! — успокоительно проговорилъ Ефимушка.—Я по чистому сердцу говорю... сердце у меня доброе очень...

— Ну и твое счастье... А вотъ, что языкъ у тебя безъ умолку мелетъ—это мое несчастье.

— Ну инъ ладно! Я коли и помолчу... можно и помолчать, ежели человѣкъ не хочетъ слушать твоего разговору. А сердишься ты все-таки безъ причины... Али моя вина, что тебѣ на бродяжьемъ положеніи пришлось жить?

Арестантъ остановился и такъ сжалъ зубы, что его скулы выдались двумя острыми углами, а сѣдая щетина на нихъ встала ершомъ. Онъ смѣрилъ Ефимушку съ ногъ до головы загорѣвшимися злобой и прищуренными глазами.

Но раньше, чѣмъ Ефимушка замѣтилъ эту мимику, онъ снова началъ мѣрять землю широкими шагами.

На лицо болтливаго сотскаго легъ отпечатокъ разсѣянной задумчивости. Онъ посматривалъ вверхъ, откуда лились трели жаворонковъ, и подсвистывалъ имъ сквозь зубы, помахивая палкой въ тактъ своихъ шаговъ.

Подходили къ опушкѣ лѣса. Онъ стоялъ неподвижной и темной стѣной—ни звука не неслось изъ него навстрѣчу путникамъ. Солнце уже садилось, и его косые лучи окрасили вершины деревьевъ въ пурпуръ и золото. Отъ деревьевъ вѣяло пахучей сыростью; сумракъ и сосредоточенное молчаніе, наполнявшіе лѣсъ, рождали жуткое чувство.

Когда лѣсъ стоитъ предъ глазами теменъ и неподвиженъ, когда весь онъ погруженъ въ таинственную тишину, и каждое дерево точно чутко прислушивается къ чему-то,—тогда кажется, что весь лѣсъ полонъ чѣмъ-то живымъ и лишь временно притаившимся. И ждешь, что въ слѣдующій моментъ вдругъ выйдетъ изъ него нѣчто громадное и непонятное человѣческому уму, выйдетъ и заговоритъ могучимъ голосомъ о великихъ тайнахъ творчества природы...

II.

Подойдя къ опушкѣ лѣса, Ефимушка и его спутникъ рѣшили отдохнуть и усѣлись на траву около широкаго дубоваго пня. Арестантъ медленно стащилъ съ плечъ котомку и равнодушно спросилъ сотскаго:

— Хлѣба хочешь?

— Дашь, такъ пожую,—отвѣтилъ Ефимушка, улыбаясь.

И вотъ они молча стали жевать хлѣбъ. Ефимушка ѣлъ медленно и все вздыхалъ, посматривая куда-то въ поле, влѣво отъ себя, а его спутникъ весь углубился въ процессъ насыщенія, ѣлъ скоро и звучно чавкалъ, измѣряя глазами свою краюху хлѣба. Поле темнѣло, хлѣба уже потеряли свой золотистый колоритъ и стали розовато-желтыми; съ юго-запада на небо всползали лохматыя тучки, отъ нихъ на поле падали тѣни,—падали и ползали по колосьямъ къ лѣсу, гдѣ сидѣли двѣ темныя человѣческія фигуры. И отъ деревьевъ тоже ложились на землю тѣни, а отъ тѣней вѣяло на душу грустью.

— Слава Тебѣ, Господи!—возгласилъ Ефимушка, собравъ съ полы азяма крошки хлѣба и слизавъ ихъ съ ладони языкомъ.—Господь напиталъ—никто не видалъ, а кто и видѣлъ, такъ не обидѣлъ! Другъ! Посидимъ здѣсь часокъ? Успѣемъ въ холодную-то?

Другъ кивнулъ головой.

— Ну вотъ... Мѣсто больно хорошее, памятное мнѣ мѣсто... Вонъ тамъ, влѣво, господъ Тучковыхъ усадьба была...

— Гдѣ?—быстро спросилъ арестантъ, оборачиваясь туда, куда Ефимушка махнулъ рукой...

— А эвона—за тѣмъ мыскомъ. Тутъ все вокругъ ихнее было. Богатѣйшіе господа были, но послѣ воли свихнулись... Я тоже ихній былъ,—мы всѣ тутъ бывшіе ихніе. Большая семья была... Полковникъ самъ-то—Александръ Никитичъ Тучковъ. Дѣти были: четверо сыновей—куда всѣ теперь подѣвались? Словно вѣтромъ разнесло людей, какъ листья по осени. Одинъ только Иванъ Александровичъ цѣлъ,—вотъ я тебя къ нему и веду, онъ у насъ становымъ-то... Старый ужъ...

Арестантъ засмѣялся. Смѣялся онъ глухо, какимъ-то особеннымъ внутреннимъ смѣхомъ,—грудь и животъ

у него колыхались, но лицо оставалось неподвижнымъ, только сквозь оскаленные зубы вырывались глухіе, точно лающіе звуки.

Ефимушка боязливо поёжился и, подвинувъ свою палку поближе къ рукѣ, спросилъ у него:

— Чего это ты? Находитъ на тебя что ли?... ась?

— Ничего... это такъ, пройдетъ,—сказалъ арестантъ отрывисто, но ласково.—Разсказывай знай...

— Н-да... Такъ вотъ, значитъ, какія дѣла, — были это господа Тучковы, и нѣту ихъ... Которые померли, а которые пропали, такъ ни слуху, ни духу о нихъ и нѣту. Особливо одинъ тутъ былъ... самый меньшой. Викторомъ звали... Витей. Товарищи мы съ нимъ были... Въ ту пору, какъ волю объявили, было намъ съ нимъ лѣтъ по четырнадцати... Экій мальчикъ былъ, помяни Господи добромъ его душеньку! Ручей чистый! Такъ вотъ весь день и стремится, такъ это и журчитъ... Гдѣ-то онъ теперь? Живъ или ужъ нѣтъ?

— Чѣмъ больно хорошъ былъ?—тихо спросилъ Ефимушку его спутникъ.

— Всѣмъ!—воскликнулъ Ефимушка.—Красотой, разумомъ, добрымъ сердцемъ... Ахъ ты странній человѣкъ, душа ты моя, спѣла ягода! Посмотрѣлъ бы ты тогда на насъ двоихъ... ай, ай, ай! Въ какія игры мы играли, какая развеселая жизнь была,—люли малина! Бывало крикнетъ—Ефимка!—Идемъ на охоту! Ружье у него было, — отецъ подарилъ въ именины, — и мнѣ бывало стащитъ ружье. И закатимся мы это въ лѣса, да дня на два, на три! Придемъ домой — ему проборка, мнѣ порка; глядишь, на другой день снова: — Ефимка — по грибы!—Птицы мы съ нимъ погубили—тысячи! Грибовъ этихъ собирали—пуды! Бабочекъ, жуковъ онъ ловилъ, бывало, и въ коробки ихъ, на булавки насаживалъ... Занятно! Грамотѣ меня училъ... Ефимка, говоритъ, я тебя учить буду. Валяйте! Ну и началъ... Говори, говоритъ—а! Я ору—а-а! Смѣхи! Сначала-то мнѣ въ шутку

это дѣло было—на што она, грамота-то, крестьянину?... Ну, онъ меня увѣщеваетъ: „на то, говоритъ, тебѣ, дураку, и воля дана, чтобы ты учился... Будешь, говоритъ, грамотѣ знать,—узнаешь, какъ жить надо и гдѣ правду искать“... Извѣстно, малое дитя — переимчиво, наслушался видно у старшихъ этакихъ рѣчей и самъ началъ тоже говорить... Пустое, конечно, все... Въ сердцѣ она, грамота-то, сердце и насчетъ правды укажетъ... Оно—глазастое... Такъ вотъ, учитъ онъ меня... такъ присосался къ этому дѣлу,—дохнуть мнѣ не даетъ! Маята! Я—молить! Витя, говорю, мнѣ грамота не въ моготу, не могу, говорю, я ее одолѣть... Такъ онъ на меня ка-акъ рявкнетъ! Папиной нагайкой запорю — учись! Ахъ ты, сдѣлай милость! Учусь... Разъ сбѣжалъ съ урока, прямо вскочилъ да и драла! Такъ онъ меня съ ружьемъ искалъ весь день — застрѣлить хотѣлъ. Послѣ говоритъ мнѣ, — кабы, говоритъ, встрѣтилъ я тебя въ тотъ день — застрѣлилъ бы, говоритъ! Вотъ какой былъ рѣзкій! Непреклонный, огневой—настоящій баринъ... Любилъ онъ меня; пламенная душа... Разъ мнѣ тятька спину вожжами расписалъ, а какъ онъ, Витя-то, увидалъ это, пришедши къ намъ въ избу, — батюшки мои—что вышло! поблѣднѣлъ весь, затрясся, сжалъ кулаки и къ тятенькѣ на полати лѣзетъ. Это, говоритъ, ты какъ смѣлъ? Тятька говоритъ—я-де отецъ! Ага! Ну хорошо, отецъ, одинъ я съ тобой не слажу, а спина у тебя будетъ такая же, какъ у Ефимки. Заплакалъ послѣ этихъ словъ и убѣгъ... И что жъ ты скажешь, отче? Исполнилъ, вѣдь, свое слово. Дворню, видно, подговорилъ, что ли, только однажды тятенька пришелъ домой, кряхтитъ; сталъ-было рубашку снимать, анъ она присохла къ спинѣ-то у него... Разсердился на меня отецъ въ ту пору—изъ-за тебя, говоритъ, терплю, барскій ты прихвостень. И здоровенную задалъ мнѣ теребачку... Ну, а насчетъ барскаго прихвостня это онъ напрасно,—я такимъ не былъ...

— Вѣрно, Ефимъ, не былъ!—утвердительно сказалъ арестантъ и весь вздрогнулъ,—это видно и сейчасъ, не могъ ты быть барскимъ прихвостнемъ, — какъ-то торопливо добавилъ онъ.

— То-то и оно!—воскликнулъ Ефимушка. — Просто я любилъ его, Витю-то... Такой это таланный ребенокъ былъ, всѣ его любили—не одинъ я... Бывало рѣчи онъ говоритъ разныя... не помню я ихъ, тридцать годовъ слишкомъ прошло съ той поры... Ахъ, Господи! Гдѣ-то онъ теперь? Чай, коли живъ, то высокое мѣсто занимаетъ или... въ самомъ омутѣ кипитъ... Жизнь людская растаковская! Кипитъ она, кипитъ, а все ничего путнаго не сварится... А люди пропадаютъ... и жалко людей, даже до смерти жалко! — Ефимушка, тяжело вздохнувъ, поникъ головой на грудь... Съ минуту длилось молчаніе.

— А меня тебѣ жалко?—весело спросилъ арестантъ и все лицо у него было освѣщено такой хорошей, доброй улыбкой...

— Да вѣдь чудакъ-человѣкъ! — воскликнулъ Ефимушка,—какъ же тебя не жалѣть? Что ты такое, ежели подумать? Коли ты бродишь, такъ, видно, нѣтъ у тебя ничего своего на землѣ-то, ни угла, ни щепочки... А можетъ еще и великъ грѣхъ ты носишь съ собой— кто тебя знаетъ? Горюнъ ты—одно слово...

— Такъ,—сказалъ арестантъ...

И они снова замолчали. Солнце уже сѣло, и тѣни стали гуще. Въ воздухѣ пахло влажной землей, цвѣтами и лѣсной плѣсенью... Долго сидѣли молча.

— А какъ тутъ ни хорошо — все-таки надо идти... Намъ еще верстъ восемь осталось... Айда-ка, отче, подымайся!

— Посидимъ еще немного,—попросилъ отче...

— Да я ничего, я самъ люблю ночью около лѣса быть... Только когда жъ мы придемъ въ волость-то? Заругаютъ меня—поздно-де.

— Ничего, не заругаютъ...

— Развѣ ты словечко замолвишь, — усмѣхнулся сотскій.

— Могу.

— Ой ли?

— А что?

— Шутникъ ты! Онъ тѣ, становой-то, задастъ перцу!

— Дерется развѣ?

— Лютъ! И ловокъ—ахнетъ кулакомъ въ ухо, а выходитъ все равно, какъ бы косой по ногамъ.

— Ну, мы ему сдачи дадимъ, — увѣренно сказалъ арестантъ, дружески потрепавъ своего конвоира по плечу.

Это было фамильярно и не понравилось Ефимушкѣ. Какъ ни какъ, а онъ все-таки начальство, и этотъ гусь не долженъ забывать, что у Ефимушки за пазухой есть мѣдная бляха. Ефимушка всталъ на ноги, взялъ въ руки свою палку, вывѣсилъ бляху на самую середину груди и строго сказалъ:

— Вставай, идемъ!

— Не пойду!—сказалъ арестантъ.

Ефимушка смутился и, вытаращивъ глаза, съ полминуты молчалъ, не понимая, съ чего это арестантъ вдругъ сталъ такой шутникъ?

— Ну, не валандайся, идемъ!—уже мягче сказалъ онъ.

— Не пойду!—рѣшительно повторилъ арестантъ.

— То-есть, какъ не пойдешь?—закричалъ Ефимушка въ изумленіи и гнѣвѣ.

— Такъ. Хочу здѣсь ночевать съ тобой... Ну-ка, разжигай костеръ...

— Я-те дамъ ночевать! Я-те такой костеръ на спинѣ у тебя разожгу—любо-дорого!—грозилъ Ефимушка. Но въ глубинѣ души онъ былъ изумленъ. Говоритъ человѣкъ—не пойду,—а сопротивленія никакого не оказываетъ, въ драку не лѣзетъ, лежитъ себѣ на землѣ и больше ничего. Какъ тутъ быть?

— Не ори, Ефимъ, — спокойно посовѣтовалъ арестантъ.

Ефимушка снова замолчалъ и, переминаясь съ ноги на ногу надъ своимъ арестантомъ, смотрѣлъ на него большими глазами. И тотъ на него смотрѣлъ, смотрѣлъ и улыбался. Ефимушка тяжело соображалъ, какъ же теперь нужно ему поступать?

И съ чего этотъ бродяга, все время такой угрюмый и злой, теперь вдругъ разбаловался такъ? А что, если навалиться на него, скрутить ему руки, дать раза два по шеѣ, да и все? И самымъ строго-начальническимъ тономъ, какой только былъ въ его распоряженіи, Ефимушка сказалъ:

— Ну, ты, огарокъ, вотъ что, — покочевряжился, и будетъ! Вставай! А то я тебя свяжу, такъ тогда пойдешь, небойсь! Понялъ? Ну? Смотри—бить буду!

— Меня-то?—усмѣхнулся арестантъ.

— А ты что думаешь?

— Витю-то Тучкова, ты, Ефимъ, бить будешь?

— Ахъ ты—пострѣлитъ-те горой!—изумленно воскликнулъ Ефимушка,—да что ты въ самомъ дѣлѣ? Что ты мнѣ представленья-то представляешь? На-ко-ся!

— Ну, будетъ кричать, Ефимушка, пора тебѣ узнать меня,—спокойно улыбаясь, сказалъ арестантъ и всталъ на ноги,—здравствуй, что ли!

Ефимушка попятился назадъ отъ протянутой къ нему руки и во всѣ глаза смотрѣлъ въ лицо своего арестанта. Потомъ губы у него затряслись и все лицо сморщилось...

— Викторъ Александровичъ... и впрямь, что ли, вы это?—шопотомъ спросилъ онъ.

— Хочешь—документы покажу? А то,—всего лучше,—старину напомню... Ну-ка—помнишь, какъ ты въ Раменскомъ бору въ волчью яму попалъ? А какъ я за гнѣздомъ полѣзъ на дерево и повисъ на сучкѣ внизъ головой? А какъ мы у старухи-молочницы Петровны сливки крали? И сказки она намъ говорила?

Ефимушка грузно сѣлъ на землю и растерянно засмѣялся.

— Повѣрилъ?—спросилъ его арестантъ и тоже сѣлъ рядомъ съ нимъ, заглядывая ему въ лицо и положивъ на плечо его свою руку. Ефимушка молчалъ. Вокругъ нихъ стало совсѣмъ темно. Въ лѣсу родился смутный шумъ и шопотъ. Далеко, гдѣ-то въ чащѣ, застонала ночная птица. Туча ползла на лѣсъ чуть замѣтнымъ движеніемъ.

— Что же, Ефимъ,—не радъ встрѣчѣ? Или очень ужъ радъ? Эхъ ты... святая душа! Какъ былъ ты ребенкомъ, такъ и остался... Ефимъ? Да говори что ли, чудовище милое!

Ефимушка началъ усиленно сморкаться въ полу азяма...

— Ну, братъ! Ай, ай, ай! — укоризненно закачалъ головой арестантъ.—Что это ты? Стыдись! чай, тебѣ на пятый десятокъ годы идутъ, а ты этакимъ пустяковымъ дѣломъ занимаешься? Брось!—и онъ, обнявъ сотскаго за плечи, легонько потрясъ его. Сотскій засмѣялся дрожащимъ смѣхомъ и, наконецъ, заговорилъ, не глядя на своего сосѣда:

— Да развѣ я что?.. Радъ я... Такъ это вы и есть? Какъ мнѣ въ это повѣрить? Вы, и... такое дѣло! Витя.. и въ этакомъ образѣ! Въ холодную... Пачпорту нѣтъ... Хлѣбомъ питаетесь... Табаку нѣтъ... Господи! Вѣдь это развѣ порядокъ? Ежели бы это я былъ... а вы бы хоть сотскій... и то легче! А теперь что же вышло? Какъ мнѣ смотрѣть въ глаза вамъ? Я всегда про васъ съ радостью помнилъ... Витя, — думаешь, бывало... Такъ даже сердце защекочетъ. А теперь — на-ко! Господи... вѣдь это ежели людямъ разсказать—не повѣрятъ.

Онъ бормоталъ свои отрывистыя фразы, упорно глядя на свои ноги, и все хватался рукой то за грудь, то за горло.

— А ты людямъ про все это и не говори, не надо.

И перестань... Насчетъ меня не безпокойся... Бумаги у меня есть, я не показалъ ихъ старостѣ, чтобы не узнали меня тутъ... Въ холодную меня братъ Иванъ не посадитъ, а, напротивъ, поможетъ мнѣ на ноги встать... Останусь я у него, и будемъ мы съ тобой снова на охоту ходить... Видишь, какъ хорошо все устраивается.

Витя говорилъ это ласково, тѣмъ тономъ, которымъ взрослые утѣшаютъ огорченныхъ дѣтей. Навстрѣчу тучѣ, изъ-за лѣса всходила луна, и края тучи, посеребренные ея лучами, приняли мягкіе опаловые оттѣнки. Въ хлѣбахъ кричали перепела, гдѣ-то трещалъ коростель... Мгла ночи становилась все гуще.

— Это дѣйствительно...—тихо началъ Ефимушка,— Иванъ Александровичъ родному брату порадѣетъ и вы, значитъ, снова приспособитесь къ жизни. Это все такъ... И на охоту пойдемъ... Только все не то... Я думалъ, вы какихъ дѣловъ въ жизни надѣлаете! А оно— вонъ что...

Витя Тучковъ засмѣялся.

— Я, братъ Ефимушка, надѣлалъ дѣловъ достаточно... Имѣніе, свою часть прожилъ, на службѣ не ужился, былъ актеромъ, былъ приказчикомъ въ торговлѣ лѣсомъ, потомъ самъ держалъ актеровъ... потомъ прогорѣлъ до тла, всѣмъ задолжалъ, впутался въ одну исторію... эхъ! Всего было... И—все прошло!

Арестантъ махнулъ рукой и добродушно засмѣялся.

— Я, братъ Ефимушка, теперь ужъ не баринъ... вылѣчился отъ этого. Теперь мы съ тобой такъ заживемъ! а? да, ну! очнись!

— Я вѣдь ничего... — заговорилъ Ефимушка подавленнымъ голосомъ, — стыдно мнѣ только. Говорилъ я вамъ тутъ разное такое... несуразныя слова и вообще... Мужикъ, извѣстное дѣло... Такъ, говорите, заночуемъ тутъ? Я инъ костеръ разложу...

— Ну-ка дѣйствуй!...

Арестантъ вытянулся на землѣ кверху грудью, а сотскій исчезъ въ опушкѣ лѣса, откуда тотчасъ же раздался трескъ сучьевъ и шорохъ. Скоро Ефимушка появился съ охапкой хвороста, а черезъ минуту по маленькому холмику изъ мелкихъ сучьевъ уже весело ползала змѣйка огня.

Старые товарищи задумчиво смотрѣли на нее, сидя другъ противъ друга и поочередно куря трубку.

— Совсѣмъ какъ тогда, — грустно говорилъ Ефимушка.

— Только времена не тѣ,—сказалъ Тучковъ.

— Н-да, жизнь-то стала круче характеромъ... Эвона какъ васъ... обломала...

— Ну, это еще неизвѣстно—она меня или я ее... — усмѣхнулся Тучковъ.

Замолчали...

Сзади ихъ возвышалась темная стѣна тихо шептавшаго о чемъ-то лѣса, весело трещалъ костеръ, вокругъ него безшумно плясали тѣни и надъ полемъ лежала непроглядная тьма.

Конецъ второго тома.

Оглавленіе II тома.

Изданія товарищества „ЗНАНІЕ“ (Спб., Невскій, 92).

Списокъ отъ 20 декабря 1902 г.

(Продолженіе).

	Цѣна.
Сеньобосъ. Полит. исторія соврем. Европы, 2 т. Изд. *третье печат.*	3 р. — к.
Гиббинсъ и Сатуринъ. Исторія современной Англіи	1 » 20 »
Инсаровъ. Современная Франція	2 » 50 »
Курти. Исторія народнаго законодательства и демократіи въ Швейцаріи	1 » — »
Зомбартъ. Идеалы соціальной политики	— » 40 »
Каутскій. Колоніальная политика въ прошломъ и настоящемъ	— » 40 »
Фальборкъ и Чарнолускій. Народное образованіе въ Россіи	1 » 50 »
Гюйо. Исторія и крит. совр. англ. ученій о нравственности	2 » — »
Гюйо. Происхожденіе идеи о времени. Мораль Эпикура	2 » — »
Гюйо. Задачи современной эстетики. Очеркъ морали	2 » — »
Гюйо. Воспитаніе и наслѣдственность	1 » 50 »
Гюйо. Искусство съ соціологической точки зрѣнія	2 » — »
Гюйо. Стихи философа	1 » — »
Левассеръ. Народное образованіе въ цивилизованныхъ странахъ	3 » — »
Справочныя изданія. — Учительскія семинаріи и школы	2 » — »
Справочныя изданія. — Испытанія на званія уѣздн., дом., город. и начальн. учителей, для зан. магом. духовн. должностей, на вольноопр. II разр. и на первый классный чинъ	1 » — »
Справочныя изданія. — Испыт. на званіе нач. учит.	— » 25 »
Справочныя изданія. — Учит. общ. кассы, курсы и съѣзды	— » 50 »
Леклеркъ. Воспитаніе и общество въ Англіи	3 » — »
Паульсенъ. Общеобразовательная школа будущаго	— » 40 »
Мертваго. Не по торному пути	1 » 50 »
Майръ. Статистика и обществовѣдѣніе	6 » — »
Дрейфусъ. Пять лѣтъ моей жизни	1 » 20 »
Штраусъ. Вольтеръ	1 » — »
Бернштейнъ. Историческій матеріализмъ. Изд. *второе*	— » 80 »
Каутскій. Аграрный вопросъ	1 » 50 »
Гертцъ. Аграрные вопросы	— » 80 »
Вандервельде. Притягательная сила городовъ	— » 40 »
Вурмъ. Жизнь нѣмецкихъ рабочихъ	— » 80 »
Вигуру. Рабочіе союзы въ Сѣверной Америкѣ	1 » 50 »
Люксембургъ. Промышленное развитіе Польши	— » 50 »
Финляндія	3 » 50 »
Гуго. Новѣйшія теченія въ англійскомъ городскомъ хозяйствѣ	1 » 50 »
Гобсонъ. Общественные идеалы Дж. Рескина	1 » 50 »
Мутеръ. Исторія живописи отъ среднихъ вѣковъ до новѣйшихъ временъ. Часть I	2 » 50 »
Мутеръ. То же сочиненіе. Часть II	2 » 50 »
Мутеръ. Исторія живописи въ XIX вѣкѣ	17 » — »

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА:

	Цѣна: безъ пер.	Цѣна: съ пер.
Клейнъ. Чудеса земного шара	3 р. — к.	3 р. 50 к.
Боммели. Исторія земли **Гетчинсонъ.** Вымершія чудовища **Гетчинсонъ.** Животныя прошлыхъ геологическихъ эпохъ	4 » 50 »	5 » 50
Настольная книга по народному образованію, 3 т.	5 » — »	6 » —

Дозв. цензурою. Спб., 18-го Декабря 1902 г. Тип. Н. Н. Клобукова. Пряжка, 3.